

ЮМОР

СЕРЬЕЗНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

Классики
и
современники



Annotation

Сборник составлен известным писателем-сатириком Феликсом Кривиным. В книгу включены сатирические и юмористические рассказы, повести, пьесы выдающихся русских и советских писателей: «Крокодил» Ф. М. Достоевского, «Левша» Н. С. Лескова, «Собачье сердце» М. А. Булгакова, «Подпоручик Киже» Ю. Н. Тынянинова, «Город Градов» А. П. Платонова и другие. Темы, затронутые авторами в этих произведениях, не потеряли своей актуальности и по сей день.

- [ЮМОР СЕРЬЕЗНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ](#)
- [Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
- [А. Ф. ПИСЕМСКИЙ](#)
- [Н. С. ЛЕСКОВ](#)
 - [ГЛАВА ПЕРВАЯ](#)
 - [ГЛАВА ВТОРАЯ](#)
 - [ГЛАВА ТРЕТЬЯ](#)
 - [ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ПЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ШЕСТАЯ](#)
 - [ГЛАВА СЕДЬМАЯ](#)
 - [ГЛАВА ВОСЬМАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДЕВЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДЕСЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ](#)

- [ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ](#)
- [ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ](#)
- [ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ](#)
- [ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ](#)
- [В. М. ГАРШИН](#)
- [И. А. ГОНЧАРОВ](#)
- [К. М. СТАНЮКОВИЧ](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
- [Л. Н. АНДРЕЕВ](#)
- [И. Г. ЭРЕНБУРГ](#)
- [И. Э. БАБЕЛЬ](#)
 - [КОРОЛЬ](#)
 - [КАК ЭТО ДЕЛАЛОСЬ В ОДЕССЕ](#)
 - [ОТЕЦ](#)
 - [ЛЮБКА КАЗАК](#)
- [В. Я. ШИШКОВ](#)
- [М. А. БУЛГАКОВ](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [ЭПИЛОГ](#)
- [А. Н. ТОЛСТОЙ](#)
- [А. П. ПЛАТОНОВ](#)
 - [ГОРОД ГРАДОВ](#)
 - [ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИТЕЛЬ](#)
- [Ю. Н. ТЫНЯНОВ](#)

- [Б. А. ЛАВРЕНЁВ](#)
 - [К. Г. ПАУСТОВСКИЙ](#)
 - [ПЕРВЫЙ РАССКАЗ](#)
 - [СЛУЧАЙ В МАГАЗИНЕ АЛЬШВАНГА](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
-

ЮМОР СЕРЬЕЗНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

Предположим, что вас, читатель, проглотил крокодил. Ваши действия?

Конечно, крокодилы в России не водятся, а если водятся, то исключительно в переносном смысле. Но если отвлечься от смыслов, а просто ответить на вопрос: крокодил проглотил — что будем делать дальше?

Можно заявить в милицию, но ведь какая попадется милиция. С иной не только насидишься в крокодиле, но и в других неблагоприятных местах. Можно написать в газету или еще в какую-нибудь организацию...

И совсем по-другому поступил Иван Матвеевич в повести, которая так и называется: «Крокодил». Увы, «Крокодил», а не «Иван Матвеевич».

Население Российской империи уже тогда было достаточно велико, но проглоченных в ней было значительно меньше, чем непроглоченных. Исходя из этого обстоятельства, Иван Матвеевич имел основание полагать, что в крокодиле он будет замечен скорей, чем вне крокодила. Как человек, находящийся на государственной службе, но не избалованный государственным вниманием, он был готов на некоторые бытовые стеснения ради выхода на служебный простор и надеялся превратить крокодила в трибуну для обращения к своим соотечественникам. Он приглашал и жену последовать за ним в крокодила, но легкомысленную женщину остановила нелепая мысль: как там, внутри, будут выплывать ее туалеты?

Друг проглоченного пытается выволить его, указывает ему на преимущества свободного существования, но Иван Матвеевич смеется над ним: он даже рад освобождению от свободы. «Люди дикие, — вещает он из крокодила, — любят независимость, люди мудрые любят порядок».

(У проглоченных своя философия, и она не меняется, даже если их выпустить на свободу. Потому что свобода проглоченным не нужна. Им нужен крокодил, в котором они хоть и живут, согнувшись в три погибели, но ведь проглоченным к погибелям не привыкать. И,

выйдя на свободу, они тоскуют по прежней проплоченности и вздыхают о крокодиле, о пасти его до ушей, которая запомнилась им как улыбка.)

Прочитав эту удивительную историю, критика тотчас же догадалась, что под крокодилом автор разумеет тюрьму, а под Иваном Матвеевичем — известного писателя, революционного демократа, превратившего тюрьму в трибуну для своей революционной деятельности. Автор повести, однако, это отрицал, да и сам Иван Матвеевич, узнав, с кем его сравнивают, пулей вылетел бы из крокодила.

Сегодня, сто лет спустя после опубликования повести, мы с наибольшим удивлением читаем фамилию автора: Достоевский. Юмор и Достоевский — разве это совместимые понятия? Такой серьезный писатель — и такой смешной? Ничего не понятно...

А может, и не нужно понимать? Ведь говорит же другой наш классик, Иван Александрович Гончаров, что «русский человек не всегда любит понимать, что читает». И дальше утверждает: «Простые люди не любят простоты».

Конечно, нам не нравится, когда прямо указывают, смеяться нам или плакать. Мы предпочитаем оставаться в неведении. Читаем серьезного писателя — и вдруг нас начинает разбирать смех. А смешного начнем читать — слезы на глаза набегают. Достоевский — ученик Гоголя, как же он мог не унаследовать его смех?

Что же касается замечания Гончарова о любви к непонятному и нелюбви к простоте, то он имел в виду не всякого русского человека, а лишь один его тип, который он блестяще изобразил в очерках «Слуги старого века».

Слуга Валентин не любит простоты и не любит понимать, что читает, потому что это, как ему кажется, уровень господ, до которого он хочет возвыситься. Ему непонятны книги, которые читают господа, и он думает, что им они тоже непонятны. Просто, думает он, господа любят читать непонятное.

А простоты он не любит, потому что сам он простого происхождения, но хочет поскорей об этом забыть. Простота хуже воровства — это, должно быть, незыблемое его убеждение.

Его характернейшая черта — высокомерие по отношению к низшим. Чем выше он будет подниматься, тем больше людей окажется в поле его презрения. А если он поднимется выше всех? Значит, все окажутся в поле его презрения?

Мечты раба заканчиваются на том, чтобы стать господином. Но он в этом не признается и будет по-прежнему называть себя слугой, — правда, в возвышенном смысле: слугой народа. Если он боролся с неравенством, находясь внизу, то теперь, попав наверх, он будет бороться *за* неравенство.

Всю власть, которую он получит, он употребит на то, чтобы укрепить эту власть и удовлетворить все свои прихоти господина. Чтобы ни в чем не знать отказа и даже ни в ком не знать отказа. Еще будучи Валентином, слугой, он возмущался девушкой, которая отвергла его ухаживания: «Такие дряни, как вы, — должны за счастье почитать, если с ними благородно и деликатно обращается этакий кавалер!» Ну, а если она не почитает за счастье, то «эту дрянь — ведь она мужичка — плетью мало сечь!». Если же и это не поможет... тут следует такое, что даже страшно читать: «Раздавлю! — кричал он разъяренно. — Они за честь должны считать, что я с ними обращаюсь!...»

Кто это? Наполеон? Император всея Руси? Нет, обыкновенный слуга, причем слуга из доброго старого века. Но с большими потенциальными возможностями, если ему будет дана власть.

В сказке В. М. Гаршина «То, чего не было» обсуждаются не менее важные вопросы. Что есть наша жизнь? Что в нашей жизни самое главное?

Навозный жук считает, что самое главное — это труд для счастья наших детей. Муравью, однако, труд надоел, и он не хочет жить для потомства, тем более что потомства у него, рабочего муравья, вообще не предвидится. А гусеница считает, что нужно жить для будущей жизни. Не для потомства, а для себя, но не сегодняшней, а завтрашней, когда она станет бабочкой.

Мухи же, наоборот, живут прошлым. Там, в прошлом, они залезли в банку с вареньем, наелись до отвала, а маменька так и осталась там навсегда, что, впрочем, нисколько их не смущает.

Ящерица была согласна со всеми, но высказать своего мнения не успела, потому что кучер спросонья наступил ей на хвост. И как же она мотивировала впоследствии потерю хвоста? Разговор, как вы помните, был серьезный, и трудно было обойтись без потерь. Одни говорили, что счастье в труде, другие видели его в прошлом или будущем, и одна только ящерица охватила проблему целиком. «Господа, — сказала ящерица, — я думаю, что все вы совершенно правы!»

Сказала — и тут же лишилась хвоста. И объяснила это так: «Мне оторвали его за то, что я решилась высказать свои убеждения».

Не зря классик удивлялся: «И почему это русский человек так любит врать? всю жизнь как перед следователем стоит».

Вранья в нашей жизни всегда хватало. Живет, допустим, человек — хуже некуда, а всех уверяет, что живет хорошо, и даже в газетах пописывает о своей замечательной жизни. А уж то, что дети будут жить лучше, — это у него расхожая истина, хотя сам-то он делает все, чтобы дети жили не лучше, а хуже. Потому они и будут жить хуже, что ничего не унаследуют, кроме вранья.

Так врет себе и детям своим во вред бедный лгун в рассказе А. Ф. Писемского «Богатые лгуны и бедный», — врет, становясь по мере вранья из бедного нищим, калечась и увечась, но при этом не переставая врать.

Люди часто лгут от бедности. А что им остается еще, если бедность — их единственное богатство? Скажешь, что страна твоя широка, что ты по ней проходишь, как хозяин, — вроде почувствуешь себя хозяином. Скажешь, что все вокруг твое, — и оно вроде твое, хотя своего не только вокруг, но и внутри тебя ничего не осталось.

Имя упоенного вруна Мюнхгаузена стало нарицательным. Имя вдохновенного хвастуна Тартарена стало нарицательным. Имена Ноздрева, Репетилова, Вральмана стали нарицательными. А имя «кроткого лгуна» Петра Вакорина никому не известно. Прочтешь о нем у Писемского — и забудешь тотчас... А может, на них, безымянных, главное-то вранье и держится...

В тот самый год, когда в литературе появился талантливый самородок Левша, в жизни был казнен другой самородок —

Кибальчич.

Россия всегда рождала таланты, но не давала им плодоносить.

Может, тут все дело в слабой организации?

«...на козлах два свистовые казака с нагайками по обе стороны ямщика садились и так его и поливали без милосердия, чтобы скакал. А если какой казак задремлет, Платов его сам из коляски, ногою ткнет, и еще злее понесутся...»

Простой лошадей управлять — и то целое управление!

Потому и спешим, никак самих себя не догоним: «Побежал один свистойой, чтобы шли как можно скорее... и еще мало этот свистойой отбежал, как Платов вдогонку за ним раз за разом новых шлет, чтобы как можно скорее...»

Но плавное-то, плавное! Подковать-то блоху подковали, но, как оказалось, этого делать не следовало. Потому что подкованная блоха перестала танцевать. Подкована — высший класс, а что-то не вытанцовывается.

Объяснил Левша англичанам: в науках мы не зашлись, зато своему отечеству преданные.

Насчет себя он, конечно, поскромничал. Но ведь с удьбы науки в России как раз те и вершили, что в науках не зашлись. То они в генетике не зашлись, то в кибернетике не зашлись, возвеличиваясь только тем, что они отечеству преданные.

И отечество их жаловало — куда больше, чем свои таланты. «Везли Левшу так непокрытого, да как с одного извозчика на другого станут пересаживать, все роняют, а поднимать станут — уши рвут...»

Забывчиво отечество: все забывает, кого миловать, кого казнить, кого проклинать, кому памятник ставить.

Память о таланте в отечестве по-разному живет: когда хорошо живет, когда плохо. Память о Достоевском после революции долго жила плохо, а потом стала жить хорошо. И о Булгакове — жила плохо, а стала жить хорошо. Догнала наша память и Леонида Андреева, очень серьезного писателя, который в своих произведениях самого Льва Толстого пугал (правда, так, что Толстому было не страшно).

И вот этот серьезный писатель Андреев пишет смешную пьесу о том, как живется таланту после смерти в памяти его соотечественников.

В городе Коклюшине вознамерились ставить памятник Пушкину, и учредители памятника собрались по этому поводу заседать: «... почему же мы не заседаем? Или мы уже? Прошу вас, г. г., заседайте, заседайте!.. — ...Пушкин так Пушкин... — Прошу господ собрание не ржать... — Так — я ничего не имею: Пушкин — ну и Пушкин; а неприличия, как градской голова, допустить не могу, на мне медаль...»

Долго обсуждается вопрос: куда повернуть лицом памятник Пушкину? С одной стороны у него острог, с другой — свечной завод, с третьей — приют для престарелых, а с четвертой и вовсе сумасшедший дом. Куда ни поверни Пушкина, всюду прочитывается крамола.

Но главный вопрос был все же не этот. Главный был вопрос: почему нужно ставить памятник именно Пушкину?

«...но почему именно Пушкину? Мало ли других великих людей? А то все Пушкин, Пушкин...»

Человек, который родился в Севастополе, а умер в Неаполе, который совершил кругосветное путешествие, а впоследствии оказался на поселении в Сибири, уже этим одним заслуживает того, чтобы не затеряться в памяти потомков. А если в сибирской ссылке, вдали от всех возможных морей, он начинает писать свои «Морские рассказы»...

Константину Михайловичу Станюковичу не понадобилось ничего сочинять, как это делали авторы увлекательных морских приключений. Может быть, потому, что вдали от моря самые будничные морские дела приобретают особенную окраску.

Он писал серьезно, но без юмора не мог обойтись, — конечно, не в такой мере, как не мог обойтись его земляк, тоже уроженец Севастополя Аркадий Аверченко. И рассказ «Смотр» — это, в сущности, не смотр, а показ. В нем не столько смотрят, сколько показывают.

В России еще со времен Потемкина любили и умели показывать, но слишком часто такие показы кончались неудачей.

Смеяться умеет только добро, но не всегда оно смеется по-доброму. Если бы добро смеялось только по-доброму, у нас не было бы

сатиры и мы бы не говорили, что смех — это оружие борьбы со злом. Потому что само добро не может быть оружием.

Известная сентенция, что добро должно быть с кулаками, вызывает сомнение. Оружие добра — не кулаки. Это смех его звенит, как оружие. Это смех его блестит, как оружие. Но это смех, а не оружие. Смех — единственное оружие добра.

Бюрократическая система — система зла, поэтому она не приемлет смеха. Схватка между ними начинается сразу, без объявления войны. Между ними невозможно сосуществование. Поэтому серьезный писатель, даже очень далекий от жанра юмора, не может обойтись без юмора, — если он не является сознательным защитником бюрократической системы. Чувство юмора теряет лишь тот, кто обслуживает бюрократическую систему. Обычно это признанные системой писатели, увешанные наградами, возвышенные должностями. Беря пример с системы, они начинают относиться к себе всерьез и не способны смеяться над собой, что является особенностью любого таланта. Не способный смеяться над собой писатель перерождается из писателя в служащего системы, и для него, как для служащего, образцом талантливости является любое произведение, любой текст, любое высказывание Главы Системы. Выше Толстого, выше Шекспира для него бюрократический документ, которому он готов присудить самую высокую литературную премию. Потому что для того, чтоб соразмерить то и другое, нужен юмор, а его нет. Он засушен, как бабочка между страниц бухгалтерской книги, именно бухгалтерской, потому что в бюрократической системе ничто не делается бесплатно.

В этих условиях юмор, оставшийся в живых, уходит в анекдоты, где есть возможность существовать бесплатно — ничего не получая, но за все расплачиваясь. Он живет в ожидании своего первопечатника Федорова, который когда-нибудь снова изобретет для него печать.

В самой серьезной ситуации юмор вдруг подсунет свой ехидный вопрос: «Зачем?» Зачем из смотра делать показ, зачем подковывать блоху — неужто лишь затем, чтоб утереть нос англичанам? А зачем собаку переделывать в человека? Разве нет у таланта других забот, кроме очеловечивания собак в условиях расчеловечивания самого человека?

Профессор Преображенский в трагикомической повести Булгакова пытался сделать из собаки человека, но создал нелюдя, потому что на нечеловечьей основе человека не создашь. Возможно, он воспользовался идеей уэлсовского доктора Моро, очеловечивавшего различных животных. Но ни один из несчастных уродцев доктора Моро не претендовал на то, чтобы представлять целый класс, причем не какой-то там класс млекопитающих, а класс победившего пролетариата.

Булгаковский Шариков совершил головокружительный прыжок: из бродячих собак — в санитары по очистке города от бродячих собак (и кошек, естественно). Преследование своих — характерная черта шариковых. Они уничтожают своих, словно замечая следы собственного происхождения.

В повести Шариков вернулся в собаки, а в жизни он прошел длинный и, как ему казалось, а другим — внушалось, славный путь и в тридцатые — пятидесятые годы травил людей, как когда-то по роду службы бродячих котов и собак. Через всю свою жизнь он пронес собачью злость и подозрительность, заменив ими ставшую ненужной собачью верность. Вступив в разумную жизнь, он остался на уровне инстинктов и готов был приспособить всю страну, весь мир, всю вселенную, чтобы их, эти звериные инстинкты, удовлетворить. Он гордится своим низким происхождением. Он гордится своим низким образованием. Он гордится всем низким, потому что только это поднимает его высоко — над теми, кто духом высок, кто разумом высок, и потому должны быть втоптаны в грязь, чтоб над ними мог возвыситься Шариков.

Внешне шариковы ничем не отличаются от людей, но нелюдская их сущность только и ждет, чтобы проявиться. И тогда судья в интересах карьеры и выполнения плана по раскрытию преступлений осуждает невинного, врач отворачивается от больного, мать бросает свое дитя. Все самое высокое и святое превращается в свою противоположность, потому что над ним поднимается нелюдь и втоптывает его в грязь. Приходя к власти, нелюдь старается всех расчеловечить вокруг, потому что нелюдьями легче управлять, у них все человеческие чувства заменяет инстинкт самосохранения.

Об этом не думал профессор Преображенский. Его заботой была наука, а не интересы человечества. Это их объединяет — профессора,

которым движет эгоизм его научного разума, и Шарикова, бывшего пса, которым движет эгоизм его собачьего сердца. Собачье сердце в союзе с человеческим разумом — главная угроза нашего времени, поэтому повесть, рожденная в начале века, стала современной в его конце, размороженная спустя шестьдесят с лишним лет — подобно Присыпкину из пьесы Маяковского (возникшей не без влияния замороженного «Собачьего сердца»).

Но самое-то главное, что бюрократической системе наука профессора не нужна. Ей ничего не стоит кого угодно назначить человеком. Любое ничтожество и даже просто пустое место — взять и назначить человеком. Ну, естественно, оформив это соответствующим образом и отразив, как положено, в документах.

«Дяденька, — спрашивает старого солдата молодой солдат, — а кто у нас император?» — «Павел Петрович, дура», — ответил испуганно старик. «А ты его видел?» — «Видел... А ты почто спрашиваешь?»... — «А я не знаю... говорят, говорят: император, а кто такой — неизвестно. Может, только говорят...»

Парадокс заключается в том, что императора действительно могло и не быть, но при такой системе ничего бы не изменилось. Там, где правит бумажка, человек уже не имеет значения. Вот поручик Синюхаев живет, а что толку? В бумажке написано, что он мертвый, и все почитают его за мертвого. Подпоручик Кижэ вообще не существует, но в бумажке написано, что существует, — и он живет. И продвигается по службе. И дети у него рождаются.

«От шлагбаума к шлагбауму, от поста к крепости, они шли прямо и с опаскою посматривали на важное пространство между ними».

Так вели в Сибирь конвойные несуществующего подпоручика Кижэ.

Вскоре его, однако, вернули из Сибири, произвели в поручики, женили, и в положенный срок у него родился ребенок, «по слухам, похожий на отца».

Он стал любимцем императора, дослужился до звания генерала, поскольку никаких проступков не совершал. В бюрократическом государстве отсутствие проступков важнее наличия поступков.

А поручик Синюхаев, вычеркнутый из живых, пришел в другой город к своему отцу — лекарю. Отец не удивился, услышав от сына,

что он не живой, а поместил его в госпиталь, повесив табличку над кроватью: «Случайная смерть».

При строе, который создан для счастья бумажки, счастлива только бумажка и те, кто существуют при ней. Служат ей, трудятся ради ее, бумажкина, благополучия. Тех же, которые существуют ей вопреки, можно совсем не считать или почитать мертвыми. И уничтожать их — для приведения в соответствие жизни с бумажкой.

Так что же, дяденька, кто у нас император? Павел или этот, при котором жил автор повести? И о ком это написал Юрий Тынянов в повести «Подпоручик Киже»: «И когда великий гнев становился великим страхом, начинала работать канцелярия криминальных дел...»?

Платонову было несмешно. При его жизни тоже работала канцелярия криминальных дел, превращая Россию крестьянскую в Россию бюрократическую, которая сеет бумажки и собирает бумажный урожай, добавляя всеобщего счастья и процветания — на бумаге.

Россия была на пути от самодержавия к единовластию. Она как раз прошла половину пути.

Это был 1927 год. Год рождения «Подпоручика Киже» — повести, в которой каждый приказ чудесным образом преображал жизнь, даже если его и не исполняли. И год рождения платоновского «Города Градова», в котором мыслят неграмотность и темнота, «безропотно и единогласно принимая резолюции по мировым вопросам».

Героев в городе нет. «...Их перевела точная законность и надлежащие мероприятия».

Разве это смешно? Смеяться над «Городом Градовом» можно лишь тогда, когда живешь в другом городе, а еще лучше — в другом времени. А в городе Градове вы не смеетесь, вы все делаете всерьез. Всерьез мечтаете о покорении природы, которая, по вашему мнению, худший враг порядка и гармонии, и прикидываете, какие бы карательные меры к ней применить. Драть растения за недород? Нет, не просто пороть, а как-нибудь похитрей, химическим способом.

Это от вековой темноты все наши надежды на химический способ. Со стороны, возможно, смешно, а внутри смеяться не хочется.

Хотя никто вам смеяться не запретит, вы сможете петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда. Как дети — но непременно среди упорной борьбы и труда.

Есть категория людей, которых Салтыков-Щедрин называл государственными младенцами. Государственный младенец, по его определению, «не живет и не действует в реальном значении этих слов, а все около чего-то вертится... около чего-то такого, что с ним, государственным младенцем, не имеет ничего общего». Щедринский государственный младенец «даже в преклонных летах не может вырасти в меру человека», а у Платонова он вырос в «государственного жителя» (рассказ «Государственный житель»).

Если вы государственный житель, у вас на первом месте будут государственные дела, а свои собственные будут на последнем месте («надо населению сказать, чтоб оно тише существовало, а то государство лопнет от его потребностей»). И радуетесь вы исключительно государственным делам: и тому, что платформы с грузом прибыли на вокзал, и тому, что они дальше отправились по назначению. Вы радуетесь, глядя, что девочка тянет козла на веревке, и при этом мыслите по-государственному: «Пускай и козел будет... Его можно числить младшим бычком».

Радость ваша основана на твердой вере, что в государстве «справедливость происходит автоматически». Но если государство заезаается, вы и сами сумеете справедливость произвести, — к примеру, насмерть будете давить червяка: «Пусть он теперь живет в вечности, а не в истории человечества, здесь и так тесно». Это обозначение природы как истории человечества вполне соответствует градовскому намерению карать ее за недород.

Так постепенно государственные младенцы выросли в государственных жителей и принялись наводить на земле порядок. Например, для государства большое неудобство, что люди все такие разные. Их, людей, много, а государство одно. Поэтому лучше, когда не государство равняется на людей, а, наоборот, люди равняются на государство, постепенно привыкая «к однообразному пониманию обычных вещей». И тогда они смогут спокойно радоваться всему, что будет происходить о государстве. И химизации, и коллективизации, и всем процессам, происходящим в стране, — от чисто производственных до более чем судебных. И затоплению суши

радоваться, и осушению рек, и всем победам над поражениями, равно как и поражениям над победами — радоваться всему, что происходит в государстве.

И ничего, что они, как платоновский государственный житель, будут всю жизнь завтракать остатками ужина и ужинать остатками завтрака, — это нисколько не омрачит их радость, потому что они верят, младенчески верят, что «деловая официальная бумага» в конце концов проест и проконтролирует «людей настолько, что, будучи по существу порочными, они станут нравственными».

В таких условиях Платонов не мог ни радоваться, ни смеяться. Но получалось смешно. «Создана была особая комиссия по набору техников. Но она ни одного техника не приняла, так как оказалось, чтоб построить деревенский колодезь, техник должен был знать всего Карла Маркса».

Между благородным жуликом Джеффом Питерсом, о котором поведал в своих рассказах О'Генри, и не менее благородным жуликом Остапом Бендером стоит тоже благородный, правда, не жулик, а откровенный налетчик Бенья Крик, родом с Молдаванки, расположенной, кстати, не где-то в Молдавии, а непосредственно в городе Одессе.

У Джеффа Питерса и Остапа Бендера были сотни способов изъятия денег у населения, у Бени Крика благородный способ был, в сущности, один: «Многоуважаемый Рувим Осипович! Будьте настолько любезны положить к субботе под бочку с дождевой водой...», «Мосье Эйхбаум, положите, прошу вас... Если вы этого не сделаете, так вас ждет такое, что это не слыхано... С почтением Бенья Король».

На этом благородство кончалось и начиналось такое, что это неслыханно, если просьба Бени не была удовлетворена.

Он не сам назвал себя королем, он также не получил этот титул по наследству, хотя имел не одного, а трех родителей. Но один из них был биндюжник Мендель Крик, второй — такой же, как он, бандит Мишка Япончик, прототип Бени в реальной действительности, и только третий был человек интеллигентной профессии — писатель Исаак Эммануилович Бабель.

Беня, как водится в таких случаях, пошел по пути прототипа и звание короля приобрел именно на этом рискованном поприще. Впрочем, поприще писателя Бабеля, как показало время, было не менее рискованным, поскольку не все бандиты в его стране обладали благородством его героя. Писатель мог бы сказать им словами одного из своих персонажей: «Хулиганские морды!.. Хорошую моду себе взяли — убивать живых людей...»

Но при всем уважении к своему герою автор изобразил его с юмором. Другого бы он, возможно, и не осмелился, но Беня Крик любил и понимал юмор. Он говорил: «Есть люди, умеющие пить водку, и есть люди, не умеющие пить водку, но все же пьющие ее. И вот первые получают удовольствие от горя и от радости, а вторые страдают за всех тех, кто пьет водку, не умея пить ее. — И на этом кончался его юмор и начинался серьезный разговор: —...я прошу вас проводить к могиле неизвестного вам, но уже покойного Савелия Буциса...»

Некоторые считают, что юмор здесь продолжается до конца, просто это так называемый черный юмор. Но черного юмора у Бабеля не было. У него повсюду светлый юмор, юмор, пронизанный светом и теплотой, как комната бывает пронизана солнечным светом.

Раз уж Беня Крик предшествовал в литературе Остапу Бендеру, то смешно было бы мадам Грицацуевой не иметь своей родословной. Была у знойной женщины и одновременно мечты поэта предшественница за пределами романа — в рассказе совершенно другого автора.

Автор был Алексей Николаевич Толстой, а рассказ его назывался «Сожитель». Название грубое и, более того, неприличное для скромной вдовы, которая, по ее собственному признанию, иначе как старорежимным браком и глядеть не станет на мужчину.

Может, автор чего-то в нашей жизни не понимал. Он только что вернулся из эмиграции, где, откровенно говоря, чего только не насмотрелся. А тут, конечно, жизнь другая. Как он прочитал в одном письме и после пересказал в рассказе «Сожитель»: «Дорогая тетя, слава труду, живем хорошо... Папенька наш сослан за Ледовитый океан... А при царском режиме две лавки были...»

Софья Ивановна, вдова на выданье, у которой будущий супруг проходит предбрачную стажировку, была тоже знойной женщиной, но мечтой не поэта, а просто жильца, который был даже не жилец, поскольку жить ему было негде.

Он был сожитель. В чем-то это больше, а в чем-то меньше чем жилец. А еще он был жертва политической грамоты.

Как Остап Бендер полюбил женщину ради стула, так он полюбил ее ради политграмоты, которую ему негде было изучать. Он тянулся к знаниям, но путь к ним пролегал через знойные объятия его квартирной хозяйки.

Она сжигала его книги, как инквизиция сжигала книги просветителей, но он не был просветителем, он, наоборот, хотел просвещаться, поэтому он не отрекался от книг, а продолжал борьбу за просвещение.

За просвещение, но и за вдову, которая давала ему кров и стол.

Алексей Николаевич Толстой, возможно, понял это как новое и старое, которые слились в нерасторжимом объятии, и новое рвется вперед, а старое его не пускает. Во всяком случае, такой переносный смысл вытекает из этого прямого рассказа.

И сегодня, шестьдесят с лишним лет спустя, как раскроешь рассказ «Сожитель», так и начнет из него вытекать переносный смысл: новое стремится вперед, а старое его не пускает.

А в селе Огрызове организовался театр. Хотели ставить Шекспира, но по техническим причинам пришлось сочинять пьесу своими силами. Название придумали не хуже отвергнутого «Юлия Цезаря»: «Удар пролетарской революции, или Несчастливая невеста Аннушка». Все это происходило вскоре после революции в одном из так называемых «шутейных рассказов» уже в то время известного писателя, будущего автора знаменитой «Угрюм-реки» Вячеслава Яковлевича Шишкова.

Рассказ так и назывался: «Спектакль в селе Огрызове».

Много было шутейного в этом рассказе, но были и серьезные чувства. Например, уважение к театру публики, которая чуть ли не спозаранку стала заполнять помещение и криками подбадривала артистов во главе с «коллективным автором Павлом Терентьевичем Моховым». Афиши предупреждали, что стрелять в пьесе будут холостыми зарядами, и просили не пугаться в первых рядах, а также

на пол не харкать и в антрактах матерно не выражаться. Все афиши были подписаны: «С почтением автор Мохов».

Конечно, это был не Шекспир, да и театр не был в полном смысле театром. Суфлера, прежде чем впихнуть в будку, пришлось долго разыскивать по селу, затем вытаскивать из бани намыленного, задержав по этой причине начало спектакля. Актеры на ходу придумывали текст, хотя он был для них придуман заранее, ружья стреляли лишь после того, как убитый уже лежал на земле. Но публика принимала спектакль сочувственно, и хоть и смеялась над актерами, но не обидно, не зло. Да и сам автор рассказа Вячеслав Шишков не смеялся над коллективным автором и постановщиком пьесы. И над артистами не смеялся, хотя в рассказе все рассказано довольно смешно. Он ведь понимал, автор Шишков, что они только начинают, что все они начинающие, как и другие люди в нашей стране, потому что после недавней революции все, в сущности, только начиналось.

Это юмор понимания, который не высмеивает, а как бы подбодряет смехом поскорей избавляться от невежества и прочих недостатков. Добродушный юмор, который целиком на стороне объекта смеха. «Товарищи! — говорит он вместе с суфлером Федотычем. — У вас теперь свой Народный дом, свой драматический кружок. А кто организовал его? Да конечно же бывший красноармеец товарищ Мохов. Ежели спектакль прошел не совсем гладко, это ничего, ведь это ж первый опыт, товарищи!»

В незабываемом девятьсот девятнадцатом на дорогах войны балтийский матрос Александр Пушкин повстречался с поэтом Александром Пушкиным. Прежде он об этом поэте мало слышал, а если слышал, то забыл за всеми бурными событиями века.

И вот его направили для прохождения службы в Царское Село, после революции переименованное в Детское Село, в честь детства великого поэта.

В том незабываемом девятьсот девятнадцатом поэту исполнилось сто двадцать лет, но в бронзе он выглядел совсем мальчишкой. Он сидел в непринужденной позе, откинувшись на спинку скамьи и словно приглашая военмора Пушкина присесть на скамью напротив.

Военмор присел, невольно приняв позу поэта. Так состоялась их встреча в повести Бориса Лавренева «Командант Пушкин», увидевшей свет в тоже незабываемом тридцать седьмом году.

Прочитав надпись на памятнике, военмор пришел в смятение и стал сличать ее с тем, что было написано в его собственном, военморском партийном билете. Получалось почти полное совпадение: Александр Сергеевич Пушкин и Александр Семенович Пушкин.

На задней стороне постамента были вырезаны стихи. Александр Семенович прочел их с трудом, и все было б ничего, если б не последняя строчка.

В последней строчке значилось: «Отечество нам Царское Село». Получалось так, будто царизм — отечество поэта.

Такое не могло нравиться революционному моряку. Но постепенно он стал лучше узнавать поэта Пушкина, находил с ним что-то общее во взглядах на жизнь и даже защищал его от опасностей военного времени, хотя бронзовому на войне не так страшно, как живому.

А полюбил он его, как живого, и приходил к нему и разговаривал, как с живым. Хотя время было неподходящее для живых — и в их году, незабываемом девятьсот девятнадцатом, и в году опубликования повести, незабываемом тридцать седьмом.

Но для смеха нет неподходящих времен, и над Пушкиным, впервые узнавшим Пушкина, посмеивались и в девятнадцатом, и позднее, в тридцать седьмом, и в последующие года, казалось бы, мало подходящие для смеха.

Правда, смеялись по-доброму. И даже, можно сказать, с любовью.

Есть такой смех — с любовью и теплотой, смех, помогающий автору создать образ хорошего человека. Если хороший человек не вызывает улыбки, то он получается какой-то не живой. Вроде бронзовый, сидящий на пьедестале.

Хотя бронзовый тоже бывает совсем как живой...

Военмор Пушкин погиб, защищая Пушкина от Юденича. А для читателей он погиб в тридцать седьмом, в тот самый год, когда повесть была напечатана. В этот год отмечалось столетие смерти поэта.

Литература пытается повлиять на жизнь, а жизнь, в свою очередь, влияет на литературу. И чем теснее литература связана с жизнью, тем больше она подвержена изменениям. Изменится значение слова — и даже не значение, а всего лишь оттенок смысла, — и уже меняется общее настроение, и смешное уже вызывает грусть, а былая грусть вызывает улыбку.

Может быть, время, подобно старому корректору из книги Паустовского «Золотая роза», расставляет знаки препинания так что написанное уже не узнать? Этот корректор, о котором спустя много лет был написан рассказ «Случай в магазине Альшванга» обладал волшебной способностью влиять на ход события, ни сколько не прикасаясь к ним, а лишь расставляя знаки препинания.

Так действует Время. Оно расставляет свои знаки в зависимости от прожитых лет: в юности больше восклицательных, в старости больше вопросительных. Но знаки Времени зависят не только от наших лет, но и от самого Времени. Сколько оно поставило знаков препинания на пути нашей литературы! Для литературы это несколько десятков лет, а для писателя — вся жизнь. Для Паустовского, так же, как и для Платонова, Булгакова, Бабеля, это была вся их жизнь.

Время «Золотой розы» — это 1955 год, когда все восклицания остались позади, а впереди были одни вопросы. От этого особая интонация книги, в которой больше грусти, чем юмора, а юмор, там, где он присутствует, растворен так, что совершенно не чувствуется комков и крупиц, лишь едва уловимо им выблискивает повествование. Можно собрать его по блесткам, по искринкам, как собирал золотую розу парижский мусорщик Шовен, но лучше не собирать, у нас хватает кускового юмора.

Мне кажется, «Золотая роза» состоит из одних интонаций.

Но вдруг появляется корректор Время — и интонация резко меняется. И начало «Первого рассказа» звучит сегодня не так, как звучало тогда, когда было написано:

«Я возвращался на пароходе по Припяти из местечка Чернобыль...»

Юмор не только изменяется, он способен перевоплощаться. Был смешным — стал грустным, был добрым — стал злым. Был глупым, казалось, таким, что глупее некуда, и вдруг призадумался, стал на

глазах умнеть, словно он выкурил одиннадцатую трубку Ильи Эренбурга — не из трубок его, а из рассказов под общим названием «Тринадцать трубок».

Число тринадцать взято не произвольно, это именно чертова, а не другая какая-то дюжина. Так, например, приложившись к одиннадцатой трубке, представитель любого из двух полов превращается в свою противоположность.

Может, это происходит и с серьезными писателями? Выкурит такую трубку — и давай хохотать. И давай писать про то, как Эмма Кацельпуп преследует Женю Кискину, то и дело пробегая по распростертому на земле ответственному товарищу Гогоченко: «По дороге они сшибли автомобиль губисполкома, три агитационных киоска, крестный ход и даже стадо волов, шедших мирно на бойню. Весь город был охвачен паникой. Вскоре на помощь контуженному Гогоченко, по которому продолжали бегать две женщины, прибыли отряд милиции, пожарная команда, артиллерийские курсы... и поезд для пропаганды».

Литература — это не поезд для пропаганды, она не может быть серьезной от первого вагона до последнего. Поэтому ошибется тот, кто станет думать, что серьезные писатели — это всего лишь серьезные писатели, а смешные писатели — это всего лишь смешные писатели. Каждый писатель одновременно и больше себя — и меньше себя, он таит в себе свою же собственную противоположность.

Каждый человек таит в себе свою собственную противоположность. Именно это сочетание и составляет жизнь.

Ф. Кривин

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ
КРОКОДИЛ
НЕОБЫКНОВЕННОЕ СОБЫТИЕ,
ИЛИ ПАССАЖ В ПАССАЖЕ,
справедливая повесть о том, как один
господин, известных лет и известной
наружности, пассажным крокодилом
был проглочен живьем, весь без
остатка, и что из этого вышло

Ohè, Lambert! Où est Lambert?
As-tu vu Lambert? [\[1\]](#).

Сего тринадцатого января текущего шестьдесят пятого года, в половине первого пополудни, Елена Ивановна, супруга Ивана Матвеича, образованного друга моего, сослуживца и отчасти отдаленного родственника, пожелала посмотреть крокодила, показываемого за известную плату в Пассаже. Имея уже в кармане свой билет для выезда (не столько по болезни, сколько из любознательности) за границу, а следственно, уже считаясь по службе в отпуску и, стало быть, будучи совершенно в то утро свободен, Иван Матвеич не только не воспрепятствовал непреодолимому желанию своей супруги, но даже сам возгорелся любопытством. «Прекрасная идея, — сказал он вседовольно, — осмотрим крокодила! Собираясь в Европу, не худо познакомиться еще на месте с населяющими ее туземцами», — и с сими словами, приняв под ручку свою супругу, тотчас же отправился с нею в Пассаж. Я же, по обыкновению моему, увязался с ними рядом — в виде домашнего друга. Никогда еще я не видел Ивана Матвеича в более приятном расположении духа, как в то памятное для меня утро, — подлинно, что мы не знаем заранее судьбы своей! Войдя в Пассаж, он немедленно стал восхищаться великолепием здания, а подойдя к магазину, в котором показывалось вновь привезенное в столицу чудовище, сам пожелал заплатить за меня четвертак крокодильщику, чего прежде с ним никогда не случалось. Вступив в небольшую комнату, мы заметили, что в ней кроме крокодила заключаются еще попугаи из иностранной породы какаду и, сверх того, группа обезьян в особом шкафу в углублении. У самого же входа, у левой стены, стоял большой жестяной ящик в виде как бы ванны, накрытый крепкою железною сеткой, а на дне его было на вершок воды. В этой-то мелководной луже сохранился огромный крокодил, лежавший, как бревно, совершенно без движения и, видимо, лишившийся всех своих способностей от нашего сырого и негостеприимного для иностранцев климата. Сие чудовище ни в ком из нас сначала не возбудило особого любопытства.

— Так это-то крокодил! — сказала Елена Ивановна голосом сожаления и нараспев, — а я думала, что он... какой-нибудь другой!

Вероятнее всего, она думала, что он бриллиантовый. Вышедший к нам немец, хозяин, собственник крокодила, с чрезвычайно гордым видом смотрел на нас.

— Он прав, — шепнул мне Иван Матвейч, — ибо сознает, что он один во всей России показывает теперь крокодила.

Это совершенно вздорное замечание я тоже отношу к чрезмерно благодушному настроению, овладевшему Иваном Матвейчем, в других случаях весьма завистливым.

— Мне кажется, ваш крокодил не живой, — проговорила опять Елена Ивановна, пикированная неподатливостью хозяина, и с грациозной улыбкой обращаясь к нему, чтоб преклонить сего грубияна, — маневр, столь свойственный женщинам.

— О нет, мадам, — отвечал тот ломаным русским языком и тотчас же, приподняв до половины сетку ящика, стал палочкой тыкать крокодила в голову.

Тогда коварное чудовище, чтоб показать свои признаки жизни, слегка пошевелило лапами и хвостом, приподняло рыло и испустило нечто подобное продолжительному сопенью.

— Ну, не сердись, Карльхен! — ласкательно сказал немец, удовлетворенный в своем самолюбии.

— Какой противный этот крокодил! Я даже испугалась, — еще кокетливее пролепетала Елена Ивановна, — теперь он мне будет сниться во сне.

— Но он вас не укусит во сне, мадам, — галантерейно подхватил немец и прежде всех засмеялся остроумию слов своих, но никто из нас не отвечал ему.

— Пойдемте, Семен Семеныч, — продолжала Елена Ивановна, обращаясь исключительно ко мне, — посмотримте лучше обезьян. Я ужасно люблю обезьян; из них такие душки... а крокодил ужасен.

— О, не бойся, друг мой, — прокричал нам вслед Иван Матвейч, приятно храбрясь перед своею супругою. — Этот сонливый обитатель фараонова царства ничего нам не сделает, — и остался у ящика. Мало того, взяв свою перчатку, он начал щекотать ею нос крокодила, желая, как признался он после, заставить его вновь сопеть. Хозяин же последовал за Еленой Ивановной, как за дамою, к шкафу с обезьянами.

Таким образом, все шло прекрасно и ничего нельзя было предвидеть. Елена Ивановна даже до резвости развлеклась обезьянами и, казалось, вся отдалась им. Она вскрикивала от удовольствия, непрерывно обращаясь ко мне, как будто не желая и внимания обращать на хозяина, и хохотала от замечаемого ею сходства сих мартышек с ее короткими знакомыми и друзьями. Развеселился и я, ибо сходство было несомненное. Немец-собственник не знал, смеяться ему или нет, и потому под конец совсем нахмурился. И вот в это-то самое мгновение вдруг страшный, могу даже сказать, неестественный крик потряс комнату. Не зная, что подумать, я сначала оледенел на месте; но, замечая, что кричит уже и Елена Ивановна, быстро оборотился и — что же увидел я! Я увидел, — о боже! — я увидел несчастного Ивана Матвеича в ужасных челюстях крокодиловых, перехваченного ими поперек туловища, уже поднятого горизонтально на воздух и отчаянно болтавшего в нем ногами. Затем миг — и его не стало. Но опишу в подробности, потому что я все время стоял неподвижно и успел разглядеть весь происходивший передо мной процесс с таким вниманием и любопытством, какого даже и не запомню. «Ибо, — думал я в ту роковую минуту, — что, если б вместо Ивана Матвеича случилось все это со мной, — какова была бы тогда мне неприятность!» Но к делу. Крокодил начал с того, что, повернув бедного Ивана Матвеича в своих ужасных челюстях к себе ногами, сперва проглотил самые ноги; потом, отрыгнув немного Ивана Матвеича, старавшегося выскочить и цеплявшегося руками за ящик, вновь втянул его в себя уже выше поясицы. Потом, отрыгнув еще, плотнул еще и еще раз. Таким образом Иван Матвеич видимо исчезал в глазах наших. Наконец, плотнув окончательно, крокодил вобрал в себя всего моего образованного друга и на этот раз уже без остатка. На поверхности крокодила можно было заметить, как проходил по его внутренности Иван Матвеич со всеми своими формами. Я было уже готовился закричать вновь, как вдруг судьба еще раз захотела вероломно подшутить над нами: крокодил понатужился, вероятно давясь от огромности проглоченного им предмета, снова раскрыл всю ужасную пасть свою, и из нее, в виде последней отрыжки, вдруг на одну секунду выскочила голова Ивана Матвеича, с отчаянным выражением в лице, причем очки его мгновенно свалились с его носу на дно ящика. Казалось, эта отчаянная голова для того

только и выскочила, чтоб еще раз бросить последний взгляд на все предметы и мысленно проститься со всеми светскими удовольствиями. Но она не успела в своем намерении: крокодил вновь собрался с силами, плотнул — и вмиг она снова исчезла, в этот раз уже навеки. Это появление и исчезновение еще живой человеческой головы было так ужасно, но вместе с тем — от быстроты ли и неожиданности действия или вследствие падения с носу очков — заключало в себе что-то до того смешное, что я вдруг и совсем неожиданно фыркнул; но, спохватившись, что смеяться в такую минуту мне в качестве домашнего друга неприлично, обратился тотчас же к Елене Ивановне и с симпатическим видом сказал ей:

— Теперь капут нашему Ивану Матвеичу!

Не могу даже и подумать выразить, до какой степени было сильно волнение Елены Ивановны в продолжение всего процесса. Сначала, после первого крика, она как бы замерла на месте и смотрела на представлявшуюся ей кутерьму, по-видимому, равнодушно, но с чрезвычайно выкатившимися глазами; потом вдруг залилась раздирающим воплем, но я схватил ее за руки. В это мгновение и хозяин, сначала тоже отупевший от ужаса, вдруг всплеснул руками и закричал, глядя на небо:

— О мой крокодил, о мейн аллерлибстер Карльхен! Муттер, муттер, муттер! [2]

На этот крик отворилась задняя дверь и показалась муттер, в чепце, румяная, пожилая, но растрепанная, и с визгом бросилась к своему немцу.

Тут-то начался содом: Елена Ивановна выкрикивала, как истступленная, одно только слово: «Вспороть! вспороть!» — и бросалась к хозяину и к муттер, по-видимому, упрашивая их — вероятно, в самозабвении — кого-то и за что-то вспороть. Хозяин же и муттер ни на кого из нас не обращали внимания: они оба были, как телята, около ящика.

— Он пропадиль, он сейчас будет лопаль, потому что он проплатиль ганц [3] чиновник! — кричал хозяин.

— Унзер Карльхен, унзер аллерлибстер Карльхен винд штербен! [4] — выла хозяйка.

— Мы сиротт и без клерб! — подхватывал хозяин.

— Вспороть, вспороть, вспороть! — заливалась Елена Ивановна, вцепившись в сюртук немца.

— Он дразнил крокодил, — зачем ваш муж дразнил крокодил! — кричал, отбиваясь, немец, — вы заплатит, если Карльхен вирд лопаль, — дас вар мейн зон, дас вар мейн айнцигер зон! [5]

Признаюсь, я был в страшном негодовании, видя такой эгоизм заезжего немца и сухость сердца в его растрепанной муттер; и не менее непрерывно повторяемые крики Елены Ивановны: «Вспороть, вспороть!» — еще более возбуждали мое беспокойство и увлекли наконец все мое внимание, так что я даже испугался... Скажу заранее — странные сии восклицания были поняты мною совершенно превратно: мне показалось, что Елена Ивановна потеряла на мгновение рассудок, но тем не менее, желая отомстить за гибель любезного ей Ивана Матвеича, предлагала, в виде следуемого ей удовлетворения, наказать крокодила розгами. А между тем она разумела совсем другое. Не без смущения озираясь на дверь, начал я упрашивать Елену Ивановну успокоиться и, главное, не употреблять щекотливого слова «вспороть». Ибо такое ретроградное желание здесь, в самом сердце Пассажа и образованного общества, в двух шагах от той самой залы, где, может быть, в эту самую минуту господин Лавров читал публичную лекцию, — не только было невозможно, но даже немислимо и с минуты на минуту могло привлечь на нас свистки образованности и карикатуры г-на Степанова. К ужасу моему, я немедленно оказался прав в пугливых подозрениях моих: вдруг раздвинулась занавесь, отделявшая крокодилную от входной каморки, в которой собирали четвертаки, и на пороге показалась фигура с усами, с бородой и с фуражкой в руках, весьма сильно нагибавшаяся верхнею частью тела вперед и весьма предусмотрительно старавшаяся держать свои ноги за порогом крокодилной, чтоб сохранить за собой право не заплатить за вход.

— Такое ретроградное желание, сударыня, — сказал незнакомец, стараясь не перевертаться как-нибудь к нам и устоять за порогом, — не делает чести вашему развитию и обусловливается недостатком фосфору в ваших мозгах. Вы немедленно будете освистаны в хронике прогресса и в сатирических листках наших...

Но он не закончил: опомнившийся хозяин, с ужасом увидев человека, говорящего в крокодильной и ничего за это не заплатившего, с яростью бросился на прогрессивного незнакомца и обоими кулаками вытолкнул его в шею. На минуту оба скрылись из глаз наших за занавесью, и тут только я наконец догадался, что вся кутерьма вышла из ничего; Елена Ивановна оказалась совершенно невинною: она отнюдь и не думала, как уже заметил я выше, подвергать крокодила ретроградному и унижительному наказанию розгами, а просто-запросто пожелала, чтоб ему только вспороли ножом брюхо и таким образом освободили из его внутренности Ивана Матвеича.

— Как! ви хатит, чтоб мой крокодиль пропадиль! — завопил вбежавший опять хозяин, — нетт, пускай ваш муж сперва пропадиль, а потом крокодиль!.. Мейн фатер показаль крокодиль, мейн гросфатер [6] показаль крокодиль, мейн зон будет показать крокодиль, и я будет показать крокодиль! Все будут показать крокодиль! Я ганц Европа известен, а ви неизвестен ганц Европа и мне платит штраф.

— Я, я! — подхватила злобная немка, — ми вас не пускайт, штраф, когда Карльхен лопаль!

— Да и бесполезно вспарывать, — спокойно прибавил я, желая отвлечь Елену Ивановну поскорее домой, — ибо наш милый Иван Матвеич, по всей вероятности, парит теперь где-нибудь в эмпиреях.

— Друг мой, — раздался в эту минуту совершенно неожиданно голос Ивана Матвеича, изумивший нас до крайности, — друг мой, мое мнение — действовать прямо через контору надзирателя, ибо немец без помощи полиции не поймет истины.

Эти слова, высказанные твердо, с весом и выразившие присутствие духа необыкновенное, сначала до того изумили нас, что мы все отказались было верить ушам нашим. Но, разумеется, тотчас же подбежали к крокодильному ящику и столько же с благоговением, сколько и с недоверчивостью слушали несчастного узника. Голос его был заглушенный, тоненький и даже крикливый, как будто выходивший из значительного от нас отдаления. Похоже было на то, когда какой-либо шутник, уходя в другую комнату и закрыв рот обыкновенной спальной подушкой, начинает кричать, желая представить оставшейся в другой комнате публике, как перекликаются два мужика в пустыне или будучи разделены между

собою глубоким оврагом, — что я имел удовольствие слышать однажды у моих знакомых на святках.

— Иван Матвейч, друг мой, итак, ты жив! — лепетала Елена Ивановна.

— Жив и здоров, — отвечал Иван Матвейч, — и благодаря всевышнего проплочен без всякого повреждения. Беспокоюсь же единственно о том, как взглянет на сей эпизод начальство; ибо, получив билет за границу, угодил в крокодила, что даже и неостроумно...

— Но, друг мой, не заботься об остроумии; прежде всего надобно тебя отсюда как-нибудь выковырять, — прервала Елена Ивановна.

— Ковыряйт! — вскричал хозяин, — я не дам ковыряйт крокодилъ. Теперь публикум будет очень больше ходиль, а я буду фуфциг [7] копеек просиль, и Карльхен перестанет лопаль.

— Гот зей данк! [8] — подхватила хозяйка.

— Они правы, — спокойно заметил Иван Матвейч, — экономический принцип прежде всего.

— Друг мой, — закричал я, — сейчас же лечу по начальству и буду жаловаться, ибо предчувствую, что нам одним этой каши не сварить.

— И я то же думаю, — заметил Иван Матвейч, — но без экономического вознаграждения трудно в наш век торгового кризиса даром вспороть брюхо крокодилово, а между тем представляется неизбежный вопрос: что возьмет хозяин за своего крокодила? а с ним и другой: кто заплатит? ибо ты знаешь, я средств не имею...

— Разве в счет жалованья, — робко заметил я, но хозяин тотчас же меня прервал:

— Я не продавайт крокодилъ, я три тысячи продавайт крокодилъ, я четыре тысячи продавайт крокодилъ! Теперь публикум будет много ходиль. Я пять тысяч продавайт крокодилъ!

Одним словом, он куражился нестерпимо; корыстолюбие и гнусная алчность радостно сияли в глазах его.

— Еду! — закричал я в негодовании.

— И я! и я тоже! я поеду к самому Андрею Осипычу, я смягчу его моими слезами, — заныла Елена Ивановна.

— Не делай этого, друг мой, — поспешно прервал ее Иван Матвейч, ибо давно уже ревновал свою супругу к Андрею Осипычу и

знал, что она рада съездить поплакать перед образованным человеком, потому что слезы к ней очень шли. — Да и тебе, мой друг, не советую, — продолжал он, обращаясь ко мне, — нечего ехать прямо с бухты-баракты; еще что из этого выйдет. А заезжай-ка ты лучше сегодня, так, в виде частного посещения, к Тимофею Семенычу. Человек он старомодный и недалекий, но солидный и, главное, — прямой. Поклонись ему от меня и опиши обстоятельства дела. Так как я должен ему за последний ералаш семь рублей, то передай их ему при этом удобном случае: это смягчит сурового старика. Во всяком случае, его совет может послужить для нас руководством. А теперь уведи пока Елену Ивановну... Успокойся, друг мой, — продолжал он ей, — я устал от всех этих криков и бабьих дрязг и желаю немного соснуть. Здесь же тепло и мягко, хотя я и не успел еще осмотреться в этом неожиданном для меня убежище...

— Осмотреться! Разве тебе там светло? — вскрикнула обрадованная Елена Ивановна.

— Меня окружает непробудная ночь, — отвечал бедный узник, — но я могу щупать и, так сказать, осматриваться руками... Прощай же, будь спокойна и не отказывай себе в развлечениях. До завтра! Ты же, Семен Семеныч, побывай ко мне вечером, и так как ты рассеян и можешь забыть, то завяжи узелок...

Признаюсь, я и рад был уйти, потому что слишком устал, да отчасти и наскучило. Взяв поспешно под ручку унылую, но похорошевшую от волнения Елену Ивановну, я поскорее вывел ее из крокодильной.

— Вечером за вход опять четвертак! — крикнул нам вслед хозяин.

— О боже, как они жадны! — проговорила Елена Ивановна, глядясь в каждое зеркало в простенках Пассажа и, видимо, сознавая, что она похорошела.

— Экономический принцип, — отвечал я с легким волнением и гордясь моею дамою перед прохожими.

— Экономический принцип... — протянула она симпатическим голоском, — я ничего не поняла, что говорил сейчас Иван Матвеич об этом противном экономическом принципе.

— Я объясню вам, — отвечал я и немедленно начал рассказывать о благодетельных результатах привлечения иностранных капиталов в

наше отечество, о чем прочел еще утром в «Петербургских известиях» и в «Волосе».

— Как это все странно! — прервала она, прослушав некоторое время, — да перестаньте же, противный; какой вы вздор говорите... Скажите, я очень красна?

— Вы прекрасны, а не красны! — заметил я, пользуясь случаем сказать комплимент.

— Шалун! — пролепетала она самодовольно. — Бедный Иван Матвейч, — прибавила она через минуту, кокетливо склонив на плечо головку, — мне, право, его жаль, ах боже мой! — вдруг вскрикнула она, — скажите, как же он будет сегодня там кушать и... и... как же он будет... если ему чего-нибудь будет надобно?

— Вопрос непредвиденный, — отвечал я, тоже озадаченный. Мне, по правде, это не приходило и в голову, до того женщины практичнее нас, мужчин, при решении житейских задач!

— Бедняжка, как это он так втюрился... и никаких развлечений и темно... как досадно, что у меня не осталось его фотографической карточки... Итак, я теперь вроде вдовы, — прибавила она с обольстительной улыбкой, очевидно интересуясь новым своим положением, — гм... все-таки мне его жаль!..

Одним словом, выражалась весьма понятная и естественная тоска молодой и интересной жены о погибшем муже. Я привел ее наконец домой, успокоил и, пообедав вместе с нею, после чашки ароматного кофе, отправился в шесть часов к Тимофею Семенычу, рассчитывая, что в этот час все семейные люди определенных занятий сидят или лежат по домам.

Написав сию первую главу слогом, приличным рассказанному событию, я намерен далее употреблять слог хотя и не столь возвышенный, но зато более натуральный, о чем и извещаю заранее читателя.

II

Почтенный Тимофей Семеныч встретил меня как-то торопливо и как будто немного смешавшись. Он провел меня в свой тесный кабинет и плотно притворил дверь: «Чтобы дети не мешали», — проговорил он с видимым беспокойством. Затем посадил меня на стул у письменного стола, сам сел в кресла, запахнул полы своего старого ватного халата и принял на всякий случай какой-то официальный, даже почти строгий вид, хотя вовсе не был моим или Ивана Матвеича начальником, а считался до сих пор обыкновенным сослуживцем и даже знакомым.

— Прежде всего, — начал он, — возьмите во внимание, что я не начальство, а такой же точно подначальный человек, как и вы, как и Иван Матвеич... Я сторона-с и ввязываться ни во что не намерен.

Я удивился, что, по-видимому, он уже все это знает. Несмотря на то, рассказал ему вновь всю историю с подробностями. Говорил я даже с волнением, ибо исполнял в эту минуту обязанность истинного друга. Он выслушал без особого удивления, но с явным признаком подозрительности.

— Представьте, — сказал он, выслушав, — я всегда полагал, что с ним непременно это случится.

— Почему же-с, Тимофей Семеныч, случай сам по себе весьма необыкновенный-с...

— Согласен. Но Иван Матвеич во все течение службы своей именно клонил к такому результату. Прыток-с, заносчив даже. Все «прогресс» да разные идеи-с, а вот куда прогресс-то приводит!

— Но ведь это случай самый необыкновенный, и общим правилом для всех прогрессистов его никак нельзя положить...

— Нет, уж это так-с. Это, видите ли, от излишней образованности происходит, поверьте мне-с. Ибо люди излишне образованные лезут во всякое место-с и преимущественно туда, где их вовсе не спрашивают. Впрочем, может, вы больше знаете, — прибавил он, как бы обижаясь. — Я человек не столь образованный и старый; с солдатских детей начал, и службе моей пятидесятилетний юбилей сего года пошел-с.

— О нет, Тимофей Семеныч, помилуйте. Напротив, Иван Матвеич жаждет вашего совета, руководства вашего жаждет. Даже, так сказать, со слезами-с.

— «Так сказать со слезами-с». Гм. Ну, это слезы крокодиловы, и им не совсем можно верить. Ну, зачем, скажите, потянуло его за границу? Да и на какие деньги? Ведь он и средств не имеет?

— На скопленное, Тимофей Семеныч, из последних наградных, — отвечал я жалобно. — Всего на три месяца хотел съездить, — в Швейцарию... на родину Вильгельма Телля.

— Вильгельма Телля? Гм!

— В Неаполе встретить весну хотел-с. Осмотреть музей, нравы, животных...

— Гм! животных? А по-моему, так просто из гордости. Каких животных? Животных? Разве у нас мало животных? Есть зверинцы, музеи, верблюды. Медведи под самым Петербургом живут. Да вот он и сам засел в крокодиле...

— Тимофей Семеныч, помилуйте, человек в несчастье, человек прибегает как к другу, как к старшему родственнику, совета жаждет, а вы — укоряете... Пожалейте хоть несчастную Елену Ивановну!

— Это вы про супругу-с? Интересная дамочка, — проговорил Тимофей Семеныч, видимо смягчаясь и с аппетитом нюхнув табаку. — Особа сублильная. И как полна, и головку все так на бочок, на бочок... очень приятно-с. Андрей Осипыч еще третьего дня упоминал.

— Упоминал?

— Упоминал-с, и в выражениях весьма лестных. Бюст, говорит, взгляд, прическа... Конфетка, говорит, а не дамочка, и тут же засмеялись. Молодые они еще люди. — Тимофей Семеныч с треском высморкался. — А между тем вот и молодой человек, а какую карьеру себе составляют-с...

— Да ведь тут совсем другое, Тимофей Семеныч.

— Конечно, конечно-с.

— Так как же, Тимофей Семеныч?

— Да что же я-то могу сделать?

— Посоветуйте-с, руководите, как опытный человек, как родственник! Что предпринять? Идти ли по начальству или...

— По начальству? Отнюдь нет-с, — торопливо произнес Тимофей Семеныч. — Если хотите совета, то прежде всего надо это дело замять и действовать, так сказать, в виде частного лица. Случай подозрительный-с, да и небывалый. Главное, небывалый, примера не было-с, да и плохо рекомендуемый... Поэтому осторожность прежде всего... Пусть уж там себе полежит. Надо выждать, выждать...

— Да как же выждать, Тимофей Семеныч? Ну что, если он там задохнется?

— Да почему же-с? Ведь вы, кажется, говорили, что он даже с довольным комфортом устроился?

Я рассказал все опять. Тимофей Семеныч задумался.

— Гм! — проговорил он, вертя табакерку в руках, — по-моему, даже и хорошо, что он там на время полежит, вместо заграницы-то-с. Пусть на досуге подумает; разумеется, задыхаться не надо, и потому надо взять надлежащие меры для сохранения здоровья: ну, там, остерегаться кашля и прочего... А что касается немца, то, по моему личному мнению, он в своем праве, и даже более другой стороны, потому что в его крокодила влезли без спросу, а не он влез без спросу в крокодила Ивана Матвеичева, у которого, впрочем, сколько я запомню, и не было своего крокодила. Ну-с, а крокодил составляет собственность, стало быть, без вознаграждения его взрезать нельзя-с.

— Для спасения человечества, Тимофей Семеныч.

— Ну уж это дело полиции-с. Туда и следует отнестись.

— Да ведь Иван Матвеич может и у нас понадобиться. Его могут потребовать-с.

— Иван-то Матвеич понадобиться? хе-хе! К тому же ведь он считается в отпуску, стало быть, мы можем и игнорировать, а он пусть осматривает там европейские земли. Другое дело, если он после срока не явится, ну тогда и спросим, справки наведем...

— Три-то месяца! Тимофей Семеныч, помилуйте!

— Сам виноват-с. Ну, кто его туда совал? Эдак, пожалуй, придется ему казенную няньку нанять-с, а этого и по штату не полагается. А главное — крокодил есть собственность, стало быть, тут уже так называемый экономический принцип в действии. А экономический принцип прежде всего-с. Еще третьего дня у Луки Андреича на вечере Игнатий Прокофьич говорил, Игнатия Прокофьича знаете? Капиталист, при делах-с, и знаете складно так

говорит: «Нам нужна, говорит, промышленность, промышленности у нас мало. Надо ее родить. Надо капиталы родить, значит, среднее сословие, так называемую буржуазию надо родить. А так как нет у нас капиталов, значит, надо их из-за границы привлечь. Надо, во-первых, дать ход иностранным компаниям для скупки по участкам наших земель, как везде утверждено теперь за границей. Общинная собственность — яд, говорит, гибель! — И, знаете, с жаром так говорит; ну, им прилично: люди капитальные... да и не служащие. — С общиной, говорит, ни промышленность, ни земледелие не возвысятся. Надо, говорит, чтоб иностранные компании скупили по возможности всю нашу землю по частям, а потом дробить, дробить, дробить как можно в мелкие участки, и знаете — решительно так произносит: ддррробить, говорит, а потом и продавать в личную собственность. Да и не продавать, а просто арендовать. Когда, говорит, вся земля будет у привлеченных иностранных компаний в руках, тогда, значит, можно какую угодно цену за аренду назначить. Стало быть, мужик будет работать уже втрое, из одного насущного хлеба, и его можно когда угодно согнать. Значит, он будет чувствовать, будет покорен, прилежен и втрое за ту же цену выработает. А теперь в общине что ему! Знает, что с голоду не помрет, ну и ленится, и пьянствует. А меж тем к нам и деньги привлекутся, и капиталы заведутся, и буржуазия пойдет. Вон и английская политическая и литературная газета «Теймс», разбирая наши финансы, отзывалась намерении, что потому и не растут наши финансы, что среднего сословия нет у нас, кошель больших нет, пролетариев услужливых нет...» Хорошо говорит Игнатий Прокофьич. Оратор-с. Сам по начальству отзыв хочет подать и потом в «Известиях» напечатать. Это уж не стишки, подобно Ивану Матвеичу...

— Так как же Иван-то Матвеич? — ввернул я, дав поболтать старику. Тимофей Семеныч любил иногда поболтать и тем показать, что и он не отстал и все это знает.

— Иван-то Матвеич как-с? Так ведь я к тому и клоню-с. Сами же мы вот хлопочем о привлечении иностранных капиталов в отечество, а вот посудите: едва только капитал привлеченного крокодильщика удвоился через Ивана Матвеича, а мы, чем бы протезировать иностранного собственника, напротив, стараемся самому-то основному капиталу брюхо вспороть. Ну, сообразно ли это? По-моему,

Иван Матвейч, как истинный сын отечества, должен еще радоваться и гордиться тем, что собою ценность иностранного крокодила удвоил, а пожалуй, еще и утроил. Это для привлечения надобно-с. Удастся одному, смотришь, и другой с крокодилем приедет, а третий уж двух и трех зараз привезет, а около них капиталы группируются. Вот и буржуазия. Надобно поощрять-с.

— Помилуйте, Тимофей Семеныч! — вскричал я, — да вы требуете почти неестественного самоотвержения от бедного Ивана Матвейча!

— Ничего я не требую-с и прежде всего прошу вас — как уже и прежде просил — сообразить, что я не начальство и, стало быть, требовать ни от кого и ничего не могу. Как сын отечества говорю, то есть говорю не как «Сын отечества», а просто как сын отечества говорю. Опять-таки кто ж велел ему влезть в крокодила? Человек солидный, человек известного чина, состоящий в законном браке, и вдруг — такой шаг! Сообразно ли это?

— Но ведь этот шаг случился нечаянно-с.

— А кто его знает? И притом из каких сумм заплатить крокодилыщику, скажите-ка?

— Разве в счет жалованья, Тимофей Семеныч?

— Достанет ли-с?

— Недостанет, Тимофей Семеныч, — отвечал я с грустью. — Крокодилыщик сначала испугался, что лопнет крокодил, а потом, как убедился, что все благополучно, заважничал и обрадовался, что может цену удвоить.

— Утроить, учетверить разве! Публика теперь прихлынет, а крокодилышки ловкий народ. К тому же и мясоед, склонность к увеселениям и потому, повторяю, прежде всего пусть Иван Матвейч наблюдает инкогнито, пусть не торопится. Пусть все, пожалуй, знают, что он в крокодиле, но не знают официально. В этом отношении Иван Матвейч находится даже в особенно благоприятных обстоятельствах, потому что числится за границей. Скажут, что в крокодиле, а мы и не поверим. Это можно так подвести. Главное — пусть выжидает, да и куда ему спешить?

— Ну, а если...

— Не беспокойтесь, сложения плотно-с...

— Ну, а потом, когда выждет?

— Ну-с, не скрою от вас, что случай до крайности казусный. Сообразиться нельзя-с, и, главное, то вредит, что не было до сих пор примера подобного. Будь у нас пример, еще можно бы как-нибудь руководствоваться. А то как тут решишь? Станешь соображать, а дело затянется.

Счастливая мысль блеснула у меня в голове.

— Нельзя ли устроить так-с, — сказал я, — что уж если суждено ему оставаться в недрах чудовища и, волею провидения, сохранится его живот, нельзя ли подать ему прошение о том, чтобы числиться на службе?

— Гм... разве в виде отпуска и без жалованья...

— Нет-с, нельзя ли с жалованьем-с?

— На каком же основании?

— В виде командировки...

— Какой и куда?

— Да в недра же, в крокодиловы недра... Так сказать, для справок, для изучения фактов на месте. Конечно, это будет ново, но ведь это прогрессивно и в то же время покажет заботливость о просвещении-с...

Тимофей Семеныч задумался.

— Командировать особого чиновника, — сказал он наконец, — в недра крокодила для особых поручений, по моему личному мнению, — нелепо-с. По штату не полагается. Да и какие могут быть туда поручения?

— Да для естественного, так сказать, изучения природы на месте, в живье-с. Нынче все пошли естественные науки-с, ботаника... Он бы там жил и сообщал-с... ну, там о пищеварении или просто о нравах. Для скопления фактов-с.

— То есть это по части статистики. Ну, в этом я не силен, да и не философ. Вы говорите: факты, — мы и без того завалены фактами и не знаем, что с ними делать. Притом же эта статистика опасна...

— Чем же-с?

— Опасна-с. И к тому ж, согласитесь, он будет сообщать факты, так сказать, лежа на боку. А разве можно служить, лежа на боку? Это уж опять нововведение, и притом опасное-с; и опять-таки примера такого не было. Вот если б нам хоть какой-нибудь примерчик, так, по моему мнению, пожалуй, и можно бы командировать.

— Но ведь и крокодилов живых не привозили до сих пор, Тимофей Семеныч.

— Гм, да... — он опять задумался. — Если хотите, это возражение ваше справедливо и даже могло бы служить основанием к дальнейшему производству дела. Но опять возьмите и то, что если с появлением живых крокодилов начнут исчезать служащие и потом, на основании того, что там тепло и мягко, будут требовать туда командировок, а потом лежать на боку... согласитесь сами — дурной пример-с. Ведь эдак, пожалуй, всякий туда ползет даром деньги-то брать.

— Порадейте, Тимофей Семеныч! Кстати-с: Иван Матвеич просил передать вам карточный должок, семь рублей, в ералаш-с...

— Ах, это он проиграл намедни, у Никифор Никифoryча! Помню-с. И как он тогда был весел, смешил, и вот!..

Старик был искренно тронут.

— Порадейте, Тимофей Семеныч.

— Похлопочу-с. От своего лица поговорю, частным образом, в виде справки. А впрочем, разузнайте-ка так, неофициально, со стороны, какую именно цену согласился бы взять хозяин за своего крокодила?

Тимофей Семеныч видимо подобрел.

— Непременно-с, — отвечал я, — и тотчас же явлюсь к вам с отчетом.

— Супруга-то... одна теперь? Скучает?

— Вы бы навестили, Тимофей Семеныч.

— Навещу-с, я еще давеча подумал, да и случай удобный... И зачем, зачем это его дергало смотреть крокодила! А впрочем, я бы и сам желал посмотреть.

— Навестите-ка бедного, Тимофей Семеныч.

— Навещу-с. Конечно, я этим шагом моим не хочу обнадеживать. Я прибуду как частное лицо... Ну-с, до свиданья, я ведь опять к Никифор Никифoryчу; будете?

— Нет-с, я к узнику.

— Да-с, вот теперь и к узнику!.. Э-эх, легкомыслие!

Я распростился с стариком. Разнообразные мысли ходили в моей голове. Добрый и честнейший человек Тимофей Семеныч, а, выходя от него, я, однако, порадовался, что ему был уже пятидесятилетний

юбилей и что Тимофеи Семенычи у нас теперь редкость. Разумеется, я тотчас полетел в Пассаж обо всем сообщить бедняжке Ивану Матвеичу. Да и любопытство разбирало меня: как он там устроился в крокодиле и как это можно жить в крокодиле? Да и можно ли действительно жить в крокодиле? Порой мне, право, казалось, что все это какой-то чудовищный сон, тем более что и дело-то шло о чудовище...

III

И, однако ж, это был не сон, а настоящая, несомненная действительность. Иначе — стал ли бы я и рассказывать! Но продолжаю...

В Пассаж я попал уже поздно, около девяти часов, и в крокодильную принужден был войти с заднего хода, потому что немец запер магазин на этот раз ранее обыкновенного. Он расхаживал по-домашнему в каком-то засаленном старом сюртучишке, но сам еще втрое довольнее, чем давеча утром. Видно было, что он уже ничего не боится и что «публикум много ходиль». Муттер вышла уже потом, очевидно затем, чтобы следить за мной. Немец с муттер часто перешептывались. Несмотря на то, что магазин был уже заперт, он все-таки взял с меня четвертак. И что за ненужная аккуратность!

— Ви каждый раз будет платиль; публикум будут рубль платиль, а ви один четвертак, ибо ви добры друк вашего добры друк, а я почитаю друк...

— Жив ли, жив ли образованный друг мой! — громко вскричал я, подходя к крокодилу и надеясь, что слова мои еще издали достигнут Ивана Матвеича и польстят его самолюбию.

— Жив и здоров, — отвечал он, как будто издали или как бы из-под кровати, хотя я стоял подле него, — жив и здоров, но об этом после... Как дела?

Как бы нарочно не расслышав вопроса, я было начал с участием и поспешностью сам его расспрашивать: как он, что он и каково в крокодиле и что такое вообще внутри крокодила? Это требовалось и дружеством и обыкновенною вежливостью. Но он капризно и с досадой перебил меня.

— Как дела? — прокричал он, по обыкновению мною командуя, своим визгливым голосом, чрезвычайно на этот раз отвратительным.

Я рассказал всю мою беседу с Тимофеем Семенычем до последней подробности. Рассказывая, я старался выказать несколько обиженный тон.

— Старик прав, — решил Иван Матвеич так же резко, как и по всегдашнему обыкновению своему в разговорах со мной. —

Практических людей люблю и не терплю сладких мямлей. Готов, однако, сознаться, что и твоя идея насчет командировки не совершенно нелепа. Действительно, многое могу сообщить и в научном, и в нравственном отношении. Но теперь это все принимает новый и неожиданный вид и не стоит хлопотать из одного только жалованья. Слушай внимательно. Ты сидишь?

— Нет, стою.

— Садись на что-нибудь, ну хоть на пол, и слушай внимательно.

Со злобою взял я стул и в сердцах, устанавливая, стукнул им об пол.

— Слушай, — начал он повелительно, — публики сегодня приходило целая бездна. К вечеру не хватило места и для порядка явилась полиция. В восемь часов, то есть ранее обыкновенного, хозяин нашел даже нужным запереть магазин и прекратить представление, чтоб сосчитать привлеченные деньги и удобнее приготовиться к завтраму. Знаю, что завтра соберется целая ярмарка. Таким образом, надо полагать, что все образованнейшие люди столицы, дамы высшего общества, иноземные посланники, юристы и прочие здесь перебиваются. Мало того: станут наезжать из многосторонних провинций нашей обширной и любопытной империи. В результате — я у всех на виду, и хоть спрятанный, но первенствую. Стану поучать праздную толпу. Наученный опытом, представлю из себя пример величия и смирения перед судьбою! Буду, так сказать, кафедрой, с которой начну поучать человечество. Даже одни естественнонаучные сведения, которые могу сообщить об обитаемом мною чудовище, — драгоценны. И потому не только не ропщу на давешний случай, но твердо надеюсь на блистательнейшую из карьер.

— Не наскучило бы? — заметил я ядовито.

Всего более обозлило меня то, что он почти уже совсем перестал употреблять личные местоимения — до того заважничал. Тем не менее все это меня сбilo с толку. «С чего, с чего эта легкомысленная башка куражится! — скрежетал я шепотом про себя. — Тут надо плакать, а не куражиться».

— Нет! — отвечал он резко на мое замечание, — ибо весь проникнут великими идеями, только теперь могу на досуге мечтать об улучшении судьбы всего человечества. Из крокодила выйдет теперь

правда и свет. Несомненно изобрету новую собственную теорию новых экономических отношений и буду гордиться ею — чего доселе не мог за недосугом по службе и в пошлых развлечениях света. Опровергну все и буду новый Фурье. Кстати, отдал семь рублей Тимофею Семенычу?

— Из своих, — ответил я, стараясь выразить голосом, что заплатил из своих.

— Сочтемся, — ответил он высокомерно. — Прибавки оклада жду всенепременно, ибо кому же и прибавлять, как не мне? Польза от меня теперь бесконечная. Но к делу. Жена?

— Ты, вероятно, спрашиваешь о Елене Ивановне?

— Жена?! — закричал он даже с каким-то на этот раз визгом.

Нечего было делать! Смиренно, но опять-таки скрежеща зубами, рассказал я, как оставил Елену Ивановну. Он даже и не дослушал.

— Имею на нее особые виды, — начал он нетерпеливо. — Если буду знаменит *здесь*, то хочу, чтоб она была знаменита *там*. Ученые, поэты, философы, заезжие минералоги, государственные мужи после утренней беседы со мной будут посещать по вечерам ее салон. С будущей недели у нее должны начаться каждый вечер салоны. Удвоенный оклад будет давать средства к приему, а так как прием должен ограничиваться одним чаем и нанятыми лакеями, то и делу конец. И здесь и там будут говорить обо мне. Давно жаждал случая, чтоб все говорили обо мне, но не мог достигнуть, скованный малым значением и недостаточным чином. Теперь же все это достигнуто каким-нибудь самым обыкновенным плотком крокодила. Каждое слово мое будет выслушиваться, каждое изречение обдумываться, передаваться, печататься. И я задам себя знать! Поймут наконец, каким способностям дали исчезнуть в недрах чудовища. «Этот человек мог быть иностранным министром и управлять королевством», — скажут одни. «И этот человек не управлял иностранным королевством», — скажут другие. Ну чем, ну чем я хуже какого-нибудь Гарнье-Пажесишки или как их там?.. Жена должна составлять мне пандан ^[9] — у меня ум, у нее красота и любезность. «Она прекрасна, потому и жена его», — скажут одни. «Она прекрасна, *потому что жена его*», — поправят другие. На всякий случай пусть Елена Ивановна завтра же купит энциклопедический словарь, издававшийся под редакцией Андрея Краевского, чтоб уметь

говорить обо всех предметах. Чаще же всего пусть читает premier-политик ^[10]«С.-Петербургских известий», сверяя каждодневно с «Волосом». Полагаю, что хозяин согласится иногда приносить и меня, вместе с крокодилем, в блестящий салон жены моей. Я буду стоять в ящике среди великолепной гостиной и буду сыпать остротами, которые подберу еще с утра. Государственному мужу сообщу мои проекты; с поэтом буду говорить в рифму; с дамами буду забавен и нравственно-мил, — так как вполне безопасен для их супругов. Всем остальным буду служить примером покорности судьбе и воле провидения. Жену сделаю блестящею литературною дамою; я ее выдвину вперед и объясню ее публике; как жена моя, она должна быть полна величайших достоинств, и если справедливо называют Андрея Александровича нашим русским Альфредом де Мюссе, то еще справедливее будет, когда назовут ее нашей русской Евгенией Тур.

Признаюсь, хотя вся эта дичь и походила несколько на всегдашнего Ивана Матвеича, но мне все-таки пришло в голову, что он теперь в горячке и бредит. Это был все тот же обыкновенный и ежедневный Иван Матвеич, но наблюдаемый в стекло, в двадцать раз увеличивающее.

— Друг мой, — спросил я его, — надеешься ли ты на долговечность? И вообще скажи: здоров ли ты? Как ты ешь, как ты спишь, как ты дышишь? Я друг тебе, и согласись, что случай слишком сверхъестественный, а следовательно, любопытство мое слишком естественно.

— Праздное любопытство и больше ничего, — отвечал он сентенциозно, — но ты будешь удовлетворен. Спрашиваешь, как устроился я в недрах чудовища? Во-первых, крокодил, к удивлению моему, оказался совершенно пустой. Внутренность его состоит как бы из огромного пустого мешка, сделанного из резинки, вроде тех резиновых изделий, которые распространены у нас в Гороховой, в Морской и, если не ошибаюсь, на Вознесенском проспекте. Иначе, сообрази, мог ли бы я в нем поместиться?

— Возможно ли? — вскричал я в понятном изумлении. — Неужели крокодил совершенно пустой?

— Совершенно, — строго и внушительно подтвердил Иван Матвеич. — И, по всей вероятности, он устроен так по законам самой природы. Крокодил обладает только пастью, снабженною острыми

зубами, и вдобавок к пасти — значительно длинным хвостом — вот и все, по-настоящему. В середине же между сими двумя его оконечностями находится пустое пространство, обнесенное чем-то вроде каучука, вероятнее же всего действительно каучуком.

— А ребра, а желудок, а кишки, а печень, а сердце? — прервал я даже со злобою.

— Н-ничего, совершенно ничего этого нет и, вероятно, никогда не бывало. Все это — праздная фантазия легкомысленных путешественников. Подобно тому как надувают геморроидальную подушку, так и я надуваю теперь собой крокодила. Он растяжим до невероятности. Даже ты, в качестве домашнего друга, мог бы поместиться со мной рядом, если б обладал великодушием, и даже с тобой еще достало бы места. Я даже думаю в крайнем случае выписать сюда Елену Ивановну. Впрочем, подобное пустопорожнее устройство крокодила совершенно согласно с естественными науками. Ибо, положим например, тебе дано устроить нового крокодила — тебе, естественно, представляется вопрос: какое основное свойство крокодилово? Ответ ясен: плотать людей. Как же достигнуть устройством крокодила, чтоб он плотал людей? Ответ еще яснее: устроив его пустым. Давно уже решено физикой, что природа не терпит пустоты. Подобно сему и внутренность крокодилова должна именно быть пустою, чтоб не терпеть пустоты, а, следственно, беспрерывно плотать и наполняться всем, что только есть под рукою. И вот единственная разумная причина, почему все крокодилы плотают нашего брата. Не так в устройстве человеческом: чем пустее, например, голова человеческая, тем менее она ощущает жажды наполниться, и это единственное исключение из общего правила. Все это мне теперь ясно, как день, все это я постиг собственным умом и опытом, находясь, так сказать, в недрах природы, в ее реторте, прислушиваясь к биению пульса ее. Даже этимология согласна со мною, ибо самое название крокодил означает прожорливость. Крокодил, Crocodillo, — есть слово, очевидно, итальянское, современное, может быть, древним фараонам египетским и, очевидно, происходящее от французского корня: croquer, что означает съесть, скушать и вообще употребить в пищу. Все это я намерен прочесть в виде первой лекции публике, собравшейся в салоне Елены Ивановны, когда меня принесут туда в ящике.

— Друг мой, не принять ли тебе теперь хоть слабительного! — вскричал я невольно. «У него жар, жар, он в жару!» — повторял я про себя в ужасе.

— Вздор! — отвечал он презрительно, — и к тому же в теперешнем положении моем это совсем неудобно. Впрочем, я отчасти знал, что ты заговоришь о слабительном.

— Друг мой, а как... как же ты теперь употребляешь пищу? Обедал ты сегодня или нет?

— Нет, но сыт и, вероятнее всего, теперь уже никогда не буду употреблять пищи. И это тоже совершенно понятно: наполняя собою всю внутренность крокодилову, я делаю его навсегда сытым. Теперь его можно не кормить несколько лет. С другой стороны, — сытый мною, он естественно сообщит и мне все жизненные соки из своего тела; это вроде того, как некоторые утонченные кокетки обкладывают себя и все свои формы на ночь сырыми котлетами и потом, приняв утреннюю ванну, становятся свежими, упругими, сочными и обольстительными. Таким образом, питая собою крокодила, я, обратно, получаю и от него питание; следовательно — мы взаимно кормим друг друга. Но так как трудно, даже и крокодилу, переваривать такого человека, как я, то уж, разумеется, он должен при этом ощущать некоторую тяжесть в желудке, — которого, впрочем, у него нет, — и вот почему, чтоб не доставить излишней боли чудовищу, я редко ворочаюсь с боку на бок; и хотя бы и мог ворочаться, но не делаю сего из гуманности. Это единственный недостаток теперешнего моего положения, и в аллегорическом смысле Тимофей Семеныч справедлив, называя меня лежебокой. Но я докажу, что и лежа на боку, — мало того, — что только лежа на боку и можно перевернуть судьбу человечества. Все великие идеи и направления наших газет и журналов, очевидно, произведены лежебоками; вот почему и называют их идеями кабинетными, но наплевать, что так называют! Я изобрету теперь целую социальную систему, и — ты не поверишь — как это легко! Стоит только уединиться куда-нибудь подальше в угол или хоть попасть в крокодила, закрыть глаза, и тотчас же изобретешь целый рай для всего человечества. Давеча, как вы ушли, я тотчас же принялся изобретать и изобрел уже три системы, теперь изготавливаю четвертую. Правда, сначала надо все опровергнуть; но из крокодила так легко опровергать; мало того, из крокодила как будто это виднее

становится... Впрочем, в моем положении существуют и еще недостатки, хотя и мелкие: внутри крокодила несколько сыро и как будто покрыто слизью да, сверх того, еще несколько пахнет резинкой, точь-в-точь как от моих прошлогодних калош. Вот и все, более нет никаких недостатков.

— Иван Матвейч, — прервал я, — все это чудеса, которым я едва могу верить. И неужели, неужели ты всю жизнь не намерен обедать?

— О каком вздоре заботишься ты, беспечная, праздная голова! Я тебе о великих идеях рассказываю, а ты... Знай же, что я сыт уже одними великими идеями, озарившими ночь, меня окружившую. Впрочем, добродушный хозяин чудовища, сговорившись с добрейшею муттер, решили давеча промеж себя, что будут каждое утро просовывать в пасть крокодила изогнутую металлическую трубочку, вроде дудочки, через которую я бы мог втягивать в себя кофе или бульон с размоченным в нем белым хлебом. Дудочка уже заказана по соседству, но полагаю, что это излишняя роскошь. Прожить же надеюсь по крайней мере тысячу лет, если справедливо, что по столько лет живут крокодилы, о чем, благо напомнил, справься завтра же в какой-нибудь естественной истории и сообщи мне, ибо я мог ошибиться, смешав крокодила с каким-нибудь другим ископаемым. Одно только соображение несколько смущает меня: так как я одет в сукно, а на ногах у меня сапоги, то крокодил, очевидно, меня не может переварить. Сверх того, я живой и потому сопротивляюсь переварению меня всею моею волею, ибо понятно, что не хочу обратиться в то, во что обращается всякая пища, так как это было бы слишком для меня унижительно. Но боюсь одного: в тысячелетний срок сукно сюртука моего, к несчастью русского изделия, может истлеть, и тогда я, оставшись без одежды, несмотря на все мое негодование, начну, пожалуй, и перевариваться; и хоть днем я этого ни за что не допущу и не позволю, но по ночам, во сне, когда воля отлетает от человека, меня может постичь самая унижительная участь какого-нибудь картофеля, блинов или телятины. Такая идея приводит меня в бешенство. Уже по одной этой причине надо бы изменить тариф и поощрять привоз сукон английских, которые крепче, а следовательно, и дольше будут сопротивляться природе, в случае если попадешь в крокодила. При первом случае сообщу мысль мою кому-либо из людей государственных, а вместе с тем и политическим

обозревателям наших ежедневных петербургских газет. Пусть прокричат. Надеюсь, что не одно это они теперь от меня позаимствуют. Предвижу, что каждое утро целая толпа их, вооруженная редакционными четвертаками, будет тесниться кругом меня, чтоб уловить мои мысли насчет вчерашних телеграмм. Короче — будущность представляется мне в самом розовом свете.

«Горячка, горячка!» — шептал я про себя.

— Друг мой, а свобода? — проговорил я, желая вполне узнать его мнение. — Ведь ты, так сказать, в темнице, тогда как человек должен наслаждаться свободой.

— Ты глуп, — отвечал он. — Люди дикие любят независимость, люди мудрые любят порядок, а нет порядка...

— Иван Матвеич, пощади и помилуй!

— Молчи и слушай! — взвизгнул он в досаде, что я перебил его. — Никогда не воспарял я духом так, как теперь. В моем тесном убежище одного боюсь — литературной критики толстых журналов и свиста сатирических газет наших. Боюсь, чтоб легкомысленные посетители, глупцы и завистники и вообще нигилисты не подняли меня на смех. Но я приму меры. С нетерпением жду завтрашних отзывов публики, а главное — мнения газет. О газетах сообщи завтра же.

— Хорошо, завтра же принесу сюда целый ворох газет.

— Завтра еще рано ждать газетных отзывов, ибо объявления печатаются только на четвертый день. Но отныне каждый вечер приходи через внутренний ход со двора. Я намерен употреблять тебя как моего секретаря. Ты будешь мне читать газеты и журналы, а я буду диктовать тебе мои мысли и давать поручения. В особенности не забывай телеграмм. Каждый день чтоб были здесь все европейские телеграммы. Но довольно; вероятно, ты теперь хочешь спать. Ступай домой и не думай о том, что я сейчас говорил о критике: я не боюсь ее, ибо сама она находится в критическом положении. Стоит только быть мудрым и добродетельным, и непременно станешь на пьедестал. Если не Сократ, то Диоген, или то и другое вместе, и вот будущая роль моя в человечестве.

Так легкомысленно и навязчиво (правда, — в горячке) торопился высказаться передо мной Иван Матвеич, подобно тем слабохарактерным бабам, про которых говорит пословица, что они не

могут удержать секрета. Да и все то, что сообщил он мне о крокодиле, показалось мне весьма подозрительным. Ну как можно, чтоб крокодил был совершенно пустой? Бьюсь об заклад, что в этом он прихвастнул из тщеславия и отчасти, чтоб меня унижить. Правда, он был больной, а больному надо уважить; но, признаюсь откровенно, я всегда терпеть не мог Ивана Матвеича. Всю жизнь, начиная с самого детства, я желал и не мог избавиться от его опеки. Тысячу раз хотел было я с ним совсем расплесться, и каждый раз меня опять тянуло к нему, как будто я все еще надеялся ему что-то доказать и за что-то отомстить. Странная вещь эта дружба! Положительно могу сказать, что я на девять десятых был с ним дружен из злобы. На этот раз мы простились, однако же, с чувством.

— Ваш друг очень умна шеловек, — сказал мне вполголоса немец, собираясь меня провожать; он все время прилежно слушал наш разговор.

— А прогос [\[11\]](#), — сказал я, — чтоб не забыть, — сколько бы взяли вы за вашего крокодила, на случай если б вздумали у вас его покупать?

Иван Матвеич, слышавший вопрос, с любопытством выжидал ответа. Видимо было, что ему не хотелось, чтоб немец взял мало; по крайней мере он как-то особенно крякнул при моем вопросе.

Сначала немец и слушать не хотел, даже рассердился.

— Никто не смеит покупать мой собственный крокодил! — вскричал он яростно и покраснел, как вареный рак. — Я не хатит продавайт крокодил. Я миллион талер не стану браль за крокодил. Я сто тридцать талер сегодня с публикум браль, я завтра десять тысяч талер собраль, а потом сто тысяч талер каждый день собираль. Не хочу продаваль!

Иван Матвеич даже захихикал от удовольствия.

Скрепя сердце, хладнокровно и рассудительно, — ибо исполнял обязанность истинного друга, — намекнул я сумасброднему немцу, что расчеты его не совсем верны, что если он каждый день будет собирать по сту тысяч, то в четыре дня у него перебивает весь Петербург и потом уже не с кого будет собирать, что в животе и смерти волен бог, что крокодил может как-нибудь лопнуть, а Иван Матвеич заболеть и помереть и проч., и проч.

Немец задумался.

— Я будет ему капли из аптеки даваль, — сказал он, надумавшись, — и ваш друк не будет умираль.

— Капли каплями, — сказал я, — но возьмите и то, что может затеяться судебный процесс. Супруга Ивана Матвейча может потребовать своего законного супруга. Вы вот намерены богатеть, а намерены ли вы назначить хоть какую-нибудь пенсию Елене Ивановне?

— Нет, не мереваль! — решительно и строго отвечал немец.

— Нетт, не мереваль! — подхватила, даже со злобою, муттер.

— Итак, не лучше ли вам взять что-нибудь теперь, разом, хоть и умеренное, но верное и солидное, чем предаваться неизвестности? Долгом считаю присовокупить, что спрашиваю вас не из одного только праздного любопытства.

Немец взял муттер и удалился с нею для совещаний в угол, где стоял шкаф с самой большой и безобразнейшей из всей коллекции обезьяной.

— Вот увидишь! — сказал мне Иван Матвейч.

Что до меня касается, я в эту минуту сторал желанием, во-первых, — избить больно немца, во-вторых, еще более избить муттер, а в-третьих, всех больше и больнее избить Ивана Матвейча за безграничность его самолюбия. Но все это ничего не значило в сравнении с ответом жадного немца.

Насоветовавшись с своей муттер, он потребовал за своего крокодила пятьдесят тысяч рублей билетами последнего внутреннего займа с лотереєю, каменный дом в Гороховой и при нем собственную аптеку и, вдобавок, — чин русского полковника.

— Видишь! — торжествуя, прокричал Иван Матвейч, — я говорил тебе! Кроме последнего безумного желания производства в полковники, — он совершенно прав, ибо вполне понимает теперешнюю ценность показываемого им чудовища. Экономический принцип прежде всего!

— Помилуйте! — яростно закричал я немцу, — да за что же вам полковника-то? Какой вы подвиг совершили, какую службу заслужили, какой военной славы добились? Ну, не безумец ли вы после этого?

— Безумны! — вскричал немец обидевшись, — нет, я очень умна шеловек, а ви очень глуп! Я заслужил польковник, потому што

показаль крокодиль, а в нем живой гоф-рат ^[12]сидиль, а русский не может показаль крокодиль, а в нем живой гоф-рат сидиль! Я чрезвычайно умны шеловек и ошень хочу быль польковник!

— Так прощай же, Иван Матвеич! — вскричал я, дрожа от бешенства, и почти бегом выбежал из крокодильной. Я чувствовал, что еще минута, и я уже не мог бы отвечать за себя. Неестественные надежды этих двух болванов были невыносимы. Холодный воздух, освежив меня, несколько умерил мое негодование. Наконец, энергически плюнув раз до пятнадцати в обе стороны, я взял извозчика, приехал домой, разделся и бросился в постель. Всего досаднее было то, что я попал к нему в секретари. Теперь умирай там от скуки каждый вечер, исполняя обязанность истинного друга! Я готов был прибить себя за это и действительно, уже потушив свечку и закрывшись одеялом, ударил себя несколько раз кулаком по голове и по другим частям тела. Это несколько облегчило меня, и я наконец заснул даже довольно крепко, потому что очень устал. Всю ночь снились мне только одни обезьяны, но под самое утро приснилась Елена Ивановна...

IV

Обезьяны, как догадываюсь, приснились потому, что заключались в шкафу у крокодилщика, но Елена Ивановна составляла статью особенную.

Скажу заранее: я любил эту даму; но спешу — и спешу на курьерских — оговориться: я любил ее как отец, ни более, ни менее. Заключаю так потому, что много раз случалось со мною неудержимое желание поцеловать ее в головку или в румяную щечку. И хотя я никогда не приводил сего в исполнение, но каюсь — не отказался бы поцеловать ее даже и в губки. И не то что в губки, а в зубки, которые так прелестно всегда выставлялись, точно ряд хорошеньких, подобранных жемчужинок, когда она смеялась. Она же удивительно часто смеялась. Иван Матвеич называл ее, в ласкательных случаях, своей «милой нелепостью» — название в высшей степени справедливое и характеристичное. Это была дама-конфетка и более ничего. Посему совершенно не понимаю, зачем вздумалось теперь тому же самому Ивану Матвеичу воображать в своей супруге нашу русскую Евгению Тур? Во всяком случае, мой сон, если не брать в расчет обезьян, произвел на меня приятнейшее впечатление, и, перебирая в голове за утренней чашкой чаю все происшествия вчерашнего дня, я решил немедленно зайти к Елене Ивановне, по дороге на службу, что, впрочем, обязан был сделать и в качестве домашнего друга.

В крошечной комнатке перед спальней, в так называемой у них маленькой гостиной, хотя и большая гостиная была у них тоже маленькая, на маленьком нарядном диванчике, за маленьким чайным столиком, в какой-то полувоздушной утренней распашоночке сидела Елена Ивановна и из маленькой чашечки, в которую макала крошечный сухарик, кушала кофе. Была она обольстительно хороша, но показалась мне тоже и как будто задумчивою.

— Ах, это вы, шалун! — встретила она меня с рассеянной улыбкой, — садитесь, ветреник, пейте кофе. Ну что вы вчера делали? Были в маскарade?

— А разве вы были? Я ведь не езжу... к тому же посещал вчера нашего узника...

Я вздохнул и, принимая кофе, сделал благочестивую мину.

— Кого? Какого это узника? Ах, да! Бедняжка! Ну, что он — скучает? А знаете... я хотела вас спросить... Я ведь могу теперь просить развода?

— Развода! — вскричал я в негодовании и чуть не пролил кофе. «Это черномазенький!» — подумал я про себя с яростью.

Существовал некто черномазенький, с усиками, служивший по строительной части, который слишком уж часто похаживал к ним и чрезвычайно умел смешить Елену Ивановну. Признаюсь, я его ненавидел, и сомнения не было, что он уж успел вчера видаться с Еленой Ивановной или в маскараде, или, пожалуй, и здесь, и наговорил ей всякого вздору!

— Да что ж, — заторопилась вдруг Елена Ивановна, точно подученная, — что ж он там будет сидеть в крокодиле и, пожалуй, всю жизнь не придет, а я здесь его дожидайся! Муж должен дома жить, а не в крокодиле...

— Но ведь это непредвиденный случай, — начал было я в весьма понятном волнении.

— Ах, нет, не говорите, не хочу, не хочу! — закричала она, вдруг совсем рассердившись. — Вы вечно мне напротив, такой негодный! С вами ничего не сделаешь, ничего не посоветуете! Мне уж чужие говорят, что мне развод дадут, потому что Иван Матвеич теперь уже не будет получать жалованья.

— Елена Ивановна! Вас ли я слышу? — закричал я патетически. — Какой злодей мог вам это натолковать! Да и развод по такой неосновательной причине, как жалование, совершенно невозможен. А бедный, бедный Иван Матвеич к вам, так сказать, весь пылает любовью, даже и в недрах чудовища. Мало того — тает от любви, как кусочек сахару. Еще вчера ввечеру, когда вы веселились в маскараде, он упоминал, что в крайнем случае, может быть, решится выписать вас в качестве законной супруги к себе, в недра, тем более что крокодил оказывается весьма поместительным не только для двух, но даже и для трех особ...

И тут я немедленно рассказал ей всю эту интересную часть моего вчерашнего разговора с Иваном Матвеичем.

— Как, как! — вскричала она в удивлении. — Вы хотите, чтоб и я также полезла туда, к Ивану Матвеичу? Вот выдумки! Да и как я полезу, так в шляпке и в кринолине? Господи, какая глупость! Да и какую фигуру я буду делать, когда буду туда лезть, а на меня еще кто-нибудь, пожалуй, будет смотреть... Это смешно! И что я там буду кушать?... и... и как я там буду, когда... ах боже мой, что они выдумали!.. И какие там развлечения?.. Вы говорите, что там гуммиластиком пахнет? И как же я буду, если мы там с ним поссоримся, — все-таки рядом лежать? Фу, как это противно!

— Согласен, согласен со всеми этими доводами, милейшая Елена Ивановна, — прервал я, стремясь высказаться с тем понятным увлечением, которое всегда овладевает человеком, когда он чувствует, что правда на его стороне, — но вы не оценили одного во всем этом; вы не оценили того, что он, стало быть, без вас жить не может, коли зовет туда; значит, тут любовь, любовь страстная, верная, стремящаяся... Вы любви не оценили, милая Елена Ивановна, любви!

— Не хочу, не хочу, и слышать ничего не хочу! — отмахивалась она своей маленькой, хорошенькой ручкой, на которой блистали только что вымытые и вычищенные щеткой розовые ногти. — Противный! Вы доведете меня до слез. Полезайте сами, если это вам приятно. Ведь вы друг, ну и ложитесь там с ним рядом из дружбы, и спорьте всю жизнь о каких-нибудь скучных науках...

— Напрасно вы так смеетесь над сим предположением, — с важностью остановил я легкомысленную женщину, — Иван Матвеич и без того меня звал туда. Конечно, вас привлекает туда долг, меня же только одно великодушие; но, рассказывая мне вчера о необыкновенной растяжимости крокодиловой, Иван Матвеич сделал весьма ясный намек, что не только вам обоим, но даже и мне в качестве домашнего друга можно бы поместиться с вами вместе, втроем, особенно если б я захотел того, а потому...

— Как так, втроем? — вскричала Елена Ивановна, с удивлением смотря на меня. — Так как же мы... так все трое и будем там вместе? Ха-ха-ха! Какие вы оба глупые! Ха-ха-ха! Я вас непременно буду там все время щипать, негодный вы эдакой, ха-ха-ха!

И она, откинувшись на спинку дивана, расхохоталась до слезинок. Все это — и слезы, и смех — было до того обольстительно, что я не вытерпел и с увлечением бросился целовать у ней ручки,

чему она не противилась, хотя и выдрала меня легонько, в знак примирения, за уши.

Затем мы оба развеселились, и я подробно рассказал ей все вчерашние планы Ивана Матвеича. Мысль о приемных вечерах и об открытом салоне ей очень понравилась.

— Но только надо будет очень много новых платьев, — заметила она, — и потому надо, чтоб Иван Матвеич присылал как можно скорее и как можно больше жалованья... Только... только как же это, — прибавила она в раздумье, — как же это его будут приносить ко мне в ящике? Это очень смешно. Я не хочу, чтоб моего мужа носили в ящике. Мне будет очень стыдно пред гостями... Я не хочу, нет, не хочу.

— Кстати, чтоб не забыть, был у вас вчера вечером Тимофей Семеныч?

— Ах, был; приехал утешать, и, вообразите, мы с ним все в свои козыри играли. Он на конфеты, а коль я проиграю — он мне ручки целует. Такой негодный и, вообразите, чуть было в маскарад со мной не поехал. Право!

— Увлечение! — заметил я, — да и кто не увлечется вами, обольстительная!

— Ну уж вы, поехали с вашими комплиментами! Пойдите, я вас ущипну на дороге. Я ужасно хорошо выучилась теперь щипаться. Ну что, каково! Да, кстати, вы говорите, Иван Матвеич часто обо мне вчера говорил?

— Н-н-нет, не то чтобы очень... Признаюсь вам, он более думает теперь о судьбах всего человечества и хочет...

— Ну и пусть его! Не договаривайте! Верно, скука ужасная. Я как-нибудь его навещу. Завтра непременно поеду. Только не сегодня; голова болит, а к тому же там будет так много публики... Скажут: это жена его, пристыдят... Прощайте. Вечером вы ведь... там?

— У него, у него. Велел приезжать и газет привезти.

— Ну вот и славно. И ступайте к нему и читайте. А ко мне сегодня не заезжайте. Я нездорова, а может, и в гости поеду. Ну прощайте, шалун.

«Это черномазенький у ней будет вечером», — подумал я про себя.

В канцелярии я, разумеется, не подал и виду, что меня пожирают такие заботы и хлопоты. Но вскоре заметил я, что некоторые из прогрессивнейших газет наших как-то особенно скоро переходили в это утро из рук в руки моих сослуживцев и прочитывались с чрезвычайно серьезными выражениями лиц. Первая попавшаяся уже была — «Листок», газетка без всякого особого направления, а так только вообще гуманная, за что ее преимущественно у нас презирали, хотя и прочитывали. Не без удивления прочел я в ней следующее:

«Вчера в нашей обширной и украшенной великолепными зданиями столице распространились чрезвычайные слухи. Некто N., известный гастронм из высшего общества, вероятно наскучив кухнею Бореля и — ского клуба, вошел в здание Пассажа, в то место, где показывается огромный, только что привезенный в столицу крокодил, и потребовал, чтоб ему изготовили его на обед. Сторговавшись с хозяином, он тут же принялся пожирать его (то есть не хозяина, весьма смиренного и склонного к аккуратности немца, а его крокодила) — еще живьем, отрезая сочные куски перочинным ножиком и плотая их с чрезвычайною поспешностью. Мало-помалу весь крокодил исчез в его тучных недрах, так что он собирался даже приняться за ихневмона, постоянного спутника крокодилова, вероятно полагая, что и тот будет так же вкусен. Мы вовсе не против сего нового продукта, давно уже известного иностранным гастрономам. Мы даже предсказывали это наперед. Английские лорды и путешественники ловят в Египте крокодилов целыми партиями и употребляют хребет чудовища в виде бифштекса, с горчицей, луком и картофелем. Французы, наехавшие с Лессепсом, предпочитают лапы, испеченные в горячей золе, что делают, впрочем, в пику англичанам, которые над ними смеются. Вероятно, у нас оценят то и другое. С своей стороны, мы рады новой отрасли промышленности, которой по преимуществу недостает нашему сильному и разнообразному отечеству. Вслед за сим первым крокодилом, исчезнувшим в недрах петербургского гастронома, вероятно, не пройдет и года, как навезут их к нам сотнями. И почему бы не акклиматизировать крокодила у нас в России? Если невская вода слишком холодна для сих интересных чужестранцев, то в столице имеются пруды, а за городом речки и озера. Почему бы, например, не развести крокодилов в Парголове или в Павловске, в Москве же в Пресненских прудах и в Самотеке?

Доставляя приятную и здоровую пищу нашим утонченным гастрономам, они в то же время могли бы увеселять гуляющих на сих прудах дам и поучать собою детей естественной истории. Из крокодиловой кожи можно бы было приготовить футляры, чемоданы, папиросочницы и бумажники, и, может быть, не одна русская купеческая тысяча в засаленных кредитках, преимущественно предпочитаемых купцами, улеглась бы в крокодиловой коже. Надеемся еще не раз возвратиться к этому интересному предмету».

Я хоть и предчувствовал что-нибудь в этом роде, тем не менее опрометчивость известия смутила меня. Не находя, с кем поделиться впечатлениями, я обратился к сидевшему напротив меня Прохору Саввичу и заметил, что тот уже давно следил за мною глазами, а в руках держал «Волос», как бы готовясь мне передать его. Молча принял он от меня «Листок» и, передавая мне «Волос», крепко отчеркнул ногтем статью, на которую, вероятно, хотел обратить мое внимание. Этот Прохор Саввич был у нас престранный человек: молчаливый старый холостяк, он ни с кем из нас не вступал ни в какие сношения, почти ни с кем не говорил в канцелярии, всегда и обо всем имел свое собственное мнение, но терпеть не мог кому-нибудь сообщать его. Жил он одиноко. В квартире его почти никто из нас не был.

Вот что я прочел в показанном месте «Волоса»:

«Все́м известно, что мы прогрессивны и гуманны и хотим угоняться в этом за Европой. Но, несмотря на все наши старания и на усилия нашей газеты, мы еще далеко не «созрели», как о том свидетельствует возмутительный факт, случившийся вчера в Пассаже и о котором мы заранее предсказывали. Приезжает в столицу иностранец-собственник и привозит с собой крокодила, которого и начинает показывать в Пассаже публике. Мы тотчас же поспешили приветствовать новую отрасль полезной промышленности, которой вообще недостает нашему сильному и разнообразному отечеству. Как вдруг вчера, в половине пятого пополудни, в магазин иностранца-собственника является некто необычайной толщины и в нетрезвом виде, платит за вход и тотчас же, безо всякого предупреждения, лезет в пасть крокодила, который, разумеется, принужден был проплотить его, хотя бы из чувства самосохранения, чтоб не подавиться. Ввалившись во внутренность крокодила, незнакомец тот час же

засыпает. Ни крики иностранца-собственника, ни вопли его испуганного семейства, ни угрозы обратиться к полиции не оказывают никакого впечатления. Изнутри крокодила слышен лишь хохот и обещание расправиться розгами (sic [13]), а бедное млекопитающее, принужденное проглотить такую массу, тщетно проливает слезы. Незванный гость хуже татарина, но, несмотря на пословицу, нахальный посетитель выходить не хочет. Не знаем, как и объяснить подобные варварские факты, свидетельствующие о нашей незрелости и марающие нас в глазах иностранцев. Размашистость русской природы нашла себе достойное применение. Спрашивается, чего хотелось непрошеному посетителю? Теплового и комфортного помещения? Но в столице существует много прекрасных домов с дешевыми и весьма комфортными квартирами, с проведенной невской водой и с освещенной газом лестницей, при которой заводится нередко от хозяев швейцар. Обращаем еще внимание наших читателей и на самое варварство обращения с домашними животными: заезжему крокодилу, разумеется, трудно переварить подобную массу разом, и теперь он лежит, раздутый горой, и в нестерпимых страданиях ожидает смерти. В Европе давно уже преследуют судом обращающихся негуманно с домашними животными. Но, несмотря на европейское освещение, на европейские тротуары, на европейскую постройку домов, нам еще долго не отстать от заветных наших предрассудков.

Дома новы, но предрассудки стары — и даже и дома-то не новы, по крайней мере лестницы. Мы уже не раз упоминали в нашей газете, что на Петербургской стороне, в доме купца Лукьянова, забежные ступеньки деревянной лестницы сгнили, провалились и давно уже представляют опасность для находящейся у него в услужении солдатки Афимьи Скапидаровой, принужденной часто всходить на лестницу с водою или с охапкою дров. Наконец предсказания наши оправдались: вчера вечером, в половине девятого пополудни, солдатка Афимья Скапидарова провалилась с суповой чашкой и сломала-таки себе ногу. Не знаем, починит ли теперь Лукьянов свою лестницу; русский человек задним умом крепок, но жертва русского авось уже свезена в больницу. Точно так же не устанем мы утверждать, что дворники, счищающие на Выборгской с деревянных тротуаров грязь, не должны пачкать ноги прохожих, а должны складывать грязь в

кучки, подобно тому как в Европе при очищении сапогов... и т. д., и т. д.»

— Что же это, — сказал я, смотря в некотором недоумении на Прохора Саввича, — что же это такое?

— А что-с?

— Да помилуйте, чем бы об Иване Матвейче пожалеть, жалеют о крокодиле.

— А что же-с? Зверя даже, *млекопитающего*, и того пожалели. Чем же не Европа-с? Там тоже крокодилов очень жалеют. Хи-хи-хи!

Сказав это, чудак Прохор Саввич уткнулся в свои бумаги и уже не промолвил более ни слова.

«Волос» и «Листок» я спрятал в карман да, кроме того, набрал для вечернего развлечения Ивану Матвейчу старых «Известий» и «Волосов» сколько мог найти, и хотя до вечера было еще далеко, но на этот раз я пораньше улизнул из канцелярии, чтоб побывать в Пассаже и хоть издали посмотреть, что там делается, подслушать разные мнения и направления. Предчувствовал я, что там целая давка, и на всякий случай поплотнее завернул лицо в воротник шинели, потому что мне было чего-то немного стыдно — до того мы не привыкли к публичности. Но чувствую, что я не вправе передавать собственные, прозаические мои ощущения ввиду такого замечательного и оригинального события.

А. Ф. ПИСЕМСКИЙ

Из цикла «Русские лгуны»

БОГАТЫЕ ЛГУНЫ И БЕДНЫЙ

Наклонность полгать — в каких она иногда кротких душах живет! Я знал в В...е мещанина Петра Вакорина — чрезвычайно кроткого малого, обремененного огромным семейством, не способного ничего другого делать, как сходить за охотой, за грибами, рыбки поудить. Существовал он решительно благодеянием одного подгороднего помещика, Саврасова, честолубивейшего и надменнейшего человека и в то же время псового и ружейного охотника, который, собственно, и благодетельствовал Вакорину за то, что он выслеживал ему иногда места, удобные для охоты, хоть тот по большей части и навирал в этом случае. Слабость поприхватить в Вакорине, как в существе загнанном, так умеренно проявлялась, что ее почти никто и не замечал, а в то же время она была, и очень была: придет иногда и расскажет жене, что видел орла с орлятами, да улетели — канальство. А между тем никаких орлят не было, да и быть не могло. А то отправится в соседний монастырь к обедне и там, будто случайно, расскажет казначею: «Какую, ваше преподобие, я на мельнице вашей шуку видел; пуда в два, надо полагать; вся седая ходит, мохом уж, значит, поросла!..» Разгорятся жадностью казначейские очи, велит он спустить омут — хоть бы пескарь! Начнут бранить Вакорина, непременно тут присутствующего; крестится, божится, что видел, тогда как сам очень хорошо знает, что видел нечто гораздо более похожее на палку, чем на шуку.

Раз его благодетель Саврасов на одной из своих осенних охот убил лисицу с черным хвостом. Можете себе представить, как это подействовало на его гордую и самолюбивую душу! Со шкурой этой лисицы он стал по всем ездить, всем ее показывать. «Видали ли вы это?» — говорил он, повертывая свой трофей перед носом почти каждого, и всякий благоразумный человек, разумеется, придавал удивленное выражение своему лицу и говорил: «Да, да».

Случилось, что около того же времени Вакорин зашел к исправнику, с которым он состоял в близких отношениях уже по случаю рыбной ловли, так как всегда доставлял ему отличных для удочки червяков, а когда сам ходил с ним зимою удить, так держал и отогревал этих червяков у себя во рту.

Смиренно поклонясь хозяину и гостям его (у исправника в это утро было человек несколько из дворянства), Вакорин в своем длиннополом сюртуке уселся в уголку и, положив руки на колени, стал улыбаться своей доброй улыбкой всякому, кто только на него взглядывал. Хозяин, наконец, заметил его одинокое положение и обратился к нему:

— Петруша, что ты там все сидишь? Поди выпей водочки!

Вакорин скромно встал, подошел к закуске, несмелой рукой стал наливать себе рюмку. В это время двери с шумом растворились, и в гостиную вошел Саврасов с лисьей шкурой в руках.

— Как вы это находите? — обратился он прямо к хозяину и ни с кем почти не кланяясь.

— И слов уж не нахожу, как это выразить! — отвечал тот, раболепно склоняя голову перед гостем.

— Во всем европейском ружейном мире в десять лет один такой выстрел бывает! — сказал Саврасов.

На этот разговор их Вакорин, не допив еще рюмки, отвел от нее свои кроткие глаза и проговорил довольно громко:

— Каждый год по три таких штуки бью!

Хозяин уставил на дерзкого удивленные глаза, а Саврасов сначала только попятился назад.

— Как, ты бьешь каждый год по три? — проговорил он, не могши еще прийти в себя.

— Бью-с! — отвечал, покраснев, Вакорин.

— Бьешь? — проговорил опять Саврасов.

— Бью-с! — повторил еще раз Вакорин.

— Бьешь? — заревел уже с вспыхнувшим, как зарево, лицом оскорбленный честолюбец и схватил Вакорина за шивороток.

Хозяин и гости подбежали к ним.

— Ну, полноте, бросьте его! — унимали они Саврасова.

— Дурак! Ну, где ты бьешь? — увещевал Вакорина исправник.

— Бью, батюшка, — повторил он и тому.

— Господа! Возьмите его у меня; иначе я его задушу! — сказал Саврасов, отбрасывая от себя Вакорина.

— Что хотите, то и извольте делать, а что бивал, — не унимался бедняк, утирая с лица катившийся пот.

— Ну, так пошел же вон! — крикнул на него уж и хозяин, выведенный из терпения такою ложью.

— Я уйду, сударь, уйду! — говорил Вакорин и пошел.

— Я тебе теперь, каналья, кости оглоданной не дам, — вскричал Саврасов, выбегая вслед за ним.

— И я тоже, и я! — повторял хозяин.

Вакорин бледнел, делал из лица препечальнейшую мину.

В лакейской его стал было даже лакей уговаривать:

— Полноте, Петр Гаврилыч, потешьте господ; скажите, что неправду сказали.

— Что мне тешить-то? Бивал сколько раз! — отвечал ему Вакорин.

Лакей на это не стерпел и плюнул.

— Фу ты, господи боже мой! — проговорил он.

Господа между тем рассуждали о наглom лжеце в гостиной.

— Каков каналья, а? Каков? — кричал Саврасов на весь дом.

Его мелко самолюбьишко было страшно оскорблено. Недели через две он по наружности как бы и простил Вакорина, стал даже принимать его к себе в дом, но в душе питал против него злобу. Раз... это уж было у самого Саврасова, тоже собралось дворянство, в том числе два брата Брыкины. Еще покойный отец этих господ рассказывал, что поехал он однажды ночью через Галичское озеро вдруг трах, провалился в прорубь; дыханье, разумеется, захватило; глаза помутились; только через несколько секунд дышать легче — глядит, тройка его выскочила в другую прорубь — и полнехоньки сани рыбы зачерпнулись в озере. Другой раз заговорили о храме Петра в Риме. «Что это такое за важность этот храм! — воскликнул Брыкин. — Говорят, велик он очень! Вздор! Велик сравнительно, потому что вся-то Италия с нашу губернию. Ну, а как наша матушка Россия раскинулась, так что ни построй, все мало. Вот у нас приход или, лучше сказать, приходишко; выстроили церковь — так псаломщик за всенощной с клироса на клирос на жеребенке верхом ездил».

— Батюшка! — воскликнул при этом укоризненно даже один из сыновей.

— А длина церкви велика ли? — спросил кто-то из слушателей.

— Длина? — отвечал несколько опешенный замечанием сына старик. — Длина сажени три.

Так он врал, и все его слушали и даже почти верили ему, потому что тысяча душ была у него. Сынки тоже пошли по нем. В настоящее собрание один из них рассказывал: «Стали, говорит, мы спускаться с Свиньинской горы, ведь вы знаете, это стена, а не гора... что-то одна из лошадей плохо спускала — понесли. Заднее колесо заторможено было — однако, пи, пи, пи! ничего не помогает; я, делать нечего, говорю брату — мы с ним сидели на передней лавочке, а жены наши на задней: «Давай, говорю, тормозить передние колеса»; нагнулись: я на одну сторону — он на другую, взяли колеса в наши лапки — на один камень колесо наскочит, на другой — в рытвину сухую попадет; посмотрим, лошади наши уж не несут, а везут коляску».

— И я заторможу колесо, — отозвался вдруг черт знает с чего и для чего Вакорин, тоже тут присутствовавший.

Глаза хозяина загорелись бешенством.

— Ты затормозишь? — спросил он.

— Я-с.

— Да ты, каналья, не только коляску, а одну лошадь на беговых дрожках обеими твоими скверными руками и ногами не остановишь! — прошипел он.

— И так остановлю-с.

— Остановишь? Люди! — Саврасов хлопнул в ладоши.

Вбежали люди.

— Сейчас заложить серого в беговые дрожки. Останавливай! — обратился он к Вакорину.

Тот только уже улыбался.

Лошадь была заложена и приведена к крыльцу. Все гости и хозяин вышли туда.

— Посмотрим, посмотрим! — говорили самолюбиво братья Брыкины.

Вакорин, как обреченный на казнь, шел впереди всех.

— Как же ты остановишь? — спрашивали его некоторые из гостей, которые были подбрее.

— А вот как, — отвечал Вакорин, ложась грудью на дрожки и сам, кажется, не зная хорошенько, что он делает, — вот руки сюда засуну, а ноги сюда! сказал он и в самом деле руки засунул в передние колеса, а ноги в задние.

— Отпускай! — крикнул он каким-то отчаянным голосом державшему лошадь кучеру.

Тот отпустил. Лошадь бросилась, колеса завертелись; Вакорин как-то одну ногу и руку успел вытащить, дрожки свернулись набок, лошадь уж совсем понесла, так что посланный за нею верховой едва успел ее остановить.

Вакорин лежал под дрожками.

— Вставайте! — сказал подъехавший к нему верховой.

— Немного, проклятая, наскочила — остановил же! — сказал Вакорин и хотел было подняться, но не мог: у него переломлена была нога.

Лет десять тому назад я встретил его в В... совсем уже стариком, хромым и почти нищим. Он сидел на тротуаре и, макая в пустую воду сухую корку хлеба, ел ее. Невдалеке от него стоял босоногий мальчишка и, видимо, поддразнивал его. «Лисичий охотник, лисичий охотник!» — повторял он беспрестанно. Это было прозвище, которое Вакорину дали в городе после первого несчастного с ним случая по поводу лисьей шкуры. Старик только по временам злобно взглядывал на шалуна. Я подошел к нему.

— Что это, Петр Гаврилыч, до чего это ты дошел? — спросил я его.

— Что делать, сударь? Стар стал уж!.. А добрых господ, как прежде было, нынче совсем нет! — отвечал он, и слезы навернулись у него на глазах.

Кого он под «добрыми господами» разумел — богу известно!

Н. С. ЛЕСКОВ

ЛЕВША

**(сказ о тульском косом Левше и о
стальной блохе)**

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Когда император Александр Павлович окончил венский совет, то он захотел по Европе проездиться и в разных государствах чудес посмотреть. Объездил он все страны и везде через свою ласковость всегда имел самые междоусобные разговоры со всякими людьми, и все его чем-нибудь удивляли и на свою сторону преклонять хотели, но при нем был донской казак Платов, который этого склонения не любил и, скучая по своему хозяйству, все государя домой манил. И чуть если Платов заметит, что государь чем-нибудь иностранным очень интересуется, то все провожатые молчат, а Платов сейчас скажет: «так и так, и у нас дома свое не хуже есть,» — и чем-нибудь отведет.

Англичане это знали и к приезду государеву выдумали разные хитрости, чтобы его чужестранностью пленить и от русских отвлечь, и во многих случаях они этого достигали, особенно в больших собраниях, где Платов не мог по-французски вполне говорить; но он этим мало и интересовался, потому что был человек женатый и все французские разговоры считал за пустяки, которые не стоят воображения. А когда англичане стали звать государя во всякие свои цейгаузы, оружейные и мыльно-пильные заводы, чтобы показать свое над нами во всех вещах преимущество и тем славиться, — Платов сказал себе:

— Ну уж тут шабаш. До этих пор еще я терпел, а дальше нельзя. Сумею я или не сумею говорить, а своих людей не выдам.

И только он сказал себе такое слово, как государь ему говорит:

— Так и так, завтра мы с тобою едем их оружейную кунсткамеру смотреть. Там, — говорит, — такие природы совершенства, что как посмотришь, то уже больше не будешь спорить, что мы, русские, со своим значением никуда не годимся.

Платов ничего государю не ответил, только свой грабоватый нос в лохматую бурку спустил, а пришел в свою квартиру, велел денщику подать из погребца фляжку кавказской водки-кислярки ^[14], дерябнул хороший стакан, на дорожный складень богу помолился, буркой укрылся и захрапел так, что во всем доме англичанам никому спать нельзя было.

Думал: утро ночи мудренее.

ГЛАВА ВТОРАЯ

На другой день поехали государь с Платовым в кунсткамеры. Больше государь никого из русских с собою не взял, потому что карету им подали двухсестную.

Приезжают в пребольшое здание — подъезд неописанный, коридоры до бесконечности, а комнаты одна в одну, и, наконец, в самом главном зале разные огромные бюстры, и посередине под Балдахином стоит Аболон полведерский.

Государь оглядывается на Платова: очень ли он удивлен и на что смотрит; а тот идет глаза опустивши, как будто ничего не видит, — только из усов кольца вьет.

Англичане сразу стали показывать разные удивления и пояснять, что к чему у них приновлено для военных обстоятельств: буреметры морские, мерблюзы мантионы пеших полков, а для конницы смолевые непромокабли. Государь на все это радуется, все кажется ему очень хорошо, а Платов держит свою ажитацию, что для него все ничего не значит.

Государь говорит:

— Как это возможно — отчего в тебе такое бесчувствие? Неужто тебе здесь ничто не удивительно?

А Платов отвечает:

— Мне здесь то одно удивительно, что мои донцы-молодцы без всего этого воевали и дванадцать язык прогнали.

Государь говорит:

— Это безрассудок.

Платов отвечает:

— Не знаю, к чему отнести, но спорить не смею и должен молчать.

А англичане, видя между государя такую перемолвку, сейчас подвели его к самому Аболону полведерскому и берут у того из одной руки Мортимерово ружье, а из другой пистолю.

— Вот, — говорят, — какая у нас производительность, — и подают ружье.

Государь на Мортимерово ружье посмотрел спокойно, потому что у него такие в Царском Селе есть, а они потом дают ему пистолю и говорят:

— Это пистоля неизвестного, неподражаемого мастерства — ее наш адмирал у разбойничьего атамана в Канделабрии из-за пояса выдернул.

Государь взглянул на пистолю и наглядеться не может.

Взахался ужасно.

— Ах, ах, ах, — говорит, — как это так... как это даже можно так тонко сделать! — И к Платову по-русски оборачивается и говорит: — Вот если бы у меня был хотя один такой мастер в России, так я бы этим весьма счастливый был и гордился, а того мастера сейчас же благородным бы сделал.

А Платов на эти слова в ту же минуту опустил правую руку в свои большие шаровары и тащит оттуда ружейную отвертку. Англичане говорят: «Это не отворяется», а он, внимания не обращая, ну замок ковырять. Повернул раз, повернул два — замок и вынулся. Платов показывает государю собачку, а там на самом сугибе сделана русская надпись: «Иван Москвин во граде Туле».

Англичане удивляются и друг дружку поталкивают:

— Ох-де, мы маху дали!

А государь Платову грустно говорит:

— Зачем ты их очень сконфузил, мне их теперь очень жалко. Поедем.

Сели опять в ту же двухсестную карету и поехали, и государь в этот день на бале был, а Платов еще больший стакан кислярки выдушил и спал крепким казачьим сном.

Было ему и радостно, что он англичан оконфузил, а тульского мастера на точку вида поставил, но было и досадно: зачем государь под такой случай англичан сожалел!

«Через что это государь огорчился? — думал Платов, — совсем того не понимаю», — и в таком рассуждении он два раза вставал, крестился и водку пил, пока насильно на себя крепкий сон навел.

А англичане же в это самое время тоже не спали, потому что и им завертело. Пока государь на бале веселился, они ему такое новое удивление подстроили, что у Платова всю фантазию отняли.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

На другой день, как Платов к государю с добрым утром явился, тот ему и говорит:

— Пусть сейчас заложат двухсестную карету, и поедем в новые кунсткамеры смотреть.

Платов даже осмелился доложить, что не довольно ли, мол, чужеземные продукты смотреть и не лучше ли к себе в Россию собираться, но государь говорит:

— Нет, я еще желаю другие новости видеть: мне хвалили, как у них первый сорт сахар делают.

Поехали.

Англичане все государю показывают: какие у них разные первые сорта, а Платов смотрел, смотрел да вдруг говорит:

— А покажите-ка нам ваших заводов сахар *молво*?

А англичане и не знают, что это такое *молво*. Перешептываются, перемигиваются, твердят друг дружке: «Молво, молво», а понять не могут, что это у нас такой сахар делается, и должны сознаться, что у них все сахара есть, а «молва» нет.

Платов говорит:

— Ну, так и нечем хвастаться. Приезжайте к нам, мы вас напоим чаем с настоящим молво Бобринского завода.

А государь его за рукав дернул и тихо сказал:

— Пожалуйста, не порть мне политики.

Тогда англичане позвали государя в самую последнюю кунсткамеру, где у них со всего света собраны минеральные камни и нимфозории, начиная с самой огромнейшей египетской керамиды до закожной блохи, которую глазам видеть невозможно, а угрызение ее между кожей и телом.

Государь поехал.

Осмотрели керамиды и всякие чучелы и выходят вон, а Платов думает себе:

«Вот, слава богу, все благополучно: государь ничему не удивляется».

Но только пришли в самую последнюю, комнату, а тут стоят их рабочие в тужурных жилетках и в фартуках и держат поднос, на котором ничего нет.

Государь вдруг и удивился, что ему подают пустой поднос.

— Что это такое значит? — спрашивает; а аглицкие мастера отвечают:

— Это вашему величеству наше покорное поднесение.

— Что же это?

— А вот, — говорят, — извольте видеть сориночку?

Государь посмотрел и видит: точно, лежит на серебряном подносе самая крошечная соринка.

Работники говорят:

— Извольте пальчик послюнуть и ее на ладошку взять.

— На что же мне эта соринка?

— Это, — отвечают, — не соринка, а нимфозория.

— Живая она?

— Никак нет, — отвечают, — не живая, а из чистой из аглицкой стали в изображении блохи нами выкована, и в середине в ней завод и пружина. Извольте ключиком повернуть: она сейчас начнет тансе [15] танцевать.

Государь залюбопытствовал и спрашивает:

— А где же ключик?

А англичане говорят:

— Здесь и ключ перед вашими очами.

— Отчего же, — государь говорит, — я его не вижу?

— Потому, — отвечают, — что это надо в мелкоскоп.

Подали мелкоскоп, и государь увидел, что возле блохи действительно на подносе ключик лежит.

— Извольте, — говорят, — взять ее на ладошечку — у нее в пузичке заводная дырка, а ключ семь поворотов имеет, и тогда она пойдет тансе...

Насилу государь этот ключик ухватил и насилу его в щепотке мог удержать, а в другую щепотку блошку взял и только ключик вставил, как почувствовал, что она начинает усиками водить, потом ножками стала перебирать, а наконец вдруг прыгнула и на одном лету прямое тансе и две верояции в сторону, потом в другую, и так в три верояции всю кавриль станцевала.

Государь сразу же велел англичанам миллион дать, какими сами захотят деньгами, — хотят серебряными пяточками, хотят мелкими ассигнациями.

Англичане попросили, чтобы им серебром отпустили, потому что в бумажках они толку не знают; а потом сейчас и другую свою хитрость показали: блоху в дар подали, а футляра на нее не принесли: без футляра же ни ее, ни ключика держать нельзя, потому что затеряются и в сору их так и выбросят. А футляр на нее у них сделан из цельного бриллиантового ореха и ей местечко в середине выдавлено. Этого они не подали, потому что футляры, говорят, будто казенный, а у них насчет казенного строго, хоть и для государя — нельзя жертвовать.

Платов было очень рассердился, потому что, говорит:

— Для чего такое мошенничество! Дар сделали и миллион за то получили, и все еще недостаточно! Футляр, — говорит, — всегда при всякой вещи принадлежит.

Но государь говорит:

— Оставь, пожалуйста, это не твое дело — не порть мне политики. У них свой обычай. — И спрашивает: — Сколько тот орех стоит, в котором блоха местится?

Англичане положили за это еще пять тысяч.

Государь Александр Павлович сказал: «Выплатить», а сам опустил блошку в этот орешек, а с нею вместе и ключик, а чтобы не потерять самый орех, опустил его в свою золотую табакерку, а табакерку велел положить в свою дорожную шкатулку, которая вся выстлана преламутом и, рыбьей костью. Аглицких же мастеров государь с честью отпустил и сказал им: «Вы есть первые мастера на всем свете, и мои люди супротив вас сделать ничего не могут».

Те остались этим очень довольны, а Платов ничего против слов государя произнести не мог. Только взял мелкоскоп да, ничего не говоря, себе в карман спустил, потому что «он сюда же, — говорит, — принадлежит, а денег вы и без того у нас много взяли».

Государь, этого не знал до самого приезда в Россию, а уехали они скоро, потому что у государя от военных дел сделалась меланхолия и он захотел духовную исповедь иметь в Таганроге у попа Федота [\[16\]](#). Дорогой у них с Платовым очень мало приятного разговора было, потому они совсем разных мыслей сделались: государь так соображал,

что англичанам нет равных в искусстве, а Платов доводил, что и наши на что взглянут — все могут сделать, но только им полезного ученья нет. И представлял государю, что у аглицких мастеров совсем на все другие правила жизни, науки и продовольствия, и каждый человек у них себе все абсолютные обстоятельства перед собою имеет, и через то в нем совсем другой смысл.

Государь этого не хотел долго слушать, а Платов, видя это, не стал усиливаться. Так они и ехали молча, только Платов на каждой станции выйдет и с досады квасной стакан водки выпьет, соленым бараночком закусит, закурит свою корешковую трубку, в которую сразу целый фунт Жукова табаку входило, а потом сядет и сидит рядом с царем в карете молча. Государь в одну сторону глядит, а Платов в другое окно чубук высунет и дымит на ветер. Так они и доехали до Петербурга, а к попу Федоту государь Платова уже совсем не взял.

— Ты, — говорит, — к духовной беседе неводержен и так очень много куришь, что у меня от твоего дыму в голове копоть стоит.

Платов остался с обидою и лег дома на досадную укушетку, да так все и лежал да покуривал Жуков табак без перестачи.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Удивительная блоха из аглицкой вороненой стали оставалась у Александра Павловича в шкатулке под рыбьей костью, пока он скончался в Таганроге, отдав ее попу Федоту, чтобы сдал после, государыне, когда она успокоится. Императрица Елисавета Алексеевна посмотрела блохины верояции и усмехнулась, но заниматься ею не стала.

— Мое, — говорит, — теперь дело вдове, и мне никакие забавы не обольстительны, — а вернувшись в Петербург, передала эту диковину со всеми иными драгоценностями в наследство новому государю.

Император Николай Павлович поначалу тоже никакого внимания на блоху не обратил, потому что при восходе его было смятение, но потом один раз стал пересматривать доставшуюся ему от брата шкатулку и достал из нее табакерку, а из табакерки бриллиантовый орех, и в нем нашел стальную блоху, которая уже давно не была заведена и потому не действовала, а лежала смирно, как коченелая.

Государь посмотрел и удивился.

— Что это еще за пусяковина и к чему она тут у моего брата в таком сохранении!

Придворные хотели выбросить, но государь говорит:

— Нет, это что-нибудь значит.

Позвали от Аничкина моста из противной аптеки химика, который на самых мелких весах яды взвешивал, и ему показали, а тот сейчас взял блоху, положил на язык и говорит: «Чувствую хлад, как от крепкого металла». А потом зубом ее слегка помял и объявил:

— Как вам угодно, а это не настоящая блоха, а нимфозория, и она сотворена из металла, и работа эта не наша, не русская.

Государь велел сейчас разузнать: откуда это и что такое означает?

Бросились смотреть в дела и в списки, — но в делах ничего не записано. Стали того, другого спрашивать, — никто ничего не знает. Но, по счастью, донской казак Платов был еще жив и даже все еще на своей досадной укушетке лежал и трубку курил. Он как услышал, что

во дворце такое беспокойство, сейчас с укушетки поднялся, трубку бросил и явился к государю во всех орденах. Государь говорит:

— Что тебе, мужественный старик, от меня надобно?

А Платов отвечает:

— Мне, ваше величество, ничего для себя не надо, так как я пью-ем что хочу и всем доволен, а я, — говорит, — пришел доложить насчет этой нимфозории, которую отыскиали: это, — говорит, — так и так было, и вот как происходило при моих глазах в Англии, — и тут при ней есть ключик, а у меня есть их же мелкоскоп, в который можно его видеть, и сим ключом через пузичку эту нимфозорию можно завести, и она будет скакать в каком угодно пространстве и в стороны верояции делать.

Завели, она и пошла прыгать, а Платов говорит:

— Это, — говорит, — ваше величество, точно, что работа очень тонкая и интересная, но только нам этому удивляться с одним восторгом чувств не следует, а надо бы подвергнуть ее русским пересмотрам в Туле или в Сестербеке, — тогда еще Сестрорецк Сестербеком звали, — не могут ли наши мастера сего превзойти, чтобы англичане над русскими не предвозвышались.

Государь Николай Павлович в своих русских людях был очень уверенный и никакому иностранцу уступать не любил, он и ответил Платову:

— Это ты, мужественный старик, хорошо говоришь, и я тебе это дело поручаю поверить. Мне эта коробочка все равно теперь при моих хлопотах не нужна, а ты возьми ее с собою и на свою досадную укушетку больше не ложись, а поезжай на тихий Дон и поведи там с моими донцами междоусобные разговоры насчет их жизни и преданности и что им нравится. А когда будешь ехать через Тулу, покажи моим тульским мастерам эту нимфозорию, и пусть они о ней подумают. Скажи им от меня, что брат мой этой вещи удивлялся и чужих людей, которые делали нимфозорию, больше всех хвалил, а я на своих надеюсь, что они никого не хуже. Они моего слова не проронят и что-нибудь сделают.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Платов взял стальную блоху, и как поехал через Тулу на Дон, показал ее тульским оружейникам и слова государевы им передал, а потом спрашивает:

— Как нам теперь быть, православные?

Оружейники отвечают:

— Мы, батюшка, милостивое слово государево чувствуем и никогда его забыть не можем за то, что он на своих людей надеется, а как нам в настоящем случае быть, того мы в одну минуту сказать не можем, потому что аглицкая нация тоже не глупая, а довольно даже хитрая, и искусство в ней с большим смыслом. Против нее, — говорят, — надо взяться подумавши и с божьим благословением. А ты, если твоя милость, как и государь наш, имеешь к нам доверие, поезжай к себе на тихий Дон, а нам эту блошку оставь, как она есть, в футляре и в золотой царской табакерочке. Гуляй себе по Дону и заживляй раны, которые принял за отечество, а когда назад будешь через Тулу ехать, — остановись и спосылай за нами: мы к той поре, бог даст, что-нибудь придумаем.

Платов не совсем доволен был тем, что туляки так много времени требуют и притом не говорят ясно: что такое именно они надеются устроить. Спрашивал он их так и иначе и на все манеры с ними хитро по-донски заговаривал; но туляки ему в хитрости нимало не уступили, потому что имели они сразу же такой замысел, по которому не надеялись даже, чтобы и Платов им поверил, а хотели прямо свое смелое воображение исполнить, да тогда и отдать.

Говорят:

— Мы еще и сами не знаем, что учиним, а только будем на бога надеяться, и авось слово царское ради нас в постыждении не будет.

Так и Платов умом виляет, и туляки тоже.

Платов вилял, вилял, да увидал, что туляка ему не перевилять, подал им табакерку с нимфозорией и говорит:

— Ну, нечего делать, пусть, — говорит, — будет по-вашему; я вас знаю, какие вы, ну, одначе, делать нечего, — я вам верю, но только смотрите, бриллиант чтобы не подменить и аглицкой тонкой работы

не испортите, да недолго возитесь, потому что я шибко езджу: двух недель не пройдет, как я с тихого Дона опять в Петербург поворочу, — тогда мне чтоб непременно было что государю показать.

Оружейники его вполне успокоили:

— Тонкой работы, — говорят, — мы не, повредим и бриллианта не обменим, а две недели нам времени довольно, а к тому случаю, когда назад возвратишься, будет тебе *что-нибудь* государеву великолепию достойное представить.

А что именно, этого так-таки и не сказали.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Платов из Тулы уехал, а оружейники три человека, самые искусные из них, один косою левша, на щеке пятно родимое, а на висках волосья при ученье выдраны, попрощались с товарищами и с своими домашними да, ничего никому не сказывая, взяли сумочки, положили туда что нужно съестного и скрылись из города. Заметили за ними только то, что они пошли не в Московскую заставу, а в противоположную, киевскую сторону, и думали, что они пошли в Киев почивающим угодникам поклониться или посоветовать там с кем-нибудь из живых святых мужей, всегда пребывающих в Киеве в изобилии.

Но это было только близко к истине, а не самая истина. Ни время, ни расстояние не позволяли тульским мастерам сходить в три недели пешком в Киев да еще потом успеть сделать посрамительную для аглицкой нации работу. Лучше бы они могли сходить помолиться в Москву, до которой всего «два девяносто верст», а святых угодников и там почивает немало. А в другую сторону, до Орла, такие же «два девяносто», да за Орел до Киева снова еще добрых пять сот верст. Этакое пути скоро не сделаешь, да и сделавши его, не скоро отдохнешь — долго еще будут ноги остекливши и руки трястись.

Иным даже думалось, что мастера набахвалили перед Платовым, а потом как пообдумались, то и струсили и теперь совсем сбежали, унеся с собою и царскую золотую табакерку, и бриллиант, и наделавшую им хлопот аглицкую стальную блоху в футляре.

Однако такое предположение было тоже совершенно неосновательно и недостойно искусных людей, на которых теперь почивала надежда нации.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Туляки, люди умные и сведущие в металлическом деле, известны также как первые знатоки в религии. Их славою в этом отношении полна и родная земля, и даже святой Афон: они не только мастера петь с вавилонами, но они знают, как пишется картина «вечерний звон», а если кто из них посвятит себя большему служению и пойдет в монашество, то таковые слывут лучшими монастырскими экономами, и из них выходят самые способные сборщики. На святом Афоне знают, что туляки — народ самый выгодный, и если бы не они, то темные уголки России, наверно, не видали бы очень многих святостей отдаленного Востока, а Афон лишился бы многих полезных приношений от русских щедрот и благочестия. Теперь «афонские туляки» обвозят святости по всей нашей родине и мастерски собирают сборы даже там, где взять нечего. Туляк полон церковного благочестия и великий практик этого дела, а потому и те три мастера, которые взялись поддержать Платова и с ним всю Россию, не делали ошибки, направляясь не к Москве, а на юг. Они шли вовсе не в Киев, а к Мценску, к уездному городу Орловской губернии, в котором стоит древняя «камнесеченная» икона св. Николая; приплывшая сюда в самые древние времена на большом каменном же кресте по реке Зуше. Икона эта вида «грозного и престрашного» — святитель Мир-Ликийских изображен на ней «в рост», весь одет сребропозлащенной одеждой, а лицом темен и на одной руке держит храм, а в другой меч — «военное одоление». Вот в этом «одолении» и заключался смысл вещи: св. Николай вообще покровитель торгового и военного дела, а «мценский Никола» в особенности, и ему-то туляки и пошли поклониться. Отслужили они молебен у самой иконы, потом у каменного креста и, наконец, возвратились домой «нощию» и, ничего никому не рассказывая, принялись за дело в ужасном секрете. Сошлись они все трое в один домик к левше, двери заперли, ставни в окнах закрыли, перед Николиным образом лампадку затеплили и начали работать.

День, два, три сидят и никуда не выходят, все молоточками потюкивают. Куют что-то такое, а что куют — ничего неизвестно.

Всем любопытно, а никто ничего не может узнать, потому что работающие ничего не сказывают и наружу не показываются. Ходили к домику разные люди, стучались в двери под разными видами, чтобы огня или соли попросить, но три искусника ни на какой спрос не отпираются, и даже чем питаются — неизвестно. Пробовали их пугать, будто по соседству дом горит, — не выскочут ли в перепуге и не объявится ли тогда, что ими выковано, но ничто не брало этих хитрых мастеров; один раз только левша высунулся по плечи и крикнул:

— Горите себе, а нам некогда, — и опять свою щипаную голову спрятал, ставню захлопнул, и за свое дело принялся.

Только сквозь малые щелочки было видно, как внутри дома огонек блестит, да слышно, что тонкие молоточки по звонким наковальням вытюкивают.

Словом, все дело велось в таком страшном секрете, что ничего нельзя было узнать, и притом продолжалось оно до самого возвращения казака Платова с тихого Дона к государю, и во все это время мастера ни с кем не видались и не разговаривали.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Платов ехал очень спешно и с церемонией: сам он сидел в коляске, а на козлах два свистовые казака с нагайками по обе стороны ямщика садились и так его и поливали без милосердия, чтобы скакал. А если какой казак задремлет, Платов его сам из коляски ногою ткнет, и еще злее понесутся. Эти меры побуждения действовали до того успешно, что нигде лошадей ни у одной станции нельзя было удержать, а всегда сто скачков мимо остановочного места перескакивали. Тогда опять казак над ямщиком обратно сдействует, и к подъезду возвратятся.

Так они и в Тулу прикатили, — тоже пролетели сначала сто скачков дальше Московской заставы, а потом казак сдействовал над ямщиком нагайкою в обратную сторону, и стали у крыльца новых коней запрягать. Платов же из коляски не вышел, а только велел свистовому как можно скорее привести к себе мастеровых, которым блоху оставил.

Побежал один свистовой, чтобы шли как можно скорее и несли ему работу, которою должны были англичан посрамить, и еще мало этот свистовой отбежал, как Платов вдогонку за ним раз за разом новых шлет, чтобы как можно скорее.

Всех свистовых разогнал и стал уже простых людей из любопытной публики посылать, да даже и сам от нетерпения ноги из коляски выставляет и сам от нетерпеливости бежать хочет, а зубами так и скрипит — все ему еще нескоро показывается.

Так в тогдашнее время все требовалось очень в аккурате и в скорости, чтобы ни одна минута для русской полезности не пропадала.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Тульские мастера, которые удивительное дело делали, в это время как раз только свою работу оканчивали. Свистовые прибежали к ним запыхавшись, а простые люди из любопытной публики — те и вовсе не добежали, потому что с непривычки по дороге ноги рассыпали и повалились, а потом от страха, чтобы не глядеть на Платова, ударились домой да где попало спрятались.

Свистовые же как прискочили, сейчас вскрикнули и как видят, что те не отпирают, сейчас без церемонии рванули болты у ставень, но болты были такие крепкие, что нимало не подались, дернули двери, а двери изнутри заложены на дубовый засов. Тогда свистовые взяли с улицы бревно, поддели им на пожарный манер под кровельную застреху да всю крышу с маленького домика сразу и своротили. Но крышу сняли, да и сами сейчас повалились, потому что у мастеров в их тесной хороминке от безотдышной работы в воздухе такая потная спираль сделалась, что непривычному человеку с свежего поветрия и одного раза нельзя было продохнуть.

Послы закричали:

— Что же вы, такие-сякие, сволочи, делаете, да еще такую спиралью ошибать смеете! Или в вас после этого бога нет!

А те отвечают:

— Мы сейчас, последний гвоздик заколачиваем и, как забьем, тогда нашу работу вынесем.

А послы говорят:

— Он нас до того часу живьем съест и на помин души не оставит.

Но мастера отвечают:

— Не успеет он вас поглотить, потому вот пока вы тут говорили, у нас уже и этот последний гвоздь заколочен. Бегите и скажите, что сейчас несем.

Свистовые побежали, но не с уверкою: думали, что мастера их обманут; а потому бежат, бежат да оглянутся; но мастера за ними шли и так очень скоро поспешали, что даже не вполне как следует для явления важному лицу оделись, а на ходу крючки в кафтанах застегивают. У двух у них в руках ничего не содержалось, а у

третьего, у левши, в зеленом чехле царская шкатулка с аглицкой стальной блохой.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Свистовые подбежали к Платову и говорят:

— Вот они сами здесь!

Платов сейчас к мастерам:

— Готово ли?

— Все, — отвечают, — готово.

— Подавай сюда.

Подали.

А экипаж уже запряжен, и ямщик и фореитор на месте. Казаки сейчас же рядом с ямщиком уселись и нагайки над ним подняли и так замахнувши и держат.

Платов сорвал зеленый чехол, открыл шкатулку, вынул из ваты золотую табакерку, а из табакерки бриллиантовый орех, — видит: аглицкая блоха лежит там какая была, а кроме ее ничего больше нет.

Платов говорит:

— Это что же такое? А где же ваша работа, которую вы хотели государя утешить?

Оружейники отвечали:

— Тут и наша работа.

Платов спрашивает:

— В чем же она себя заключает?

А оружейники отвечают:

— Зачем это объяснять? Все здесь в вашем виду, — и предусматривайте.

Платов плечами вздвигнул и закричал:

— Где ключ от блохи?

— А тут же, — отвечают, — Где блоха, тут и ключ, в одном орехе.

Хотел Платов взять ключ, но пальцы у него были куцапые: ловил, ловил, — никак не мог ухватить ни блохи, ни ключика от ее брюшного завода и вдруг рассердился и начал ругаться словами на казацкий манер.

Кричал:

— Что вы, подлецы, ничего не сделали, да еще, пожалуй, всю вещь испортили! Я вам голову сниму!

А туляки ему в ответ:

— Напрасно так нас обижаете, — мы от вас, как от государева посла, все обиды должны стерпеть, но только за то, что вы в нас усумнились и подумали, будто мы даже государево имя обмануть сходственны, — мы вам секрета нашей работы теперь не скажем, а извольте к государю отвезти — он увидит, каковы мы у него люди и есть ли ему за нас постыждение.

А Платов крикнул:

— Ну, так врите же вы, подлецы, я с вами так не расстануся, а один из вас со мною в Петербург поедет, и я его там допытаюся, какие есть ваши хитрости.

И с этим протянул руку, схватил своими куцапыми пальцами за шивороток босого левшу, так что у того все крючочки от казакина отлетели, и кинул его к себе в коляску в ноги.

— Сиди, — говорит, — здесь до самого Петербурга вроде пубеля, — ты мне за всех ответишь. А вы, — говорит свистовым, — теперь гайда! Не зевайте, чтобы послезавтра я в Петербурге у государя был.

Мастера ему только осмелились сказать за товарища, что как же, мол, вы его от нас так без тугамента увозите? ему нельзя будет назад следовать! А Платов им вместо ответа показал кулак — такой страшный, бугровый и весь изрубленный, кое-как сросся — и, погрозивши, говорит: «Вот вам тугамент!» А казакам говорит:

— Гайда, ребята!

Казаки, ямщики и кони — все враз заработало и умчали левшу без тугамента, а через день, как приказал Платов, так его и подкатили к государеву дворцу и даже, расказакавшись как следует, мимо колонн проехали.

Платов встал, подцепил на себя ордена и пошел к государю, а косого левшу велел свистовым казакам при подъезде караулить.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Платов боялся к государю на глаза показаться, потому что Николай Павлович был ужасно какой замечательный и памятный — ничего не забывал. Платов знал, что он непременно его о блохе спросит. И вот он хоть никакого в свете неприятеля не пугался, а тут струсил: вошел во дворец со шкатулочкою да потихонечку ее в зале за печкой и поставил. Спрятавши шкатулку, Платов предстал к государю в кабинет и начал поскорее докладывать, какие у казаков на тихом Дону междоусобные разговоры. Думал он так: чтобы этим государя занять, и тогда, если государь сам вспомнит и заговорит про блоху, надо подать и ответить, а если не заговорит, то промолчать; шкатулку кабинетному камердинеру велеть спрятать, а тульского левшу в крепостной каземат без срока посадить, чтобы посидел там до времени, если понадобится.

Но государь Николай Павлович ни о чем не забывал, и чуть Платов насчет междоусобных разговоров кончил, он его сейчас же и спрашивает:

— А что же, как мои тульские мастера против аглицкой нимфозории себя оправдали?

Платов отвечал в том роде, как ему дело казалось.

— Нимфозория, — говорит, — ваше величество, все в том же пространстве, и я ее назад привез, а тульские мастера ничего удивительнее сделать не могли.

Государь ответил:

— Ты — старик мужественный, а этого, что ты мне докладываешь, быть не может.

Платов стал его уверять и рассказал, как все дело было, и как досказал до того, что туляки просили его блоху государю показать, Николай Павлович его по плечу хлопнул и говорит:

— Подавай сюда. Я знаю, что мои меня не могут обманывать. Тут что-нибудь сверх понятия сделано.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Вынесли из-за печки шкатулку, сняли с нее суконный покров, открыли золотую табакерку и бриллиантовый орех, — а в нем блоха лежит, какая прежде была и как лежала.

Государь посмотрел и сказал:

— Что за лихо! — Но веры своей в русских мастеров не убавил, а велел позвать свою любимую дочь Александру Николаевну и приказал ей:

— У тебя на руках персты тонкие — возьми маленький ключик и заведи поскорее в этой нимфозории брюшную машинку.

Принцесса стала крутить ключиком, и блоха сейчас усиками зашевелила, но ногами не трогает. Александра Николаевна весь завод натянула, а нимфозория все-таки ни дансе не танцует и ни одной верояции, как прежде, не выкидывает.

Платов весь позеленел и закричал:

— Ах они, шельмы собаческие! Теперь понимаю, зачем они ничего мне там сказать не хотели. Хорошо еще, что я одного ихнего дурака с собой захватил.

С этими словами выбежал на подъезд, словил левшу за волосы и начал туда-сюда трепать так, что клочья полетели. А тот, когда его Платов перестал бить, поправился и говорит:

— У меня и так все волосья при учебе выдраны, а не знаю теперь, за какую надобность надо мною такое повторение?

— Это за то, — говорит Платов, — что я на вас надеялся и заручался, а вы редкостную вещь испортили.

Левша отвечает:

— Мы много довольны, что ты за нас ручался, а испортить мы ничего не испортили: возьмите, в самый сильный мелкоскоп смотрите.

Платов назад побежал про мелкоскоп сказывать, а левше только погрозился:

— Я тебе, — говорит, — такой-сякой-этакой, еще задам.

И велел свистовым, чтобы левше еще крепче локти назад закрутить, а сам поднимается по ступеням, запыхался и читает

молитву: «Благого царя благая мати, пречистая и чистая», и дальше, как надобно. А царедворцы, которые на ступенях стоят, все от него отворачиваются, думают: попался Платов и сейчас его из дворца вон погонят, — потому они его терпеть не могли за храбрость.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Как довел Платов левшины слова государю, тот сейчас с радостью говорит:

— Я знаю, что мои русские люди меня не обманут. — И приказал подать мелкоскоп на подушке.

В ту же минуту мелкоскоп был подан, и государь взял блоху и положил ее под стекло сначала кверху спинкою, потом бочком, потом пузичком, — словом сказать, на все стороны ее повернули, а видеть нечего. Но государь и тут своей веры не потерял, а только сказал:

— Привести сейчас ко мне сюда этого оружейника, который внизу находится.

Платов докладывает:

— Его бы приодеть надо — он в чем был взят, и теперь очень в злом виде.

А государь отвечает:

— Ничего — ввести как он есть.

Платов говорит:

— Вот иди теперь сам, такой-этакой, перед очами государю отвечай.

А левша отвечает:

— Что ж, такой и пойду, и отвечу.

Идет в чем был: в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а озямчик старенький, крючочки не застегаются, порастеряны, а шиворот разорван; но ничего, не конфузится.

«Что же такое? — думает. — Если государю угодно меня видеть, я должен идти; а если при мне тугамента нет, так я тому не причинен и скажу, отчего так дело было».

Как взошел левша и поклонился, государь ему сейчас и говорит:

— Что это такое, братец, значит, что мы и так и этак смотрели, и под мелкоскоп клали, а ничего замечательного не усматриваем?

А левша отвечает:

— Так ли вы, ваше величество, изволили смотреть?

Вельможи ему кивают: дескать, не так говоришь! а он не понимает, как надо по-придворному, с лестью или с хитростью, а

говорит просто.

Государь говорит:

— Оставьте над ним мудрить, — пусть его отвечает, как он умеет.

И сейчас ему пояснил:

— Мы, — говорит, — вот как клали, — И положил блоху под мелкоскоп. — Смотри, — говорит, — сам — ничего не видно.

Левша отвечает:

— Этак, ваше величество, ничего и невозможно видеть, потому что наша работа против такого размера гораздо секретнее.

Государь спросил:

— А как же надо?

— Надо, — говорит, — всего одну ее ножку в подробности под весь мелкоскоп подвести и отдельно посмотреть на всякую пяточку, которой она ступает.

Помилуй, скажи, — говорит государь, — это уже очень сильно мелко!

— А что же делать, — отвечает левша, — если только так нашу работу и заметить можно: тогда все и удивление окажется.

Положили, как левша сказал, и государь как только глянул в верхнее стекло, так весь и просиял — взял левшу, какой он был неубранный и в пыли, неумытый, обнял его и поцеловал, а потом обернулся ко всем придворным и сказал:

— Видите, я лучше всех знал, что мои русские меня не обманут. Глядите, пожалуйста: ведь они, шельмы, аглицкую блоху на подковы подковали!

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТА

Стали все подходить и смотреть: блоха действительно была на все ноги подкована на настоящие подковы, а левша доложил, что и это еще не все удивительное.

— Если бы, — говорит, — был лучше мелкоскоп, который в пять миллионов увеличивает, так вы изволили бы, — говорит, — увидеть, что на каждой подковинке мастерово имя выставлено: какой русский мастер ту подковку делал.

— И твое имя тут есть? — спросил государь.

— Никак нет, — отвечает левша, — моего одного и нет.

— Почему же?

— А потому, — говорит, — что я мельче этих подковок работал: я гвоздики выковывал, которыми подковки забиты, — там уже никакой мелкоскоп взять не может.

Государь спросил:

— Где же ваш мелкоскоп, с которым вы могли произвести это удивление?

А левша ответил:

— Мы люди бедные и по бедности своей мелкоскопа не имеем, а у нас так глаз пристрелявши.

Тут и другие придворные, видя, что левши дело выгорело, начали его целовать, а Платов ему сто рублей дал и говорит:

— Прости меня, братец, что я тебя за волосья отодрал.

Левша отвечает:

— Бог простит, — это нам не впервые такой снег на голову.

А больше и говорить не стал, да и некогда ему было ни с кем разговаривать, потому что государь приказал сейчас же эту подкованную нимфозорию уложить и отослать назад в Англию — вроде подарка, чтобы там поняли, что нам это не удивительно. И велел государь, чтобы вез блоху особый курьер, который на все языки учен, а при нем чтобы и левша находился и чтобы он сам англичанам мог показать работу и каковые у нас в Туле мастера есть.

Платов его перекрестил.

— Пусть, — говорит, — над тобою будет благословение, а на дорогу я тебе моей собственной кислярки пришлю. Не пей мало, не пей много, а пей средственно.

Так и сделал — прислал.

А граф Кисельвроде велел, чтобы обмыли левшу в Туляковских всенародных банях, остригли в парикмахерской и одели в парадный кафтан с придворного певчего, для того, дабы похоже было, будто и на нем какой-нибудь жалованный чин есть.

Как его таким манером обформировали, напоили на дорогу чаем с платовскою кисляркою, затянули ременным поясом как можно туже, чтобы кишки не тряслись, и повезли в Лондон. Отсюда с левшой и пошли заграничные виды.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Ехали курьер с левшою очень скоро, так что от Петербурга до Лондона нигде отдыхать не останавливались, а только на каждой станции пояса на один значок еще уже перетягивали, чтобы кишки с легкими не перепутались; но как левше после представления государю, по платовскому приказанию, от казны винная порция вволю полагалась, то он, не евши, этим одним себя поддерживал и на всю Европу русские песни пел, только припев делал по-иностранному: «*Ай люли — се тре жули*» [17].

Курьер как привез его в Лондон, так появился кому надо и отдал шкатулку, а левшу в гостинице в номер посадил, но ему тут скоро скучно стало, да и есть захотелось. Он постучал в дверь и показал служающему себе на рот, а тот сейчас его и свел в пищеприемную комнату.

Сел тут левша за стол и сидит, а как чего-нибудь по-аглицки спросить — не умеет. Но потом догадался: опять просто по столу перстом постучит да в рот себе покажет, — англичане догадываются и подают, только не всегда того, что надобно, но он что ему не подходящее не принимает. Подали ему ихнего приготовления горячий студинг в огне, — он говорит: «Это я не знаю, чтобы такое можно есть», и вкушать не стал; они ему переменили и другого кушанья поставили. Также и водки их пить не стал, потому что она зеленая — вроде как будто купоросом заправлена, а выбрал, что всего натуральнее, и ждет курьера в прохладе за баклажечкой.

А те лица, которым курьер нимфозорию сдал, сию же минуту ее рассмотрели в самый сильный мелкоскоп и сейчас в публицейские ведомости описание, чтобы завтра же на всеобщее известие клеветон вышел.

— А самого этого мастера, — говорят, — мы сейчас хотим видеть.

Курьер их препроводил в номер, а оттуда в пищеприемную залу, где наш левша порядочно уже подрумянился, и говорит: «Вот он!»

Англичане левшу сейчас хлоп-хлоп по плечу и как равного себе — за руки. «Камрад, — говорят, — камрад — хороший мастер, —

разговаривать с тобой со временем, после будем, а теперь выпьем за твое благополучие».

Спросили много вина, и левше первую чарку, а он с вежливостью первый пить не стал: думает, — может быть, отравить с досады хотите.

— Нет, — говорит, — это не порядок: и в Польше нет хозяина больше, — сами вперед кушайте.

Англичане всех вин перед ним опробовали и тогда ему стали наливать. Он встал, левой рукой перекрестился и за всех их здоровье выпил.

Они заметили, что он левой рукою крестится, и спрашивают у курьера:

— Что он — лютеранец или протестантист?

Курьер отвечает:

— Нет, он не лютеранец и не протестантист, а русской веры.

— А зачем же он левой рукой крестится?

Курьер сказал:

— Он — левша и все левой рукой делает.

Англичане еще больше стали удивляться — и начали накачивать вином и левшу и курьера и так целые три дня обходились, а потом говорят: «Теперь довольно». По симфону воды с ерфиксом приняли и, совсем освежившись, начали расспрашивать левшу: где он и чему учился и до каких пор арифметику знает?

Левша отвечает:

— Наша наука простая: по Псалтирю да по Полусоннику, а арифметики мы нимало не знаем.

Англичане переглянулись и говорят:

— Это удивительно.

А Левша им отвечает:

— У нас это так повсеместно.

— А что же это, — спрашивают, — за книга в России «Полусонник»?

— Это, — говорит, — книга, к тому относящая, что если в Псалтире что-нибудь насчет гаданья царь Давид неясно открыл, то в Полусоннике угадывают дополнение.

Они говорят:

— Это жалко, лучше бы, если б вы из арифметики по крайности хоть четыре правила сложения знали, то бы вам было гораздо полезнее, чем весь Полусонник. Тогда бы вы могли сообразить, что в каждой-машине расчет силы есть; а то вот хоша вы очень в руках искусны, а не сообразили, что такая малая машинка, как в нимфозории, на самую аккуратную точность рассчитана и ее подковок несть не может. Через это теперь нимфозория и не прыгает и дансе не танцует.

Левша согласился.

— Об этом, — говорит, — спору нет, что мы в науках не зашлись, но только своему отечеству верно преданные.

А англичане сказывают ему:

— Оставайтесь у нас, мы вам большую образованность передадим, и из вас удивительный мастер выйдет.

Но на это левша не согласился.

— У меня, — говорит, — дома родители есть.

Англичане назвались, чтобы его родителям деньги посылать, но левша не взял.

— Мы, — говорит, — к своей родине привержены, и тятенька мой уже старичок, а родительница — старушка и привыкши в свой приход в церковь ходить, да и мне тут в одиночестве очень скучно будет, потому что я еще в холостом звании.

— Вы, — говорят, — обвыкнете, наш закон примете, и мы вас женим.

— Этого, — ответил левша, — никогда быть не может.

— Почему так?

— Потому, — отвечает, — что наша русская вера самая правильная, и как верили наши правотцы, так же точно должны верить и потомцы.

— Вы, — говорят англичане, — нашей веры не знаете: мы того же закона христианского и то же самое Евангелие содержим.

— Евангелие, — отвечает левша, — действительно у всех одно, а только наши книги против ваших толще, и вера у нас полнее.

— Почему вы так это можете судить?

— У нас тому, — отвечает, — есть все очевидные доказательства.

— Какие?

— А такие, — говорит, — что у нас есть и боготворные иконы и гроботочивые плавы и мощи, а у вас ничего, и даже, кроме одного воскресенья, никаких экстренных праздников нет, а по второй причине — мне с англичанкою, хоть и повенчавшись в законе, жить конфузно будет.

— Отчего же так? — спрашивают. — Вы не пренебрегайте: наши тоже очень чисто одеваются и хозяйственные.

А левша говорит:

— Я их не знаю.

Англичане отвечают:

— Это не важно суть — узнать можете: мы вам грандеву сделаем.

Левша застыдился.

— Зачем, — говорит, — напрасно девушек морочить. — И отнекался. — Грандеву, — говорит, — это дело господское, а нам нейдет, и если об этом дома, в Туле, узнают, надо мною большую насмешку сделают.

Англичане любопытствовали:

— А если, — говорят, — без грандеву, то как же у вас в таких случаях поступают, чтобы приятный выбор сделать?

Левша им объяснил наше положение.

— У нас, — говорит, — когда человек хочет насчет девушки обстоятельное намерение обнаружить, посылает разговорную женщину, и как она предлог сделает, тогда вместе в дом идут вежливо и девушку смотрят не таясь, а при всей родственности.

Они поняли, но отвечали, что у них разговорных женщин нет и такого обыкновения не водится, а левша говорит:

— Это тем и приятнее, потому что таким делом если заняться, то надо с обстоятельным намерением, а как я сего к чужой нации не чувствую, то зачем девушек морочить?

Он англичанам и в этих своих суждениях понравился, так что они его опять пошли по плечам и по коленям с приятством ладошками хлопывать, а сами спрашивают:

— Мы бы, — говорят, — только через одно любопытство знать желали: какие вы порочные приметы в наших девицах приметили и за что их обегаете?

Тут левша им уже откровенно ответил:

— Я их не порочу, а только мне то не нравится, что одежда на них как-то машется, и не разобрать, что такое надето и для какой надобности; тут одно что-нибудь, а ниже еще другое пришпилено, а на руках какие-то ногавочки. Совсем точно обезьяна-сапажу — плисовая тальма.

Англичане засмеялись и говорят:

— Какое же вам в этом препятствие?

— Препятствия, — отвечает левша, — нет, а только опасаясь, что стыдно будет смотреть и дожидаться, как она изо всего из этого разбираться станет.

— Неужели же, — говорят, — ваш фасон лучше?

— Наш фасон, — отвечает, — в Туле простой: всякая в своих кружевцах, и наши кружева даже и большие дамы носят.

Они его тоже и своим дамам казали, и там ему чай наливали и спрашивали:

— Для чего вы морщитесь?

Он отвечал, что мы, говорит, очень сладко не приучены.

Тогда ему по-русски вприкуску подали.

Им показывается, что этак будто хуже, а он говорит:

— На наш вкус этак вкуснее.

Ничем его англичане не могли сбить, чтобы он на их жизнь прельстился, а только уговорили его на короткое время погостить, и они его в это время по разным заводам водить будут и все свое искусство покажут.

— А потом, — говорят, — мы его на своем корабле привезем и *живого в Петербург доставим.*

На это он согласился.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Взяли англичане левшу на свои руки, а русского курьера назад в Россию отправили. Курьер хотя и чин имел и на разные языки был учен, но они им не интересовались, а левшою интересовались, — и пошли они левшу водить и все ему показывать. Он смотрел все их производство: и металлические фабрики и мыльно-пильные заводы, и все хозяйственные порядки их ему очень нравились, особенно насчет рабочего содержания. Всякий работник у них постоянно в сытости, одет не в обрывках, а на каждом способный тужурный жилет, обут в толстые щиплеты с железными набалдашниками, чтобы нигде ноги ни на что не напороть; работает не с бойлом, а с обучением и имеет себе понятия. Перед каждым на виду висит долбица умножения, а под рукою стирабельная дощечка: все, что который мастер делает, — на долбицу смотрит и с понятием сверяет, а потом на дощечке одно пишет, другое стирает и в аккурат сводит: что на цыфирях написано, то и на деле выходит. А придет праздник, соберутся по-парочке, возьмут в руки по палочке и идут гулять чинно-благородно, как следует.

Левша на все их житье и на все их работы насмотрелся, но больше всего внимание обращал на такой Предмет, что англичане очень удивлялись. Не столь его занимало, как новые ружья делают, сколь то, как старые в каком виде состоят. Все обойдет и хвалит, и говорит:

— Это и мы так можем.

А как до старого ружья дойдет, — засунет палец в дуло, поводит по стенкам и вздохнет:

— Это, — говорит, — против нашего не в пример превосходнейше.

Англичане никак не могли отгадать, что такое левша замечает, а он спрашивает:

— Не могу ли, — говорит, — я знать, что наши генералы это когда-нибудь глядели или нет?

Ему говорят:

— Которые тут были, те, должно быть, глядели.

— А как, — говорит, — они были: в перчатке или без перчатки?

— Ваши генералы, — говорят, — парадные, они всегда в перчатках ходят; значит, и здесь так были.

Левша ничего не сказал. Но вдруг начал беспокойно скучать. Затосковал и затосковал и говорит англичанам:

— Покорно благодарствуйте на всем угощении, и я всем у вас очень доволен и все, что мне нужно было видеть, уже видел, а теперь я скорее домой хочу.

Никак его более удержать не могли. По суше его пустить нельзя, потому что он на все языки не умел, а по воде плыть нехорошо было, потому что время было осеннее, бурное, но он пристал: отпустите.

— Мы на буреметр, — говорят, — смотрели: буря будет, потонуть можешь; это ведь не то, что у вас Финский залив, а тут настоящее Твердиземное море.

— Это все, равно, — отвечает, — где умереть, — все единственно, воля божия, а я желаю скорее в родное место, потому что иначе я могу род помешательства достать.

Его силом не удерживали: наплатили, деньгами наградили, подарили ему на память золотые часы с трепетиром, а для морской прохлады на поздний осенний путь дали байковое пальто с ветряной нахлобучкою на голову. Очень тепло одели и отвезли левшу на корабль, который в Россию шел. Тут поместили левшу в лучшем виде, как настоящего барина, но он с другими господами в закрытии сидеть не любил и совестился, а уйдет на палубу, под презент сядет и спросит: «Где наша Россия?»

Англичанин, которого он спрашивает, рукою ему в ту сторону покажет или головою махнет, а он туда лицом оборотится и нетерпеливо в родную сторону смотрит.

Как вышли из буфты в Твердиземное море, так стремление его к России такое сделалось, что никак его нельзя было успокоить. Водопление стало ужасное, а левша все вниз в каюты нейдет — под презентом сидит, нахлобучку надвинул и к отечеству смотрит.

Много раз англичане приходили его в теплое место вниз звать, но он, чтобы ему не докучали, даже отлыгаться начал.

— Нет, — отвечает, — мне тут наружи лучше; а то со мною под крышей от колтыхания морская свинка делается.

Так все время и не сходил до особого случая и через это очень понравился одному полшкиперу, который, на горе нашего левши, умел по-русски говорить. Этот полшкипер не мог надивиться, что русский сухопутный человек и так все непогоды выдерживает.

— Молодец, — говорит, — рус! Выпьем!

Левша выпил.

А полшкипер говорит:

— Еще!

Левша и еще выпил, и напился.

Полшкипер его и спрашивает:

— Ты какой от нашего государства в Россию секрет везешь?

Левша отвечает:

— Это мое дело.

— А если так, — отвечал полшкипер, — так давай держать с тобой аглицкое парей.

Левша спрашивает:

— Какое?

— Такое, чтобы ничего в одиночку не пить, а всего пить заровно: что один, то непременно и другой, и кто кого перепьет, того и горка.

Левша думает: небо тучится, брюхо пучится, — скука большая, а путина длинная, и родного места за волною не видно — пари держать все-таки веселее будет.

— Хорошо, — говорит, — идет!

— Только чтоб честно.

— Да уж это, — говорит, — не беспокойтесь.

Согласились и по рукам ударили.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Началось у них пари еще в Твердиземном море, и пили они до рижского Динаминде, но шли все наравне и друг другу не уступали и до того аккуратно равнялись, что когда один, глянув в море, увидал, как из воды черт лезет, так сейчас то же самое и другому объявилось. Только полшкипер видит черта рыжего, а левша говорят, будто он темен, как мурин.

Левша говорит:

— Перекрестись и отворотись — это черт из пучины.

А англичанин спорит, что «это морской водоглаз».

— Хочешь, — говорит, — я тебя в море швырну? Ты не бойся — он мне тебя сейчас назад подаст.

А левша отвечает:

— Если так, то швыряй.

Полшкипер его взял на закорки и понес к борту.

Матросы это увидали, остановили их и доложили капитану, а тот велел их обоих вниз запереть и дать им рому и вина и холодной пищи, чтобы могли и пить и есть и свое пари выдержать, — а горячего студингу с огнем им не подавать, потому что у них в нутре может спирт загореться.

Так их и привезли взаперти до Петербурга, и пари из них ни один друг у друга не выиграл; а тут расклали их на разные повозки и повезли англичанина в посланнический дом на Аглицкую набережную, а левшу — в квартал.

Отсюда судьба их начала сильно различаться.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Англичанина как привезли в посольский дом, сейчас сразу позвали к нему лекаря и аптекаря. Лекарь велел его при себе в теплую ванну всадить, а аптекарь сейчас же скатал гуттаперчевую пилюлю и сам в рот ему всунул, а потом оба вместе взялись и положили на перину и сверху шубой покрыли и оставили потеть, а чтобы ему никто не мешал, по всему посольству приказ дан, чтобы никто чихать не смел. Дождались лекарь с аптекарем, пока полшкипер заснул, и тогда другую гуттаперчевую пилюлю ему приготовили, возле его изголовья на столик положили и ушли.

А левшу свалили в квартале на пол и спрашивают:

— Кто такой и откуда, и есть ли паспорт или какой другой тугамент?

А он от болезни, от питья и от долгого колтыханья так ослабел, что ни слова не отвечает, а только стонет.

Тогда его сейчас обыскали, пестрое платье с него сняли и часы с трепетиром, и деньги обрали, а самого пристав велел на встречном извозчике бесплатно в больницу отправить.

Повел городской левшу на санки сажать, да долго ни одного встречника поймать не мог, потому извозчики от полицейских бегают. А левша все время на холодном парате лежал; потом поймал городской извозчика, только без теплой лисы, потому что они лису в санях в таком разе под себя прячут, чтобы у полицейских скорей ноги стыли. Везли левшу так непокрытого, да как с одного извозчика на другого станут пересаживать, все роняют, а поднимать станут — ухи рвут, чтобы в память пришел.

Привезли в одну больницу — не принимают без тугамента, привезли в другую — и там не принимают, и так в третью, и в четвертую — до самого утра его по всем отдаленным кривопуткам таскали и все пересаживали, так что он весь избился. Тогда один подлекарь сказал городскому везти его в простонародную Обухвинскую больницу, где неведомого сословия всех умирать принимают.

Тут велели расписку дать, а левшу до разборки на полу в коридор посадить.

А аглицкий полшкипер в это самое время на другой день встал, другую гуттаперчевую пилюлю в нутро пролотил, на легкий завтрак курицу с рысью съел, ерфиксом запил и говорит:

— Где мой русский камрад? Я его искать пойду.

Оделся и побежал.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Удивительным манером полшкипер как-то очень скоро левшу нашел, только его еще на кровать не уложили, а он в коридоре на полу лежал и жаловался англичанину.

— Мне бы, — говорит, — два слова государю непременно надо сказать.

Англичанин побежал к графу Клейнмихелю и зашумел:

— Разве так можно! У него, — говорит, — хоть и шуба овечкина, так душа человеческая.

Англичанина сейчас оттуда за это рассуждение вон, чтобы не смел поминать душу человеческую. А потом ему кто-то сказал: «Сходил бы ты лучше к казаку Платову — он простые чувства имеет».

Англичанин достиг Платова, который теперь опять на укушетке лежал. Платов его выслушал и про левшу вспомнил.

— Как же, братец, — говорит, — очень коротко с ним знаком, даже за волоса его драл, только не знаю, как ему в таком несчастном разе помочь; потому что я уже совсем отслужился и полную пуплекцию получил — теперь меня больше не уважают, — а ты беги скорее к коменданту Скобелеву, он в силах и тоже в этой части опытный, он что-нибудь сделает.

Полшкипер пошел и к Скобелеву и все рассказал: какая у левши болезнь и отчего сделалась. Скобелев говорит:

— Я эту болезнь понимаю, только немцы ее лечить не могут, а тут надо какого-нибудь доктора из духовного звания, потому что те в этих примерах выросли и помогать могут; я сейчас пошлю туда русского доктора Мартын-Сольского.

Но только когда Мартын-Сольский приехал, левша уже кончался, потому что у него затылок о парат раскололся, и он одно только мог внятно выговорить:

— Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог войны, они стрелять не годятся.

И с этою верностью левша перекрестился и помер. Мартын-Сольский сейчас же поехал, об этом графу Чернышеву доложил,

чтобы до государя довести, а граф Чернышев на него закричал:

— Знай, — говорит, — свое рвотное да слабительное, а не в свое дело не мешайся: в России на это генералы есть.

Государю так и не сказали, и чистка все продолжалась до самой Крымской кампании. В тогдашнее время как стали ружья заряжать, а пули в них и болтаются, потому что стволы кирпичом расчищены.

Тут Мартын-Сольский Чернышеву о левше и напомнил, а граф Чернышев и говорит:

— Пошел к черту, плезирная трубка, не в свое дело не мешайся, а не то я отопрюсь, что никогда от тебя об этом не слыхал, — тебе же и достанется.

Мартын-Сольский подумал: «И вправду отопрется», — так и молчал.

А доведи они левшины слова в свое время до государя, — в Крыму на войне с неприятелем совсем бы другой оборот был.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Теперь все это уже «дела минувших дней»: и «преданья старины», хотя и не глубокой, но предания эти нет нужды торопиться забывать, несмотря на баснословный склад легенды и эпический характер ее главного героя. Собственное имя левши, подобно именам многих величайших гениев, навсегда утрачено для потомства; но как олицетворенный народной фантазией миф он интересен, а его происхождения могут служить воспоминанием эпохи, общий дух которой схвачен метко и верно.

Таких мастеров, как баснословный левша, теперь, разумеется, уже нет в Туле: машины сравняли неравенство талантов и дарований, и гений не рвется в борьбе против прилежания и аккуратности. Благоприятствуя возвышению заработка, машины не благоприятствуют артистической удали, которая иногда превосходила меру, вдохновляя народную фантазию к сочинению подобных нынешней баснословных легенд.

Работники, конечно, умеют ценить выгоды, доставляемые им практическими приспособлениями механической науки, но о прежней старине они вспоминают с гордостью и любовью. Это их эпос, и притом с очень «человечкиной душой».

В. М. ГАРШИН

ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО

В один прекрасный июньский день, — а прекрасный он был потому, что было двадцать восемь градусов по Реомюру, — в один прекрасный июньский день было везде жарко, а на полянке в саду, где стояла копна недавно скошенного сена, было еще жарче, потому что место было закрытое от ветра густым-прегустым вишняком. Все почти спало: люди наелись и занимались послеобеденными боковыми занятиями; птицы примолкли, даже многие насекомые попрятались от жары. О домашних животных нечего и говорить: скот крупный и мелкий прятался под навес; собака, вырыв себе под амбаром яму, улеглась туда и, полузакрыв глаза, прерывисто дышала, высунув розовый язык чуть не на пол-аршина; иногда она, очевидно от тоски, происходящей от смертельной жары, так зевала, что при этом даже раздавался тоненький визг; свиньи, маменька с тринадцатью детками, отправились на берег и улеглись в черную жирную грязь, причем из грязи видны были только сопевшие и храпевшие свиные пяточки с двумя дырочками, продолговатые, облитые грязью спины да огромные повислые уши. Одни куры, не боясь жары, кое-как убивали время, разгребая лапами сухую землю против кухонного крыльца, в которой, как они отлично знали, не было уже ни одного зернышка; да и то петуху, должно быть, приходилось плохо, потому что иногда он принимал глупый вид и во все горло кричал: «какой ска-ан-да-ал!!»

Вот мы и ушли с полянки, на которой жарче всего, а на этой-то полянке и сидело целое общество неславших господ. То есть сидели-то не все; старый гнедой, например, с опасностью для своих боков от кнута кучера Антона разгребавший копну сена, будучи лошадьё, вовсе и сидеть не умел; гусеница какой-то бабочки тоже не сидела, а скорее лежала на животе: но дело ведь не в слове. Под вишнею собралась маленькая, но очень серьезная компания: улитка, навозный жук, ящерица, вышеупомянутая гусеница; прискакал кузнечик. Возле стоял и старый гнедой, прислушиваясь к их речам одним, повернутым

к ним, гнедым ухом с торчащими изнутри темно-серыми волосами; а на гнедом сидели две мухи.

Компания вежливо, но довольно одушевленно спорила, причем, как и следует быть, никто ни с кем не соглашался, так как каждый дорожил независимостью своего мнения и характера.

— По-моему, — говорил навозный жук, — порядочное животное прежде всего должно заботиться о своем потомстве. Жизнь есть труд для будущего поколения. Тот, кто сознательно исполняет обязанности, возложенные на него природой, тот стоит на твердой почве: он знает свое дело, и, что бы ни случилось, он не будет в ответе. Посмотрите на меня: кто трудится больше моего? Кто целые дни без отдыха катает такой тяжелый шар — шар, мною же столь искусно созданный из навоза, с великой целью дать возможность вырасти новым, подобным мне, навозным жукам? Но зато не думаю, чтобы кто-нибудь был так спокоен совестью и с чистым сердцем мог бы сказать: «да, я сделал все, что мог и должен был сделать», как скажу я, когда на свет явятся новые навозные жуки. Вот что значит труд!

— Поди ты, братец, с своим трудом! — сказал муравей, притащивший во время речи навозного жука, несмотря на жару, чудовищный кусок сухого стебелька. Он на минуту остановился, присел на четыре задние ножки, а двумя передними отер пот со своего измученного лица. — И я ведь тружусь, и побольше твоего. Но ты работаешь для себя или, все равно, для своих жученят; не все так счастливы... попробовал бы ты потаскать бревна для казны, вот как я. Я и сам не знаю, что заставляет меня работать, выбиваясь из сил, даже и в такую жару. — Никто за это и спасибо не скажет. Мы, несчастные рабочие муравьи, все трудимся, а чем красна наша жизнь? Судьба!..

— Вы, навозный жук, слишком сухо, а вы, муравей, слишком мрачно смотрите на жизнь, — возразил им кузнечик. — Нет, жук, я люблю-таки потрепать и попрыгать, и ничего! Совесть не мучит! Да притом вы нисколько не коснулись вопроса, поставленного госпожой ящерицей: она спросила, «что есть мир?», а вы говорите о своем навозном шаре; это даже невежливо. Мир — мир, по-моему, очень хорошая вещь уже потому, что в нем есть для нас молодая травка, солнце и ветерок. Да и велик же он! Вы здесь, между этими деревьями, не можете иметь никакого понятия о том, как он велик. Когда я бываю в поле, я иногда вспрыгиваю, как только могу, вверх и,

уверяю вас, достигаю огромной высоты. И с нее-то вижу, что миру нет конца.

— Верно, — глубокомысленно подтвердил гнедой. — Но всем вам все-таки не увидеть и сотой части того, что видел на своем веку я. Жаль, что вы не можете понять, что такое верста... За версту отсюда есть деревня Лупаревка: туда я каждый день езжу с бочкой за водой. Но там меня никогда не кормят. А с другой стороны Ефимовка, Кисляковка; в ней церковь с колоколами. А потом Свято-Троицкое, а потом Богоявленск. В Богоявленске мне всегда дают сена, но сено там плохое. А вот в Николаеве, — это такой город, двадцать восемь верст отсюда, — так там сено лучше и овес дают, только я не люблю туда ездить: туда ездит на нас барин и велит кучеру погонять, а кучер больно стегает нас кнутом... А то есть еще Александровка, Белозерка, Херсон-город тоже... Да только куда вам понять все это!.. Вот это-то и есть мир; не весь, положим, ну да все-таки значительная часть.

И гнедой замолчал, но нижняя губа у него все еще шевелилась, точно он что-нибудь шептал. Это происходило от старости: ему был уже семнадцатый год, а для лошади это все равно, что для человека семьдесят седьмой.

— Я не понимаю ваших мудреных лошадиных слов, да, признаться, и не гонюсь за ними, — сказала улитка. — Мне был бы лопух, а его довольно: вот уже я четыре дня ползу, а он все еще не кончается. А за этим лопухом есть еще лопух, а в том лопухе, наверно, сидит еще улитка. Вот вам и все. И прыгать никуда не нужно — все это выдумки и пустяки; сиди себе да ешь лист, на котором сидишь. Если бы не лень ползти, давно бы ушла от вас с вашими разговорами; от них голова болит и больше ничего.

— Нет, позвольте, отчего же? — перебил кузнечик, — потрещать очень приятно, особенно о таких хороших предметах, как бесконечность и прочее такое. Конечно, есть практические натуры, которые только и заботятся о том, как бы набить себе живот, как вы или вот эта прелестная гусеница...

— Ах, нет, оставьте меня, прошу вас, оставьте, не троньте меня! — жалобно воскликнула гусеница: — я делаю это для будущей жизни, только для будущей жизни.

— Для какой там еще будущей жизни? — спросил гнедой.

— Разве вы не знаете, что я после смерти сделаюсь бабочкой с разноцветными крыльями?

Гнедой, ящерица и улитка этого не знали, но насекомые имели кое-какое понятие. И все немного помолчали, потому что никто не умел сказать ничего путного о будущей жизни.

— К твердым убеждениям нужно относиться с уважением, — затрещал, наконец, кузнечик. — Не желает ли кто сказать еще что-нибудь? Может быть, вы? — обратился он к мухам, и старшая из них ответила:

— Мы не можем сказать, чтобы нам было худо. Мы сейчас только из комнат; барыня расставила в мисках наваренное варенье, и мы забрались под крышку и наелись. Мы довольны. Наша маменька увязла в варенье, но что ж делать? Она уже довольно пожила на свете. А мы довольны.

— Господа, — сказала ящерица, — я думаю, что все вы совершенно правы! Но с другой стороны...

Но ящерица так и не сказала, что было с другой стороны, потому что почувствовала, как что-то крепко прижало ее хвост к земле.

Это пришел за гнедым проснувшийся кучер Антон; он нечаянно наступил своим сапожищем на компанию и раздавил ее. Одни мухи улетели обсасывать свою мертвую, обмазанную вареньем, маменьку, да ящерица убежала с оторванным хвостом. Антон взял гнедого за чуб и повел его из сада, чтобы запрячь в бочку и ехать за водой, причем приговаривал: «ну, иди ты, хвостяка!», на что гнедой ответил только шептаньем.

А ящерица осталась без хвоста. Правда, через несколько времени он вырос, но навсегда остался каким-то тупым и черноватым. И когда ящерицу спрашивали, как она повредила себе хвост, то она скромно отвечала:

— Мне оторвали его за то, что я решилась высказать свои убеждения.

И она была совершенно права.

И. А. ГОНЧАРОВ

Из цикла «Слуги старого века»

ВАЛЕНТИН

Ко мне явился, по рекомендации одного моего приятеля, человек низенького роста, плешивый, лет пятидесяти, с проседью на редких волосах, оригинальной, даже смешной наружности.

У него был маленький, едва заметный, величины и цвета вишни нос, голубые без всякого оттенка глаза и яркий старческий румянец на щеках. Голубые, без примеси, глаза, по моему наблюдению, были почти несомненно печатью наивности, граничащей с глупостью, чаще просто глупости.

Он вошел, поклонился, кокетливо шаркнув ножкой, которую тотчас поднял немного, прижал к другой ноге и подал мне свой паспорт и рекомендательную записку от моего приятеля. После обычных объяснений о его обязанности у меня, уговора о жалованье я показал ему свою квартиру, его комнату, шкафы с платьями, комоды с бельем и прочие вещи и предложил ему поскорее вступить в должность.

К вечеру он водворился у меня, и на другой день все вошло в обычную колею. Он оказался очень учтивым, исправным, хорошо выдрессированным слугой. Красный нос и румяные щеки приводили меня в некоторое сомнение насчет его воздержания, но к счастью — это не подтвердилось.

Проходили недели, месяцы, на пьянство не было и намека. Он исполнял свою должность аккуратно, шмыгал мимо меня по комнатам, как воробей, ступая на одну ногу легче, нежели на другую, едва касаясь ею пола. Я думал, что она у него короче другой, но потом заметил, что он делал это, чтоб придать своей походке некоторую грацию. Вообще он был кокетлив; носил розовые и голубые шейные косынки, вышитые манишки с розовой подкладкой, цветные воротнички. В кармане он держал миниатюрное зеркальце с гребенкой, и я зачастую заставлял, что он глядится в него и старается собрать жидкие космы волос с затылка и висков воедино. Проходя

мимо зеркал в моих комнатах, он непременно поглядится в них и иногда улыбнется. Я исподтишка забавлялся этим невинным кокетством, но не давал ему этого заметить. Я даже поощрял его, отдавал ему свои почти совсем новые галстуки, перчатки, обещая отдавать и все свои отслужившие платья, что, впрочем, делал всегда и прежде.

Так мы привыкали все больше и больше друг к другу и наконец совсем привыкли. Он очень редко отлучался со двора, у него я почти никого не видал в гостях, впрочем, раза два-три, возвращаясь домой, замечал мельком каких-то невзрачных женщин, которые при мне исчезали. «Землячки», — говорил он, когда мне случалось встречать их.

Словом, я был очень доволен им и не раз благодарил своего приятеля за рекомендацию.

Но вот чего я никак не подозревал: что он был прикосновен к литературе. Проходя через его комнату в ванну, я видал у него не помню какие-то старые, полуразорванные книги, с остатками переплета или вовсе без переплета, иные в листках, пожелтевших от времени и употребления. Однажды я любопытствовал и протянул было руку, чтоб взять и посмотреть одну из книг. Но Валентин (так звали его) поспешил стать между ними и мной, по-видимому недовольный моим любопытством. Я не настаивал.

— Какие это у тебя там книги на полке? Вон и какие-то тетрадки? — спросил я. — Уж не сочиняешь ли ты?

— Куда мне! — сказал он, отвернувшись в сторону. — А книжки эти у меня от одного барина остались: старые, ненужные ему, он и отдал мне.

При этом он отодвинул их от меня подальше в угол, чтоб я не трогал их.

Я и забыл про это. Не бывая дома днем, я возвращался вечером, садился работать и часто просиживал часов до четырех и до пяти утра. Он уже спал, и я не знал, как он проводит день, с кем видится, какие «землячки» ходят к нему и какие книги он читает.

Все мало-помалу объяснилось случайно.

Бывали дни, когда у меня являлись сильные припадки деятельности. Тогда я обедал дома или напротив моей квартиры в клубе, спал после обеда, чтоб освежиться на ночную работу, и

запирался почти на всю ночь. Я то садился за письменный стол, то ходил взад и вперед по своей небольшой зале и опять брался за перо.

В зале было слышно, при ночной тишине, что делалось в передней и за перегородкою в ней, рядом с помещением человека.

Однажды, прохаживаясь еще не поздно ночью, после вечернего чаю, я услышал его голос. Он что-то говорил. Сначала я не обратил на это внимания, думал, что он рассуждает вслух, как есть у некоторых привычка, или молится. Но, ступая по ковру легче, я услышал мерное, плавное чтение, почти пение, как будто стихов. Я остановился у полуотворенной двери и вслушался.

И зри-мо ей в мину-ту ста-ло
Незри-мое с давнишних пор... —

читал он нараспев, с амфазом, почти всхлипывая.

Я стал припоминать, чьи это стихи, и наконец припомнил, что это романс Жуковского, только забыл, какой начинается.

«Валентин читает стихи, знает Жуковского! Стало быть, и Пушкина и других! Да он развитой, образованный человек! Уж не инкогнито ли он?» — мелькнуло у меня в голове. И если б не эти бестенные голубые глаза, но этот красненький нос, не розовенькие галстучки и грациозные шажки с поджимаемой ножкой, и я остановился бы на своем предположении.

Я осторожно вышел в переднюю, неслышно отворил к нему дверь и остановился. Он сидел задом к двери и за звуками своего голоса не слышал моего прихода.

Душе шепну-у-л приве-ет бываа-лый,
Душе блеснуу-л знакомый вз-о-о-р... —

заливался он все нараспев.

И опять:

И зри-и-мо ей в мину-ту ста-а-ло
Незри-и-мое с давнишних пор...

Он растягивал слова и ударял голосом на некоторых. Я сделал шаг к нему, он вскочил, сконфузился, Проворно снял очки и хотел закинуть книгу на полку. Но я удержал его и взял книгу. Это был небольшой том стихотворений Жуковского, с оторванными листами начала и конца.

— Что ты читал сейчас? — спросил я.

— Да вот это самое. — Он указал на книгу: — Сочинение господина Жуковского.

— Тебе нравится? — спросил я.

— А как же-с: кому такое не понравится!

— Почитай, пожалуйста, последнее, вот что ты сейчас читал, — попросил я.

— Зачем вам: чтоб смеяться!..

— Нет, как можно! Напротив, я очень доволен, что ты занимаешься, читаешь, не так, как другие...

Он заметно смягчился: ему понравилось и польстило мое замечание. Он взял книгу и надел очки. Они еле держались на его крошечном носу. Он был невыразимо смешон — и мне немалого труда стоило удержаться от смеха.

— Это самое или сначала прикажете? — спросил он.

— Пожалуй, сначала.

И он начал:

Мину-вших дне-й очароваа-нье,
Зачем (*тут он взял высокую ноту, почти вскрикнул*)
опя-ть вос-кре-сло ты?
Кто (*опять ударение голосом*) пробудил воспо-ми-на-нье
И замолча-вшие мечты!
Душе шепнул (*тоненьким, нежным голоском запел он*)
приве-т быва-лый,
Душе блесну-л знако-мый взо-р
И зри-и-мо ей в мину-ту стало
Нзри-мое с давни-шних пор.

Последние слова он с умилением как будто допел и кончил почти плачем; голубые глаза увлажнились; губы сладко улыбались.

Он поглядел па меня, что я? Я чувствовал, что мне лицо прожигал смех, но я старался не улыбнуться.

— Ты все понимаешь? — спросил я, любопытно узнать, как он объясняет себе отвлеченные выражения Жуковского.

— А вы понимаете? — вдруг скороговоркой спросил он. Он живо снял очки, положил книгу и пристально посмотрел на меня.

— Как же: конечно, понимаю! — ответил я, озадаченный его вопросом.

Он недоверчиво усмехнулся.

— Вы и это тоже понимаете? — насмешливо спросил он, взял книгу, надел очки и, порывшись в листах, начал читать:

Земли жил-е-е-ц безвы-ы-ходный — страд-анье,
Ему судьбы на ча-сть нас обрekli;
Здесь ра-дости не наше облада-нье...

Я за него продолжал наизусть:

Пролетные пленители земли
Лишь по пути заносят нам преданье
О благах, нам обещанных вдали.

— Верно! — сказал он, следя по книге за мной. — Что ж, вы и это понимаете? — насмешливо повторил он.

— Да, разумеется. Что ж тут непонятного?

— А вот извольте-ка сказать, что это за «жилец» такой «безвыходный» и что это за «часть» такая тут попала, да еще какое слово «обрekli ему»: кому «ему»? А тут вдруг «радости» пошли, да «обладанье» какое-то! Вы так все это и понимаете? Полноте, сударь!

— А ты разве этого не понимаешь? — спросил я озадаченный. — Зачем же ты читаешь?

Он оторопел на минуту и замялся.

— Если все понимать — так и читать не нужно: что тут занятного! — отозвался он. — Иные слова понимаешь, — и то слава богу! Вон тут написано «радости», «страданье» — это понятно. А вот

какие-то «пролетные пленители» еще «на часть нас обрекли» — поди-ка пойми кто!

— Пстой, погоди! — сказал я и взял с его полки одну книгу, другую — он уже не мешал мне: книги были больше без переплета, с оторванными заглавиями. Тут были и календари, и духовного содержания, и «новейший», но старый-престарый песенник: все рухлядь. Наконец я увидел какую-то хрестоматию без заглавия, кажется Греча, поискал что-нибудь понятное, и как раз подвернулось стихотворение Шишкова, и я стал читать:

Хоть весною и тепленько,
А зимою холодненько,
Но и в стуже
Нам не хуже.
В долгу ночку
К огонечку
Все сберутся,
Старый, малый,
Точат балы
И смеются.
А как матки
Придут святки,
Тут-то грохот,
Игры, хохот... и т. д.

Я дочитал до конца.

— Вот, если ты любишь стихи, это бы и читал! Он с нескрываемым презрением слушал мое чтение.

— Это каждый мальчишка поймет или деревенская баба! — сказал он, глядя в сторону. — Прочитал раз, понял, да и бросил: что ж тут занятного? То ли дело это!

Он надел очки, схватил свою любимую книгу и начал опять заливаться нараспев, с чувством:

Земли жиле-е-ц безвыходный — страд-а-нье
Ему судьбы на ча-а-сть нас, обрекли...

— Вот пойми-ка это? Какой такой «жилец» — и кому ему «обрекли» какие-то «судьбы»? Не угодно ли растолковать? — вызывающим голосом добавил он.

— Изволь! — снисходительно сказал я, наслаждаясь про себя его непониманием. — «Жилец безвыходной земли» — и есть «страданье»: вот ему на «часть», или на долю, что ли, и обрекла нас «судьба»... Все понятно!

Он положил книгу и снял очки.

— Вы, может быть, и Покалипс понимаете? — едко спросил он.

— Апокалипсис, хочешь ты сказать, — поправил я.

— Ну, Покалипсис! — с неудовольствием добавил он.

— А что же: понимаю, — храбро сказал я, чтоб посмотреть, что он.

Я еще не успел кончить своего ответа, как мой Валентин завизжал пронзительным смехом, воротя лицо, из почтения ко мне, в сторону, к стене. «Хи-хи! хи-хи!» — визжал он. Потом оборотился мельком ко мне, взглянул на меня и, быстро отвернувшись, опять завизжал, напрасно стараясь почтительно сдержаться.

— Что тут забавного? — сказал я, сам весело глядя на него.

— Как же-с... хи... хи... хи... — заливался он.

Наконец мало-помалу унялся, отдышался, откашлялся. «Извините меня, сударь, право, не могу... хи, хи, хи!»

— Это у нас в селе был дьякон Еремей... — начал он с передышкой. — Он не Еремей, а отец Никита, да его прозвали Еремеем. Он тоже хвастался, что понимает Покалипс...

— Апокалипсис! — поправил я.

— Ну, Покалипсис, — нехотя вставил Валентин. — Архиерей объезжал губернию, приехал и в наше село. Наш священник после обедни, за завтраком, и указал на этого самого Никиту: «Вот, говорит, святой владыка: дьякон наш Никита похваляется, что понимает Покалипс...»

— Апокалипсис! — поправил я.

Валентин только сморщился, но не повторил поправки.

— «Дерзновенно!» — сказал архиерей; так и сказал: «дерзновенно!» Дьякон не знал, куда деться из-за стола: «Провалился

бы, — рассказывал после, — лучше сквозь землю. И кулебяка, говорит, так и заперла мне горло...» — «А ну-ка, дьяконе, скажи... — это архиерей-то говорит дьякону, — скажи, говорит, что значит блудница, о которой повествует святой Иоанн Богослов в Покалипсе...»

— В Апокалипсисе, — поправил я.

Вы не извольте сбивать меня с толку, — с сердцем заметил Валентин, — а то я перепутаю архиерейскую речь. Я ее наизусть затвердил, — и все тогда затвердили у нас. Я буфетчиком был у господ, и меня послали служить за этим самым завтраком: наш повар и готовил. Вот дьякон — сам после сказывал — не разжевавши хорошенько, почесть целиком целую корку кулебяки с семгой проглотил. Чуть не подавился, весь покраснел как рак. «Ну, говори, коли понимаешь!» — нудил архиерей. «Блудница... святой владыко... это... это... — мямлил дьякон, — это святой Иоанн Богослов прорекает о заблудшейся западной римской католической церкви...» Мы все слушаем, недохнем, я за самым стулом архиерейским стоял, все слушал и запомнил до слова... Так дьякон и замолчал. «А далее?» — говорит архиерей. А у дьякона и дыхание перехватило, молчит. Все молчали, носы уткнули в тарелки. Архиерей посмотрел на него, да и проговорил, так важно проговорил, словно в церкви из алтаря голос подал...

— Что ж он проговорил?

— «Всякий, говорит, Еремей про себя разумеи!» Все и замолчали, так и из-за стола разошлись. Вот с тех пор во всем селе все, даже мужики, дьякона Никиту и прозвали Еремеем, а под сердитую руку и блудницей дразнили. А вы извольте говорить, что и вы тоже понимаете Покалипс... Хи-хи-хи!

— Апокалипсис! — поправил я. — Если дьякон не понимал, это еще не причина, чтобы я не понимал...

— Полноте, грех, сударь! — не на шутку сердился Валентин. — Дьякон или священник всю жизнь церковные книги читают — кому бы и понимать, как не священству? А вот никто не понимает. Один только святой схимник был: он в киевских пещерах спасался, тот понимал. Один! Все допытывались от него, и сам митрополит уговаривал, да никому не открывал. Перед кончиной его вся братия

три дня на коленях молила открыть, а он не открыл, так и скончался. А вы — понимаете!

Он опять захихикал в сторону, глядя на меня почтительно и насмешливо. Это очень развлекало меня. Я пошел к себе, порылся в шкафу, чтобы подыскать что-нибудь подходящее для его понимания, нашел между книгами «Юрия Милославского», «Конька горбунка» и подарил ему.

— Вот, читай и скажи мне, как тебе понравится!

Он очень был доволен моим подарком и обещал читать.

Пока он рассматривал книги, я взял с полки у него какую-то тетрадку и прочел сверху кривую надпись: «Сенонимы». Под этой надписью, попарно, иногда по три слова, тем же кривым, вероятно его, почерком написаны были однозвучные слова. Например, рядом стояли: «эмансипация и констипация», далее «конституция и проституция», потом «тлетворный и нерукотворный», «нумизмат и кастрат», и так без конца.

— Что это такое? — спросил я.

— Тут написано что: сенонимы! — сказал он.

— Да что такое «синонимы», ты знаешь?

— Это похожие друг на друга слова.

— Кто это тебе сказал?

— Да тот же дьякон Еремей: он был ученый. Вот когда я завел эту самую тетрадку и стал записывать туда из книг непонятные похожие слова, я и спросил

его, что, мол, значат похожие друг на друга слова? Он и говорит: «сенонимы, говорит, это называется». Я так и записал и заново туда такие слова.

— Да это совсем не то: он тебе не то сказал или ты не так понял, — заметил я. — Синонимы совсем не то значит...

Он решительно взял у меня из рук тетрадку и положил на полку.

— Пожалуйста, — сказал он, — вы ведь все изволите лучше знать, чем другие, даже лучше самого господина Жуковского: вон и Покалипс понимаете...

— Апокалипсис! — поправил я.

— А нам где понимать!

Он едко улыбнулся и смотрел на меня так, чтобы я ушел. Я рассмеялся и ушел, а он с сердцем затворил за мной дверь.

Я потом не вмешивался в его литературные занятия, даже радовался, что они не отвлекают его от дела и не ведут к чему-нибудь дурному. Лишь изредка, среди вечерней тишины, доходило до моих ушей:

И зри-и-и-мо ей в мину-у-ту стало
Незри-и-и-мое с давнишних пор.

Не то он вдруг громко заголосит:

Боги гнева и Ерева,
В страшный час,
Ах, пошлите солнца луч,
Разгоните мраки туч.

В другой раз слышу:

Плещут волны Флегетона,
Своды тартара дрожат,
Кони бледного Плутона
Быстро к нимфам Пелиона
Из аида бога мчат...

— Вот поди-ко, пойми это! — однажды насмешливо прибавил он вслух, вероятно, намекая на меня и не подозревая, что я хожу по соседней комнате и что мне слышно. — А еще хочет понимать Покалипс!

— Апокалипсис! — поправил я, тихо отворяя дверь. Он сконфузился.

Так он читал все больше из той же хрестоматии Греча или другое что-нибудь, лишь бы звучное и мало понятное ему.

Я тут убедился в том, что наблюдал и прежде: что простой русский человек не всегда любит понимать, что читает. Я видел, как простые люди зачитываются до слез священных книг на славянском языке, ничего не понимая или понимая только «иные слова», как мой

Валентин. Помню, как матросы на корабле слушали такую книгу, не шевелясь по целым часам, глядя в рот чтецу, лишь бы он читал звонко и с чувством. Простые люди не любят простоты.

Валентин прожил у меня несколько лет и, может быть, прожил бы еще долго, если б я не переменил род службы и отчасти образ жизни. Я стал большую часть дня, а иногда и вечера, заниматься дома.

Оказалось, что это стесняло его. Я никогда не справлялся, как он проводит время без меня, а теперь мне открыт был каждый его шаг. «Землячки» не могли бывать у него свободно при мне — и он оставался больше один и скучал. По-видимому, они без меня посещали его часто. Мало-помалу открылось, что он отчаянный донжуан, несмотря на свои пятьдесят лет с лишком.

Склонность его к нежному полу проявлялась и прежде, но слегка. Когда у меня бывали в гостях дамы, особенно молодые и красивые, он как-то суетно лебезил, подавая чай, фрукты, кокетливо поджимал ножку, шаркал, приподнимался на цыпочках, чтоб придать себе росту, взглядывал мимоходом в зеркало, украдкой зачесывал пальцами волосы с затылка. Я перемигивался с гостями, и мы нередко награждали эти маневры дружным хохотом. Тогда он злобно краснел и бросал на нас гневные взгляды.

Однажды, воротясь домой и найдя дверь запертою, я сошел вниз спросить у дворников, где он, и, заметив около каретного сарая — кучку дворни, особенно женщин, пошел туда. И что же вижу: Валентин стоит посреди сарая, закинув голову вверх, разряженный в желтые нанковые панталоны, черную плисовую жакетку, в розовом галстуке и с желтым цветком в петлице, поет:

Во селе-селее Покроо-вском,
Среди уу-лицы большой...
Разыграа-лись раа-сплясались
Девки краа-сны меж соо-бой... —

разливался он сладким тенором, закатывая глаза под лоб, разводя далеко в сторону руками и притопывая. Все смотрели на него с улыбкой, девушки с неудержимым хохотом. А он глядел на них

сладостно, как сатир. Я тоже захохотал. Увидав меня, он сконфузился, застыдился и опрометью бросился вперед меня домой.

— Что это тебе вздумалось петь среди дворни? — спросил я.

— Барышни просили, — сказал он, — я хотел сделать им удовольствие...

— Какие барышни?

— А те самые, что там стояли.

Это горничные.

— Да ведь они помирали со смеху над тобой: разве ты не заметил?

Глядя на него в его изысканном наряде, я опять невольно засмеялся.

— Они смеялись от удовольствия, а вот вы, сударь, не знаете сами, чему смеетесь! Нельзя повеселиться человеку: разве это грех?

— Веселись сколько хочешь — это даже иногда нужно, здорово... Я не упрекаю тебя.

Я опять засмеялся.

— Чему ж вы смеетесь? — сказал он с сердцем и ушел к себе.

Случаи донжуанства стали повторяться и, наконец, доходили до меня в виде жалоб. Однажды вдруг отворила ко мне дверь в переднюю молодая девушка с растрепанной косой, держа шейную косынку в руках.

— Что это, барин, от вашего лакея прохода нет! — голосила она сердито, указывая на Валентина.

— Подите! подите! — торопливо говорил он, стараясь выпроводить ее за дверь. — Нехорошо-с!

Я остановил его.

— Что вам угодно? — обратился я к ней.

— Да вот он прохода не дает. Я живу вверху с барыней, тихо и скромно, а он давно уж — как встретит на лестнице, сейчас начнет глупые «канплименты» говорить, зовет на чашку щеколаду, — поди да поди я к нему сюда! С ума, что ли, я сошла! За кого он меня принимает! Воля ваша: это обидно!

— Я тут еще большой вины не вижу, — сказал я, — что он скажет вам «канплимент». Запретить это ему я не вправе...

— А вы бы, барышня, — заговорил Валентин, — чем барина беспокоить, поговорили бы прежде со мной...

— Стану я с вами разговаривать! — остановила она его, измеряя его с ног до головы презрительно-насмешливым взглядом.

— За честь должны считать!.. — с азартом отгрызался Валентин, заметив этот взгляд.

Я велел ему замолчать.

— Так что же дальше? — обратился я к ней.

— Как только слышит, что я по лестнице спускаюсь, — продолжала она, — вынесет на подносе гостинцы, апельсины, орехи, изюм и загородит мне дорогу. Я прошу дать пройти, он не слушается. Один раз я толкнула поднос зонтиком, гостинцы его рассыпались по полу, а ему сказала, чтоб он не беспокоил меня — скажу, мол, барину. Так он не унялся: «барин мне, говорит, не указ!» Пойдешь по лестнице, он подкараулит да старается за руку поймать...

— Неправда, неправда! — оспаривал горячо Валентин, — не верьте ей, сударь, барышня врет!

— Сами вы врун! Афимья, чай, видала вон из тех дверей, как вы ловили меня за руку...

— Зачем же ты беспокоишь ее, если она не хочет слушать твои любезности? — сказал я ему.

— Я обращаюсь всегда благородно и деликатно... — защищался он. — А вам, сударь, хорошему господину, надо бы барышень в шею отсюда, а не слушать, что они врут!..

— Вы врете, а не я! — вставила она.

— Это мои дела, а не ваши! — обратился Валентин опять ко мне. — Я службу мою справляю у вас как следует... Не пью, не шляюсь, господское добро берегу...

— Это так: твои амуры — не мое дело, да зачем жалобы доходят до меня?

— На что же вы теперь жалуетесь? — спросил я ее.

— Да вот сейчас, когда я мимо ваших дверей по лестнице шла, он подкараулил — и цап меня за шею, хотел обнять... Да не таковская: я не далась, попяtilась. — Вон извольте посмотреть: коса у меня свалилась, и платок с шеи... Не прикажите ему озорничать! Я живу скромно, все знакомые мои и в доме здесь тоже меня знают честной, аккуратной девушкой: могут, пожалуй, подумать, что я нарочно слушаю его «канплименты»...

— Слышишь, Валентин, — это правда, что «барышня» говорит! Она скромна... дорожит своей репутацией, не хочет, чтоб ее компрометировали... — заговорил было я, но остановился, вспомнив о его тетрадке с «сенонимами»: слова «репутация» и «компрометировали», как мудреные и ему непонятные, наверно попали бы туда. — Она скромна, бережет себя, дорожит своим честным именем: не беспокой же ее! — дополнил я в новой редакции.

Я успокоил ее как мог — она поблагодарила меня, извинилась за «беспокойство», прибавив, что и барыня ее посоветовала ей обратиться ко мне. Она взялась за ручку двери, бросив опять на Валентина ядовито-насмешливый взгляд.

— Чему смеяться-то! — шипел он на нее. — Такие дряни, как вы, — должны за счастье почитать, если с ними благородно и деликатно обращается этакий кавалер! — Он поднялся на цыпочки и начал руками собирать с затылка волосы на макушку...

При слове «такой кавалер» девушка разразилась неудержимым, визгливым хохотом и бросилась вон. Он с треском запер за ней дверь.

Я тоже не утерпел и покатился со смеху. Он оцетинился, как зверь, злобно посмотрел на меня, хотел что-то сказать, но удержался и ушел к себе за перегородку, хлопнув дверью.

Все пошло своим порядком. Верхнюю девушку он, по-видимому, не беспокоил, жалоб не было, и я забыл об этом. Я замечал только, что, когда я сидел и течение утра дома, мой Валентин стал отлучаться куда-то; надо было из окна покричать дворника, чтоб отыскал его. «Землячки» при мне тоже не являлись больше.

Но вот однажды, недель шесть спустя, когда он вышел куда-то, ко мне явился дворник и подал записку.

— От кого это? — спросил я.

— А вот от той жилицы, что напротив: у ней прачешное заведение, она хозяйка.

— Ко мне ли эта записка? Я вовсе не знаю этой жилицы: что ей нужно?

— Не могу знать: велела вам в руки самим, а лакею, говорит, не давай.

Я взял записку. Она была не запечатана.

«Милостивый Государь, — читал я, — Ваш лакей Валент самый низкий мужчина: он все таскается под окнами у нас и какетничает с моими мастерицами, мешает им и делает разные низости: вон какую записку он подал Лизе — извольте прочитать. Мы просим вас унять его. Если он не перестанет какетничать, ходить под окна и бросать записки — я тогда приду сама и раздеру ему всю лицо.

Готовая ко услугам

Анна Прохорова

прачешная хозяйка».

Под фразой: «раздеру всю лицо» — была другая зачеркнутая редакция: «раздеру ему поганую харю». Должно быть, эта фраза показалась ей грубою относительно меня и она из учтивости смягчила ее. К письму приложен был клочок бумаги, на котором, должно быть, рукой Валентина написано: «О милое творенье, прости мне восхищенье, Лизок, голубочка, ангел, чмок, чмок тебя. Приди, серафима моя, на второй двор под ворота. Принесу гостинцев много, много и подарочек, чмок! чмок!»

Валентин пришел.

— А у тебя опять амуры завелись? — сказался ему.

— Какие, сударь, такие амуры?

— А вот смотри, какие письма пишут ко мне.

Я прочитал ему прачкино письмо и показал его записку. Он вспыхнул, даже побагровел от смущения и злости и хотел вырвать у меня письмо. Я не дал.

— Ишь ты, старый селадон! — шутил я, — не унимаешься! Смотри, дождешься чего-нибудь!..

— Не ваше дело! — почти грубо отрезал он, — а эту дрянь — ведь она мужичка — плетью мало сечь! Пожалуйте мне мою записку!

Я отдал ему.

— Я с ними разделаюсь, — злобно ворчал он. — Я им дам «раздеру лицо», я им все косы истреплю! Раздавлю! — кричал он разъяренно. — Они за честь должны считать, что я с ними

обращаюсь!.. — Он вытянулся на цыпочках и сердито загребал руками волосы с затылка на темя.

— Послушай, делай, как хочешь, — сказал я, — я в твои амуры не вмешиваюсь, но повторяю тебе: устраивай так, чтоб до меня жалоб не доходило и чтоб никакого «трепанья кос» не было. Если выйдет какой-нибудь скандал, я держать тебя не стану.

— Хорошо-с, я сделаю, — ядовито сказал он, — будут они довольны! Если бы она, эта Прохорова, не беспокоила вас, а со мной поговорила бы благородно и деликатно — я бы и ничего, отстал бы! А если она полезла к вам, да еще грозит мне, так нарочно, назло ей, буду ходить, буду, буду, буду! Вы, сударь, не извольте беспокоиться: жаловаться не станут. Я же ей, дряни эдакой: погоди она у меня! — ворчал он, уходя к себе и потрясая кулаками.

Донжуанство Валентина добром не кончилось — ни для него, ни для меня. Он потерпел поражение, а я лишился в нем честного и усердного, хотя и смешного слуги.

Через месяц после этих писем, когда, возвратясь вечером домой, я позвонил у дверей, Валентин, против обыкновения, медленно отворил мне дверь, не снял с меня пальто и тотчас скрылся в свою комнату. Я заглянул к нему. Он лежал на постели.

— Что с тобой: ты нездоров? — спросил я с испугом.

— Ничего-с, я полежу немного, отдохну... голова болит немножко.

Подле него был графин с водой, пахло уксусом.

— Ты скажи, что такое? — спрашивал я.

— Не беспокойтесь... извольте ложиться, я ушибся, отдохну, пройдет...

— Где ушибся, как? доктора надо позвать...

— Ради бога, не надо ничего-с: завтра отдохну...

Я, однако ж, не удовольствовался этим, спустился вниз и узнал на дворе, что с Валентином случилась история. Дворники рассказали мне, что он в сумерки пошел-таки «какетничать» с Лизой, здоровой мастерицей-прачкой, вызвал ее на второй двор. Хозяйка заметила это — и исполнила над ним свою угрозу, с помощью какого-то, должно быть, соперника Валентина, кажется, жениха Лизы, и если и не «разодрала ему всю лицо», однако значительно исцарапала. Соперник тоже напал на него, ругался, сбил с Валентина фуражку и старался

схватить его за ворот. Валентин мужественно отражал нападение, не давался, кричал.

Дворники старались рознять их. Словом, вышел скандал.

Наконец их розняли. Валентин, измятый, с разорванным платьем, с расцарапанным лицом, удалился, при общем хохоте дворни, к себе в комнату.

Наутро он, по обыкновению, принес мне чай. Щеки и нос у него побелели почти совсем, на одной щеке и на лбу была царапина, впалые глаза смотрели тускло.

— Что такое было вчера? — спросил я.

— Пожалуйста мне расчет и паспорт! — тихо сказал он в ответ на мой вопрос.

— Вот тебе на! Да ты расскажи, что такое...

— Позвольте мне паспорт, — настойчиво повторил он. — Я сейчас извозчика приведу и уеду...

— Дворники говорили, что у тебя вышла история... расскажи!

— Нечего рассказывать-с: это мое дело. Только в этом разбойничьем доме я и дня не проживу... Еще убьют, чего доброго! Позвольте расчет и паспорт...

— Это решительно?

— Да-с, решительно, — уныло прибавил он.

— Но ведь я имею право задержать тебя три дня, пока приищу кого-нибудь на твоё место: нельзя же мне оставаться одному!

— Я уж это сделал: когда вы почивали, я сходил к знакомому человеку: он сейчас придет и побудет, пока вы приищете другого. А меня, сделайте милость, отпустите сейчас же.

Он почти со слезами кончил эту просьбу. Я с глубоким сожалением согласился, и, когда пришел человек, я отдал Валентину паспорт и сверх жалованья прибавил награду. Он поцеловал меня в плечо и прослезился.

— Да ты подумай... может быть, обойдется, я спрашивать не стану! ты такой исправный и честный слуга!.. Мне жаль расставаться с тобой, право! — пробовал я уговорить его. — История эта забудется. Ты получил жестокий урок и, конечно, больше за женщинами ухаживать не станешь...

— Как можно! Стану-с. Только не с таким необразованным мужичьем, как здесь. Буду выбирать по себе, где благородно и

деликатно...

— Подумай, — удерживал я, — все перемелется... Мне жаль тебя!

— Покорнейше благодарю, — нет, нет-с, я уйду! Он был так расстроен, что я больше не настаивал.

Он быстро собрал свои пожитки и уехал. Долго еще после него, по привычке, по вечерам, у меня иногда звучало в ушах:

И зри-мо ей в минуту ста-ло
Незри-мое с давни-шних пор!!

1888

К. М. СТАНЮКОВИЧ
СМОТР
Морской рассказ
(Из далекого прошлого)

За несколько лет до Крымской войны на севастопольском рейде, словно замлевшем в мертвом штиле, стояла щегольская эскадра парусного Черноморского флота.

Палящая жара начинала спадать. Августовский день догорал.

На полуюте флагманского трехдечного корабля «Султан Махмуд» под адмиральским флагом, повисшим на фор-брам-стеннге, маленький молодой сигнальщик Ткаченко не спускал подзорной трубы с Графской пристани, у которой дожидалась белая адмиральская гичка.

Адмирал приказал ей быть к семи часам, и время приближалось.

И как только на судах эскадры колокола пробили шесть склянок, в колоннаде пристани показался высокий, слегка сутуловатый, плотный адмирал Воротынец, крепкий и необыкновенно моложавый для своих пятидесяти семи лет, которые он называл «средним возрастом».

Он глядел молодцом в сюртуке с эполетами, с «Владимиром» на шее и Георгиевским крестом в петлице. Из-под черного шейного платка белели маленькие брыжи сорочки — «лисея», как называли черноморские моряки, носившие их, отступая от формы, даже и в николаевские времена.

Быстрой, легкой походкой, перескакивая через две ступеньки лестницы, с легкостью мичмана, адмирал спускался к гичке.

Офицеры, встречавшиеся с адмиралом, кланялись, снимая фуражки. Снимал фуражку, отдавая поклоны, и адмирал. Матросам, останавливающимся с фуражками в руках, говорил:

— Зря не торчи, матрос. Проходи!

Сигнальщик с флагманского корабля увидел адмирала, со всех ног шарахнулся к вахтенному лейтенанту Адрианову и несколько взволнованно и громко воскликнул:

— Адмирал, ваше благородие!

— Где?

— Идет к гичке, ваше благородие!

— Доложи, как отвалит.

— Есть, ваше благородие!..

И через минуту крикнул:

— Отваливают, ваше благородие!

— Оповести капитана и офицеров.

— Есть! — ответил сигнальщик и побежал с полюта.

Щеголя своим сипловатым баском, лейтенант крикнул:

— Фалрепные, караул и музыка наверх, адмирала встречать!

Старый боцман Кряква засвистал и закончил команду руладой артистического сквернословия.

Здоровые на подбор гребцы на гичке наваливались изо всех сил, откидываясь совсем назад, чтобы сильнее сделать гребки, и минут через десять гичка с разбега зашабашила и, удержанная крюком, остановилась как раз кормой к середине решетчатой доски трапа.

— По чарке, молодцы! — отрывисто бросил адмирал, выскакивая из шлюпки.

И, видимо, довольный своими гребцами, сдобрил свои слова кратким комплиментом в виде своеобразного морского приветствия.

— Ради стараться, ваше превосходительство! — ответил загребной от имени всех красных, вспотевших и тяжело дышавших гребцов.

Адмирал не поднялся, а взбежал с маху мимо фалрепных, по двое стоявших у фалрепов на поворотах коленчатого высокого парадного трапа, и у входа был встречен капитаном и вахтенным начальником. Офицеры стояли во фронте на шканцах. По другой стороне караул отдавал честь, держа ружья «на караул». Хор музыкантов играл любимый тогда во флоте венгерский марш в честь Кошута.

И, словно бы избегая этих парадных встреч, отменить которые было неудобно, адмирал, раскланиваясь, торопливо скрылся под полуют, в свое просторное адмиральское помещение.

В большой светлой каюте, служившей приемной и столовой, с проходившей посредине бизань-мачтой, с балконом вокруг кормы и убранной хорошо, но далеко без кричащей роскоши адмиральских кают на современных судах, адмирала встретил вестовой, носящий странную фамилию Суслика, пожилой, рябоватый и серьезный матрос, с медной серьгой в оттопыренном ухе, в матросской форменной рубахе и босой.

Жил он безотлучно вестовым у Воротынцева лет пятнадцать. Но денег у Суслика не было, и он не пользовался своим положением

адмиральского любимца вестового и пьянствовал на берегу с матросами, а с «баковыми аристократами» не водил компании.

— Снасть с меня убрать и трубку, Суслик! — не говорил, а кричал адмирал по привычке моряков, командовавших на палубе.

И он нетерпеливо расстегнул и сбросил сюртук, пойманный на лету вестовым, снял орден и размотал шейный черный платок.

В минуту Суслик снял с больших ног адмирала сапоги, подал мягкие башмаки и старенький люстриновый «походный» сюртук с золотыми «кондриками» для эполет. И тотчас же принес длинный чубук с янтарем, подал адмиралу и приложил горящий фитиль к трубке.

— Ловко... Отлично! — произнес адмирал сквозь белые, крепкие, все до одного зубы, закуривая трубку.

Он почувствовал себя «дома» в каюте, без «снасти» удовлетворенно довольным и, развалившись с протянутыми ногами в большом плетеном кресле у стола, с наслаждением затягивался из трубки крепким и вкусным сухумским табаком по рублю за око [18], и по временам насмешливая улыбка светилась в его маленьких острых глазах.

Вестовой хотел было уйти, как адмирал сказал:

— Подожди, Суслик!

— Есть! — ответил Суслик и притулился у двери в спальную.

Адмирал молчал, покуривая трубку.

— «А то гаванскую сигару, адмирал?» — вдруг проговорил он, стараясь изменить и смягчить свой резкий голос, несколько гнусавя и протягивая слова, словно передразнивал кого-то.

Адмирал усмехнулся и уже продолжал своим голосом в добродушно-ироническом тоне:

— И марсалы не подавали за обедом у его светлости князя Собакина... Да-с... Высокая государственная особа-с приехала в наш Севастополь... Первый аристократ-с... Разговор на дипломатии... Одна деликатность... Гляди, мол, моряки, какие вы грубые и необразованные... И все го-сотерны, го-лафиты... А шампанское после супа пошло... А после пирожного тут же рот полощи... Аглицкая мода... Плюй при публике, а громко сказать неприлично-с... Понял, Суслик?

— Точно так, Максим Иванович.

— Таких не видал, Суслик?

— Не доводилось, Максим Иваныч.

— Завтра покажу. Его светлость и дочка его приедут посмотреть корабль, и мы дадим завтракать... Да чтобы ты был у меня в полном параде... Понял?

— Есть!

— Чтобы чистая рубаха... Побрейся и обуйся. Нельзя босому подавать важной даме. Скажут: грубая матрозня! — не без иронии вставил адмирал и прибавил: — Да смотри, идол, рукой не сморкайся...

— Не оконфузю, Максим Иваныч! — уверенно и не без горделивости ответил Суслик.

И в черноволосой, коротко остриженной его голове промелькнула мысль:

«Ты-то не оконфузь своим языком!»

— Ты у меня вестовщина с башкой! То-то черти играли в свайку на твоей чертовой роже.

— Небось по своему матросскому рассудку могу обмозговать и марсалу завтра подам к столу, дарма что по-столичному не подают...

Адмирал засмеялся.

— Сметлив ты, Суслик, когда трезвый! — произнес он.

— Я только отпущенный вами на берег занимаюсь вином... И редко! — угрюмо и сердито промолвил вестовой, хорошо зная, как основательно он «занимается» во время редких отлучек на берег и какие бывали с ним разделки от адмирала, когда он, случалось, очень «намарсаливался».

— Ты, Суслик, не вороти рожи... Я к слову...

— Так прикажете принести графин марсалы, Максим Иваныч?

— Молодчина! Догадался, башка, попотчевать адмирала. Давай да попроси капитана.

Вестовой принес графин марсалы и две большие рюмки, поставил на стол и пошел за капитаном.

Адмирал налил рюмку, быстро выпил рюмки три и четвертую начал уже отхлебывать большими плотками, с удовольствием смакуя любимое им вино.

II

Осторожно и вкрадчиво, словно кот, вошел в адмиральскую каюту капитан, пожилой, толстый, круглый и сытый брюнет с изрядным брюшком, выдающимся из-под застегнутого сюртука с штаб-офицерскими эполетами капитана первого ранга, с волосатыми пухлыми руками и густыми усами.

Его смуглое, отливавшее резким густым румянцем, с крупным горбатым носом и с большими, умильными, выпуклыми черными глазами с поволокой лицо выдавало за типичного южанина.

Несмотря на необыкновенно ласковое и даже слащавое выражение этого лица, в нем было что-то фальшивое. Капитана не терпели и прозвали на баке «живодером греком».

Капитан, впрочем, называл себя русским и считал более удобным переделать свою греческую фамилию Дмитраки на Дмитрова и испросил об этом разрешение.

— Что прикажете, ваше превосходительство? — спросил, приближаясь к адмиралу, капитан почтительно высоким мягким тенорком и впился в адмирала своими полными восторженной преданности «коварными маслинами», как называли его глаза мичманы. Но прежде капитан предусмотрительно взглянул на графин — много ли уровень марсалы понизился.

— И что это вы, Христофор Константиныч, словно ученый кот, меня прельстить хотите... Я хоть и превосходительство, а Максим Иваныч. Кажется, знаете-с? — насмешливо и раздражительно выпалил адмирал. — Присядьте... Хотите марсалы? — прибавил он любезнее.

По-видимому, капитан нисколько не обиделся насмешкой адмирала. Напротив, приятно улыбнулся, словно бы остроумие адмирала ему понравилось.

«Лишняя лесть не мешает, как и лишняя ложка масла в каше», — подумал «грек», никогда не показывавший неудовольствия на начальство.

И капитан, присаживаясь на стул, тем же льстивым тоном проговорил:

— Премного благодарен, Максим Иванович... А что назвал по титулу — извините-с, Максим Иванович... По привычке-с... Прежний адмирал не любил, чтобы его называли по имени и отчеству...

— А я не люблю, когда меня титулуют-с... И не благодарите-с. Хотите или нет-с марсалы?

— Выпью-с рюмку, Максим Иванович... Отличное вино...

— Наливайте... Вино натуральное... — И, отхлебнув марсалы, прибавил: — Завтра у нас смотр, Христофор Константинович.

Капитан изумился.

— Главный командир? — испуганно спросил он.

— Эка вы, Христофор Константинович! Приезжай главный командир в Севастополь, давно бы у вас дрожали поджилки... К нам приедет в одиннадцать часов князь Собакин... Катер послать с мичманом!

— Его светлость?! — с каким-то сладострастием в голосе воскликнул облегченно капитан... — Почему его светлость пожелал осчастливить нас?

— А так-с. Взял да осчастливил!.. Захотел посмотреть и с дочерью... Она пожелала... И насчет этого князь в некотором роде-с стеснился... После обеда... Обед ничего, только марсалы не подавали-с... Отвел меня к окну и тихонько спрашивает: «Только удобно ли дочери, адмирал?»

— В каком это смысле, Максим Иванович?

— Не сообразили, Христофор Константинович? А еще командир корабля!.. — насмешливо спросил адмирал.

— Не могу сообразить, Максим Иванович...

— Поймете, как узнаете, что думает князь... А мне досадно, что этот брандахлыст, будь ты хоть разминистр и развельможа, боится везти замужнюю дочь на русский военный корабль. Аристократка, — скажите пожалуйста!.. Я спрашиваю, будто не догадываюсь: «Почему-с сомневается ваша светлость?» А он улыбается по-придворному — черт его знает как понять! — и наконец с самой утонченной любезностью прогнусавил: «Я слышал, милый адмирал, что на кораблях в ходу такой морской жаргон, что женщина сконфузится... Так не лучше ли не брать графиню?» Поняли, Христофор Константинович?

— Какое мнение у его светлости о флоте, Максим Иваныч! — с чувством прискорбья промолвил капитан.

— Дурацкое мнение-с!.. — выкрикнул адмирал, обрывая капитана. — Екатерина небось не обиделась, когда адмирал Свиридов, рассказывая ей о победе, увлекся, стал «загибать» и, спохватившись, ахнул... Она была умная и ласково сказала: «Не стесняйтесь, адмирал. Я, говорит, морских терминов не понимаю!..» А ведь на смотре мы барыньке о сражениях рассказывать не будем... Да хоть бы услышала с бака «морской термин»... Эка беда!.. Не слыхала, что ли, на улице, будь и графиня!.. Ваш, Христофор Константиныч, князь, — почему-то назвал адмирал князя капитанским, — не очень-то умен... Ты посмотри, и увидишь, сконфузим ли мы даму, если захотим! И я дал слово, что не сконфузим. Поняли?..

— Есть!

— Чтобы завтра во время смотра ни одного «морского термина», Христофор Константиныч! — строго проговорил адмирал.

— Слушаю-с...

— Положим, на баке хоть топор повесь — так ругаются, особенно боцманы и унтер-офицеры... Но пусть хоть при даме воздержатся...

— Не посмеют, Максим Иваныч, — с какой-то внушительной загадочностью по-прежнему ласково проговорил капитан.

— И офицеры чтобы придержали языки... Ни одной команды не могут кончить без прибавлений... Так побольше, знаете ли, характера... На час, не больше...

— Помилуйте-с, Максим Иваныч.

— Что-с?

— Да уже одно посещение таких высокопоставленных особ, как его светлость и ее сиятельство графиня, обрадует господ офицеров и заставит их быть на высоте положения! — не без «лирики» проговорил капитан.

— Что вы вздор городите-с! — резко оборвал Максим Иваныч. — Что-с? Какая там радость и высота положения... лакейство-с!.. Это брехня на офицеров... Что-с? — выкрикивал, точно спрашивал, взбешенный адмирал, хотя капитан не думал возражать. — И вы ничего не говорите офицерам... Поняли-с?

— Понял, ваше превосходительство!

— Я сам им скажу, что адмирал не хотел бы видеть подтверждения глупостей князя и дамы в обмороке от... от «морских терминов», что ли... Одним словом... Я попрошу офицеров, и они воздержатся... Слышали-с?

— Слушаю, ваше превосходительство.

— А больше вас не задерживаю, можете идти-с!

Капитан вышел, улепетывая, как вежливый, боязливый кот от оскалившей зубы собаки.

«Подлинно собака!» — с ненавистью подумал капитан.

Адмирал, раскрасневшийся и от возмущенного чувства, и от многих рюмок марсалы, сердито проговорил:

— Экая подлая лакейская душа! Думаешь, и ко мне в душу влезешь? Дудки, лукавый грек!

Адмирал раздраженно выпил рюмку марсалы и крикнул:

— Суслик!

— Есть, — ответил прибежавший вестовой.

— Марсалы на доньшке, а ты не видишь?.. А?

— Не будет ли вреду, Максим Иваныч? — заботливо и осторожно промолвил Суслик.

— Молчи, чертова свайка! На ночь вредно? Какой-нибудь графинчик... да еще и «грекос» пил! — приврал вестовому адмирал. — Давно не учил тебя, гувернера, идола, что ли? Да живо!.. И трубку!

Вестовой исчез и вернулся с трубкой и с графином марсалы, но наполненным до половины только.

III

Капитан призвал к себе старшего офицера, Николая Васильевича Курчавого, рассказал о счастье, которое выпало «Султан Махмуду», и обычным своим ласковым тоном продолжал:

— Так уж вы присмотрите, дорогой Николай Васильич, чтобы смотр как следует... Чтобы паруса горели... при постановке и уборке... Орудия чтобы летали... И чтобы ни соринки нигде... одним словом... идеальная чистота...

— Все будет исправно, Христофор Константиныч! — нетерпеливо проговорил старший офицер.

«Чего размазывать, коварный грек!» — подумал этот блестящий морской офицер и любимец севастопольских дам, молодой, красивый и щеголеватый капитан-лейтенант.

И его жизнерадостное, веселое лицо вдруг стало напряженным и подавленным.

— Уж я знаю, дорогой Николай Васильич, что с таким превосходным старшим офицером командир спокоен... Я так только, для очистки совести напомнил...

— Так позвольте идти, Христофор Константиныч?..

— Я не задержу вас, Николай Васильич... Куда торопитесь?.. Или собираетесь на берег... на бульвар?..

— Какой бульвар?.. Работы много... Да и смотр завтра.

— Я так и полагал, что вы не уйдете с корабля, Николай Васильич, хоть вы и жданный кавалер наших дам, — сказал капитан, словно бы сочувственно глядя на своего старшего офицера, имевшего репутацию ловкого «обольстителя». — Наверное, вас ждут на бульваре! — прибавил капитан и плутовски прищурил глаз.

— Никто меня не ждет, Христофор Константиныч! — небрежно бросил Курчавый.

И про себя улыбнулся, как вспомнил, что супруга пожилого капитана, молодая красавица «гречанка», наверно, сегодня на бульваре и позволила бы ему заговаривать ей зубы.

«А эта ревнивая скотина и не догадывается!» — мысленно проговорил старший офицер.

— Ну-с, от поэзии перейдем к прозе-с, Николай Васильич.

— Что прикажете?

— Не приказываю, а прошу-с объявить, что если завтра я услышу во время пребывания высоких гостей хоть одно ругательное слово, то всех боцманов и унтер-офицеров перепорю-с, дорогой Николай Васильич, по-настоящему, без снисхождения. А кто-нибудь из них или из других нижних чинов выругается площадным словом, с того спущу шкуру, пусть в госпитале отлежится. И пожалуйста, внушите им, что пощады не будет! — тихо и ласково, словно бы речь шла о каком-нибудь удовольствии, проговорил капитан.

Он еще был первую кампанию на «Султан Махмуде» и стеснялся адмирала. Но изысканная жестокость «грека» была известна во флоте.

Подобная угроза, перед исполнением которой он не затруднился бы, изумила даже и в те жестокие времена во флоте.

И старший офицер, далеко не отличавшийся гуманностью и, как все, считавший лучшей воспитательной мерой телесные наказания матросов и «чистку зубов», был возмущен «жестоким греком».

Но, сдерживаемый морской дисциплиной, скрывая волнение, он официально-сухим тоном проговорил:

— Приказание ваше передам, но внушать основательность жестокого наказания всех за одного и притом за ругань, которая до сих пор не считалась даже проступком и никогда не наказывалась, не считаю возможным по долгу службы. И, пожалуй, наказанные заявят претензию адмиралу. Адмирал — справедливый человек.

«Грек» струсил.

— Адмирал же приказал, чтобы ни одного ругательства. Он обещал его светлости, что дочери можно приехать. И как же иначе поддержать честь флота, Николай Васильич? Но если вы можете заставить боцманов не ругаться завтра без страха взысканий, то я ничего не имею... Я не жестокий командир, каким меня расславили... Поверьте, Николай Васильич! — необыкновенно грустным тоном прибавил капитан.

И даже «маслины» его будто опечалились.

— Будьте покойны, Христофор Константиныч. Меня послушают.

— Тогда вы маг и волшебник! И как я счастлив, что имею такого старшего офицера, уважаемый Николай Васильич. Всегда говорите мне правду. Не стесняйтесь. Я люблю правду!

«И как прелестная «гречанка» выносит этого подлого «грека»!» — внезапно подумал Курчавый.

Он вышел из каюты оживившийся, повеселевший и довольный и оттого, что капитан, испугавшись претензии и адмирала, отменил свое нелепое, неслыханное по жестокости приказание, и оттого, что это «лживое животное», наверное, скоро будет рогатым.

«Не беспокойся, «грек». Я не буду «зевать на брасах»!»

IV

Старший офицер собрал на баке всех боцманов, унтер-офицеров и старшин и, войдя в тесный кружок, проговорил:

— Слушайте, ребята! Завтра у нас смотр. Приедет петербургский генерал и с ним дочь, молодая графиня... И такой моды, братцы, что не может услышать бранного слова... Сейчас испугается и... в слезы! — проговорил, смеясь, Курчавый.

В кучке раздался смех.

— Не видала, значит, матросов, вашескобродие! — заметил один из боцманов.

— Жар-птица объявилась!.. — проговорил какой-то унтер-офицер.

— Пужливая, видно, генеральская дочь, вашескобродие! — насмешливо сказал кто-то.

— То-то и есть, братцы! — заговорил старший офицер. — И генерал опасается... Думает, как на корабль приедет, то тут и срам дочке от вашей ругани... Боцмана, мол, не могут даже при даме побережться... Беспардонные черти!

«Беспардонные черти» добродушно улыбались.

— Однако наш адмирал защитил вас, ребята, перед важным генералом... Привозите, мол, ваша светлость, боцмана не оконфузят!

— Небось доверил, молодца адмирал... Не оконфузим, вашескобродие... Постараемся! — раздались горячие голоса.

— Так завтра, во время смотра, ни одного боцманского слова, братцы! Я уверен, что мы покажем себя! — с подкупающей, вызывающей веселостью проговорил статный и привлекательный Курчавый.

И почему-то он в эту минуту вспомнил, как сильно и благодарно-трогательно ценили эти люди, обреченные на жестокую флотскую муштру, даже небольшое человеческое отношение начальства и как много они прощали человеку только за то, что он считал и матроса человеком.

Вспомнил Курчавый, как берегли его, тогда мичмана, матросы во время ледяного шторма, вспомнил в эти секунды многое, и вдруг этот

блестящий офицер сильнее почувствовал, как близки ему матросы, и в его голове пролетела мысль, что они точно к чему-то его обязывают и что, собственно говоря, и ему можно было бы поменьше драть и бить матросов.

Польщенные доверием адмирала и старшего офицера, которого давно на баке звали «козырным» за его морскую лихость и любили за открытый добрый характер, — все, проникнутые добрыми и горделивыми намерениями показать себя и не оконфузить, дали старшему офицеру обещание.

— Взгляни ты на саму приезжую графиню вроде быдто как на квартиру водки — язык и при тебе, вашескобродие! — промолвил, словно бы подбадривая себя, один из унтер-офицеров, торопливо обещавший, что на смотру он «ни гугу».

Только старший боцман Кряква раздумчиво молчал.

Это был сухощавый и крепкий старый человек, со скорюченными корявыми пальцами левой руки, давно сильно помятой высученным марса-фалом, и слегка искривленными цепкими, жилистыми босыми ногами, со спокойно-лихой посадкой небольшой ладной фигуры настоящего «морского волка», выдавшего всякие виды.

Перешибленный сизоватый нос и отсутствие нескольких передних зубов, следы тяжелых карающих рук, разумеется, не украшали загорелого, красного и грубого бритого лица, с короткою щетинкой седых усов и с плешинами на черных клочковатых бровях, под которыми светились умные, зоркие, слегка иронические темные глаза. Все повреждения лица имели, впрочем, свою жестокую историю, о которой Карп Тимофеич Кряква и рассказывал кому-нибудь из матросов, но только на берегу и когда, после бесчисленных шкаликов, был еще в словоохотливом периоде воспоминаний, во время которых начальству икалось.

Первый ругатель-художник на эскадре, творчество которого было для черноморских моряков классическим образцом сквернословия, он, видимо, сомневался в исполнении сослуживцами легкомысленно принятого на себя обязательства и добросовестно не решался давать зарок хотя бы на время смотра.

— Надо стараться, вашескобродие! — сказал, наконец, боцман поощрительным тоном. — Разве только, ежели не стерпеть, хучь тишком, чтобы барышня не вмерла с перепугу, Николай Васильич! —

предложил Кряква, словно бы устраивающий обе стороны компромисс. — Она, видно, щуплая и пужливая, ровно как борзая сучонка, вашескобродие... Так она не услышит, ежели тишком...

Все засмеялись.

Засмеялся и старший офицер и сказал:

— От твоей выдумки барынька умереть, пожалуй, и не умрет, а в обморок, чего доброго, и упадет... А голос-то у тебя... сам знаешь, такой, что и тишком на юте слышно... Так уж ты, Кряква, постарайся, поддержи.

— Разве подлец я, что ли, чтобы избидеть барышню, вашескобродие! И оконфузить наш «Султан Махмуд» перед князем, и обезнадежить адмирала и вашескобродие никак не согласно... Во всю мочь буду стараться, но только от зарока освободите, Николай Васильич, чтобы совесть не зазрила.

— Ну, ладно... ладно... Спасибо, Кряква... И уж если не сможешь, так заткни рот рукой и себя облегчи про себя... Так завтра, братцы, чтобы все было в исправке, — прибавил старший офицер и вышел из кружка.

— Как есть «козырный», — сказал один унтер-офицер после ухода Курчавого.

— «Козырный» и есть! — раздались голоса.

Кучка разошлась.

Каждый унтер-офицер внушал своим подчиненным матросам приказ адмирала и старшего офицера, чтобы во время смотра все было по-хорошему... благородно.

И, разумеется, унтер-офицер уже от себя прибавлял к этому обещание форменно «начистить рожу» того «сучьего матроса», который «оконфузит» адмирала.

— А еще какая шлиховка будет от капитана, ежели узнает... Только держись, ежели как сам будет считать удары. Он, видишь небось, какая «греческая Мазепа»! — в заключение прибавлял для острастки унтер-офицер.

Затем, словно бы отделавшись от служебной обязанности по временам «играть в строгое начальство», унтер-офицеры мгновенно делались простыми, далеко не страшными людьми и по-товарищески лясничали с теми же матросами, у которых обещали «искровянить хайлы», о посещении петербургского важного генерала и — главная

загвоздка в том-то и есть! — о «щуплой и пужливой» дочке, боявшейся даже и духа матросской ругни. «Вроде как помрет, братцы!» — вышучивали рассказчики графиню. Представлялась она им именно такой «щуплой и пужливой», как вообразил себе боцман Кряква.

Старый боцман никому не внушал.

«Сама, мол, матрозня в чувстве!»

После спуска флага адмирал хоть и был красен, но далеко еще не «намарсалился». Он попросил к себе офицеров и объяснил им, почему просит их воздержаться...

— Дама-с будет с ним... Дочь его! — прибавил адмирал.

Нечего и говорить, что офицеры обещали...

А молодой лейтенант Адрианов интересовавшийся литературой и вдобавок влюбчивый, как воробей, не без торжественности проговорил, краснея, как маковый цвет:

— Одно присутствие женщины, Максим Иваныч, женщины... которая влияет... благотворно... и... и... и...

У лейтенанта «заело». И адмирал поспешил на помощь к растерявшемуся лейтенанту.

— И прехорошенькая-с, Аркадий Сергеич... Да-с! И сложена... и... Одним словом — есть на что посмотреть... И... шельмоватая-с... Любит, что показать-с, — сказал, смеясь, адмирал.

Высокий и прямой старик в военном сюртуке с генерал-адъютантскими эполетами и эффектно одетая молодая блестящая женщина ровно в одиннадцать часов вступили на палубу «Султан Махмуда».

Адмирал, капитан и вахтенный офицер приняли почетных гостей у входа. Встреча была парадная, как полагалось по уставу. Музыка играла марш. Команда выстроена была во фронте. На шканцах стоял караул, и офицеры, в сюртуках и в кортиках, вытянулись в линию. Во главе стоял красивый старший офицер.

Его светлость, не отнимая руки в белой замшевой перчатке, отдавал честь и подошел с дочерью к офицерам. Адмирал представил их гостям. Князь протянул старшему офицеру руку. Пожимая руку Курчавого, графиня на секунду приостановилась, бросила на него быстрый любопытный взгляд и двинулась за отцом. Он всем подавал руку... То же делала и дочь. Штурманам и двум врачам его светлость руки не подал. Графиня любезно пожала им руки.

«Молодчага!» — подумал Максим Иваныч, видимо, не очень-то довольный «накрахмаленным» видом его светлости.

Затем князь поздоровался с матросами. Те так рявкнули, что князь едва заметно поморщился. Обойдя фронт по обеим сторонам, он вместе с молодой, высокою и цветущею графиней пошел по приглашению адмирала «заглянуть вниз, в палубу».

Между тем приказано было разойтись.

Матросы, видимо, были чем-то удивлены и сдержанно хихикали на баке.

— Вы что, черти, зубы скалите? — вполголоса спросил старший боцман одного матроса, подошедшего покурить.

По «политическим» соображениям старший офицер приказал Крякве не быть на палубе при осмотре, и боцман наскоро курил трубчонку.

— Как же, Карпо Тимофеич. Щуплая — графиня-то?

— То-то и я полагал: сучонка. А как есть форменная сука. Должно, не пужливая! — тихо промолвил старый боцман и, сплюнув

в кадку, усмехнулся.

После того как гости в сопровождении адмирала, капитана и старшего офицера обошли все палубы, заглянули в пустой лазарет и побывали в кают-компании, все вернулись наверх и поднялись на полуют.

— Я в восхищении от безукоризненной чистоты и порядка на корабле. И какой бравый вид у матросов! Какая идеальная тишина, любезный адмирал! Я вижу больше того, что ожидал, любезный адмирал! — говорил князь утонченно-любезно, протягивая слова и чуть-чуть в нос. — Почту за долг лично доложить, когда возвращусь в Петербург, — прибавил князь с особенною аффектацией серьезной почтительности в тоне, словно бы желая осчастливить этого «маловоспитанного моряка», каким считал князь адмирала.

Адмирал не был особенно тронут комплиментами его светлости, ничего не смыслившего в морском деле и словно бы удивлявшегося, что на корабле Черноморского флота чистота и порядок. И это снисходительное высокомерие в дурацкой манере звать «любезным адмиралом», и желание облагодетельствовать своим докладом, и апломб... все это начинало раздражать самолюбивого адмирала.

«Брандахлыст ты и есть. «Почтешь за долг»! А воображаешь: умница», — подумал адмирал.

Зато «грек», получивший и на свою долю несколько любезных слов, таял и рассыпался в восторженно-льстивой благодарности.

Тем временем в нескольких шагах от отца графиня болтала со старшим офицером.

Это была брюнетка лет тридцати, эффектная и красивая, с надменно приподнятой головой, бойкая и самоуверенная, словно бы имеющая право сознать и неотразимость красоты лица, и привлекательность своих форм и роскошного сложения.

Казалось, она хорошо знала, чем именно привлекает мужчин, и словно бы нечаянно показывала Курчавому то руки, то ослепительную шею и, играя черными, слегка вызывающими и смеющимися глазами, говорила старшему офицеру:

— У вас очень мило... Мне понравилось... И какие вы, господа моряки, любезные...

И, бесцеремонно оглядывая красивого блондина значительным, и пристальным, и ласковым взглядом красивого и холеного животного,

вдруг с дерзкой насмешливостью проговорила:

— А вы, кажется, имеете здесь репутацию опасного... Очень рада видеть местную знаменитость.

Курчавый, самолюбиво польщенный, вспыхнул и с напускною серьезностью сказал:

— Репутация, графиня, незаслуженная...

— Не совсем, я думаю... Приходите — поболтаем! — почти приказала она.

Курчавый, снимая фуражку и наклоняя голову, спросил:

— Когда позволите?..

— А сегодня, в семь часов...

Его светлость повел бесстрастные глаза на дочь.

«Новый каприз!» — подумал он и поморщился.

«Проблематическая» репутация единственной дочери, жены известного сановника, товарища князя по пажескому корпусу, давно уж была болячкой князя, и уж он только смущался теперь забвением «апарансов» ^[19]красавицы графини.

Его светлость опять взглянул на дочь.

Но она не обратила внимания на значительный, предостерегающий взгляд отца, который — графиня хорошо знала — говорил: «Люди смотрят!»

— С чего прикажете начать, ваша светлость? — слегка аффектированным тоном младшего по должности и по чину спросил адмирал, прикладывая руку к козырьку своей белой фуражки, слегка сбившейся на затылок.

— Я в вашем полном распоряжении, любезный адмирал! — с подавляющей любезностью ответил князь и тоже немедленно приложил два длинные пальца руки в перчатке к большому козырьку фуражки, надвинутой, напротив, на лоб.

— Угодно вашей светлости сперва посмотреть артиллерийское учение, потом парусное?.. Или пожарную тревогу прикажете, ваша светлость? — настойчивее спрашивал адмирал, продолжая играть роль подчиненного.

— Так покажите мне, любезный адмирал, сперва ваших молодцов матросов-артиллеристов и затем лихих моряков в парусном учении... Больше я не злоупотреблю вашей любезностью, адмирал.

— Слушаю-с, ваша светлость.

Адмирал позвал к себе вахтенного офицера и приказал:
— Барабанщиков.

Старший офицер, слышавший разговор двух стариков, похожих в эту минуту на «ученых обезьян», извинился перед графией и бегом бросился к компасу, чтобы подменить вахтенного лейтенанта и командовать авралом.

И, слегка перегнувшись через поручни полуюта, звучным, красивым и особенно радостным голосом крикнул бежавшим по палубе двум барабанщикам:

— Артиллерийскую тревогу!

Барабанщики с разбега остановились и забили тревожный призыв.

— К орудиям! — рявкнул с бака Кряква.

В мгновение раздался топот сотни ног по трапам и по палубе. Ни одного окрика унтер-офицеров.

Через минуту на корабле царила мертвая тишина. У орудий на палубе и внизу, в батареях, недвижно стояла орудийная прислуга.

VI

— Где угодно, ваша светлость, посмотреть учение? Здесь или внизу?

— Пожалуй, здесь, адмирал.

Пробила дробь, и ученье началось.

Старый артиллерист, по обыкновению, волновался, но не закипал гневом и не ругался. Он, по счастью, не забывал, что на полуюте его светлость и графиня, которая...

«Пронеси господи смотр!» — мысленно проговорил колченогий капитан морской артиллерии и наконец просиял. Он заметил, что и гости, и адмирал, и «коварный грек», и старший офицер, видимо, были довольны.

Еще бы!

Матросы откатывали орудия в открытые порты и подкатывали назад для примерного заряжания, словно игрушки, и делали свое дело без суеты, быстро и молча.

— Превосходно... Ве-ли-ко-леп-но! — говорил его светлость, любуясь ученьем и обращаясь к адмиралу, точно лично он — виновник торжества.

— Привыкли матросы, ваша светлость!.. И в море боевыми снарядами недурно палят! — отвечал адмирал без особой почтительной радости и словно несколько не удивлялся лихости матросов.

Но в душе радостно удивлялся, что старый артиллерист из вахтеров не произнес ни одного бранного слова.

— Удивляет меня наш Кузьма Ильич! Хоть бы свою любимую «цинготную девку» сказал! — тихо и весело проговорил адмирал, подходя к старшему офицеру.

— Еще как окончится учение, Максим Иваныч!.. Зарежет!.. Особенно перед графиней! — взволнованно отвечал старший офицер, не спуская глаз с артиллериста, точно хотел внушить ему не прорваться.

— А эта дамочка-с, видно, все свои онеры вам показала, Николай Васильич? — с улыбкой бросил адмирал и вернулся к его светлости и

графине, от которых не отходил капитан и восторженно улыбался.

Скоро его светлость просил дать отбой, и матросы были отпущены от орудий.

— Ну-ка, теперь покажем гостям, как мы ставим и убираем паруса, Николай Васильич? — уже сам возбужденный при мысли о быстроте парусных маневров, весело сказал адмирал старшему офицеру.

И, обратившись к его светлости, промолвил:

— Не угодно ли, графиня и ваша светлость, поближе подойти.

Князь и графиня подошли к поручням.

Старший офицер, лихой моряк и знаток парусного дела, возбужденный, с загоревшимися глазами, забывший в эту минуту решительно все, кроме парусов, и казалось, еще красивее, со своим вызывающим видом лица и всей его посадки его стройной фигуры, как-то особенно звучно и весело крикнул:

— Свистать всех наверх! Паруса ставить!

Боцмана засвистали. Все матросы были на палубе, и марсовые бросились к мачтам.

— К вантам! По марсам и салингам! — крикнул старший офицер.

Сигнальщик уже перевернул минутную склянку.

Матросы взбежали по веревочной высокой лестнице духом.

Адмирал отошел от гостей и, подняв голову, впился глазами на мачты. Казалось, теперь он весь жил постановкой парусов.

— По реям!

Матросы разлетелись по реям как бешеные, словно бы по ровному полю.

Еще минута — и весь корабль, точно волшебством, весь оделся парусами.

И адмирал, и старший офицер, и боцман Кряква только довольно улыбнулись. Нечего и говорить, что князь дивился быстроте маневра.

— Одна минута, вашескобродие, — доложил сигнальщик старшему офицеру.

— Прелестно... Весь маневр в одну минуту... Это волшебство! — проговорил князь.

Адмирал не опускал головы сверху и зорко поглядывал на паруса, все ли до места дотянуто. Не спускал глаз и Курчавый и не заметил,

что графиня бросала по временам на него восхищенные взгляды, словно бы на первого тенора на сцене.

Адмирал слышал слова князя и не подумал ответить.

«Точно могли на «Султан Махмуде» ставить паруса более минуты! Точно матросы не работают как черти!» — подумал адмирал, и, конечно, в голову его и не пришло мысли о том, какими жестокими средствами дрессировали матросов, чтобы сделать их «чертями».

Вместо адмирала «грек», весь сияющий, благодарил его светлость за то, что быстрота так понравилась князю и графине, и точно он, капитан, виновник такого торжества.

Через несколько минут раздалась команда старшего офицера «крепить» паруса.

Снова побежали вверх марсовые и стали убирать марселя и брамсели. Внизу в то же время брались на гитовы нижние паруса.

По-прежнему царил тишина на корабле, и адмирал и старший офицер были в восторге. Уборка парусов шла отлично, и ни одного боцманского словца не долетало до полюта.

Но вдруг — на фор-марсе заминка. Угол марселя не подбирается.

Курчавый в ужасе взглянул на фор-марсель. Адмирал нетерпеливо крякнул.

В эту минуту маленький молодой матросик, стоявший внизу у снасти, смущенно и быстро ее раздергивал. Она «заела» и не шла.

И, вероятно, чтобы понудить веревку, матросик чуть слышно умилостивлял веревку, говоря ей:

— Иди, миленькая! Иди, упряменькая!

Но так как «миленькая» не шла, то матрос рассердился и, бешено тряся веревку, тихо приговаривал:

— Иди, подлая. Иди, такая-сякая... Чтоб тебе, такой-сякой.

Унтер-офицер услышал непотребное слово и, негодующий, чуть слышно проговорил матросу:

— Ты что ж это, Жученко, такой-сякой, ругаешься? Что я тебе приказывал, растакой с... с...

Боцман подскочил к снасти, раздернул ее и сдержанно сердито воркнул:

— Чего копались тут, такие-сякие, словно клопы в кипятке? Матрос, а насекомая, такая-сякая!

Мачтовый офицер в благородном негодовании воскликнул:

— Не ругаться, такие-сякие!

Среди тишины до полуюта долетели и «морские термины». Князь весь съежился. Графиня улыбнулась и отвернула лицо. Словно бы смертельно оскорбленный, что вышла заминка, как сумасшедший бросился старший офицер вниз, и, не добегая до бака, он крикнул:

— Отчего не раздернули?

— Раздернули! — крикнул Кряква.

— Раздернули?! А еще обещали... Постараемся!

И с уст старшего офицера как-то незаметно сорвалось «крылатое» словечко, и он полетел назад.

«Грек» замер от страха. «Все пропало! Его светлость?! Что он доложит в Петербурге?» — пронеслось в голове капитана.

И он уже был на баке и, по обыкновению мягко, проговорил:

— Перепорю вас, такие-сякие!..

Князь совсем сморщился... Графиня сдерживала смех.

Максим Иваныч, услышавши всю эту брань, вспылил. Он побежал сам на бак. Но до бака не дошел и, увидавши ненавистного ему «грека», прошептал:

— Разодолжили-с... Нечего сказать... При даме-с!..

И позабывший, что дама в нескольких шагах, адмирал прибавил от себя более внушительные слова.

Только что взбежавши назад на полуют, адмирал вспомнил, что сказал, и, смущенный, чуть слышно спросил старшего офицера:

— Слышно было?

— Слышно, Максим Иваныч! — угрюмо проговорил старший офицер и продолжал командовать.

Закрепили паруса отлично. Никто из гостей и не заметил заминки на несколько секунд, которая «зарезала» моряков.

Марсовых спустили с марсов.

— Я в восторге, адмирал, — проговорил с утонченной любезностью князь. — Парусное ученье великолепно. Благодарю за доставленное наслаждение, любезный адмирал.

Адмирал смущенно поклонился.

— Прикажете продолжать учение, ваша светлость?

— К сожалению, не могу... Обещал смотреть сегодня пятнадцатую армейскую дивизию.

— Быть может, изволите позавтракать, ваша светлость?

Но князь извинялся, что нет времени, и скоро, любезно простившись со всеми, направился к трапу...

— Так вечером приходите! — промолвила, весело смеясь, графиня, протягивая руку Курчавому.

Проводивши гостей, адмирал вошел в свою каюту и, взглянув на парадно накрытый стол и на вестового в полном параде, воскликнул:

— Ну и черт с ним, если не захотел завтракать...

И, обращаясь к вестовому, крикнул:

— Старый сюртук и зови всех офицеров к столу, Суслик! Да башмаки свои можешь снять!

1900

Л. Н. АНДРЕЕВ

МОНОУМЕНТ

Комедийка в одном действии

В городе Коклюшине, наконец, решили поставить памятник Пушкину; объявили всенародную подписку, устроили конкурс на проект памятника и учредили комиссию. Проектов было представлено множество, но Ее Превосходительство, по инициативе которой воздвигается памятник, остановила свое внимание только на двух проектах, принадлежащих художникам Фракову и Пиджакову. И в настоящий момент комиссия заседает в квартире Ее Превосходительства как для обсуждения означенных проектов, так и других важных вопросов, связанных с небывалым происшествием.

Члены комиссии, кроме Ее Превосходительства, следующие:

Градский голова, Павел Карпович Маслобойников, лицо почтенное, но лишенное образования. Крупен, лыс, бородат и мордаст. **Гавриил Гаврилович**, податной инспектор, бывший учитель гимназии, уволенный за то, что ругал учеников дурными словами. Учитель географии в прогимназии, **Петр Петрович Еремкин**, чахоточный. **Местный барон. Некто**, внушающий почтение и легкий трепет. **Мухоморов** Анатолий Наполеонович — самый умный человек в городе; ходит в наваченных брюках, в ушах вата, пальцы длинные и костлявы. Его супруга **Анна Титовна**; большие черные усы. **Иван Иванович**, обаятельный молодой человек без речей. И еще два члена **без речей**: один — всегда смеется с Гавриилом Гавриловичем; другой — ужасается и скорбит с Некоим, внушающим почтение.

Тут же присутствуют и **оба художника** проектами. Фраков ненавидит Пиджакова, последний презирает Фракова. По этой причине сидят они в разных концах комнаты. Из посторонних лиц присутствует специально командированный представитель столичной прессы, господин **Исполинов**.

При открытии занавеса Ее Превосходительства нет: она еще не выходила из своих апартаментов. Члены комиссии собрались кружком около журналиста.

Некто (*Исполинову*). Пешком изволили? У нас извозчики с семи часов спать ложатся.

Исполинов (*глядя на концы брюк*). Пешком, да, представьте! Но очень, очень милый городок, такой оригинальный. Однако почему столько собак? Почти как в Константинополе.

Еремкин (*страстно*). А вы и в Константинополе были?

Исполинов. Как же! Два года писал оттуда корреспонденции, ведь это же рядом с Одессой, ну да! А скажите, у вас это первый памятник?

Барон. Пока первый. Культура этого края еще не... не... Да, первый пока.

Маслобойников. А на кладбище-то забыли, барон? Есть, есть, вы сбегайте, поглядите, господин хороший.

Некто. Кладбище у вас знаменитое.

Еремкин. Но г. Исполинов говорят, если не ошибаюсь, о городских монументах. Полководцы, вообще фигуры великих мужей и...

Некто. Напрасно утруждаете себя объяснениями: здесь вам не ваши ученики. Вот воздвигнем памятник Пушкину, тогда и любуйтесь, сколько хотите, тогда ваша воля.

Еремкин. Но...

Гавриил Гаврилович. Нет, вы вот что нам скажите, г. Исполинов: почему Пушкину? Ну, я понимаю, как этого не понять, ну, город и вообще культура, и нельзя же, чтобы одни собаки и калачи, — но почему именно Пушкину? Мало ли других великих людей? А то все Пушкин, Пушкин, ведь это может и надоесть!

Еремкин. Но с точки зрения...

Гавриил Гаврилович. Вас не спрашивают. А вот вы, г. Исполинов, как представитель столичной печати, не удостоите ли нам объяснить?

Исполинов. Виноват, я в вашем городе только гость и...

Барон. Как известно, Пушкин наш величайший поэт, и задачи культуры — как же можно, иначе нельзя. Где же тогда культура?

Гавриил Гаврилович. Нет уж, барон, извините, — конечно, я не противоречу, — но кому это известно, а мне нет, неизвестно. А вам, Пал Карпыч, известно?

Голова (вздыхая). Мне ничего не известно. Вы меня, Гаврил Гаврилыч, не приводите, я здесь не в пример.

Гавриил Гаврилович (хохочет). Вот оно-с! Не любит Пушкина наш почтеннейший городской голова, не одобряет! Но, виноват, вы желаете сказать, г. Исполинов?

Исполинов. Как гость я, право, затрудняюсь ответить, почему вы решили ставить именно Пушкину. Это даже странно.

Гавриил Гаврилович. А я что говорю?! Но ваше отношение к памятнику?

Исполинов. Мое отношение? А что касается моего отношения к памятнику, то оно двоякое: одно — пока памятник еще не поставлен, и другое — когда он уже стоит. В первом случае я имею материал... ну, положим, и не так много... ну, когда десять, а когда и сотню строк; а во втором случае... Ну, и что мне от памятника, когда он уже стоит, сами посудите? Скажу просто: от всех памятников, какие стоят в Петербурге и Москве, я не имею даже рубля! Да и никто не имеет, это же не требует доказательств!

Голова (вздыхая). Да, под квартиру не отдашь.

Еремкин. Но с точки зрения исторической...

Гавриил Гаврилович. Пошла история с географией: вот уж чего не люблю, так не люблю. И почему, г. Еремкин, вы не можете слова сказать без но?

Еремкин. Но...

Некто. Вот так они всегда: но! Не могут, по-видимости, иначе, не могут. И сколько раз я имел удовольствие их слушать, и каждый раз на этом месте удивлялся: но.

Еремкин (*пугаясь и оглядываясь*). Но как же мне быть, если так начинается: но? Я совсем ничего не думаю сказать лишнего, и вообще я, но...

Гавриил Гаврилович (*хохочет*). И опять! Не может!

Некто. Очень жаль, если не можете. Позвольте вам внушить следующее: но — есть знак гордости человеческой, а что такое гордость? Но — есть отвращение ума не токмо от законов человеческих, но даже и божеских, — а что такое ум? Но — есть знак высокой непочтительности, своеволия, так сказать, и даже дерзости. Нехорошо-с, молодой человек, нехорошо-с! обидно!

Еремкин (*в отчаянии*). Но...

Голова. Цыц! сама.

Входит **Ее Превосходительство**, поддерживаемая **Иваном Ивановичем**; ее почтительно приветствуют.

Ее Превосходительство. Уже? здравствуйте, уже? Я так счастлива, наконец, видеть и вообще, наконец, приблизиться — не так ли, господа? Моя мечта — садитесь, господа, — или, лучше сказать, моя идэя наконец близка... Не хотите ли чаю? впрочем, чай потом, а сперва нужно что-то другое... что? Надеюсь, господа, вы простите слабую женщину, которая, это правда, так богата идэями, но совершенно беспомощна в вопросах — как это называется?

Мухоморов (*подсказывая*). Прозаической действительности, Ваше Превосходительство.

Ее Превосходительство. Мерси. Вот видите, какая у меня голова, ах, я такая бедная. Раз это не идэя, то я уже ничего не понимаю, я бессильна, как дитя, — нет, нет, не спорьте. Я даже удивляюсь иногда: зачем у меня тело? Ну, у других, я понимаю, ну, там на что-нибудь нужно; а зачем мне?

Мухоморов. Вы, Ваше Превосходительство, по моему скромному мнению, — я заранее извиняюсь, если что-нибудь не соответствует в моих словах, — вы просто дух, Ваше Превосходительство.

Ее Превосходительство. Вы так думаете? Ах, как это необыкновенно. Но я очень счастлива... Господа, позвольте вам представить нашего достоуважаемого сочлена, господина, господина...

Голова. Кто его не знает, знаем.

Мухоморов (подсказывая). Мухоморов, Анатолий Наполеонович...

Ее Превосходительство. Мерси. Вот видите, какая у меня голова! Я, право, не знаю, зачем у меня самой есть имя? Это так ненужно, когда вся душа: не так ли, достоуважаемый Павел Егорович?

Голова. Карпович, Карпов сын. (Потех.) Не могу знать, Ваше Превосходительство. Стало быть, нужно, коли дают.

Гавриил Гаврилович (хохочет). А для вывески-то? «Павел Карпович Маслобойников и сыновья, мука и бакалея».

Ее Превосходительство. Ну вот, вы все что-то понимаете и даже смеетесь, а я — как это необыкновенно — но к делу, к делу, как говорит монмари ^[20]. Господа, я пригласила г. Мухоморова в нашу дорогую Пушкинскую комиссию...

Голоса. Просим, просим!

Мухоморов и его жена встают и кланяются.

Ее Превосходительство. Ах, как это трогательно! Г. Мухоморов, как вам, надеюсь, известно, самый умный человек в нашем городе; его открыл нам наш дорогой барон...

Барон. Это такой русский ум!

Голоса. Известно, известно!

— Просим!

— Садись, Мухоморов.

Мухоморов (кланяясь, рукою как бы отстраняя честь). Польщен! высоко польщен! Но как глас народа, то — молчу и покоряюсь. Однако не сокрою... Анна, выступи! Моя супруга и равным образом моя муза.

Ее Превосходительство. Ах, как романтично! Садитесь, пожалуйста, или что? Но — уже, это прекрасно. Скажите, ведь у нашего Пушкина также была муза?

Мухоморов. Как же-с. Была.

Ее Превосходительство. Ах, господа, когда я подумаю, что тень великого Пушкина присутствует между нами, то мне становится страшно, я плачу. Не удивляйтесь, господа, я слабая женщина. Правда, когда мне пришла идея поставить в нашем Коклюшине памятник великому Пушкину, я — вы понимаете? Но теперь, когда — вы

понимаете? Но почему же мы не заседаем? Или мы уже? Прошу вас, господа, заседайте, заседайте! Я умоляю!

Гавриил Гаврилович. Что же, можно. Пал Карпыч, вы, как градский голова, бессменный наш председатель — открывайте.

Голова. Открывать-то открывать... *(Вздыхает.)* А то вы бы, барон, а?

Барон. Нет, нет, просим.

Голова. Наше дело простое, торговое, и как по примеру прочих, так куда уж: с суконным рылом да в калачный ряд. Главное, не могу я за себя поручиться: такого могу наговорить, что и до завтраго не прочихаешься... А тут еще тень, говорите. Эх! Стало быть, открывается. Звоночек бы мне...

Ее Превосходительство. Я даже боюсь вас! Иван Иванович, дайте председателю звоночек — но как, уже?

Голова. Спасибо, милый. Кому желательно?

Мгновение некоторой нерешительности.

Некто *(Исполинову, тихо).* Вы уж ко мне поближе. Блокнотик вынули? Записывайте, записывайте, освещайте!

Еремкин. Позвольте мне, я быстро. Нет, нет, я без но. Просто надо, чтобы Павел Карпович, в ознаменование и, так сказать, в присутствии столь почтенных лиц, выяснил нам значение, если смею так выразиться, высказал свой просвещенный взгляд на творения и личность усопшего поэта. Я уже, кончил!

Гавриил Гаврилович. Да, не мешало бы выяснить, а то я что-то не понимаю. Нуте-ка, Пал Карпыч, понатужьтесь! *(Хохочет.)*

Голова. Что? шутите вы, что ли? Да как же я выясню? Нет уж, господа, ей-Богу, увольте: что касается остального, так я на все согласен, ей-Богу, а уж выяснить ничего не могу. Учены мы на медные деньги, я и счета правильно-то написать не умею, а вы говорите: выяснить. Ну, Пушкин и Пушкин — что ж тут неясного?

Ее Превосходительство. Ах, как стыдно! Неужели вы не знаете Пушкина?

Голова. Как не знать — знать-то я его хорошо знаю, я его окончательно знаю — как не знать! Но только зачем это выяснять? Ну, собрались, ну, и слава Богу, и тому порадоваться надо. Я, извините, от

дела отбился с этим Пушкиным, а вы еще говорите, выяснять. Стало быть, ясно, коли собрались. Я же первый и три рубля взнес: стало быть, знаю, коли взнес; не знал бы, так не вносил бы. А вы, Гаврил Гаврилыч, чем усмехаться над моим убожеством да голову мне морочить, лучше взяли и сказали бы.

Гавриил Гаврилович. Позвольте, при чем я тут? Как всем известно, я вовсе уж не такой поклонник господина Пушкина, и зачем я стану говорить? Не желаю говорить, вот и все. В комиссию я согласен, потому что образованный человек, все понимаю, а говорить мне нечего. Пушкин! Ну, и ставьте памятник Пушкину, а если вы его не знаете, так это стыдно. Я, например, все наизусть знаю; не люблю — но знаю.

Еремкин. Да, стыдно, стыдно.

Некто. Нехорошо.

Барон. И даже некультурно.

Маслобойников (*звонит*). Да что стыдного-то: я ж говорю, знаю. Может, оттого, что знаю, оттого и выяснять не хочу. Не желаю выяснять. И что это, господа, привязались вы: стыдно, стыдно. Разве я прекословлю? Будь бы я прекословил, а то нет? Пушкин так Пушкин, я против него ничего не имею. А чем препираться и председателю огорчения делать, так лучше делом займемся. Вон и энти господа, художники-то, на нас косятся, думают, чем занялись вместо дела. Верно, господа?

Фраков. Помилуйте! Нам оказана такая честь.

Маслобойников. Прожектики-то принесли? Ну, ну, сейчас, дайте о деньгах сказать. Как на мне лежит счетная часть, так должен я отчитаться... Вот тут (*показывает на боковой карман*) лежит у меня три миллиона двести тысяч, да еще не знаю, сколько нынче по почте пришло — миллион или два. Отбою нет от денег — так и жертвуют, так и жертвуют: кто копейку, кто две.

Ее Превосходительство. Три миллиона — этого хватит?

Маслобойников. Обойдемся как-нибудь. Так что ж, картинки будем смотреть или что? Давайте уж картинки посмотрим. Ну-ка, милый, покажь, что намалевал? Разверни, разверни.

Фраков. Вот. Пожалуйста. (*Развертывает на стене проект памятника.*)

На рисунке Пушкин изображен в короткой римской тунике с венком на голове.

Голоса. Удивительно!

— Какая прелесть!

— Нет, но как классично, какая поза!

— Великолепно!

Голова. Так. Это самое и есть Пушкин? Скажи ты! А отчего же он без брюков? По-моему, брюки бы надоть.

Фраков. Извините, почтеннейший, но Минин и Пожарский...

Голова. Чудак! Так то — Минин и Пожарский: тогда и все без брюков ходили, а теперь стыдно.

Гавриил Гаврилович (*хохочет*). Вот так ляпнул городской голова!

Ее Превосходительство (*страдая*). Здесь недоразумение, дорогой Павел Карпович, вы просто не знаете требований классицизма!

Художник Пиджаков насмешливо хохочет.

Голова. Я-то? Извините, Ваше Превосходительство, но как у меня самого два сына в классической прогимназии, так я эти требования вот как знаю, здесь сидят! (*Бьет себя по шее.*) Но чтобы вовсе без брюков, этого даже и не слыхал, извините, врать не стану! (*От души хохочет.*)

Ее Превосходительство. Барон, объясните ему, я не могу!..

Барон. Но мне и самому... Конечно, я не о той части костюма, о которой, но... Да, да, несколько странно. Но, может быть, коллега, автор следующего проекта, нам что-нибудь скажет... компетентное мнение...

Фраков (*гордо*). Я слушаю.

Пиджаков. Я ему не коллега.

Барон. Но почему же?

Пиджаков. Он академик. А я нет.

Фраков. Горжусь, что я академик!

Пиджаков. Горжусь, что я не академик!

Барон. Но, господа, позвольте, зачем так остро переживать? Я извиняюсь и, может быть, лучше, если сам автор проекта объяснит свою мысль...

Фраков. Что же тут объяснять?

Ее Превосходительство. Ах, пожалуйста, мы просим.

Фраков. Подчиняюсь приказанию Ее Превосходительства. Итак — что такое памятник? Памятник — это монумент. Надеюсь, никто не возражает?

Пиджаков. Я возражаю.

Фраков (*окидывая его презрительным взглядом*). А раз монумент, то он должен быть монументален. Все временное, все слишком человеческое, все слишком обыденное и пошрое — отпадает.

Голова (*иронически*). И брюки?

Фраков. Да-с — и брюки, как вам угодно выражаться. Моя скромная задача дать величие, а не брюки, я художник, а не портной. Брюки и на вас есть, почтеннейший!

Голова. Ну да: еще я б тебе без брюков ходить стал, чего захотел.

Гавриил Гаврилович хохочет.

Ее Превосходительство. Боже мой, что они говорят! Но где же идэя, идэя?

Голова (*звонит*). Прошу господ собрание не ржать, тише! И вот мой сказ: голого нельзя. У нас мимо памятника девицы ходить будут, нельзя. Так — я ничего не имею: Пушкин — ну и Пушкин, а неприличия, как градский голова, допустить не могу, на мне медаль. Одень — тогда и ставь: тут тебе не спальня, а проходная улица. А вы опять ухмыляетесь, Гаврил Гаврилыч — ну, чего вы?

Гавриил Гаврилович. Так-с. Величие! Скажите пожалуйста! Конечно, я все понимаю, тут и понимать нечего, — но почему именно Пушкин велик? Стихи писал — но, позвольте, что тут такого? Стихи всякий может писать, я сам их мальчишкой сколько написал. Наконец, ставят памятник человеку, который был убит в какой-то драке...

Некто. Смерть нехристианская, это верно. Но раз начальство ничего против такой смерти не имеет, то мы должны покориться. При всем том голизны одобрить не могу: человек умер, и Бог ему судья, а не мы. (*Исполинову*.) Округлив, запишите.

Еремкин. Осмелюсь и я. Та широта, под которой находится наш город, условия сурового климата заставляют и меня присоединиться к протесту. Было бы странно, если бы зимой, в мороз до тридцати градусов и более, на площади, занесенной сугробами, возвышался голый человек! Несоответственно.

Голова. На него и глядя-то зубами заляскаешь!

Фраков. Но не могу же я его в шубу!..

Голова. А не можешь, так чего ж берешься? Какой важный! Не ты стоять будешь, а он: так чего же ты ерепенишься?

Ее Превосходительство. Боже мой, что они говорят!

Фраков (*гневно*). Это... это папуасы! Это... это... Извиняюсь, Ваше Превосходительство, но я... позвольте мне удалиться!

Голова. Ну, ну, какой обидчивый, — и слова сказать нельзя. Посиди, посиди, не расстраивай компании. Может, другой-то еще хуже твоего: вместе ругать будем; возьми папиросочку, покури. Ну — твой черед, разворачивай... Эх, Пушкин!

Пиджаков (не совсем трезвый молодой человек, лохматый, поэтической внешности) разворачивает и прикалывает свой проект. На рисунке Пушкин стоит, широко расставив ноги, одну руку положив в карман, другую — сморкаясь. Снова недоумение.

Голова. Так. Хорошо! Отчего же он за нос-то держится?

Пиджаков (*гордо*). Сморкается.

Голова. Монумент-то? Да что вы, ей-Богу, морочите, от дела отрываете?

Барон. Да, странно.

Некто. И опять-таки неприлично...

Ее Превосходительство (*страда*). И где же идея?

Гавриил Гаврилович (*хохочет*). Нет, хорошо! А то — величие! Знаю я это величие, видал великих немало: прекрасно знают, где раки зимуют, ваши великие. Нет, хорошо. Очень хорошо! — так его и надо. Браво, молодой человек.

Пиджаков (*гордо*). Несколько слов. И надеюсь, вы меня поймете, хотя от рождения я одинок. Мне надоело ваше лживое искусство, и я кладу ему конец! Довольно! (*Бьет кулаком по столу.*) К черту!..

Еремкин (*тихо*). Но какой он сердитый.

Голова (*также тихо*). Выпил, оттого и сердится. Погоди, еще бить нас с тобою будут... Эх, Пушкин!

Пиджак. Довольно! Я больше не хочу! Я ненавижу ваши лживые города с их бездушными героями на нелепых конях. Долой старую ложь! Пушкин был велик не тем, что писал стихи, как здесь сказал какой-то идиот...

Гавриил Гаврилович. Но, позвольте, кто дал вам право!..

Пиджак. Виноват, это только полемический прием, и лишь идиот может понимать это буквально. Пушкин велик тем, что он был — человеком! Человек — вот что такое Пушкин, и человека я вам даю. Вам, ничтожным людишкам, нужно, чтобы ваш герой сидел на коне, а мой — сморкается!

Ее Превосходительство (*робко*). Но где же идэя?

Пиджак. Вы не понимаете? Ха-ха — в насморке. Что, не понравилось? не любишь?

Барон. Но послушайте, дорогой мой!..

Пиджак. Я вам не дорогой. Если у меня нет знаменитого имени, как вот у этого академического тупицы, так это не дает вам права называть меня «дорогой»!

Фраков (*вскакивая*). Я протестую!

Пиджак. Ну и протестуй, сморчок несчастный.

Фраков. Я ухожу!

Пиджак. Ну и уходи ко всем чертям! Ты думаешь, что если я молчал, так это от восторга? Молчал потому, что все вы подошвы моей не стоите — вот!

Фраков выходит. Пиджак сатанински хохочет.

Некто (*Исполинову, тихо*). Этого не пишите!

Голова. Говорил, бить начнут.

Ее Превосходительство. Милостивый государь, вы позволяете себе такое, что я, право, не знаю. Что в этих случаях делается?

Гавриил Гаврилович (*яростно*). Вывести надо, вот и все!

Некто. Правильно!

Пиджак. Я все позволил и все позволяю. Выводите — я всегда готов. Я сам крикну по вашей подлой терминологии: эй, человек,

выводи человека! Вы думаете, я молчал от восторга? — рожи проклятые!

Некто (*быстро*). Этого не записывайте!

С Ее Превосходительством дурно. Ее успокаивают, пока голова осторожно выводит Пиджакова, уговаривая его.

Голова. Ну, ну, иди! Я это дело знаю: завтра проспишься, тогда и поговорим. Ну, сморкается и сморкается, чего же плакать-то?

Пиджаков (*плача*). Ты — хам, но только ты один меня понял. Поцелуемся.

Голова. Изволь, сколько хочешь. В калошах пришел или так? Калоши-то не забудь. Ну, и сморкается, эка! Не плачь, все там будем. На извозчика-то есть? А то у меня возьми, потом отдашь. (*Выводит его в переднюю.*)

Здесь некоторое смущение и печаль о несовершенстве человеческого рода.

Барон. Какое некультурное происшествие! Молодой человек сидел так скромно, — и кто бы мог подумать!

Мухоморов. Водка-с. Вот кто наш истинный враг.

Гавриил Гаврилович. А по-моему, — дурак и больше ничего! нахал!

Некто (*Еремкину*). А вот вы все твердите: но. Вот оно, ваше «но», молодой человек, видали? Хорошо, по-вашему?

Еремкин. Но при чем же я, Господи!

Ее Превосходительство. Анатолий Наполеонович, вы умный человек, скажите мне, зачем я спустилась на землю? И разве идэи — это так трудно и недоступно другим людям?

Мухоморов. По моему скромному мнению, — вы избранная натура, Ваше Превосходительство. В нашем ли Коклюшине вам прозябать, когда самые первые столицы должны с гордостью открыть Вашему Превосходительству свои врата. Не так ли, господин журналист?

Исполинов. Безусловно! Целиком присоединяюсь!

Голова (*входя и отдуваясь*). Отправил. Ну и народ горячий: хочет еще этого первого догнать: избыю, говорит, как собаку. Так как же, по домам после такого скандала или продолжать будем? Надо бы уж кончать, а то совсем я от дела отбился, хоть лабаз закрывай.

Ее Превосходительство (*слабо*). Продолжим.

Голова (*звонит*). Открывается и продолжается. Как, прогнавши обоих, по какому плану будем памятник ставить? С ума сойдешь, ей-Богу. Ты что все молчишь, Мухоморов? — подскажи. Ума у тебя, сказывают, целая палата.

Мухоморов. Смею ли я?

Голова. Раз позвали, значит, смеешь. Не форси. Ну?

Мухоморов (*вставая*). Я мыслю об единообразии. Анна! ты понимаешь? Раз если Пушкин один, то на каком основании памятники должны быть различны? Мыслю так: откинув лжемудрие...

Некто. Правильно.

Мухоморов. ...воздвигнуть монумент по образу столичного московского. Изволили видать? Со шляпою в руке для обозначения задумчивости, и в альмавиве, то есть плаще-с. Анна, ты согласна?

Мухоморова. Согласна.

Голова. И я согласен. Верно! Лучше московского не придумаешь. Дадим этим по сотняге за беспокойство, да и приступим, благословясь... Умница ты, Мухоморов! Спасибо!

Гавриил Гаврилович. А я не согласен. Позвольте! какая это еще задумчивость? Раз ты стоишь на площади, так веди себя вежливо, а не задумывайся. Голову опустил, ни на кого глядеть не желает, скажите пожалуйста! Спроси раньше, желаю ли я на тебя глядеть, а потом и задумывайся.

Голова. Ну и гордости у вас, Гаврил Гаврилыч! А по-моему, то и хорошо, что ни на кого не глядит, — чего ему на нас глядеть, эка невидаль, подумает! Кончено (*звонит*), принято подавляющим большинством. Поздравляю, Ваше Превосходительство, честь имеем!..

Ее Превосходительство. А что? — разве уже? Ах, какие вы милые. Но когда? Я так задумалась о нашем дорогом Пушкине, тень которого...

Голова. Уже, уже, поздравляем. А теперь что? В прошедший раз мы говорили, как его, этого самого Пушкина ставить, — продолжим?

Некто (*грозно шипит*). Тсс! что вы, что вы! Тут еще пресса сидит, а вы такое!.. Страха на вас нет, Пал Карпыч!

Голова (*мгновенно потея*). Фух-ты! Про прессу-то и забыл.

Все со страхом смотрят друг на друга, потом на Исполинова. Молчание.

Исполинов. Мне удалиться?

Голова. Вот именно: удались, миленький. Тут у нас, понимаешь, такое дело, что...

Некто. Тсс!

Все. Тсс! тсс!

Снова со страхом смотрят друг на друга. Пауза.

Голова. Ты не обижайся, голубчик...

Исполинов. Не беспокойтесь, я привык. Я удаляюсь.

Голова. А привык, так тем лучше: удались, миленький, удались. Завтра я тебе, ей-Богу, все расскажу, а сейчас ступай ты от греха. Иди, иди!

Исполинов быстро уходит. Все смотрят ему вслед. Гавриил Гаврилович заглядывает в дверь.

Гавриил Гаврилович. Знаю я этих! Уйдет, да под дверью и притаится.

Барон. Лучше на ключ, Гаврил Гаврилыч.

Голова. Да и занавески бы спустить: чего на улицу светим, прохожих беспокоим!

Некто. Я и говорю: разные. Будь друг, Еремочка, опустите занавесочки-то: все спокойнее. Да и свету бы поубавить: друг дружку знаем и в потемках не ошибемся. Гаси свечи, Гаврилыч!

Гавриил Гаврилович. Готово. Я и лампу эту погашу, зачем она! (*Гасит.*)

На сцене темнеет. Лица заговорщиков бледны.

Еремкин. Но я полагаю, что в присутствии Ее Превосходительства...

Некто (*шипит*). Опять: но! Вот как залетите в места не столь отдаленные, тогда и покаетесь, да поздно будет! поздно!

Ее Превосходительство. Я не понимаю. Ах, как романтично. Сейчас тень, да?

Голова. Какая еще тень? Да не пугайте вы, Христа ради! Тут и так поджилки трясутся, а вы еще: тень... Я так не могу, Ваше Превосходительство, — у меня дети!

Мухоморов. Ее Превосходительство не от мира сего: чего мы, однако...

Голова. Ну да, а мы от мира сего... Потуши-ка вон ту свечечку, Гаврилыч, — чего ей коптеть. Да поближе садитесь, кружком. Ну — кажись, все ладно, можно приступить. Ну — Господи благослови... чур меня, чур, перечур, тьфу!

Мухоморов (*тихо и выразительно*). Политика?

Голова (*одним вздохом*). Она самая. Господи, всю жизнь я этого опасался, а вот привелось на старости лет. Мука мученьская, этот ваш Пушкин.

Гавриил Гаврилович. Да, фигура.

Некто. Сказано: от тюрьмы да от сумы не отказывайся. Что есть мы? Человеки, а над нами перст. Куда направит, туда и придем, независимо от рассуждений.

Голова. Пожили, значит, побаловались, и буде. Детей мне, главное, жалко: останутся они без отца, без матери... Ну, да что уж, снявши голову, по волосам не плачут. Одним словом, наостри уши, Мухоморов, и слушай, — дело это негромкое. Навострил?

Барон. Да. Здесь мы очень нуждаемся в ваших компетентных советах, дорогой Анатолий Наполеонович. Ваш всему городу известный ум...

Мухоморов. Готов к услугам. Способности мои преувеличены голосом народа, но насколько могу — я весь внимание. Анна, сядь ближе. Извините, но это моя муза. Анна, садись. Мы слушаем. По какой статье?

Голова. Статья-то еще неизвестная, а плохая. Тяжелая статья. Надо его ставить, а как поставить, чтобы без нарушения... понимаешь? — политика, брат! Вот, рассуди сам, голубчик. Нашу Ильинскую площадь знаешь? Гляди, я тебе пальцем покажу для вразумления: тут острог, а супротив его, на другой стороне, — богоугодное заведение, ну, для сумасшедших, желтый дом, понимаешь? А тут, с правой руки, сиротский суд, а тут слева, супротив его, — свечной завод Галкина, знаешь небось. Вот она какая география-то, — сам тут черт ногу ломает.

Мухоморов (*качая головой*). Да, расположение затруднительное, требующее крайней осторожности. Анна, ты чувствуешь?

Голова. Ну, конечно, осторожности, а то чего же? Не маленький, чать, понимаю. Ну — и куда его задом приткнуть, спиной, понимаешь? Думали мы, думали, гадали, гадали и решили, после долгой канители, поставить его задом — к острогу: так оно никому не обидно... Ну... чего же ты молчишь?

Мухоморов. Молчу, Анна, ты также?

Анна. Я также.

Голова. О Господи!..

Барон. Говорите, многоуважаемый, мы ждем. По-видимому, что-то не так?

Голова. Да говори, не мучь. По ехидству твоему вижу, что мысль имеешь: рази уж. Ну?

Мухоморов. Я только одно позволю себе спросить: что такое острог? Анна, ты меня понимаешь?

Голова. Который для арестантов, что ж тут понимать. Ну?

Мухоморов. Так-с. Для арестантов. Так-с. А что такое арестант?

Испуганное молчание.

Не знаете, так я вам скажу: арестанты — это жертвы правосудия. А раз тут правосудие, то (*вставая и угрожающе вытягивая руку*)позвольте вас спросить, к кому задом вы изволите ставить господина Пушкина? Анна, слыхала?

Голова. Батюшки!

Мухоморов. Вот именно-с. К правосудию! К самим законам! А их четырнадцать томов, не считая кассационных решений! К самому,

наконец (*свистящим шепотом*), министерству юстиции! (*Садится.*)

Все взволнованы.

Гавриил Гаврилович. Вот это голова! Это ум!

Голова. Ну и политика! Воистину только как Бог спас. Ну их, арестантов, — боюсь я их теперь, прокаженных! Вот история... Слушай, Мухоморов, наклонись-ка: а что, если мы его к сиротскому суду задом поставим?

Мухоморов. К сиротам-то? Анна, ты слышишь? Но, конечно, если невзирать ни на сиротский суд, ни на воспитательный дом, состоящий...

Ее Превосходительство (*решительно*). К сиротам нельзя спиной. Какая ужасная идея! Я не позволю вам обижать моих сирот, Павел Карпыч.

Голова. Нет, нет, я уж сам вижу... И опять Бог спас!

Гавриил Гаврилович. Раз спасет, а другой и не станет.

Некто. Истинно удивляюсь вам, Павел Карпович! Человек вы семейный, с достатком, а такие мысли!.. Нехорошо.

Голова. Язык мой — враг мой, сам вижу. Слова больше не скажу, клещами не выгацишь, оглоблей из меня не выбьешь! нет! А коли вы, батенька, так все понимаете, так вы и говорите; я ничего не знаю, я председатель. Кому желательно?

Еремкин. Позвольте мне!

Голова. Тебе? да ты спятил? Думаешь, двери затворены, так все тебе и можно? Помолчишь, и так хорош. Лишаю голоса, нельзя!

Некто. Ни в каком разе! Но по случаю того, что ко мне сделано обращение, и как человек многоопытный, весьма и весьма искушенный, предложу сие. Не поставить ли нам господина Пушкина задней их половиной к дому умалишенных? Поясню. Что есть умалишенный?..

Голова. Погоди, батя, он что-то улыбается. Ты что улыбаешься, Мухоморов? Ну и язва же ты, и кто тебя сотворил такого?

Мухоморов. Так-с. Спиной к желтому дому, — а лицом куда?

Голова. Погоди, дай сообразить. Ну, лицом к острогу, стало быть.

Мухоморов. К острогу? Так-с, хорошо. А не скажут ли свыше (*вставая и угрожающе вытягиваясь*) — это почему в городе

Коклюшине господин Пушкин заглядывает в острог? Не есть ли сие (*свистящим шепотом*) самый предезостный намек на неподлежащее нашим суждениям существо властей предержавших? Анна, понимаешь!

Гавриил Гаврилович. Ого! это уж в самые отдаленные, не ближе.

Голова. Да и то ежели с снисхождением.

Некто (*взволнованно*). Ну, конечно, так оно и есть. Воистину соблазн, и как это я? Тьфу, тьфу, отыди, сатана. Намек! форменный намек, не то что прокурор, а и ребенок всякий поймет! Отрекаюсь, поспешно отрекаюсь.

Голова. Вот сам видишь, батя, каково это, а других осуждаешь! С виду-то оно легко, а как вдумаешься, так со всех сторон каторгой пахнет. Хорошо, что умный человек с нами, а без него давно бы уж поминай как звали! Тю-тю! Двери-то закрыты?

Гавриил Гаврилович. Закрыты. А по-моему, уж не так это и трудно, — только бы ум был. Позвольте мне? Свечной завод, говорите? — ну и поставьте его спиной к свечному заводу, Галкин не обидится.

Молчание. Размышляют.

Барон. Это хорошая мысль. А вы как полагаете?

Некто. Не знаю. Может, хорошая, а может, и нехорошая. Ничего не понимаю. Один соблазн и больше ничего! Не знаю-с.

Барон. Но вы изволите молчать, Анатолий Наполеонович?

Мухоморов. Молчу-с. Анна, ты понимаешь?

Голова. Ну, держись, сейчас распишет... о Господи!

Мухоморов (*небрежно*). Да и расписывать нечего, все и так ясно... Конечно, здесь есть маленькая аллегория или символ, как говорится, но для тонкого ума это не представляет затруднений. Господа, — а что такое свеча?

Подавленное молчание.

Голова. Свеча, ну, и свеча, — да не пугай ты, Христа ради!

Мухоморов. Так-с. Свеча — это свет, не правда ли? Следовательно, к кому станет задом ваш господин Пушкин? *(Поднимаясь.)* К свету-с! К просвещению! *(Свистящим шепотом.)* К самому министерству народного просвещения!

Молчание.

Голова. Ну и дела! Одно слово: капут. Как ни упирайся, а капут. Плакал мой лабаз! Ваше Превосходительство, помилосердуйте, освободите — прикажите сами его поставить, как вашей душеньке угодно.

Ее Превосходительство. Но я не понимаю или я должна? Но что? Если бы дело касалось идэи, я могла бы, но здесь... Но помогите же нам, гениальный ум! Мы умоляем!

Мухоморов. Нет уж, какое я имею право. Извольте сами.

Голова. На колени перед тобой, что ли, становиться? Помогите!

Мухоморов. Извольте сами.

Голова. Да не упирайся ты, как козел. Скажи! Тебе при твоём уме это все равно что плюнуть, а мы мучаемся!

Барон. Мы просим вас.

Все просят.

Мухоморов. Хорошо-с. Но тогда уж позвольте не мне, а моей музе. Анна! скажи.

Ожидание, полное надежды. Маслобойников даже разинул рот.

Анна. Надо у Пушкина весь зад обсадить деревьями.

Мухоморов *(торжествующе).* Что-с? каково-с? Так по слову самого поэта и выйдет: широколиственные дубравы и прочее. Анна, я тебя благодарю.

Всеобщее ликование.

Голова. Спасибо! Выручил Мухоморов! Свечи зажигайте! занавески отдергивайте! Эх, музыку хорошо бы! Урра!..

Занавес

1916

И. Г. ЭРЕНБУРГ

Из сборника «Тринадцать трубок»

ОДИННАДЦАТАЯ

Во всякой вещи должно быть нечто определенное; а вот эта пенковая трубка какой-то сплошной вопросительный знак. Не мудрено, что, вместо того чтобы улаживать досуги отставного прусского фельдфебеля, она перекочевала в страну неопределенностей, именованную «Российской империей», и пошла мутить без того замутненные души. Судите сами: яйцо, неизвестно даже какое — пасхальное или в другом роде. Яйцо вообще располагает к туманностям: из него может вылупиться петух, может вылупиться курица, а может и ничего не вылупиться. Яйцо пребывает в ручке, как будто дамской, но украшенной манжетой. Спрашивается — почему дама пользуется манжетами? Почему она носит с яйцом? Почему курильщик должен фаршировать яйцо не рубленным луком, а табаком, и прикладываться к сомнительной ручке? И вообще, кому все это понадобилось?

Ясно, что только Жоржик Кевале мог откопать подобную пакость. Станный был человек, — о нем говорили, что он певец, тенор, но никто никогда не то что пеня, даже обыкновенного слова от Жоржика не слышал. Только изредка подымался из его живота мышинный писк, которому сам Жоржик дивился, чувствуя, что это не он пищит, а кто-то посторонний. Приходя в гости, Жоржик терял самые неожиданные предметы: дамский чулок, сырую котлетку, губную гармонику и прочее, за что был нежно любим детьми. Каждое лето Жоржик ездил в Германию на воды. Свойство этих целебных вод он не различал, но любил, чтоб они были потухлее на вкус. Иногда, после леченья, он невероятно толстел, так что лопался его вязанный жилет, обнажая девичью рубашку с розовым бантиком, иногда терял пуд, и тогда у него под мышками явно обозначались какие-то углы и прыжины.

В 1901 году Жоржик случайно попал в специальный дамский курорт, соблазнившийся особой тухлостью его источников. Не желая лодырничать, Жоржик стал лечиться от женских болезней. Его глаза

быстро приобрели таинственный отсвет вечной женственности. Закончив лечение, Жоржик приступил к закупке различных подарков для своих друзей. Каждую осень он привозил друзьям чихательный порошок, бронзовых собачек, проделывающих все, что полагается, резиновые конфеты и тому подобные сувениры. Увидав в окне аптекарского магазина пенковую трубку неопределенной формы, Жоржик сразу понял, что она предназначена именно для его друга Валентина Аполлоновича Кискина, мужа храброго, воли непреклонной, как бы взятого из античной мифологии.

Вскоре после своего возвращения в Россию Жоржик явился в имение Валентина Аполлоновича Лирова, преподнес трубку в футляре, обронил живую черепаху, разок пикнул и скрылся.

Валентина Аполлоновича равно смутили и яйцо и рука. Вероятно, он не закурил бы трубку и человечество было бы избавлено от многих бед, если бы не коварное вмешательство его мечтательной супруги Асенки:

— Какая изящная! Это не то что твой корявый чубук! Ты только посмотри на ручку — прямо скульптура!..

Валентин Аполлонович хотел было возразить, — «А чья она, собственно говоря, рука эта, то есть какого пола?» — но промолчал и, соблазненный речами супруги, трубку закурил.

Через месяц яйцо посмуглело, а характер Валентина Аполлоновича резко изменился. Он совершенно изменился. Он совершенно забросил карты, верховую езду и агрономические трактаты. Приказав достать с чердака старые пяльцы, он целыми днями вышивал анютины глазки по палевому полю, а вечерами читал «Бедную Лизу» и так выразительно вздыхал при этом, что прислуга, проходившая мимо дверей, суеверно крестилась. Напрасно Асенка не гасила за полночь свечи, поджидая своего мужа. Валентин Аполлонович, при всем обширном телосложении, спал теперь в тесном мезонине, на узенькой девичьей кровати.

Как-то, сидя в сумерки у окошка и с томной негой взирая на перистые облака, Валентин Аполлонович признался горничной Луше, накрывавшей стол к ужину:

— Хорошо бы теперь о женишке погадать.

Отчего Луша немедленно выронила на пол все тарелки.

Перемену, происходившую в Валентине Аполлоновиче, замечали все. Приехавшая из города тетка Асеньки, госпожа Упрова, спиритка и возвышенная натура, сказала племяннице:

— Мне кажется, что в твоего мужа вселилась новая душа. Он стал похожим на тургеневскую девушку.

А ключница Настя, глядя, как барин кушает монпасье и вздыхает, говорила Луше:

— Добрый какой стал, все жует и стонет, будто мерин...

Через год монпасье окончательно заменило Валентину Аполлоновичу куренье, и трубка, успешно поработавши, на пятнадцать лет уснула в зеленом бархате футляра. Зато комнаты лировского дома оживились пискom нового существа, как будто в них поселился Жоржик Кевале, — у Асеньки родилась дочь. Узнав о радостном событии, Валентин Аполлонович несколько удивился, но вскоре сообразил, что иные плоды созревают в диком лесу безо всяких человеческих усилий. Он только попросил супругу:

— Назовем ее Евгенией. Евгения — это Виргиния. Я верю, что когда-нибудь приедет Поль... приедет и к ней, и ко мне...

После этого, как я уже сказал, трубка пятнадцать лет находилась без работы, и люди как в Лирове, так и в других местах, ничего неопределенного не испытывали, за исключением, пожалуй, купчих, посещавших спектакли Метерлинка, и молодых снобов, выпивавших чересчур много дамского ликера крем-де-какао.

К началу следующего действия, разыгравшегося летом 1917 года, положение в Лирове было таково: Валентин Аполлонович вышивал бисером туфли, Асенька смотрела за именем, днем принимая управляющего с докладом и отдавая ему ночью, а пятнадцатилетняя Женя покорно трудилась над родами во французской грамматике, путая неизменно «а» и «е». Внешние события потревожили этот трогательный семейный уют. Люди низшего сословия потеряли всякое уважение к людям сословия высшего, и Настя, слушая, как трогательно вздыхает Валентин Аполлонович над «Бедной Лизой», теперь выражался более определенно:

— И когда этот мерин сдохнет!..

В сентябрьский ясный день какие-то бандиты прискакали в Лирово. Валентину Аполлоновичу, жившему в романтической атмосфере начала прошлого столетия, пришла гениальная мысль. Он

обратился к Жене, тщетно бившейся над выяснением рода слова «отец», ибо «ле пэр» и «ла пэр» для нее звучали одинаково веско, со следующим предложением:

— Женя, оденься мальчишкой, скажи им, что ты тоже бандит и что ты здесь взял все дочиста.

Девушке очень понравился неожиданный маскарад. Через пять минут она любовалась собой в штанах и гимнастерке внука Насти. Для вящей убедительности она взяла со стола трубку, закурила и бойко выскочила на крыльцо.

— Вы откуда, товариш, будете? — спросил ее рябой солдатик, державший закусочный сервиз, реквизированный в соседнем имении, и теперь резонно искавший закуску.

— Мы-то? Мы с севера, тульские, — ответила Женя.

Опасность была предотвращена, и девушка могла бы спокойно вернуться к своим грамматическим упражнениям, но, очевидно, ей это мало улыбалось, она предпочла, дымя трубкой, отправиться вместе с рябым «товарышем», верхом на беговых рысаках, в гости к сенатору Тишемышеву добывать закуску. Пригрозив Тишемышеву пулеметом, Женя приказала подать соответствующее, выпила рюмку тминной, крякнула и понюхала корку хлеба. Сын Тишемышева, правовед, все время, пока длился ужин, стоял у стены в позе летучей мыши, заслоняя рукавами портреты своего деда и бабки в кружевах, которые могли ввести гостей в излишний соблазн. Кроме того, спасая честь рода и желая смягчить сердца пришельцев, он исполнял на расческе различные революционные арии.

Основательно закусив, Женя икнула, щелкнула сенатора по носу, обругала его всякими мной из стыдливости не повторяемыми словами и грозно закончила:

— Ты у меня раком засигаешь, грыжа полосатая!

У правоведа же она потребовала наусники, как вещь ей совершенно необходимую, и выдала расписку:

«Одну пару наусников получил сполна Женя Кискина».

После чего, братски поцеловавшись с «товарышем» и дымя трубкой, она возвратилась в отчий дом.

Результаты визита Жени в имение Тишемышева были самые неожиданные. Если сенатор слег от гастрического заболевания, — это, конечно, в порядке вещей. Гораздо труднее понять поведение его сына.

Правовед, прочитав несколько раз оставленную Жней расписку и выпив бутылку валерьяновых капель, сообразил наконец, что солдат, грозивший пулеметом, был не кто иной, как дочь соседа Кискина. А сообразив это, он почувствовал прилив незнакомых ему доселе чувств, надел парадный мундир и отправился в Лирово. Поцеловав по рассеянности пухлые пальчики Валентина Аполлоновича, он сразу приступил к делу и попросил у Асеньки руку ее дочери Евгении Валентиновны. Асенька, сложив в уме нули различных капиталов и приняв во внимание общий упадок народного хозяйства, быстро дала свое родительское согласие. Растроганный Валентин Аполлонович всплакнул и заявил, что немедленно займется шитьем пеленок для своего будущего внука. Но когда родители хотели поделиться с Женей приятной новостью, они нашли ее сидящей на заборе и горланящей изо всех сил:

Девочки-бутончики
Пьют одеколончики,
А я, малец, сдуру
Крою политуру.

— Сын сенатора Тишемышева просит у нас твою руку, — пренебрегая местом и обстоятельствами, торжественно объявил Валентин Аполлонович.

— Когда я куплю себе в Харькове перчатки для бокса, сын сенатора сможет вполне оценить мою руку, — ответила Женя и выразительно сплюнула.

Валентин Аполлонович, вспомнив трубку с ее двусмысленной ручкой, свою неудавшуюся жизнь, трагедию «Бедной Лизы», а также неприбытие желанного Поля, тихо расплакался. Но нежная Асенька поступила разумно, а именно: голосом, не терпящим возражения, она приказала дочери Евгении слезть с забора и вспомнить, что она девица благородного происхождения (последнее в устах Асеньки звучало особенно убедительно). Женя, скромно сделав книксен, отправилась в свою комнату и над французской грамматикой начала гадать, какого рода слово «мать», «ла мэр» или «ле мэр», но, не разрешив этой проблемы, уснула.

Видя странные наклонности дочери и воспользовавшись общим затишьем, вызванным оккупацией германскими войсками губернии, где находились оба имения, Асенька решила свадьбы не откладывать. Валентин Аполлонович участвовал в шитье подвенечного платья и не раз кокетливо примерял его, украшая свою алую лысину снежным флердоранжем. Скромный по природе правовец усиленно штудировал сочинение доктора Штрауса «Советы молодому мужу». Совсем иначе готовилась к торжественному дню Женя. Последнее время она вела себя отменно и никогда не забывала покраснеть при встрече с женихом. Время от времени, куря тихонько на скотном дворе пенковую трубку, к которой Женя, увы, пристрастилась, она перед свиданием с правоведем съедала не менее полуфунта мятных конфет. За два дня до свадьбы под видом меланхоличной прогулки она отправилась в деревню Ломач, расположенную в трех верстах от Лирова, и легко разыскала там рябого «товарыша». Беседа носила задушевный характер, но содержание ее осталось никому не известным.

Наступил прекрасный час венчания. На традиционные вопросы о согласии правовец, вспомнив сочинение доктора Штрауса, восторженно ответил:

— О, еще бы!..

Женя ничего не ответила, только вытащила из кисейного корсажа огромный фуляровый платок табачного цвета и громко высморкалась. Все были растроганы, а с Валентином Аполлоновичем приключилась даже легкая истерика.

По настоянию родителей Жени молодые остались в Лирове. Вечером Валентин Аполлонович исполнил для них романс на слова Дельвига, дал Жене несколько материнских наставлений и с большой свечой отправился лично проводить молодых в спальню. После этого старики, вместо того чтобы спать, занялись в столовой — Валентин Аполлонович гаданьем: кого ему пошлет господь — внука или внучку, а Асенька подсчетом расходов по ремонту закуток для трех боровов.

Комната молодых выходила прямо на балкон. Подумав о докторе Штраусе, правовец погасил большую свечу и прошептал:

Кошечка!

Женя ласково отозвалась:

— Котик!

После чего кошечка сказала мужу, чтобы он ложился, она же придет к нему через несколько минут. Правовед послушно разделся и закрыл глаза. Впрочем, глаз он мог и не закрывать, так как в комнате было совершенно темно. Четверть часа спустя он вздрогнул от нежного прикосновения, вскочил, страстно прижался и дико, нечеловечески закричал. В одной рубашке выскочил он на балкон и продолжал испускать отчаянные вопли. Вслед за ним проскользнул осторожно рябой «товарыш» и быстро скрылся среди деревьев парка. На крики прибежали перепуганные родители, не закончившие ни гаданья, ни подсчетов. Правовед, забыв о своей природной скромности, кинулся на Асеньку и даже лягнул ее своей тощей ножкой.

— Вы меня обманули! Вы меня женили на мужчине! Я этого не допущу! Теперь вам не большевики! Я подам заявление в Центральную раду!

Валентин Аполлонович упал без слов на пол, а когда ему дали понюхать соли, пропищал:

— Проклятый Кевале! Где его трубка?..

Но трубки уже не было в Лирове. Она дымилась в зубах молодого человека, пробиравшегося лесом к советской границе.

Через неделю в Курске появился молодой комиссар наружности весьма боевой, Евгений Валентинович Кискин. На местных жителей он произвел сильное впечатление как двумя дюжинами пулеметных лент, которыми был обмотан с головы до ног, так и мандатом, напоминавшим простыню. Среди многих других пунктов в мандате значилось, что товарищ Кискин имеет право реквизировать свободные танки, брать на учет туалетные принадлежности, привлекать епархиалок к отбыванию воинской повинности по производственной программе и арестовывать японских шпионов, находящихся как в городе Курске, так и в Курском уезде.

Товарища Кискина неизменно сопровождала делопроизводительница музыкальной секции Наробраза Эмма Кацельпуп. Присутствие ее явно угнетало комиссара, но страсть оказалась сильнее страха перед двумя дюжинами пулеметных лент, которые товарищ Кискин грозил пустить в ход, и Эмма с каждым днем делалась все настойчивей. Обыватели серьезно спорили меж собой, кем она является — танком, епархиалкой, японским шпионом или

туалетной принадлежностью, но Эмму Кацельпуп подобная классификация мало интересовала. Решившись, храбрая делопроизводительница проникла в седьмое советское общежитие, где товарищу Кискину была предоставлена комната, примерно около трех часов ночи, показав часовому вместо предписания об обыске тетрадку нот, скрепленную если не казенной печатью, то сотней рассыпных папирос. Товарищ Евгений мирно лежал на кровати, куря свою трубку. Эмма Кацельпуп вбежала в комнату, замкнула крючком дверь и упала на грудь комиссара, томно подвывая:

— Не гони меня, о мой красный Нарцисс!

Через минуту все седьмое общежитие проснулось от звериного вопля. На лестнице Эмма Кацельпуп, вцепившись в коменданта, кричала:

— Вы понимаете, товарищ, что разбиты все мои идеалы! Как я могла предположить, — он же курил трубку! Я оскорблена! Трижды оскорблена: как сознательный работник, как женщина, как грядущая мать!..

Когда первая суматоха улеглась и рыдающую Эмму Кацельпуп отвезли, не понимая темного значения ее слов, в родильный приют, товарищ Кискин счел благоразумным покинуть седьмое общежитие. Крайне взволнованный происшедшим и даже уязвленный в своих целомудренных чувствах шестнадцатилетней девицы, товарищ Кискин забыл на кровати трубку.

Утром произошел ряд непредвиденных событий. Освободившуюся комнату Кискина предоставили только что приехавшему в Курск скромному делегату народных учителей Попко. Надо отметить, что Попко был человеком чрезвычайно деликатным, сомневающимся абсолютно во всем: в погоде, в существующем режиме, в господе боге, а пуще всего в самом себе. Попко вечерами донимал свою супругу совершенно исключительными вопросами. Начиная по-человечески: «Который час?» или «Какое сегодня число?» — он быстро доходил до мистики: «Скажи, Манечка, я твой муж или нет?», «Скажи, деточка, как по-твоему, я факт или только твой сладкий сон?», и так далее, пока утомленная Манечка не принималась хлестать его вялые бабы щеки сухой таранью, вызывая на них румянец младенца.

Вот этот Попко, приехав в Курск и растерявшись на вокзале до того, что отправился к коменданту станции проверить, действительно ли он — Попко, а этот город — Курск, по милости судьбы получил ордер на половину комнату Кискина в седьмом общежитии. Усталый Попко тотчас вытащил инструкцию, гласившую о том, что он должен делать и чего делать не должен, прочел ее дважды, а прочитав, заметил на второй пустовавшей кровати пенковую трубку. Так как в инструкции трубку курить не запрещалось, Попко робко набил ее своей махорочкой и затянулся. Тогда Курск, комната, его собственные ноги потеряли всякие следы очевидности, и Попко, одурев, задремал, не выпуская из зубов трубки.

В это время Эмма Кацельпуп, освобожденная из родильного приюта, носилась по городу с дикой жаждой мести. Воистину это была роковая женщина. В различных учреждениях она требовала, чтобы товарища Кискина арестовали как самозванца и субъекта, явно примазавшегося к революции. После долгих увещеваний младший комиссар уголовной милиции Гогоченко, подумав, что человек, скрывающий свой пол, по теории вероятности скрывает и нечто иное, как-то: бриллианты или, на плохой конец, серебряный портсигар, отправился в седьмое общежитие, сопровождаемый двумя милиционерами. Увидев бабьи вялые щеки Попко, не освеженные прикосновением сухой тарани, Гогоченко в упор спросил:

— А вы кто такой, товарищ, будете?

Попко, сомневающийся вообще, а после трубки, одурманившей его, тем паче, робко ответил:

— Кажется, командировочный Попко.

Гогоченко, почуяв правильность показаний Эммы Кацельпуп, грозно рявкнул:

— А ты собственно говоря, товарищ или баба?

— Может, и баба, — вздохнул печально Попко. — Манечка меня часто зовет «бабой».

Гогоченко приказал немедленно двум милиционерам отвести Попко в губернскую тюрьму.

— Товарищ комиссар, а в какую, в женскую, что ли? — спросил особенно исполнительный милиционер.

Но Гогоченко, занятый приятной находкой — пенковой трубкой, не удостоил его ответом.

Комиссар решил закурить трубочку, но так как вместо спичек у него было зажигательное стекло, он прежде всего начал ловить солнце. День был пасмурный, и словить солнце оказалось гораздо труднее, чем арестовать самозванца— бабу. Гогоченко отправился за город, решив, что там он обязательно найдет солнце, так как каждый раз, когда он бывал за городом, солнце неизменно сияло. Пройдя заставу, комиссар вынул зажигательное стекло и, как опытный птицелов, затаив дыхание, начал ждать. Пять минут спустя, сбитый кем-то с ног, он лежал на земле, а по нему носились взад и вперед два странных существа. Гогоченко было очень больно, но, не теряя мужества, он узнал в одном из существ Эмму Кацельпуп. Она была в мужском костюме и вес ее сапог комиссар ощущал на своем животе. От нее убежала какая-то перепуганная девочка.

Оказывается, Эмма Кацельпуп, не доверяя способностям Гогоченко, решила сама словить коварного обманщика и для удобства нарядилась в костюм сторожа Наробраза, Михалыча. Ее рьяность не осталась тщетной, и к полудню она отыскала товарища Кискина. Одетый в юбку, он скромно сидел на скамеечке городского сквера и изучал французскую грамматику. Эмма Кацельпуп кинулась к нему с возгласом:

— Держите мазурика!..

Женя, спасаясь, перепрыгнула через решетку, и началась неистовая погоня. По дороге они сшибли автомобиль губисполкома, три агитационных киоска, крестный ход и даже стадо волов, шедших мирно на бойню. Весь город был охвачен паникой. Вскоре на помощь контуженному Гогоченко, по которому продолжали бегать две женщины, прибыли отряд милиции, пожарная команда, артиллерийские курсы в полном составе и поезд для пропаганды. Общими усилиями были пойманы сначала Женя, которая вопила:

— Он меня хочет погубить, как правовед!

А вслед за ней и Эмма Кацельпуп, рычавшая:

— Она меня навеки обесчестила!

Для расследования обе были Гогоченко отвезены в тюрьму. Отдышавшись, комиссар, который за весь день ничего не ел, закурил наконец найденную трубку. Сразу у него закружилась голова, и им овладел сон. Он, шатаясь, поплелся домой, то есть в бывшие номера «Барселона». Было уже двенадцать часов ночи.

Возвращения Гогоченко с нетерпением ждала жена Ксюша. Не то чтобы она очень скучала по супругу, но комиссар возвращался обыкновенно в десять, а в четверть одиннадцатого уже храпел, и сегодняшнее опоздание путало все планы Ксюши. В соседнем номере ждал ее артист передвижной труппы Щупляков. Наконец раздались шаги, дверь скрипнула. Но никто не вошел, и, сообразив, откуда доходили шумы, Ксюша горько заплакала, — на свете не было верности, и Щупляков ее обманывал, как она обманывала мужа.

Войдя в комнату, Гогоченко положил трубку на стол и, не раздеваясь, сильно утомленный всеми событиями дня, лег на кровать. Он успел уже задремать, когда раздался шепот:

— Ксюша!

Гогоченко удивился, почему жена окликает сама себя, но нежно ответил:

— Ксюша!

Тотчас же к нему прижались теплые мягкие щеки. Умиленный Гогоченко ощутил сильный прилив супружеских чувств. Но не прошло и минуты, как он сидя на толстом животе актера передвижной труппы Щуплякова, бил его шашкой, милицейской бляхой, даже лавровым венком, висевшим над кроватью. Бил до тех пор, пока на крики актера не прибежали подчиненные Гогоченко. О событии дали знать высшему начальству, и высшее начальство, заботясь о поднятии нравственности среди начальства низшего, приказало Гогоченко арестовать.

Весь следующий день Щупляков, лежа с обвязанной мокрыми полотенцами распухшей физиономией, пил спирт и курил забытую комиссаром трубку.

К вечеру чувство профессионального долга все же победило, и Щупляков побрел в городской театр.

— Что сегодня?

— «Саломея».

Щупляков удивился и хотел вспомнить, какая у него роль, но не смог. Забравшись в уборную, он начал поспешно одеваться. Трубка придавала ему силу и бодрость.

Подняли занавес. Театр был полон. Престарелая женщина в виде пажа провыла что-то о красоте Саломеи. Наступила длительная пауза. Наконец на сцену вылетел кубарем, как во вступительном номере,

режиссер передвижной труппы, закудахтал и почесал затылок. За ним грузно вошла Саломея с невероятным брюхом, в рыжих мужских штиблетах; в зубах ее была пенковая трубка сомнительной формы. Саломея, сделав церемонный реверанс, начала исполнять традиционный танец, оказавшийся на этот раз казачком. Плясала она вприсядку, топотом оглушая зрительный зал, а кончив плясать, глухо пробасила:

— Дайте мне, что ли, его головку!..

Публика замерла. Но, расталкивая всех, прямо по креслам, на сцену пронесся благообразный лысый старичок и, томно упав перед Саломеей, завизжал:

— Бери ее! Она твоя! О Поль, наконец-то ты пришел!

Занавес хотели опустить, но не смогли, ввиду общего экстаза. Начался скандал. Вмешалась милиция и, арестовав старичка, нашла при нем паспорт на имя Валентина Аполлоновича Кискина. Кискин вместе с артистом Щупляковым препроводили в тюрьму.

Весь город был возмущен. События следовали одно за другим с кинематографической быстротой: нападение служащей Наробраза на седьмое общежитие, арест таинственного делегата, бегство и буйство двух особ, неподобающее поведение младшего комиссара, наконец, скандал в городском театре. Даже в глазах тупого обывателя эти факты являлись между собою связанными и явно напоминали заговор. Председатель губисполкома вызвал следователя по особо важным делам товарища Каплунчика и предложил ему выяснить обстоятельства, при которых ряд лиц, сомневаясь в самих себе и других, стали совершать поступки, опасные для государства.

Товарищ Каплунчик прочел предварительно несколько томов «Истории революции и контрреволюции во Франции», а затем стал часами разглядывать в лупу оттиски пальцев арестованных. Несмотря на такое трудолюбие, ему не удалось обнаружить никаких нитей заговора. Следователь готов был отчаяться, но на помощь ему пришла жизнь в лице молодого скульптора Дермозола и древнего римлянина Спартака.

Когда пьяного Щуплякова вели из театра в тюрьму, он запутался в длинном костюме Саломеи, упал, разбил, впрочем уже разбитый Гогоченко, нос и потерял трубку. Взволнованный успехом, самолюбивый актер пропажи не заметил. Трубку подобрал скульптор

Дермозол, но, будучи некурящим, отложил ее на черный день. День этот, то есть черный, настал быстро: Дермозол получил от Наробраза срочное предписание изготовить бюст Спартака для установки его во время праздника в городском сквере. Казалось бы, что в этом не было еще ничего черного, но следует помнить, что Дермозол стал скульптором исключительно по мобилизации на трудовые работы и не умел даже свалить шарика из хлебного мякиша. Прочитав бумагу, Дермозол поплакал, а затем отправился в училище рисования посоветоваться по душам со сторожем. В училище он узрел два гипсовых бюста: Зевса и Палладу. Зевс не подходил, ибо был стар и потому контрреволюционен, а Паллада, несмотря на мужественный профиль и шлем, являлась все же женщиной. Но Дермозол, занимаясь мелкой спекуляцией, в душе был художником и поэтому недолго думая побежал разыскивать синдетикон.

Когда на следующий день под звуки военного оркестра, а также под раскаты надвигающейся грозы, с памятника сдернули покрывало, — перед всеми предстал юный герой, окаймленный патриархальной бородкой, в шлеме, украшенном красной звездой, с пенковой трубкой в зубах. Председатель губисполкома горячо жал руку Дермозолу. Церемония закончилась под проливным дождем, а когда дождь прошел и публика вновь наполнила сквер, вместо Спартака красовался бюст молодой особы, нагло курившей трубку. Милиционеры, привыкшие за последние недели к подобным происшествиям, уже не дожидаясь приказа, потащили гипсовую женщину в губернскую тюрьму.

Товарищу Каплунчику доложили о последнем акте заговорщиков, а также доставили трубку, найденную в зубах гипсовой преступницы. Исключительно по соображениям служебным, он закурил ее, и с этой минуты усомнился абсолютно во всем.

Трубка теперь украшала рабочий стол Каплунчика, и многие храбрые товарищи, соблазняясь ее странной силой, подносили сомнительную ручку в манжете к своим честным губам. В городе Курске началось стихийное неблагополучие. Сам Каплунчик, выступив на митинге, говорил о себе в среднем роде:

— Я опытное существо, я взяло это дело, я изучило его и доведу до конца.

Заведующий выдачей трудовых книжек Обов, выкуривший как-то трубку, не менее тысячи гражданам в графе «пол» вписал нечто невразумительное, другим — «не значитя», третьим просто — «кукареку».

Заведующий губздравом доктор Фейт лег на скамью в сквере и со стоном потребовал, чтобы ему выдавали раек по категории беременных и кормящих грудью.

Жена Каплунчика записалась в Красный Флот. Даже его куры стали нести подозрительные яйца, очень большие и совершенно пустые, кроме того, не в курятнике, а в кабинете товарища Каплунчика, используя для этого его рабочий стол.

В городе начались волнения. Каждый день число заговорщиков увеличивалось. Правда, в тюрьме режим был хороший, но арестованных утомляли частыми переселениями. Начальник тюрьмы, не зная, в какое отделение их поместить — мужское или женское, каждый день, в зависимости от хода следствия, переводил всех скопом, включая и гипсовый бюст, из одной камеры в другую.

Население, подверженное этой ужасной эпидемии, роптало. Пошли слухи, что на могиле некоего артиста Георгия Кеволе, похороненного в Курске лет десять тому назад, происходят чудодейственные явления и что погребен в ней вовсе не Кеволе, а благочестивая отроковица Аграфена. Говорили, будто из могилы раздается младенческий писк, а порой на ней появляются различные предметы широкого потребления, даже съедобные. Какой-то монах клялся, что он нашел на могиле сочный, спелый фрукт, похожий на айву, и съел его. На могиле служили молебствия. Товарищ Каплунчик распорядился сделать раскопки. При большом стечении народа могилу раскрыли, но в ней оказались лишь один охотничий сапог и дамский корсет. Духовенство продолжало служить молебствия. Каплунчик, между двумя допросами написал статью «Религия — кокаин» и приобщил найденный корсет к делу.

Кто знает, что стало бы с хорошим губернским городом, если б в одно утро на товарища Каплунчика не снизошло бы божественное вдохновение. Закончив свое безрезультатное следствие, он диктовал машинистке бумагу о предании суду Революционного трибунала двухсот заговорщиков. Кончив часть вступительную, он отчеканил:

— На основании вышеизложенного подлежат суду... — И замолк. Взгляд его упал на лежавшую мирно трубку.

— Как дальше? — робко спросила машинистка.

Каплунчик хладнокровно ответил:

— Исправьте: подлежит суду пенковая трубка сомнительной формы.

Оглянувшись, он увидел, что трубки больше не было. На том месте, где только что ручка сжимала пенковое яйцо, пищал живой цыпленок так, как некогда пищал Жоржик Кевале. Все розыски были безрезультатны. Трубка исчезла и, судя по воцарившемуся в Курске спокойствию, покинула город.

Я не знаю, где она находилась в течении двух лет и чьи души погубила. Но этой весной, на второй день пасхи, в скромную комнату, занимаемую мною в одном из пансионеров Берлина, вошла незнакомая мне девушка привлекательной наружности.

— Я ваша почитательница, — сказала она, не смущаясь. — Я знаю ваши мысли о конструктивизме и вашу любовь к трубкам, поэтому, чтя, как и вы, святые обычаи старины, я принесла вам пасхальное яичко.

Она протянула мне пенковую трубку сомнительной формы, из-за которой однажды чуть не погиб хороший губернский город, и, заметив мое смущение, стала уговаривать меня сейчас же ее закурить. Она даже поднесла мне спичку.

Но я, действительно горячо преданный обычаям старины, предложил ей предварительно обменяться традиционными пасхальными лобзаниями. Это занятие сильно затянулось, и таким образом моя находчивость спасла меня от судьбы бедных курян. Когда милая почитательница ушла, я спрятал трубку в ящик стола. Думаю, незачем добавлять, что я никогда не курю ее. Но бывают в жизни различные сложные обстоятельства, и я должен признаться, что одному из приятелей, обладавшему прелестной женой с золотыми кудрями и многими иными достоинствами, я дал однажды покурить пенковую трубку сомнительной формы, смягчив мою жестокость высоким качеством английского табака.

И. Э. БАБЕЛЬ

Из «Одесских рассказов»

КОРОЛЬ

Венчание кончилось, раввин опустился в кресло, потом он вышел из комнаты и увидел столы, поставленные во всю длину двора. Их было так много, что они высывали свой хвост за ворота на Госпитальную улицу. Перекрытые бархатом столы вились по двору, как змеи, которым на брюхо наложили заплатах всех цветов, и они пели густыми голосами — заплатах из оранжевого и красного бархата.

Квартиры были превращены в кухни. Сквозь закопченные двери било тучное пламя, пьяное и пухлое пламя. В его дымных лучах пеклись старушечьи лица, бабьи тряские подбородки, замусоленные груди. Пот, розовый, как кровь, розовый, как пена бешеной собаки, обтекал эти груди разросшегося, сладко воняющего человеческого мяса. Три кухарки, не считая судомоек, готовили свадебный ужин, и над ними царил восьмидесятилетняя Рейзл, традиционная, как свиток Торы, крохотная и горбатая.

Перед ужином во двор затесался молодой человек, неизвестный гостям. Он спросил Беню Крика. Он отвел Беню Крика в сторону.

— Слушайте, Король, — сказал молодой человек, — я имею вам сказать пару слов. Меня послала тетя Хана с Костецкой...

— Ну, хорошо, — ответил Беня Крик, по прозвищу Король, — что это за пара слов?

— В участок вчера приехал новый пристав, велела вам сказать тетя Хана...

— Я знал об этом позавчера, — ответил Беня Крик. — Дальше.

— Пристав собрал участок и сказал участку речь...

— Новая метла чисто метет, — ответил Беня Крик. — Он хочет облаву. Дальше...

— А когда будет облава, вы знаете, Король?

— Она будет завтра.

— Король, она будет сегодня.

— Кто сказал тебе это, мальчик?

— Это сказала тетя Хана. Вы знаете тетю Хану?

— Я знаю тетю Хану. Дальше.

— Пристав собрал участок и сказал им речь. «Мы должны задушить Беню Крика, — сказал он, — потому что там, где есть государь император, там нет короля. Сегодня, когда Крик выдает замуж сестру и все они будут там, сегодня нужно сделать облаву...»

— Дальше.

— Тогда шпики начали бояться. Они сказали: если мы сделаем сегодня облаву, когда у него праздник, так Беня рассерчает, и уйдет много крови. Так пристав сказал: самолюбие мне дороже...

— Ну, иди, — ответил Король.

— Что сказать тете Хане за облаву?

— Скажи: Беня знает за облаву.

И он ушел, этот молодой человек. За ним последовали человека три из Бениных друзей. Они сказали, что вернутся через полчаса. И они вернулись через полчаса. Вот и все.

За стол садились не по старшинству. Глупая старость жалка не менее, чем трусливая юность. И не по богатству. Подкладка тяжелого кошелька сшита из слез.

За столом на первом месте сидели жених с невестой. Это их день. На втором месте сидел Сендер Эйхбаум, тесть Короля. Это его право. Историю Сендера Эйхбаума следует знать, потому что это не простая история.

Как сделался Беня Крик, налетчик и король налетчиков, зятем Эйхбаума? Как сделался он зятем человека, у которого было шестьдесят дойных коров без одной? Тут все дело в налете. Всего год тому назад Беня написал Эйхбауму письмо.

«Мосье Эйхбаум, — написал он, — положите, прошу вас, завтра утром под ворота на Софийевскую, 17, — двадцать тысяч рублей. Если вы этого не сделаете, так вас ждет такое, что это не слыхано, и вся Одесса будет о вас говорить. С почтением Беня Король».

Три письма, одно яснее другого, остались без ответа. Тогда Беня принял меры. Они пришли ночью — девять человек с длинными палками в руках. Палки были обмотаны просмоленной паклей. Девять пылающих звезд зажглись на скотном дворе Эйхбаума. Беня отбил замки у сарая и стал выводить коров по одной. Их ждал парень с ножом. Он опрокидывал корову с одного удара и погружал нож в коровье сердце. На земле, залитой кровью, расцвели факелы, как огненные розы, и загремели выстрелы. Выстрелами Беня отгонял

работниц, сбежавшихся к коровнику. И вслед за ним и другие налетчики стали стрелять в воздух, потому что если не стрелять в воздух, то можно убить человека. И вот, когда шестая корова с предсмертным мычанием упала к ногам Короля, — тогда во двор в одних кальсонах выбежал Эйхбаум и спросил:

— Что с этого будет, Беня?

— Если у меня не будет денег — у вас не будет коров, мосье Эйхбаум. Это дважды два.

— Зайди в помещение, Беня.

И в помещении они договорились. Зарезанные коровы были поделены ими пополам, Эйхбауму была гарантирована неприкосновенность и выдано в том удостоверение с печатью. Но чудо пришло позже.

Во время налета, в ту грозную ночь, когда мычали подкалываемые коровы и телки скользили в материнской крови, когда факелы плясали, как черные девы, и бабы-молочницы шарахались и визжали под дулами дружелюбных браунингов, — в ту грозную ночь во двор выбежала в вырезной рубашке дочь старика Эйхбаума — Циля. И победа Короля стала его поражением.

Через два дня Беня без предупреждения вернул Эйхбауму все забранные у него деньги и после этого явился вечером с визитом. Он был одет в оранжевый костюм, под его манжеткой сиял бриллиантовый браслет; он вошел в комнату, поздоровался и попросил у Эйхбаума руки его дочери Циля. Старика хватил легкий удар, но он поднялся. В старике было еще жизни лет на двадцать.

— Слушайте, Эйхбаум, — сказал ему Король, — когда вы умрете, я похороню вас на первом еврейском кладбище, у самых ворот. Я поставлю вам, Эйхбаум, памятник из розового мрамора. Я сделаю вас старостой Бродской синагоги. Я брошу специальность, Эйхбаум, и поступлю в ваше дело компаньоном. У нас будет двести коров, Эйхбаум. Я убью всех молочников, кроме вас. Вор не будет ходить по той улице, на которой вы живете. Я выстрою вам дачу на шестнадцатой станции... И вспомните, Эйхбаум, вы ведь тоже не были в молодости раввином. Кто подделал завещание, не будем об этом говорить громко?.. И зять у вас будет Король, не сопьяк, а Король, Эйхбаум...

И он добился своего, Бенья Крик, потому что он был страстен, а страсть владычествует над мирами. Новобрачные прожили три месяца в тучной Бессарабии, среди винограда, обильной пищи и любовного пота. Потом Бенья вернулся в Одессу для того, чтобы выдать замуж сорокалетнюю сестру свою Двойру, страдающую базедовой болезнью. И вот теперь, рассказав историю Сендера Эйхбаума, мы можем вернуться на свадьбу Двойры Крик, сестры Короля.

На этой свадьбе к ужину подали индюков, жареных куриц, гусей, фаршированную рыбу и уху, в которой перламутром отсвечивали лимонные озера. Над мертвыми гусиными головками покачивались цветы, как пышные плюмажи. Но разве жареных куриц выносит на берег пенистый прибой одесского моря?

Все благороднейшее из нашей контрабанды, все, чем славна земля из края в край, делало в ту звездную, в ту синюю ночь свое разрушительное, свое обольстительное дело. Нездешнее вино разогревало желудки, сладко переламывало ноги, дурманило мозги и вызывало отрывку, звучную, как призыв боевой трубы. Черный кок с «Плутарха», прибывшего третьего дня из Порт-Саида, вынес за таможенную черту пузатые бутылки ямайского рома, маслянистую мадеру, сигары с плантаций Пирпонта Моргана и апельсины из окрестностей Иерусалима. Вот что выносит на берег пенистый прибой одесского моря, вот что достается иногда одесским нищим на еврейских свадьбах. Им достался ямайский ром на свадьбе Двойры Крик, и поэтому, насосавшись, как трэфные свиньи, еврейские нищие оглушительно стали стучать костылями. Эйхбаум, распустив жилет, сощуренным глазом оглядывал бушующее собрание и любовно икал. Оркестр играл туш. Это было как дивизионный смотр. Туш — ничего кроме туша. Налетчики, сидевшие сомкнутыми рядами, вначале смущались присутствием посторонних, но потом они разошлись. Лева Кацап разбил на голове своей возлюбленной бутылку водки, Моня Артиллерист выстрелил в воздух. Но пределов своих восторг достиг тогда, когда, по обычаю старины, гости начали одарять новобрачных. Синагогальные шамесы, вскочив на столы, выпевали под звуки бурлящего туша количество подаренных рублей и серебряных ложек. И тут друзья Короля показали, чего стоит голубая кровь и неугасшее еще молдаванское рыцарство. Небрежным движением руки кидали

они на серебряные подносы золотые монеты, перстни, коралловые нити.

Аристократы Молдаванки, они были затянуты в малиновые жилеты, их плечи охватывали рыжие пиджаки, а на мясистых ногах лопалась кожа цвета небесной лазури.

Выпрямившись во весь рост и выпячивая животы, бандиты хлопали в такт музыке, кричали «горько» и бросали невесте цветы, а она, сорокалетняя Двойра, сестра Бени Крика, сестра Короля, изуродованная болезнью, с разросшимся зубом и вылезающими из орбит глазами, сидела на горе подушек рядом с щуплым мальчиком, купленным на деньги Эйхбаума и онемевшим от тоски.

Обряд дарения подходил к концу, шамесы осипли, и контрабас не ладил со скрипкой. Над двориком протянулся внезапно легкий запах гари.

— Бенья, — сказал папаша Крик, старый биндюжник, слывший между биндюжниками грубияном, — Бенья, ты знаешь, что мне сдается? Мне сдается, что у нас горит сажа...

— Папаша, — ответил Король пьяному отцу, — пожалуйста, выпивайте и закусывайте, пусть вас не волнует этих глупостей...

И папаша Крик последовал совету сына. Он закусил и выпил. Но облачко дыма становилось все ядовитее. Где-то розовели уже края неба. И уже стрельнул в вышину узкий, как шпага, язык пламени. Гости, привстав, стали обнюхивать воздух, и бабы их взвизгнули. Налетчики переглянулись тогда друг с другом. И только Бенья, ничего не замечавший, был безутешен.

— Мне нарушают праздник, — кричал он, полный отчаяния, — дорогие, прошу вас, закусывайте и выпивайте...

Но в это время во дворе появился тот самый молодой человек, который приходил в начале вечера.

— Король, — сказал он, — я имею вам сказать пару слов...

— Ну, говори, — ответил Король, — ты всегда имеешь в запасе пару слов...

— Король, — произнес неизвестный молодой человек и захихикал, — это прямо смешно, участок горит, как свечка...

Лавочники онемели. Налетчики усмехнулись. Шестидесятилетняя Манька, родоначальница слободских бандитов,

вложив два пальца в рот, свистнула так пронзительно, что ее соседи покачнулись.

— Маня, вы не на работе, — заметил ей Бенья, — холоднокровней, Маня...

Молодого человека, принесшего эту поразительную новость, все еще разбирал смех.

— Они вышли с участка человек сорок, — рассказывал он, двигая челюстями, — и пошли на облаву; так они отошли шагов пятнадцать, как уже загорелось... Побегите смотреть, если хотите...

Но Бенья запретил гостям идти смотреть на пожар. Отправился он с двумя товарищами. Участок исправно пылал с четырех сторон. Городовые, трясая задами, бегали по задымленным лестницам и выкидывали из окон сундучки. Под шумок разбежались арестованные. Пожарные были исполнены рвения, но в близлежащем кране не оказалось воды. Пристав — та самая метла, что чисто метет, — стоял на противоположном тротуаре и покусывал усы, лезшие ему в рот. Новая метла стояла без движения. Бенья, проходя мимо пристава, отдал ему честь по-военному.

— Доброго здоровьичка, ваше высокоблагородие, — сказал он сочувственно. — Что вы скажете на это несчастье? Это же кошмар...

Он уставился на горящее здание, покачал головой и почмокал губами:

— Ай-ай-ай...

.....

А когда Бенья вернулся домой — во дворе потухали уже фонарики и на небе занималась заря. Гости разошлись, и музыканты дремали, опустив головы на ручки своих контрабасов. Одна только Двойра не собиралась спать. Обеими руками она подталкивала оробевшего мужа к дверям их брачной комнаты и смотрела на него плотоядно, как кошка, которая, держа мышь во рту, легонько пробует ее зубами.

КАК ЭТО ДЕЛАЛОСЬ В ОДЕССЕ

Начал я.

— Реб Арье-Лейб, — сказал я старику, — поговорим о Бене Крике. Поговорим о молниеносном его начале и ужасном конце. Три тени загромаждают пути моего воображения. Вот Фроим Грач. Сталь его поступков — разве не выдержит она сравнения с силой Короля? Вот Колька Паковский. Бешенство этого человека содержало в себе все, что нужно для того, чтобы властвовать. И неужели Хаим Дронг не сумел различить блеск новой звезды? Но почему же один Бенья Крик взошел на вершину веревочной лестницы, а все остальные повисли внизу, на шатких ступенях?

Реб Арье-Лейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Перед нами расстиралось зеленое спокойствие могил. Человек, жаждущий ответа, должен запастись терпением. Человеку, обладающему знанием, приличествует важность. Поэтому Арье-Лейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Наконец он сказал:

— Почему он? Почему не они, хотите вы знать? Так вот — забудьте на время, что на носу у вас очки, а в душе осень. Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и заикаться на людях. Представьте себе на мгновение, что вы скандалите на площадях и заикаетесь на бумаге.

Вы тигр, вы лев, вы кошка. Вы можете переночевать с русской женщиной, и русская женщина останется вами довольна. Вам двадцать пять лет. Если бы к небу и к земле были приделаны кольца, вы схватили бы эти кольца и притянули бы небо к земле. А папаша у вас биндюжник Мендель Крик. Об чем думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, об дать кому-нибудь по морде, об своих конях — и ничего больше. Вы хотите жить, а он заставляет вас умирать двадцать раз на день. Что сделали бы вы на месте Бени Крика? Вы ничего бы не сделали. А он сделал. Поэтому он Король, а вы держите фигу в кармане.

Он — Бенчик — пошел к Фроиму Грачу, который тогда уже смотрел на мир одним только глазом и был тем, что он есть. Он сказал Фроиму:

— Возьми меня. Я хочу прибиться к твоему берегу. Тот берег, к которому я прибьюсь, будет в выигрыше.

Грач спросил его:

— Кто ты, откуда ты идешь и чем ты дышишь?

— Попробуй меня, Фроим, — ответил Беня, — и перестанем размазывать белую кашу по чистому столу.

— Перестанем размазывать кашу, — ответил Грач, — я тебя попробую.

И налетчики собрали совет, чтобы подумать о Бене Крике. Я не был на этом совете. Но говорят, что они собрали совет. Старшим был тогда покойный Левка Бык.

— Что у него делается под шапкой, у этого Бенчика? — спросил покойный Бык.

И одноглазый Грач сказал свое мнение:

— Беня говорит мало, но он говорит смачно. Он говорит мало, но хочется, чтобы он сказал еще что-нибудь.

— Если так, — воскликнул покойный Левка, — тогда попробуем его на Тартаковском.

— Попробуем его на Тартаковском, — решил совет, и все, в ком еще квартировала совесть, покраснели, услышав это решение. Почему они покраснели? Вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу.

Тартаковского называли у нас «полтора жида» или «девять налетов». «Полтора жида» называли его потому, что ни один еврей не мог вместить в себе столько дерзости и денег, сколько было у Тартаковского. Ростом он был выше самого высокого городского в Одессе, а весу имел больше, чем самая толстая еврейка. А «девятью налетами» прозвали Тартаковского потому, что фирма Левка Бык и компания произвели на его контору не восемь и не десять налетов, а именно девять. На долю Бени, который еще не был тогда Королем, выпала честь совершить на «полтора жида» десятый налет. Когда Фроим передал ему об этом, он сказал «да» и вышел, хлопнув дверью. Почему он хлопнул дверью? Вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу.

У Тартаковского душа убийцы, но он наш. Он вышел из нас. Он наша кровь. Он наша плоть, как будто одна мама нас родила. Пол-Одессы служит в его лавках. И он пострадал через своих же

молдаванских. Два раза они выкрадывали его для выкупа, и однажды во время погрома его хоронили с певчими. Слободские громилы били тогда евреев на Большой Арнаутской. Тартаковский убежал от них и встретил похоронную процессию с певчими на Софийской. Он спросил:

— Кого это хоронят с певчими?

Прохожие ответили, что это хоронят Тартаковского. Процессия дошла до Слободского кладбища. Тогда наши вынули из гроба пулемет и начали сыпать по слободским громилам. Но «полтора жида» этого не предвидел. «Полтора жида» испугался до смерти. И какой хозяин не испугался бы на его месте?

Десятый налет на человека, уже похороненного однажды, это был грубый поступок. Беня, который еще не был тогда Королем, понимал это лучше всякого другого. Но он сказал Грачу «да» и в тот же день написал Тартаковскому письмо, похожее на все письма в этом роде:

«Многоуважаемый Рувим Осипович! Будьте настолько любезны положить к субботе под бочку с дождевой водой... и так далее. В случае отказа, как вы это себе в последнее время стали позволять, вас ждет большое разочарование в вашей семейной жизни. С почтением знакомый вам Бенцион Крик».

Тартаковский не поленился и ответил без промедления.

«Беня! Если бы ты был идиот, то я бы написал тебе как идиоту. Но я тебя за такого не знаю, и упаси боже тебя за такого знать. Ты, видно, представляешься мальчиком. Неужели ты не знаешь, что в этом году в Аргентине такой урожай, что хоть завались, и мы сидим с нашей пшеницей без почина?.. И скажу тебе, положи руку на сердце, что мне надоело на старости лет кушать такой горький кусок хлеба и переживать эти неприятности, после того как я отработал всю жизнь, как последний ломовик. И что же я имею после этих бессрочных каторжных работ? Язвы, болячки, хлопоты и бессонницу. Брось этих глупостей, Беня. Твой друг, гораздо больше, чем ты это предполагаешь, — Рувим Тартаковский».

«Полтора жида» сделал свое. Он написал письмо. Но почта не доставила письмо по адресу. Не получив ответа, Беня рассерчал. На следующий день он явился с четырьмя друзьями в контору Тартаковского. Четыре юноши в масках и с револьверами ввалились в комнату.

— Руки вверх! — сказали они и стали махать пистолетами.

— Работай спокойнее, Соломон, — заметил Беня одному из тех, кто кричал громче других, — не имей эту привычку быть нервным на работе, — и, оборотившись к приказчику, белому, как смерть, и желтому, как глина, он спросил его:

— «Полтора жида» в заводе?

— Их нет в заводе, — ответил приказчик, фамилия которого была Мугинштейн, а по имени он звался Иосиф и был холостым сыном тети Песи, куриной торговки с Серединской площади.

— Кто будет здесь, наконец, за хозяина? — стали допрашивать несчастного Мугинштейна.

— Я здесь буду за хозяина, — сказал приказчик, зеленый, как зеленая трава.

— Тогда отчини нам, с божьей помощью, кассу! — приказал ему Беня, и началась опера в трех действиях.

Нервный Соломон складывал в чемодан деньги, бумаги, часы и монограммы; покойник Иосиф стоял перед ним с поднятыми руками, и в это время Беня рассказывал истории из жизни еврейского народа.

— Коль раз он разыгрывает из себя Ротшильда, — говорил Беня о Тартаковском, — так пусть он горит огнем. Объясни мне, Мугинштейн, как другу: вот получает он от меня деловое письмо; отчего бы ему не сесть за пять копеек на трамвай и не подъехать ко мне на квартиру и не выпить с моей семьей стопку водки и закусить чем бог послал? Что мешало ему выговорить передо мной душу? «Беня, — пусть бы он сказал, — так и так, вот тебе мой баланс, повremени мне пару дней, дай вздохнуть, дай мне развести руками». Что бы я ему ответил? Свинья со свиньей не встречается, а человек с человеком встречается. Мугинштейн, ты меня понял?

— Я вас понял, — сказал Мугинштейн и солгал, потому что совсем ему не было понятно, зачем «полтора жида», почтенный богач и первый человек, должен был ехать на трамвае закусывать с семьей биндюжника Менделя Крика.

А тем временем несчастье шлялось под окнами, как нищий на заре. Несчастье с шумом ворвалось в контору. И хотя на этот раз оно приняло образ еврея Савки Буциса, но оно было пьяно, как водовоз.

— Гогу-го, — закричал еврей Савка, — прости меня, Бенчик, я опоздал, — и он затопал ногами и стал махать руками. Потом он выстрелил, и пуля попала Мугинштейну в живот.

Нужны ли тут слова? Был человек и нет человека. Жил себе невинный холостяк, как птица на ветке, — и вот он погиб через глупость. Пришел еврей, похожий на матроса, и выстрелил не в какую-нибудь бутылку с сюрпризом, а в живого человека. Нужны ли тут слова?

— Тикать с конторы! — крикнул Беня и побежал последним. Но, уходя, он успел сказать Буцису:

— Клянусь гробом моей матери, Савка, ты ляжешь рядом с ним...

Теперь скажите мне вы, молодой господин, режущий купоны на чужих акциях, как поступили бы вы на месте Бени Крика? Вы не знаете, как поступить. А он знал. Поэтому он Король, а мы с вами сидим на стене второго еврейского кладбища и отгораживаемся от солнца ладонями.

Несчастный сын тети Песи умер не сразу. Через час после того, как его доставили в больницу, туда явился Беня. Он велел вызвать к себе старшего врача и сиделку и сказал им, не вынимая рук из кремовых штанов.

— Я имею интерес, — сказал он, — чтобы больной Иосиф Мугинштейн выздоровел. Представляюсь на всякий случай — Бенцион Крик. Камфору, воздушные подушки, отдельную комнату — давать с открытой душой. Если нет, то на всякого доктора, будь он даже доктором философии, приходится не более трех аршин земли.

И все же Мугинштейн умер в ту же ночь. И тогда только «полтора жида» поднял крик на всю Одессу.

— Где начинается полиция, — вопил он, — и где кончается Беня?

— Полиция кончается там, где начинается Беня, — отвечали резонные люди, но Тартаковский не успокаивался, и он дождался того, что красный автомобиль с музыкальным ящиком проиграл на Серединской площади свой первый марш из оперы «Смейся, паяц». Среди бела дня машина подлетела к домику, в котором жила тетя Песя.

Автомобиль гремел колесами, плевался дымом, сиял медью, вонял бензином и играл арии на своем сигнальном рожке. Из автомобиля выскочил некто и прошел в кухню, где на земляном полу билась маленькая тетя Песя. «Полтора жида» сидел на стуле и махал руками.

— Хулиганская морда, — прокричал он, увидя гостя, — бандит, чтобы земля тебя выбросила! Хорошую моду себе взял — убивать живых людей...

— Мосье Тартаковский, — ответил ему Беня Крик тихим голосом, — вот идут вторые сутки, как я плачу за дорогим покойником, как за родным братом. Но я знаю, что вы плевать хотели на мои молодые слезы. Стыд, мосье Тартаковский, — в какой несгораемый шкаф упрятали вы стыд? Вы имели сердце послать матери нашего покойного Иосифа сто жалких карбованцев. Мозг вместе с волосами поднялся у меня дыбом, когда я услышал эту новость.

Тут Беня сделал паузу. На нем был шоколадный пиджак, кремовые штаны и малиновые штиблеты.

— Десять тысяч единовременно, — заревел он, — десять тысяч единовременно и пенсию до ее смерти, пусть она живет сто двадцать лет. А если нет, тогда выйдем из этого помещения, мосье Тартаковский, и сядем в мой автомобиль...

Потом они бранились друг с другом. «Полтора жида» бранился с Бенею. Я не был при этой ссоре. Но те, кто были, те помнят. Они сошлись на пяти тысячах наличными и пятидесяти рублях ежемесячно.

— Тетя Песя, — сказал тогда Беня всклоченной старушке, валявшейся на полу, — если вам нужна моя жизнь, вы можете получить ее, но ошибаются все, даже бог. Вышла громадная ошибка, тетя Песя. Но разве со стороны бога не было ошибкой поселить евреев в России, чтобы они мучились, как в аду? И чем было бы плохо, если бы евреи жили в Швейцарии, где их окружали бы первоклассные озера, гористый воздух и сплошные французы? Ошибаются все, даже бог. Слушайте меня ушами, тетя Песя. Вы имеете пять тысяч на руки и пятьдесят рублей в месяц до вашей смерти, — живите сто двадцать лет. Похороны Иосифа будут по первому разряду: шесть лошадей, как

шесть львов, две колесницы с венками, хор из Бродской синагоги, сам Миньковский придет отпевать покойного вашего сына...

И похороны состоялись на следующее утро. О похоронах этих спросите у кладбищенских нищих. Спросите о них у шамесов из синагоги, торговцев кошерной птицей или у старух из второй богадельни. Таких похорон Одесса еще не видала, а мир не увидит. Городовые в этот день одели нитяные перчатки. В синагогах, увитых зеленью и открытых настежь, горело электричество. На белых лошадях, запряженных в колесницу, качались черные плюмажи. Шестьдесят певчих шли впереди процессии. Певчие были мальчиками, но они пели женскими голосами. Старосты синагоги торговцев кошерной птицей вели тетю Песю под руки. За старостами шли члены общества приказчиков-евреев, а за приказчиками-евреями — присяжные поверенные, доктора медицины и акушерки-фельдшерицы. С одного бока тети Песи находились куриные торговки со Старого базара, а с другого бока находились почетные молочницы с Бугаевки, завороченные в оранжевые шали. Они топали ногами, как жандармы на параде в табельный день. От их широких бедер шел запах моря и молока. И позади всех плелись служащие Рувима Тартаковского. Их было сто человек, или двести, или две тысячи. На них были черные сюртуки с шелковыми лацканами и новые сапоги, которые скрипели, как поросята в мешке.

И вот я буду говорить, как говорил господь на горе Синайской из горящего куста. Кладите себе в уши мои слова. Все, что я видел, я видел своими глазами, сидя здесь, на стене второго кладбища, рядом с шепелявым Мойсейкой и Шимшоном из погребальной конторы. Видел это я, Арье-Лейб, гордый еврей, живущий при покойниках.

Колесница подъехала к кладбищенской синагоге. Гроб поставили на ступени. Тетя Песя дрожала, как птичка. Кантор вылез из фаэтона и начал панихиду. Шестьдесят певчих вторили ему. И в эту минуту красный автомобиль вылетел из-за поворота. Он проиграл «Смейся, паяц» и остановился. Люди молчали как убитые. Молчали деревья, певчие, нищие. Четыре человека вылезли из-под красной крыши и тихим шагом поднесли к колеснице венок из невиданных роз. А когда панихида кончилась, четыре человека подвели под гроб свои стальные плечи, с горящими глазами и выпяченной грудью зашагали вместе с членами общества приказчиков-евреев.

Впереди шел Бенья Крик, которого тогда никто еще не называл Королем. Первым приблизился он к могиле, взошел на холмик и простер руку.

— Что хотите вы делать, молодой человек? — подбежал к нему Кофман из погребального братства.

— Я хочу сказать речь, — ответил Бенья Крик. И он сказал речь. Ее слышали все, кто хотел слушать. Ее слышал я, Арье-Лейб, и шепелявый Мойсейка, который сидел на стене со мною рядом.

— Господа и дамы, — сказал Бенья Крик, — господа и дамы, — сказал он, и солнце встало над его головой, как часовой с ружьем. — Вы пришли отдать последний долг честному труженику, который погиб за медный грош. От своего имени и от имени всех, кто здесь не присутствует, благодарю вас. Господа и дамы! Что видел наш дорогой Иосиф в своей жизни? Он видел пару пустяков. Чем занимался он? Он пересчитывал чужие деньги. За что погиб он? Он погиб за весь трудящийся класс. Есть люди, уже обреченные смерти, и есть люди, еще не начавшие жить. И вот пуля, летевшая в обреченную грудь, пробивает Иосифа, не видевшего в своей жизни ничего, кроме пары пустяков. Есть люди, умеющие пить водку, и есть люди, не умеющие пить водку, но все же пьющие ее. И вот первые получают удовольствие от горя и от радости, а вторые страдают за всех тех, кто пьет водку, не умея пить ее. Поэтому, господа и дамы, после того как мы помолимся за нашего бедного Иосифа, я прошу вас проводить к могиле неизвестного вам, но уже покойного Савелия Буциса...

И, сказав эту речь, Бенья Крик сошел с холмика. Молчали люди, деревья и кладбищенские нищие. Два могильщика пронесли некрашенный гроб к соседней могиле. Кантор, заикаясь, окончил молитву. Бенья бросил первую лопату и перешел к Савке. За ним пошли, как овцы, все присяжные поверенные и дамы с брошками. Он заставил кантора пропеть над Савкой полную панихиду, и шестьдесят певчих вторили кантору. Савке не снилась такая панихида — поверьте слову Арье-Лейба, старого старика.

Говорят, что в тот день «полтора жида» решил закрыть дело. Я при этом не был. Но то, что ни кантор, ни хор, ни погребальное братство не просили денег за похороны, — это видел я глазами Арье-Лейба. Арье-Лейб — так зовут меня. И больше я ничего не мог видеть, потому что люди, тихонько отойдя от Савкиной могилы, бросились

бежать, как с пожара. Они летели в фаэтонах, в телегах и пешком. И только те четыре, что приехали на красном автомобиле, на нем же и уехали. Музыкальный ящик проиграл свой марш, машина вздрогнула и умчалась.

— Король, — глядя ей вслед, сказал шепелявый Мойсейка, тот самый, что забирает у меня лучшие места на стенке.

Теперь вы знаете все. Вы знаете, кто первый произнес слово «король». Это был Мойсейка. Вы знаете, почему он не назвал так ни одноглазого Грача, ни бешеного Кольку. Вы знаете все. Но что пользы, если на носу у вас по-прежнему очки, а в душе осень?..

1923

ОТЕЦ

Фроим Грач был женат когда-то. Это было давно, с того времени прошло двадцать лет. Жена родила тогда Фроиму дочку и умерла от родов. Девочку назвали Басей. Ее бабушка по матери жила в Тульчине. Старуха не любила своего зятя. Она говорила о нем: Фроим по занятию ломовой извозчик, и у него есть вороные лошади, но душа Фроима чернее, чем вороная масть его лошадей...

Старуха не любила зятя и взяла новорожденную к себе. Она прожила с девочкой двадцать лет и потом умерла. Тогда Баська вернулась к своему отцу. Это все случилось так.

В среду, пятого числа, Фроим Грач возил в порт на пароход «Каледония» пшеницу из складов общества Дрейфус. К вечеру он кончил работу и поехал домой. На повороте с Прохоровской улицы ему встретился кузнец Иван Пятирубель.

— Почтение, Грач, — сказал Иван Пятирубель, — какая-то женщина колотится до твоего помещения...

Грач проехал дальше и увидел на своем дворе женщину исполинского роста. У нее были громадные бока и щеки кирпичного цвета.

— Папаша, — сказала женщина оглушительным басом, — меня уже черти хватают со скуки. Я жду вас целый день... Знайте, что бабушка умерла в Тульчине.

Грач стоял на биндюге и смотрел на дочь во все глаза.

— Не крутись перед конями, — закричал он в отчаянии, — бери уздечку у коренника, ты мне коней побить хочешь...

Грач стоял на возу и размахивал кнутом. Баська взяла коренника за уздечку и подвела лошадей к конюшне. Она распрягла их и пошла хлопотать на кухню. Девушка повесила на веревку отцовские портянки, она вытерла песком закопченный чайник и стала разогревать сразу в чугунном котелке.

— У вас невыносимый грязь, папаша, — сказала она и выбросила за окно прокисшие овчины, валявшиеся на полу, — но я выведу этот грязь! — прокричала Баська и подала отцу ужинать.

Старик выпил водки из эмалированного чайника и съел сразу, пахнущую как счастливое детство. Потом он взял кнут и вышел за ворота. Туда пришла и Баська вслед за ним. Она одела мужские штиблеты и оранжевое платье, она одела шляпу, обвешанную птицами, и уселась на лавочке. Вечер шатался мимо лавочки, сияющий глаз заката падал в море за Пересыпью, и небо было красно, как красное число в календаре. Вся торговля прикрылась уже на Дальницкой, и налетчики проехали на глухую улицу к публичному дому Иоськи Самуэльсона. Они ехали в лаковых экипажах, разодетые, как птицы колибри, в цветных пиджаках. Глаза их были выпучены, одна нога отставлена к подножке, и в стальной протянутой руке они держали букеты, завероченные в папиросную бумагу. Отлакированные их пролетки двигались шагом, в каждом экипаже сидел один человек с букетом, и кучера, торчавшие на высоких сиденьях, были украшены бантами, как шафера на свадьбах. Старые еврейки в наколках лениво следили течение привычной этой процессии — они были ко всему равнодушны, старые еврейки, и только сыновья лавочников и корабельных мастеров завидовали королям Молдаванки.

Соломончик Каплун, сын бакалейщика, и Моня Артиллерист, сын контрабандиста, были в числе тех, кто пытался отвести глаза от блеска чужой удачи. Оба они прошли мимо нее, раскачиваясь, как девушки, узнавшие любовь, они пошептались между собой и стали двигать руками, показывая, как бы они обнимали Баську, если б она этого захотела. И вот Баська тотчас же этого захотела, потому что она была простая девушка из Тульчина, из своекорыстного подслеповатого городишки. В ней было весу пять пудов и еще несколько фунтов, всю жизнь прожила она с ехидной порослью подольских маклеров, странствующих книгонош, лесных подрядчиков и никогда не видела таких людей, как Соломончик Каплун. Поэтому, увидев его, она стала шаркать по земле толстыми ногами, обутыми в мужские штиблеты, и сказала отцу.

— Папаша, — сказала она громовым голосом, — посмотрите на этого господинчика: у него ножки, как у куколки, я задушила бы такие ножки...

— Эге, пани Грач, — прошептал тогда старый еврей, сидевший рядом, старый еврей, по фамилии Голубчик, — я вижу, дите ваше

просится на травку...

— Вот морока на мою голову, — ответил Фроим Голубчику, поиграл кнутом и пошел к себе спать и заснул спокойно, потому что не поверил старику. Он не поверил старику и оказался кругом неправ. Прав был Голубчик. Голубчик занимался сватовством на нашей улице, по ночам он читал молитвы над зажиточными покойниками и знал о жизни все, что можно о ней знать. Фроим Грач был неправ. Прав был Голубчик.

И действительно, с этого дня Баська все свои вечера проводила за воротами. Она сидела на лавочке и шила себе приданое. Беременные женщины сидели с ней рядом; груди холста ползли по ее раскоряченным могущественным коленям; беременные бабы наливались всякой всячиной, как коровье вымя наливается на пастбище розовым молоком весны, и в это время мужья их, один за другим, приходили с работы. Мужья бранчливых жен отжимали под водопроводным краном всклокоченные свои бороды и уступали потом место горбатым старухам. Старухи купали в корытах жирных младенцев, они шлепали внуков по сияющим ягодицам и заворачивали их в поношенные свои юбки. И вот Баська из Тульчина увидела жизнь Молдаванки, щедрой нашей матери, — жизнь, набитую сосущими младенцами, сохнувшим тряпьем и брачными ночами, полными пригородного шику и солдатской неутомимости. Девушка захотела и себе такой же жизни, но она узнала тут, что дочь одноглазого Грача не может рассчитывать на достойную партию. Тогда она перестала называть отца отцом.

— Рыжий вор, — кричала она ему по вечерам, — рыжий вор, идите вечерять...

И это продолжалось до тех пор, пока Баська не сшила себе шесть ночных рубашек и шесть пар панталон с кружевными оборками. Кончив подшивку кружев, она заплакала тонким голосом, непохожим на ее голос, и сказала сквозь слезы непоколебимому Грачу.

— Каждая девушка, — сказала она ему, — имеет свой интерес в жизни, и только одна я живу, как ночной сторож при чужом складе. Или сделайте со мной что-нибудь, папаша, или я делаю конец моей жизни...

Грач выслушал до конца свою дочь, он одел парусовую бурку и на следующий день отправился в гости к бакалейщику Каплуну на

Привозную площадь.

Над лавкой Каплуна блестела золотая вывеска. Это была первая лавка на Привозной площади. В ней пахло многими морями и прекрасными жизнями, неизвестными нам. Мальчик поливал из лейки прохладную глубину магазина и пел песню, которую прилично петь только взрослым. Соломончик, хозяйский сын, стоял за стойкой; на стойке этой были поставлены маслины, пришедшие из Греции, марсельское масло, кофе в зернах, лиссабонская малага, сардины фирмы «Филипп и Кано» и кайенский перец. Сам Каплун сидел в жилетке на солнцепеке, в стеклянной пристроечке, и ел арбуз — красный арбуз с черными косточками, с косыми косточками, как глаза лукавых китайок. Живот Каплуна лежал на столе под солнцем, и солнце ничего не могло с ним поделать. Но потом бакалейщик увидел Грача в парусиновой бурке и побледнел.

— Добрый день, мосье Грач, — сказал он и отодвинулся. — Голубчик предупредил меня, что вы будете, и я приготовил для вас фунтик чаю, что это — редкость...

И он заговорил о новом сорте чая, привезенном в Одессу на голландских пароходах. Грач слушал его терпеливо, но потом прервал, потому что он был простой человек, без хитростей.

— Я простой человек, без хитростей, — сказал Фроим, — я нахожусь при моих конях и занимаюсь моим занятием. Я даю новое белье за Баськой и пару старых грошей, и я сам есть за Баськой, — кому этого мало, пусть тот горит огнем...

— Зачем нам гореть? — ответил Каплун скороговоркой и погладил руку ломового извозчика. — Не надо такие слова, мосье Грач, ведь вы же у нас человек, который может помочь другому человеку, и, между прочим, вы можете обидеть другого человека, а то, что вы не краковский раввин, так я тоже не стоял под венцом с племянницей Мозеса Монтефиоре, но... но мадам Каплун... есть у нас мадам Каплун, грандиозная дама, у которой сам бог не узнает, чего она хочет...

— А я знаю, — прервал лавочника Грач, — я знаю, что Соломончик хочет Баську, но мадам Каплун не хочет меня...

— Да, я не хочу вас, — прокричала тогда мадам Каплун, подслушивавшая у дверей, и она взошла в стеклянную пристроечку, вся пылая, с волнующейся грудью, — я не хочу вас, Грач, как человек

не хочет смерти; я не хочу вас, как невеста не хочет прыщей на голове. Не забывайте, что покойный дедушка наш был бакалейщик, покойный папаша был бакалейщик и мы должны держаться нашей бранжи...

— Держитесь вашей бранжи, — ответил Грач пылающей мадам Каплун и ушел к себе домой.

Там ждала его Баська, разодетая в оранжевое платье, но старик, не посмотрев на нее, разостлал кожух под телегами, лег спать и спал до тех пор, пока могучая Баськина рука не выбросила его из-под телеги.

— Рыжий вор, — сказала девушка шепотом, непохожим на ее шепот, — отчего должна я переносить биндюжницкие ваши манеры, и отчего вы молчите, как пень, рыжий вор?..

— Баська, — произнес Грач, — Соломончик тебя хочет, но мадам Каплун не хочет меня... Там ищут бакалейщика.

И, поправив кожух, старик снова полез под телеги, а Баська исчезла со двора...

Все это случилось в субботу, в нерабочий день. Пурпурный глаз заката, обшаривая землю, наткнулся вечером на Грача, храпевшего под своим биндюгом. Стремительный луч уперся в спящего с пламенной укоризной и вывел его на Дальницкую улицу, пылившую и блестящую, как зеленая рожь на ветру. Татары шли вверх по Дальницкой, татары и турки со своими муллами. Они возвращались с богомолья из Мекки к себе домой в Оренбургские степи и в Закавказье. Пароход привез их в Одессу, и они шли из порта на постоянный двор Любки Шнейвейс, прозванной Любкой Казак. Полосатые несгибаемые халаты стояли на татарах и затопляли мостовую бронзовым потом пустыни. Белые полотенца были замотаны вокруг их фесок, и это обозначало человека, поклонившегося праху пророка. Богомольцы дошли до угла, они повернули к Любкиному двору, но не смогли там пройти, потому что у ворот собралось множество людей. Любка Шнейвейс, с кошельком на боку, била пьяного мужика и толкала его на мостовую. Она била сжатым кулаком по лицу, как в бубен, и другой рукой поддерживала мужика, чтобы он не отваливался. Струйки крови ползли у мужика между зубами и возле уха, он был задумчив и смотрел на Любку, как на чужого человека, потом он упал на камни и заснул. Тогда Любка толкнула его ногой и вернулась к себе в лавку. Ее сторож Евзель

закрыв за ней ворота и помахал рукой Фроиму Грачу, проходившему мимо...

— Почтение, Грач, — сказал он, — если хотите что-нибудь наблюдать из жизни, то зайдите к нам на двор, есть с чего посмеяться...

И сторож повел Грача к стене, где сидели богомольцы, прибывшие накануне. Старый турок в зеленой чалме, старый турок, зеленый и легкий, как лист, лежал на траве. Он был покрыт жемчужным потом, он трудно дышал и ворочал глазами.

— Вот, — сказал Евзель и поправил медаль на истертом своем пиджаке, — вот вам жизненная драма из оперы «Турецкая хвороба». Он кончается, старичок, но к нему нельзя позвать доктора, потому что тот, кто кончается по дороге от бога Мухамеда к себе домой, тот считается у них первый счастливец и богач... Халваш, — закричал Евзель умирающему и захохотал, — вот идет доктор лечить тебя...

Турок посмотрел на сторожа с детским страхом и ненавистью и отвернулся. Тогда Евзель, довольный собою, повел Грача на противоположную сторону двора к винному погребу. В погребе горели уже лампы и играла музыка. Старые евреи с грузными бородами играли румынские и еврейские песни. Мендель Крик пил за столом вино из зеленого стакана и рассказывал о том, как его искалечили собственные сыновья — старший Беня и младший Левка. Он орал свою историю хриплым и страшным голосом, показывал размолотые свои зубы и давал щупать раны на животе. Волынские цадики с фарфоровыми лицами стояли за его стулом и слушали с оцепенением похвальбу Менделя Крика. Они удивлялись всему, что слышали, и Грач презирал их за это.

— Старый хвастун, — пробормотал он о Менделе и заказал себе вина.

Потом Фроим подозвал к себе хозяйку Любку Казак. Она сквернословила у дверей и пила водку стоя.

— Говори, — крикнула она Фроиму и в бешенстве скосила глаза.

— Мадам Любка, — ответил ей Фроим и усадил рядом с собой, — вы умная женщина, и я пришел до вас, как до родной мамы. Я надеюсь на вас, мадам Любка, — сначала на бога, потом на вас.

— Говори, — закричала Любка, побежала по всему погребу и потом вернулась на свое место.

И Грач сказал:

— В колониях, — сказал он, — немцы имеют богатый урожай на пшеницу, а в Константинополе бакалея идет за половину даром. Пуд маслин покупают в Константинополе за три рубля, а продают их здесь по тридцать копеек за фунт... Бакалейщикам стало хорошо, мадам Любка, бакалейщики гуляют очень жирные, и если подойти к ним с деликатными руками, так человек мог бы стать счастливым... Но я остался один в моей работе, покойник Лева Бык умер, мне нет помощи ниоткуда, и вот я один, как бывает один бог на небе.

— Беня Крик, — сказала тогда Любка, — ты пробовал его на Тартаковском, чем плох тебе Беня Крик?

— Беня Крик? — повторил Грач, полный удивления. — И он холостой, мне сдается?

— Он холостой, — сказала Любка, — окрути его с Баськой, дай ему денег, — выведи его в люди...

— Беня Крик, — повторил старик, как эхо, как дальнее эхо, — я не подумал о нем...

Он встал, бормоча и заикаясь, Любка побежала вперед, и Фроим поплелся за ней следом. Они прошли во двор и поднялись во второй этаж. Там, во втором этаже, жили женщины, которых Любка держала для приезжающих.

— Наш жених у Катюши, — сказала Любка Грачу, — подожди меня в коридоре, — и она прошла в крайнюю комнату, где Беня Крик лежал с женщиной, по имени Катюша.

— Довольно слюни пускать, — сказала хозяйка молодому человеку, — сначала надо пристроиться к какому-нибудь делу, Бенчик, и потом можно слюни пускать... Фроим Грач ищет тебя. Он ищет человека для работы и не может найти его...

И она рассказала все, что знала о Баське и о делах одноглазого Грача.

— Я подумаю, — ответил ей Беня, закрывая простыней Катюшины голые ноги, — я подумаю, пусть старик обождет меня.

— Обожди его, — сказала Любка Фроиму, оставшемуся в коридоре, — обожди его, он подумает...

Хозяйка придвинула стул Фроиму, и он погрузился в безмерное ожидание. Он ждал терпеливо, как мужик в канцелярии. За стеной стонала Катюша и заливалась смехом. Старик продремал два часа и,

может быть, больше. Вечер давно уже стал ночью, небо почернело, и млечные его пути исполнились золота, блеска и прохлады. Любкин погреб был закрыт уже, пьяницы валялись во дворе, как сломанная мебель, и старый мулла в зеленой чалме умер к полуночи. Потом музыка пришла с моря, валторны и трубы с английских кораблей, музыка пришла с моря и стихла, но Катюша, обстоятельная Катюша все еще накаляла для Бени Крика свой расписной, свой русский и румяный рай. Она стонала за стеной и заливалась смехом; старый Фроим сидел не двигаясь у ее дверей, он ждал до часу ночи и потом постучал.

— Человек, — сказал он, — неужели ты смеешься надо мной?

Тогда Бенья открыл, наконец, двери Катюшиной комнаты.

— Мосье Грач, — сказал он, конфузясь, сияя и закрываясь простыней, — когда мы молодые, так мы думаем на женщин, что это товар, но это же всего только солома, которая горит ни от чего...

И, одевшись, он поправил Катюшину постель, взбил ее подушки и вышел со стариком на улицу. Гуляя, дошли они до русского кладбища, и там, у кладбища, сошлись интересы Бени Крика и кривого Грача, старого налетчика. Они сошлись на том, что Баська приносит своему будущему мужу три тысячи рублей приданого, две кровных лошади и жемчужное ожерелье. Они сошлись еще на том, что Каплун обязан уплатить две тысячи рублей Бене, Баськиному жениху. Он был повинен в семейной гордости — Каплун с Привозной площади, он разбогател на константинопольских маслинах, он не пощадил первой Баськиной любви, и поэтому Бенья Крик решил взять на себя задачу получения с Каплуна двух тысяч рублей.

— Я возьму это на себя, папаша, — сказал он будущему своему тестю, — бог поможет нам, и мы накажем всех бакалейщиков...

Это было сказано на рассвете, когда ночь прошла уже, — и вот тут начинается новая история, история падения дома Каплунов, повесть о медленной его гибели, о поджогах и ночной стрельбе. И все это — судьба высокомерного Каплуна и судьба девушки Баськи — решилось в ту ночь, когда ее отец и внезапный ее жених гуляли вдоль русского кладбища. Парни тащили тогда девушек за ограды, и поцелуи раздавались на могильных плитах.

ЛЮБКА КАЗАК

На Молдаванке, на углу Дальницкой и Балковской улиц, стоит дом Любки Шнейвейс. В ее доме помещается винный погреб, постоянный двор, овсяная лавка и голубятня на сто пар крюковских и николаевских голубей. Лавки эти и участок номер сорок шесть на одесских каменоломнях принадлежат Любке Шнейвейс, прозванной Любкой Казак, и только голубятня составляет собственность сторожа Евзеля, отставного солдата с медалью. По воскресеньям Евзель выходит на Охотницкую и продает голубей чиновникам из города и соседским мальчишкам. Кроме сторожа, на Любкином дворе живет еще Песя-Миндл, кухарка и сводница, и управляющий Цудечкис, маленький еврей, похожий ростом и бородежкой на молдаванского раввина нашего — Бен Зхарью. О Цудечкисе я знаю много историй. Первая из них — история о том, как Цудечкис поступил управляющим на постоянный двор Любки, прозванной Казак.

Лет десять тому назад Цудечкис смаклеровал одному помещику молотилку с конным приводом и вечером повел помещика к Любке для того, чтобы отпраздновать покупку. Покупщик его носил возле усов подусники и ходил в лаковых сапогах. Песя-Миндл дала ему на ужин фаршированную еврейскую рыбу и потом очень хорошую барышню, по имени Настя. Помещик переночевал, и наутро Евзель разбудил Цудечкиса, свернувшегося калачиком у порога Любкиной комнаты.

— Вот, — сказал Евзель, — вы хвалились вчера вечером, что помещик купил через вас молотилку, так будьте известны, что, переночевав, он убежал на рассвете, как самый последний. Теперь вынимайте два рубля за закуску и четыре рубля за барышню. Видно, вы третий старик.

Но Цудечкис не отдал денег. Евзель втолкнул его тогда в Любкину комнату и запер на ключ.

— Вот, — сказал сторож, — ты будешь здесь, а потом придет Любка с каменоломни и с божьей помощью выймет из тебя душу. Аминь.

— Каторжанин, — ответил солдату Цудечкис и стал осматриваться в новой комнате, — ты ничего не знаешь, каторжанин, кроме своих голубей, а я верю еще в бога, который выведет меня отсюда, как вывел всех евреев — сначала из Египта и потом из пустыни...

Маленький маклер много еще хотел высказать Евзелю, но солдат взял с собой ключ и ушел, громыхая сапогами. Тогда Цудечкис обернулся и увидел у окна сводницу Песю-Миндл, которая читала книгу «Чудеса и сердце Баал-Шема». Она читала хасидскую книгу с золотым обрезом и качала ногой дубовую люльку. В люльке этой лежал Любкин сын, Давидка, и плакал.

— Я вижу хорошие порядки на этом Сахалине, — сказал Цудечкис Песе-Миндл, — вот лежит ребенок и разрывается на части, что это жалко смотреть, и вы, толстая женщина, сидите, как камень в лесу, и не можете дать ему соску...

— Дайте вы ему соску, — ответила Песя-Миндл, не отрываясь от книжки, — если только он возьмет у вас, старого обманщика, эту соску, потому что он уже большой, как цацап, и хочет только мамашенькиного молока, и мамашенька его скачет по своим каменоломням, пьет чай с евреями в трактире «Медведь», покупает в гавани контрабанду и думает о своем сыне, как о прошлогоднем снеге...

— Да, — сказал тогда самому себе маленький маклер, — ты у фараона в руках, Цудечкис, — и он отошел к восточной стене, пробормотал всю утреннюю молитву с прибавлениями и взял потом на руки плачущего младенца. Давидка посмотрел на него с недоумением и помахал малиновыми ножками в младенческом поту, а старик стал ходить по комнате и, раскачиваясь, как цадик на молитве, запел нескончаемую песню.

— А-а-а, — запел он, — вот всем детям дули, а Давидочке нашему калачи, чтобы он спал и днем и в ночи... А-а-а, вот всем детям кулаки...

Цудечкис показал Любкиному сыну кулачок с серыми волосами и стал повторять про дули и калачи до тех пор, пока мальчик не заснул и пока солнце не дошло до середины блистающего неба. Оно дошло до середины и задрожало, как муха, обессиленная зноем. Дикие мужики из Нерубайска и Татарки, остановившиеся на Любкином

постоялом дворе, полезли под телеги и заснули там диким залиvistым сном, пьяный мастеровой вышел к воротам и, разбросав рубанок и пилу, свалился на землю, свалился и захрапел посредине мира, весь в золотых мухах и голубых молниях июля. Неподалеку от него, в холодке, уселись морщинистые немцы-колонисты, привезшие Любке вино с бессарабской границы. Они закурили трубки, и дым от их изогнутых чубуков стал путаться в серебряной щетине небритых и старческих щек. Солнце свисало с неба, как розовый язык жаждущей собаки, исполинское море накатывалось вдали на Пересыпь, и мачты дальних кораблей колебались на изумрудной воде Одесского залива. День сидел в разукрашенной ладье, день подплывал к вечеру, и навстречу вечеру, только в пятом часу, вернулась из города Любка. Она приехала на чалой лошаденке с большим животом и с отросшей гривой. Парень с толстыми ногами и в ситцевой рубахе открыл ей ворота, Евзель поддержал узду ее лошади, и тогда Цудечкис крикнул Любке из своего заточения:

— Почтение вам, мадам Шнейвейс, и добрый день. Вот вы уехали на три года по делам и набросили мне на руки голодного ребенка...

— Цыть, мурло, — ответила Любка старику и слезла с седла, — кто это разевает там рот в моем окне?

— Это Цудечкис, тертый старик, — ответил хозяйке солдат с медалью и стал рассказывать ей всю историю с помещиком, но он не досказал до конца, потому что маклер, перебивая его, завизжал изо всех сил.

— Какая нахальства, — завизжал он и швырнул вниз ермолку, — какая нахальства набросить на руки чужого ребенка и самой пропасть на три года... Идите дайте ему цицю...

— Вот я иду к тебе, аферист, — пробормотала Любка и побежала к лестнице. Она вошла в комнату и вынула грудь из запыленной кофты.

Мальчик потянулся к ней, искусал чудовищный ее сосок, но не добыл молока. У матери надулась жила на лбу, и Цудечкис сказал ей, тряся ермолкой:

— Вы все хотите захватить себе, жадная Любка; весь мир тащите вы к себе, как дети тащат скатерть с хлебными крошками; первую пшеницу хотите вы и первый виноград; белые хлебы хотите вы печь

на солнечном припеке, а маленькое дите ваше, такое дите, как звездочка, должно захлянуть без молока...

— Какое там молоко, — закричала женщина и надавила грудь, — когда сегодня прибыл в гавань «Плутарх» и я сделала пятнадцать верст по жаре?.. А вы, вы запели длинную песню, старый еврей, — отдайте лучше шесть рублей...

Но Цудечкис опять не отдал денег. Он распустил рукав, обнажил руку и сунул Любке в рот худой и грязный локоть.

— Давись, арестантка, — сказал он и плюнул в угол. Любка подержала во рту чужой локоть, потом вынула его,

заперла дверь на ключ и пошла во двор. Там уже дожидался ее мистер Троттибэрн, похожий на колонну из рыжего мяса. Мистер Троттибэрн был старшим механиком на «Плутархе». Он привез с собой к Любке двух матросов. Один из матросов был англичанином, другой был малайцем. Все втроем они втащили во двор контрабанду, привезенную из Порт-Саида. Их ящик был тяжел, они уронили его на землю, и из ящика выпали сигары, запутавшиеся в японском шелку. Множество баб сбежалось к ящику, и две пришлые цыганки, колеблясь и гремя, стали заходить сбоку.

— Прочь, галота! — крикнула им Любка и увела моряков в тень под акацию.

Они сели там за стол. Евзель подал им вина, и мистер Троттибэрн развернул свои товары. Он вынул из тюка сигары и тонкие шелка, кокаин и напильники, необандеролен-ный табак из штата Виргиния и черное вино, купленное на острове Хиосе. Всякому товару была особая цена, каждую цифру запивали бессарабским вином, пахнущим солнцем и клопами. Сумерки побежали по двору, сумерки побежали, как вечерняя волна на широкой реке, и пьяный малаец, полный удивления, тронул пальцем Любкину грудь. Он тронул ее одним пальцем, потом всеми пальцами по очереди.

Желтые и нежные его глаза повисли над столом, как бумажные фонари на китайской улице; он запел чуть слышно и упал на землю, когда Любка толкнула его кулаком.

— Смотрите, какой хорошо грамотный, — сказала о нем Любка мистеру Троттибэрну, — последнее молоко пропадет у меня от этого малайца, а вот тот еврей съел уже меня за это молоко...

И она указала на Цудечкиса, который, стоя в окне, стирал свои носки. Маленькая лампа коптила в комнате у Цудечкиса, лоханка его пенилась и шипела, он высунулся из окна, почувствовав, что говорят о нем, и закричал с отчаянием.

— Ратуйте, люди! — закричал он и помахал руками.

— Цыть, мурло! — захохотала Любка. — Цыть!

Она бросила в старика камнем, но не попала с первого раза. Женщина схватила тогда пустую бутылку из-под вина. Но мистер Троттибэрн, старший механик, взял у нее бутылку, нацелился и угодил в раскрытое окно.

— Мисс Любка, — сказал старший механик, вставая, и он собрал к себе пьяные ноги, — много достойных людей приходят ко мне, мисс Любка, за товаром, но я никому не даю его, ни мистеру Кунинзону, ни мистеру Батю, ни мистеру Купчику, никому, кроме вас, потому что разговор ваш мне приятен, мисс Любка...

И, утвердившись на вздрогнувших ногах, он взял за плечи своих матросов, одного англичанина, другого малайца, и пошел танцевать с ними по заглодевшему двору. Люди с «Плутарха» — они танцевали в глубокомысленном молчании. Оранжевая звезда, скатившись к самому краю горизонта, смотрела на них во все глаза. Потом они получили деньги, взялись за руки и вышли на улицу, качаясь, как качается висячая лампа на корабле. С улицы им видно было море, черная вода Одесского залива, игрушечные флаги на потонувших мачтах и пронизывающие огни, зажженные в просторных недрах. Любка проводила танцующих гостей до переезда; она осталась одна на пустой улице, засмеялась своим мыслям и вернулась домой. Заспанный парень в ситцевой рубашке запер за нею ворота, Евзель принес хозяйке дневную выручку, и она отправилась спать к себе наверх. Там дремала уже Песя-Миндл, сводница, и Цудечкис качал босыми ножками дубовую люльку.

— Как вы замучили нас, бессовестная Любка, — сказал он и взял ребенка из люльки, — но вот учитесь у меня, паскудная мать...

Он приставил мелкий гребень к Любкиной груди и положил сына ей в кровать. Ребенок потянулся к матери, накололся на гребень и заплакал. Тогда старик подсунул ему соску, но Давидка отвернулся от соски.

— Что вы колдуете надо мной, старый плут? — пробормотала Любка, засыпая.

— Молчать, паскудная мать! — ответил ей Цудечкис. — Молчать и учитесь, чтоб вы пропали...

Дитя опять уколосось о гребень, оно нерешительно взяло соску и стало сосать ее.

— Вот, — сказал Цудечкис и засмеялся, — я отлучил вашего ребенка, учитесь у меня, чтоб вы пропали...

Давидка лежал в люльке, сосал соску и пускал блаженные слюни. Любка проснулась, открыла глаза и закрыла их снова. Она увидела сына и луну, ломившуюся к ней в окно. Луна прыгала в черных тучах, как заблудившийся теленок.

— Ну, хорошо, — сказала тогда Любка, — открой Цудечкису дверь, Песя-Миндл, и пусть он придет завтра за фунтом американского табаку...

И на следующий день Цудечкис пришел за фунтом необандероленного табаку из штата Виргиния. Он получил его и еще четвертку чаю в придачу. А через неделю, когда я пришел к Евзелю покупать голубей, я увидел нового управляющего на Любкином дворе. Он был крохотный, как раввин, наш Бен Зхарья. Цудечкис был новым управляющим.

Он пробыл в своей должности пятнадцать лет, и за это время я узнал о нем множество историй. И, если сумею, я расскажу их все по порядку, потому что это очень интересные истории.

В. Я. ШИШКОВ

**Из цикла «Шутейские рассказы»
СПЕКТАКЛЬ В СЕЛЕ ОГРЫЗОВЕ**

*Посвящается
Льву Рудольфовичу Когану*

Военная страда окончена, и красноармеец Павел Мохов опять в родном своем селе Огрызове.

Была весенняя пора, все цвело и зеленело, целыми днями тюрликали в выси жаворонки, а по ночам пели соловьи. Навозница кончилась, до сенокоса еще далече, крестьяне отдыхали, справлялись солнечные праздники: Николай Вешний, Троица, Духов День — с молебнами, трезвонном колоколов, крестными ходами, бесшабашной гульбой и мордобоем.

— Вот черти! Живут, как самая отсталая национальность, — возмущался Павел Мохов. — Ежели с птичьего полета поглядеть, то революции-то здесь и не ночевало никакой. Позор!

И, недолго думая, образовал театральный кружок-ячейку.

Народ ничего не понимал, в члены записывались очень мало. А когда дьячок пустил для озорства слух, что записавшимся будут селедки выдавать, в ячейку привалило все село, даже древние старцы и старухи.

Председатель Павел Мохов рассмеялся и колченогой старушонке Секлетинье задал такой вопрос:

— Хорошо, я тебя, бабушка, зарегистрирую. Вот тебе роль, играй первую любовницу. Можешь?

— Играй сам, толсторожий дурак, — зашамкала бабка, приседая на кривую ногу. — Подай мои селедки, что по закону причитается... Три штуки.

Вообще было много хлопот с кружком. Потом наладилось. Через неделю разыграли в школе веселый фарс, крестьяне хохотали, просили еще сыграть, сулили платить яйцами, молоком, сметаной.

Только вот беда: не было пьес. Написали в уездный город. Выслали «Юлия Цезаря». Когда подсчитали действующих лиц — сорок человек — без малого все село должно играть, а кто же смотреть-то будет?

Тогда Павел Мохов и другой красноармеец, Степочкин, решили состряпать пьесу самолично. Долго ли? Раз плюнуть. На подмогу был приглашен новоиспеченный учитель, Митрий Митрич, из бывших духовных портных.

Все трое, чтобы никто не мешал, после обеда заперлись в прокопченной бане, захватив с собой четверть самогону. К утру пьеса была окончена. В сущности, сочинял-то Мохов, а те двое — так себе. Осунувшаяся, словно после изнурительной болезни, вся троица вылезла на воздух и, пошатываясь, поплелась домой в великой радости. Лица у всех были в саже.

— Любящая мамаша, — обратился Павел к своей матери совсем по-благородному, — угостите автора чайком. Я теперь автор, сочинил сильно действующую трагедию под заглавием **«Удар пролетарской революции, или Несчастливая невеста Аннушка»**. Пьеса со стрельбой... Поплачете и посмеетесь.

Красотка Таня ни за что не хотела участвовать в спектакле. Очень надо! Павел Мохов ей даже совсем не нравится. Пусть Павел Мохов много-то, пожалуйста, и не воображает о себе. Но Павел Мохов всячески охаживал Таню со всех сторон. Нет, не поддается.

Ну, ладно! Вот что-то она скажет, когда его пьесу поглядит.

Репетиция шла за репетицией. Пьеса подверглась коренной переработке и получила новое название: **«Безвинная смерть Аннушки, или Буржуй в бутылке»**.

Всю последнюю неделю село жило под знаком «безвинной смерти Аннушки»: девицы воровали у родителей холсты для декорации, парни — конопляное масло для малярных работ, кузнец Филат украл в совхозе белил и красок. Даже поповна умудрилась стянуть в церкви маслица лампадного.

Неутомимый Павел изготавливал огромную, склеенную из двадцати листов, плакат-афишу: он раскинул ее на полу в своей избе и целый день, пыхтя, ползал на брюхе, печатал всеми красками, подчеркивал.

Особенно кудряво было выведено: «Сочинил коллективный **автор Павел Терентьевич Мохов**, красный пулеметчик». Потом следовало предостережение: «Потому что в трагедии **произойдет стрельба** холостыми зарядами, **то прошу** передних рядах, так и в самых задних рядах никаких **паник не подымать** в упреждение ходынки».

И в конце: «Начало в шесть часов по старому стилю, а по новому стилю на три часа вперед. С почтением **автор Мохов**». И еще три отдельных плаката: «Прошу на пол не харкать». «Во время действия посторонних **разговоров** прошу **не позволять**». «В антрактах **матерно** прошу не выражаться».

В конце каждого плаката было: «**С почтением автор Мохов**».

После генеральной репетиции Мохов сказал:

— Успех обеспечен, товарищи. — Будет сногсшибательно.

Мимо Таниной избы прошел подбоченившись и лихо заломив с красной звездой картуз.

А на другой день уехал в город, чтобы пригласить члена уездного политпросвета на показательный спектакль.

В день спектакля публика густо стала подходить из ближних деревень в село Огрызово. С любопытством рассматривали плакат-афишу, укрепленную на воротах школы.

В школе едва-едва могло уместиться двести человек, народу же набралось с полтысячи. Спозаранку, часов с трех, зал набит битком. Публика плевала на пол, выражалась, плакат же «Прошу не курить, с почтением автор Мохов» был сорван и пошел на козы ножки. В комнате от табачного дыма сизо. День был знойный, душный. С беременной теткой Матреной случился родимчик: зайкала, — и ее унесли...

В пять часов Павел Мохов стал наводить порядки. Весь мокрый, он стоял вместе с милицейским на крыльце и осаживал напиравший народ:

— Нельзя, товарищи, нельзя! Выше комплекта, — взволнованно кричал он. — Ведь ежели б стены были резиновые, можно раздаться, но они, к великому сожалению, деревянные.

— Допусти, Паша! Ну не будь сукиным сыном, допусти. Мы где-нито с краешку... На яичек... на маслица.

— В антрахту залезем, братцы, не горюй, — утешались не попавшие на зрелище крестьяне, — всех за шиворот повыдергаем! Не век же им смотреть! Половину они посмотрят, а другую половину мы.

Около шести часов прибыл со станции представитель уездного политпросвета, светловолосый красивый юноша, товарищ Васютин. Павел Мохов был крайне удивлен: ведь обещался приехать бородастый, а тут — здравствуйте, пожалуйста! Однако Павел дисциплину понимает тонко: рассыпался в любезностях, провел его в свою избу, сдал на попечение матери, а сам — скорей в школу и подал первый звонок. Публика отхаркнулась, высморкалась, смолкла и приготовилась смотреть.

Товарищ Васютин отмывал дорожную пыль, прихорашивался перед зеркалом, прыскал себя духами. Мать Павла усердно помогала ему переодеваться. Она очень удивилась, что гость без креста и натягивает белые штаны.

Франтом, с тросточкой, попыхивая сигареткой, краснощекий товарищ Васютин проследовал на спектакль. В кармане его щегольского пиджака лежали две ватрушки, засунутые матерью Павла:

— Промнешься, соколик, дак пожуешь.

Второй звонок подавать медлили.

В артистической комнате содом. Павел Мохов рвал и метал. Доставалось молодому кузнецу Филату. Филат должен, между прочим, изображать за сценою крики птиц, животных и плач ребенка — все это Павел ввел «для натуральности». На репетиции выходило бесподобно, а вот вчера кузнец приналег после бани на ледяной квас и охрип, — получается черт знает что: петух мычит коровой, а ребенок плачет так, что испугается медведь.

— Тьфу! Фефела... — выразительно плюнул Павел и, стрельнув живыми глазами, крикнул: — А где же суфлер? Живо за суфлером! Ну!

Меж тем стрелка подходила к семи часам. От духоты и нетерпенья зрители взмокли. То здесь, то там приподымались девушки, с любопытством оглядывая городского франта:

— Ну, и пригожий... Ах, патретики городской...

Таня два раза мимо проплыла, наконец насмелилась:

— Здравствуйте, товарищ! — и протянула ему влажную от пота руку. Очень высокая и полная, она в белом платье, в белых туфлях и чулках.

— Пойдемте, барышня, освежимся! — и Васютин взял ее под руку. Рука у Тани горячая, мясистая.

Девушки завздохали, завозились, парни стали крякать и подкашливать, кто-то даже свистнул.

Милицейский и шустрый паренек Офимьюшкин Ванятка тем временем разыскивали по всему селу суфлера Федотыча.

— Ужаси, в нашем месте скука какая. Одна необразованность, — вздыхала Таня, помахивая веером на себя и на кавалера.

— А вы что же, в городе жили?

— Так точно. В Ярославле. У одной барыни паршивой служила по плупости, у буржуазки. Теперь я буржуев презираю. Подруг хороших здесь тоже нет. Например, все девушки наши боятся гражданских браков. А вы, товарищ, женились когда-нибудь гражданским браком? — и полные малиновые губы Тани чуть раздвинулись в улыбку.

— Как вам сказать. И да, и нет... Случалось, — весело засмеялся Васютин, и рука его не стерпела: — Этакая вы пышка, Танечка...

— Ах, право... мне стыдно. Какой вы, право, комплементщик!

Гость и Таня торопливо шли по огороду, вдоль цветущих гряд.

Вечер был удивительно тих. Солнце садилось. Кругом ни души, только кошка играла с котятами под березкой. Сквозь маленькое оконце овина, рассекая теплый полумрак, тянулся сноп света. Он золотил пучки сложенной в углу соломы.

В овине пахло хлебной пылью, мышами и гнездами ласточек.

— Товарищи! — появился перед занавесом Павел Мохов. — Внимание, внимание! По независимым от публики обстоятельствам, товарищи, наш суфлер неизвестно где... Так что его невозможно, сволочь такую, отыскать... То спектакль, товарищи, начнется по новому стилю.

А ему вдогонку:

— По новому, так по новому... Начинай скорее, Пашка!.. Другие не жравши с утра сидят... Животы подвело.

И еще кричали:

— Это мошенство! Подавай мой творог! Подавай мои яйца назад! Но Павел не слышал. Обложив милицейского и Офимьюшкина Ванятку, он самолично помчался отыскивать суфлера.

Суфлер — старый солдат Федотыч, двоюродный дядя Павла Мохова. Он хороший чтец по покойникам и большой любитель в пьяном виде подраться: все передние зубы у него выбиты. Но, несмотря на это, он суфлер отменный и находчивый: чуть оплошай актер, он сам начинает выкрикивать нужные слова, ловко подделывая голос.

Павел подбежал к его избе. Так и есть — замок. Он к соседям, он в сарай, он в баню...

И весь яростно затрясся: Федотыч лежал на спине и, высоко задрав ноги, хвостал их веником, голова его густо намылена, он был похож на жирную, в белом чепчике, старуху.

— Зарезал ты меня! Зарезал!.. — затопал, завизжал Павел Мохов.

Веник жарко жихал и шелестел, как шелк.

— Павлуха, ты? Скидавай скорей портки да рубаху! Жару много, брат...

— Спектакль! Старый идиот!! Спектакль ведь.

— Какой спектакль? Ты чего мелешь-то? У нас какой день-то седни? — и вдруг вскочил: — Ах-ах-ах-ах...

— Запарился?

Федотыч нырнул головой в рубаху.

— Башку-то ополосни! В мыле.

Задорно прогремел звонок. Сцена открылась, и вместе с нею открылись все до единого рты зрителей. На сцену вышла высоченная, жирная попадья.

Ни одна девушка не пожелала играть старуху. Взялся кузнец Филат. Лицо у него длинное, как у коня. На голову он взгромоздил шляпищу — впереди сидит, растопырив крылья, ворона, кругом непролазные кусты цветов; на носу же самодельные очки, как колеса от телеги. Он очень высок и тощ, но там, где нужно, он столько натолкал сдобы, что капот супруги местного торговца, женщины очень низенькой, трещал по швам и едва хватал Филату до колен; из-под оборок торчали сухие, в обмотках, ноги, которыми очень грациозно, впереплет и с вывертом переступал Филат.

— Африканская свиньица на ходулях, — шепнул товарищ Васютин Тане, жарко дышавшей ему в лицо.

Таня фыркнула, а попадья, виляя задом, мелко засемила к шкапу, достала четверть и, одну за другой, выпила три рюмки.

— Вот так хлещет! — завистливо кто-то крикнул в задних рядах.

— Угости-ка нас...

— Мамаша! Мамаша! — выскочила в белом переднике ее дочь Аннушка. — Как вам не стыдно жрать водку?!

Та откашлялась и сказала сиплым басом:

— Дитя мое, тебе нет никакого дела, что касася поведения своей собственной матери.

В публике послышались смешки: вот так благородная госпожа, вот так голосочек... А Павел Мохов за кулисами, оглушенный басом попадьи, заткнул уши и весь от злости позеленел.

— Ах, так? — звонко возразила Аннушка. — Нынче, мамаша, равноправие. Я из вашего кутейницкого класса уйду в пролетариат... Я — коммунистка. Знайте!

— Чего, что?.. Коммунистка?! А жених? Такой благородный человек... Я тебе дам коммунистку! — загремела басом попадья и забегала по сцене; ворона и кусты тряслись.

Павел Мохов тоже с места на место перебежал за кулисами и желчно, через щели, шипел Филату:

— Что ты, харя, таким быком ревешь! Тоньше, тоньше!.. Ведь ты женщина.

Этот злобный окрик сразу сбил Филата: слова выскочили из памяти, — и что подавал суфлер, летело мимо ушей, в пространство.

Растерялась и Аннушка.

— Уйду, уйду, — повизгивала она, и глаза ее, как магнит в железо, впились в беззубый рот суфлера Федотыча.

Попадья крякнула для прочистки плотки и, едва поймав реплику суфлера, еще пуще ухнула раскатистой октавой:

— Стыдись, о дочь моя! Ничтожество твое имя!

— Позор, позор! Паршивый черт!.. — змеиное шипенье Павла Мохова секло сцену вдоль и поперек. — Я тебе в морду дам!

— Позор, позор! — всплеснула руками Аннушка и вся в слезах шмыгнула за кулисы.

— Позор! Паршивый черт! Я тебе в морду дам! — загремела и попадья-Филат, полагая, что эти слова подсказаны ему суфлером.

Тогда Федотыч грохнул в своей будке кулаком, презрительно плюнул:

— Тоже ахтеры называются!..

И вдруг, к удивлению публики, невидимкой зазвучал со сцены его пискливый женский голос:

— О дочь моя... Я тебя великодушно прощаю, — фистулой выговаривал Федотыч. — Иди ко мне, я прижму тебя к своей собственной груди. Вот так, господь тебя благослови, — и сердито зашипел: — Где Аннушка? Аннушку сюда, черти!..

Аннушку выбросили из-за кулис на кулаках. Семеня ножками и горестно восклицая: — Я ж говорю вам, что не знаю роли... Я сбилась, сбилась... — она подбежала к попадье, которая безмолвно стояла ступой, обхватив живот.

— Благословляй, дьявол! — треснул в пол кулаком суфлер.

— Господь тебя благослови! — как протодьякон пробасила попадья.

Павел Мохов метался за кулисами.

— Занавес!.. К черту Филата!.. Ах, дьяволы. Погубили пьесу. Снова!

Но положенье спас буржуй-жених. Он роль знал назубок, на сцену вышел игриво; попадья и Аннушка вновь овладели собой; Федотыч суфлировал на весь зал, как сто гусей, и на радостях суетливо плотал самогонку: из суфлерской будки несло сивухой.

Потом вошел маленький бородатый священник в рясе и скуфье набекрень, отец Аннушки.

— Поп, поп! — весело зашумели в зале. — Глянь-ка, братцы! Кутью продергивают.

Несчастную Аннушку стали пропивать: жених с попом устраивают кутеж, гармошка, пляс, попадья вприсядку чешет трепака, подушки с груди переползают на живот. Аннушка плачет. Зрителям любо: ай-люли; хлопают в ладоши — «биц-биц-биц!». Аннушка не любит жениха, плачет пуще. Но вот врывается в кожаной куртке рабочий-коммунист:

— Я спасу тебя!

— Милый, милый! — бросается ему на шею Аннушка.

Жених лезет драться, но коммунист выхватывает револьвер:

— Она моя. Смерть буржуям!.. К стенке!

Поп с женихом в страхе ползут под кровать. Занавес. Хлопки. Восторженные крики: «Биц-биц-биц!»

Перерыв длился полтора часа. Стемнело. Зажгли две керосиновые коптилки. Мрак наполовину поседел.

У актеров — как в сумасшедшем доме: кто плачет, кто смеется, кто зубрит роль.

— Глотай сырьем, — лечит Федотыч голос кузнеца. — Видишь, у тебя кадык завалило.

Кузнец яйцо за яйцом вынимает из лукошка, целый десяток проглотил, а толку нет.

— К черту! — волнуется Павел Мохов. — Где это ты видел, чтобы так попадья говорила? Банщик какой-то, а не попадья!

— Знай плотай... Обмякнет, — хрипит Федотыч. Бритое, жирное лицо его красно и мокро, словно обваренное кипятком. Самогонка в бутылке быстро убывает.

Из зала густо выходила на свежий воздух публика. Навстречу протискивались новые. Косяки дверей трещали. С треском отрывались пуговицы от рубах, от пиджаков. Иные тащили выше голов приподнятые стулья, чтобы не потерять место. «Налегай, ребята, налегай, жми сок из баб!»

Костомятка была и в коридорчике. Удалей всех продирался толстобокий попович в очках. Он яростно тыкал локтями и кулаками в животы, в бока, в спины, деликатно приговаривая «будьте добры» да «будьте добры!». Старому Емеле, до ужаса боявшемуся мышей, подсунули в карман дохлого мыша, а как вышли, попросили на понюшку табаку.

Прозвенел звонок. Народ повалил обратно.

Дядя Антип, из соседней деревни, постоял в раздумье и, когда улица обезлюдела, махнул рукой:

— А ну их к ляду и с камедью-то... — закинул на загорбок казенный стул и, озираючись, пошагал, благословясь, домой: — Ужо в воскресенье еще приду. Авось второй стульчик перепадет на бедность мою...

— Внимание, товарищи, внимание! — надсадно швырял в шумливый зал Павел Мохов. — По независимым от публики обстоятельствам, товарищи, попадья была высокая, теперь станет маленькой. Поп же, то есть ее муж, как раз наоборот — делается очень высокий. Но это не смущайтесь. Это перетрубация в ролях, и больше ничего. Даже лучше! Итак, я подаю, товарищи, третий и самый последний звонок!

Занавес отдернули, и зал вытаращил полусонные глаза.

Вот выплыла попадья, по одежде точь-в-точь та же, только на коротеньких ножках и пищит, а вслед за нею — высоченный поп, тот же самый — грива, борода; только ряса по колено и ходули-ноги, длинные, в обмотках.

В публике смех, возгласы:

— Пошто попадье ноги обрубил?

— А ну-ка, бабушка, спляши!

— Эй, полтора попа!!

Изрядно наспиритовавшийся Федотыч едва залез в будку, но суфлировал на удивление ясно и отчетливо: вся публика, даже та, что в коридоре, имела удовольствие слушать зараз две пьесы — одну из будки, другую от действующих лиц.

Жировушка Федотыча — в черепке бараний жир с паклей — чадила ему в самый нос.

Действие на сцене как по маслу. Буржуя-жениха прогнали, в доме водворился коммунист. Аннушка родила ребенка, который лежит в люльке и плачет. Люльку качает поп (кузнец Филат).

Он говорит:

— Это ребенок коммунистический, — и поет басом колыбельную:

Баю-баюшки-баю,
Коммунистов признаю...
Ты лежи, лежи, лежи
И ногами не дрожи...

— Достукалась, притащила ребеночка, — злобствует попадья. — А коммунистишку-то твоего опять на войну гонят...

— О, горе мне, горе!.. — восклицает Аннушка и подсаживается к люльке, чтобы произнести над ребенком монолог. Она роль знает плохо, влипла глазами в будку, ждет подсказа, в будке чернохвостый огонек чадит, и Федотыч — что за диво — наморщил нос и весь оскалился.

— О, горе мне, горе!.. — взволновано повторяет Аннушка.

Вдруг в будке захрипело, зафыркало и на весь зал раздалось: «Ччих!» — и огонек погас.

Федотыч опять захрипел, опять чихнул и крикнул:

— Эй, Пашка! Дайте-ка скорей огонька... У меня жирову... А-пчих!.. жировушка погасла.

За сценой беготня, шепот, перебранка: все спички вышли, зажигалка не работает.

— О, горе мне, горе!.. — безнадежно стонет Аннушка, забыв дальнейшие слова.

— погоди ты... Го-о-ре!.. — кряхтит, вылезая из будки, Федотыч. — У тебя горе, а у меня вдвое. Видишь, жировушка погасла. Нет ли, братцы, серянок у кого?

Публика с веселостью и смехом:

— На, дедка. На-на-на!..

И снова как по маслу.

Аннушка так натурально убивалась над сделанным из тряпья ребенком и так трогательно говорила, что произвела на зрителей впечатление сильнейшее: бабы сморкались, мужики сопели, как верблюды.

Офимьюшкин Ванятка подрядился вместо Филата за три яйца плакать по-ребячьи. Он плакал за кулисами звонко, с чувством, жалобно. Какой-то дядя даже сердобольно крикнул Аннушке:

— Дай титьку младенцу-то!

И баба:

— Поди упаковался ребенчишко-т... Перемени, Аннушка, ему пеленки-то...

Словом, действие закончилось замечательно. Все были довольны, кроме Павла Мохова. Он, скрипя зубами, тряс за грудки пьяного

Федотыча:

— Дядя ты мне или последний сукин сын?! Неужто не мог после-то нажраться! Такую, дьявол старый, устроил полемику с своей жировушкой...

По селу пели третьи петухи.

За Таней и Васютиным, опять шагавшими вдоль цветущих грядок, шли в отдалении парни с гармошкой и орали какую-то частушку, очень для Тани оскорбительную.

— Эй, ахтеры! — кричали в зале. — Работайте поскорейча... Ведь утро скоро. Которые уж спят давно!

Действительно, на окнах и вдоль стен под окнами сидели и лежали спящие тела.

Когда открыли сцену, наступившую густую тишину толчок и встряхивал нечеловеческий храп. Это дед Андрон, согнувшись в три погибели, упер лысину в широкую поясницу сидевшей впереди ядерной бабы, пускал слюни и храпел. Другие спящие с усердием подхватывали.

Настроение актеров было приподнято: это действие очень веселое — пляски, песни, хоровод, а кончается убийством Аннушки. Мерзавец буржуй-жених, которого зарезали в прошлом действии, должен внезапно появиться и смертоносной пулей сразить несчастную Аннушку. Это гвоздь пьесы. Это должно потрясти зрителей. Недаром Павел Мохов с такой загадочно-торжествующей улыбкой сыплет в медвежачье ружье здоровенный заряд пороха: грохнет, как из пушки.

Но если б Павел Мохов видел, каким пожаром горят глаза коварной Тани и с какой страстью стучит в ее груди сердце, его улыбка вмиг уступила бы место бешеной ревности.

Парочка тесно сидела плечо в плечо, от товарища Васютина пахло духами и табаком, от красотки Тани — хлебной пылью, мышами и гнездами ласточек.

Декорация — елки и сосны, берег реки, Аннушка с ребенком сидит на камне.

— Какой хороший вечер, — говорит она. — Спи, мой маленький, спи. Чу, коровушка мычит. (За кулисами мычит корова.) Чу, собачка

взлаяла. (Лаает собака.) А как птички-то чудесно расппевают. Чу, соловей... (Поет соловей.)

Яйца, видимо, подействовали: Филат на все лады заливался за сценой и соловьем, и собачкой, и коровушкой..

Появляются девушки, парни. Начинают хоровод. Свистит соловей, крикают утки, квакают лягушки, мычит корова.

— Дайте и мне, подруженьки, посмотреть на вашу веселость... — сквозь слезы говорит Аннушка. — Папаша и мамаша выгнали меня из дому с несчастным дитем. А супруг мой, коммунист, убит белыми злодеями на всех фронтах. Которые сутки я голодная иду куда глаза глядят и не глядят.

Аннушка горько всхлипывает. Ее утешают, ласкают ребенка. За кулисами ржет конь, мяукает кошка, клохчут курицы, хрюкает свинья.

— Ах, ах! Возвратите мне мои счастливые денечки!

Зрители вздыхают. Храпенье во всех концах крепнет. Давно уснувший в будке Федотыч тоже присоединил свой гнусавый храп. Лысина деда Андрона съехала с теткойной поясницы в пышный зад.

Вдруг из-за кустов выскочил буржуй-жених, в руках деревянный пистолет.

Наступила трагическая минута.

Павел Мохов взвел за кулисами курок.

— Ах, вот где моя изменщица! — и жених кинулся к Аннушке. — Вон! Всех перестреляю!

Визготня, топот, гвалт — и сцена вмиг пуста.

Лицо буржуя красное, осатанелое. Он схватил ребенка, ударил его головой об пол и швырнул в реку.

Аннушка оцепенела, и весь зал оцепенел.

— Ну-с! — крикнул жених и дернул ее за руку.

Павел Мохов еще подбавил пороху и выставил в щель дуло своего самопала. Он в пьесе не участвовал, он к сцене совершенно непригоден: терял себя, трясся, бормотал глупости, а театр ужасно любил. Поэтому на спектаклях в городе ему обычно поручалось стрелять за кулисами. И уж всегда, бывало, грохнет момент в момент.

— Ведь мы же с папочкой и мамочкой полагали, что вы зарезаны, — вся трепеща, сказала Аннушка.

— Ничего подобного... Ну, паскуда, коммунистка, молись богу. Умри, несчастная! — и жених направил пистолет в грудь Аннушки.

— Ах, прощай, белый свет!.. — закачалась Аннушка и оглянулась назад, куда упасть.

Павел Мохов сладострастно спустил курок, но самопал дал осечку.

Зал разинул рот и перестал дышать. За сценой шипели в уши МоховаЕ

— Вали-вали-вали еще, Пашка, вали...

— Умри, несчастная!! Во второй раз говорю! — свирепо крикнул жених.

— Ах, прощай, белый свет!.. — отчаянно простонала Аннушка и закачалась.

Павел Мохов трясущейся рукой спустил курок, но самопал опять дал осечку. Злобно ругаясь, Павел выбрал из проржавленных пистонов самый свежий.

Жених умоляюще взглянул на кулисы и, покрутив над головой пистолет, вновь направил его в грудь донельзя смутившейся Аннушки:

— Умри, несчастная! Последний раз говорю тебе!..

Кто-то крикнул в зале:

— Чего ж она, дура, не умирает-то!

— Ах, прощай, белый свет!.. — третий раз простонала Аннушка, и самопал за кулисами третий раз дал осечку.

Дыбом у Павла Мохова поднялись волосы, он заскорготал зубами. Жених бросил свой деревянный пистолет, крикнул: «Тьфу!» — и нырнул за кулисы.

Аннушка же совершенно не знала что ей предпринять, — наконец закачалась и без всякого выстрела упала.

— Занавес! Занавес давай! — скандал на всю губернию, суетились за сценой.

Но в это время, как гром, тарарахнул выстрел.

Весь зал подпрыгнул, ахнул.

Храпевший суфлер Федотыч тоже подпрыгнул, и подняв на голове будку, побежал с нею по сцене. С окон посыпались на пол спящие, а те, что храпели на полу, вскочили, опять упали — и поползли, ничего не соображая.

Занавес плавно стал задерживаться.

— Товарищи! — быстро поднялся на стул Васютин. — Я член репертуарной коллегии драматической секции первого сектора

уездного культагитпросвета...

Мужики злорадно засмеялись. Раздались выкрики:

— Жалаим!

— Толкуй по-хрещеному!.. По-русски...

— Товарищи! Главный дом соседнего с вами совхоза, бывшие хоромы помещика, обращается в Народный дом для разумных развлечений. Я имею бумагу. Вот она. Советская власть охотно идет навстречу вашим духовным запросам. А теперь кричите за мной: «Автора, автора!»

И зал, ничего не понимая, загредел за товарищем Васютиным.

Автор же, за кулисами, упав головой на стол, плакал.

Васютин пошел на сцену и в недоумении остановился.

— Товарищ Мохов! Как вам не стыдно? Вас вызывает публика. Слышите? Ну, пойдите скорей.

Павел Мохов вытер кулаками глаза и уже ничего не мог понять, что с ним происходило. Куда-то шел, где-то остановился. Из полумрака впилась в него сотни горящих глаз.

А Федотыч, меж тем, пошатываясь, совался носом по сцене, душа горела завести скандал.

— Товарищи! У вас теперь свой Народный дом, свой драматический кружок. А кто организовал его? Да конечно же бывший красноармеец товарищ Мохов. Ежели спектакль прошел и не совсем гладко, это ничего, ведь это ж первый опыт, товарищи. Вот пред вами тот самый автор, сочинитель пьесы, которой вы только что любовались... Почтим его. Да здравствует талантливый Павел Мохов! Bravo! Bravo! — захлопал Васютин в ладоши, за ним сцена, за ней — весь зал.

— Бра-в-во! Биц-биц-биц! Bravo! Молодец, Пашка! Ничего... Жалаим... Павел, говори! Чего молчишь?..

— Почтим от всех присутствующих! Ура!! — надрывался Васютин.

Федотыч плюнул в кулак и, пошатываясь, подкрался сзади к своему племяннику.

Павел взглянул орлом на Таню, взглянул на окно, за которым розовело утро, и в каком-то телячьем восторге, захлебываясь, начал речь:

— Товарищи! Да, я действительно есть коллективный сочинитель... — но вдруг от крепкого удара по затылку слетел с ног.

— Я те дам, как дядю за грудки брать! — крутя кулаком, дико хрипел над ним Федотыч. — Я те почту от всех присутствующих!..

На следующий день товарищ Васютин уехал в город. Вместе с ним исчезла и красotka Таня. Она сказала дома, что едет в город на фабрику, будет там работать и учиться на курса. В школе же после «Безвинной смерти Аннушки» недосчитались семи казенных стульев.

Павел Мохов от превратного удара судьбы — и спектакль не удался и Таню проворонил — долго грустил.

Его утешал пьяненький Федотыч.

— Ты, племяш, не серчай, что я те по шее приурезал, — шамкал он. — А вот ежели такие теятеры будем часто представлять, у нас не останется ни небели, ни девок.

— Ничего, дядя, все наладится... Вот только ученья во мне недостает, это факт. Поеду-ка я за просвещением в город. А как вернусь, уж вот спектакль загнем, уж вот загнем!.. И обязательно библиотеку устрою, чтоб наше Огрызово село было передовым...

И Павел Мохов направился в город на курсы избачей.

М. А. БУЛГАКОВ
СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ

У-у-у-у-у-гу-гуг-гуу! О, пляньте на меня, я погибаю. Вьюга в подворотне ревет мне отходную, и я вою с ней. Пропал я, пропал. Негодяй в грязном колпаке — повар столовой нормального питания служащих Центрального Совета Народного Хозяйства — плеснул кипятком и обварил мне левый бок. Какая гадина, а еще пролетарий. Господи боже мой — как больно! До костей проело кипятком. Я теперь вою, вою, да разве воем поможешь.

Чем я ему помешал? Неужели я обожру Совет Народного Хозяйства, если в помойке пороюсь? Жадная тварь! Вы пляньте когда-нибудь на его рожу: ведь он поперек себя шире. Вор с медной мордой. Ах, люди, люди. В полдень угостил меня колпак кипятком, а сейчас стемнело, часа четыре приблизительно пополудни, судя по тому, как луком пахнет из пожарной Пречистенской команды. Пожарные ужинают кашей, как вам известно. Но это — последнее дело, вроде грибов. Знакомые псы с Пречистенки, впрочем, рассказывали, будто бы на Неплинном в ресторане «Бар» жрут дежурное блюдо — грибы, соус пикан по 3 р.75 к. порция. Это дело на любителя все равно, что калошу лизать... У-у-у-у-у...

Бок болит нестерпимо, и даль моей карьеры видна мне совершенно отчетливо: завтра появятся язвы и, спрашивается, чем я их буду лечить?

Летом можно смотаться в Сокольники, там есть особенная, очень хорошая трава, а кроме того, нажрешься бесплатно колбасных головок, бумаги жирной набросают граждане, налижешься. И если бы не гримза какая-то, что поет на лугу при луне «Милая Аида» — так, что сердце падает, было бы отлично. А теперь куда пойдешь? Не били вас по заду сапогом? Били. Кирпичом по ребрам получали? Кушано достаточно. Все испытал, с судьбой своей мирюсь и, если плачу сейчас, то только от физической боли и холода, потому что дух мой еще не угас... Живуч собачий дух.

Но вот тело мое изломанное, битое, надругались над ним люди достаточно. Ведь главное что — как врезал он кипятком, под шерсть проело, и защиты, стало быть, для левого бока нет никакой. Я очень

легко могу получить воспаление легких, а, получив его, я, граждане, подохну с голоду. С воспалением легких полагается лежать на парадном ходе под лестницей, а кто же вместо меня, лежащего холостого пса, будет бегать по сорным ящикам в поисках питания? Прохватит легкое, поползу я на животе, ослабею, и любой спец пришибет меня палкой насмерть. И дворники с бляхами ухватят меня за ноги и выкинут на телегу...

Дворники из всех пролетариев — самая гнусная мразь. Человечьи очистки — самая низшая категория. Повар попадается разный. Например — покойный Влас с Пречистенки. Скольким он жизнь спас. Потому что самое главное во время болезни перехватить кус. И вот, бывало, говорят старые псы, махнет Влас кость, а на ней с осьмушку мяса. Царство ему небесное за то, что был настоящая личность, барский повар графов Толстых, а не из Совета Нормального питания. Что они там вытворяют в нормальном питании — уму собачьему непостижимо. Ведь они же, мерзавцы, из вонючей солонины щи варят, а те, бедняги, ничего и не знают. Бегут, жрут, лакают.

Иная машинисточка получает по IX разряду четыре с половиной червонца, ну, правда, любовник ей фильдеперсовы чулочки подарит. Да ведь сколько за этот фильдеперс ей издевательств надо вынести. Ведь он ее не каким-нибудь обыкновенным способом, а подвергает французской любви. Сволочи эти французы, между нами говоря. Хоть и лопают богато, и все с красным вином. Да... Прибежит машинисточка, ведь за 4,5 червонца в «Бар» не пойдешь. Ей и на кинематограф не хватает, а кинематограф у женщины единственное утешение в жизни. Дрожит, морщится, а лопает... Подумать только: 40 копеек из двух блюд, а они, оба эти блюда, и пятиалтынного не стоят, потому что остальные 25 копеек завхоз уворовал. А ей разве такой стол нужен? У нее и верхушка правого легкого не в порядке, и женская болезнь на французской почве, на службе с нее вычли, тухлятиной в столовой накормили, вот она, вот она... Бежит в подворотню в любовниковых чулках. Ноги холодные, в живот дует, потому что шерсть на ней вроде моей, а штаны она носит холодные, одна кружевная видимость. Рвань для любовника. Надень-ка она фланелевые, попробуй, он и заорет: до чего ты неизящна! Надоела мне моя Матрена, намучился я с фланелевыми штанами, теперь пришло мое времечко. Я теперь председатель, и сколько ни накраду —

все на женское тело, на раковые шейки, на Абрау-Дюрсо. Потому что наголодался я в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует.

Жаль мне ее, жаль! Но самого себя мне еще больше жаль. Не из эгоизма говорю, о нет, а потому что мы действительно не в равных условиях. Ей-то хоть дома тепло, ну а мне, а мне... Куда пойду? У-у-у-у-у!..

— Куть, куть, куть! Шарик, а Шарик... Чего ты скулишь, бедняжка? Кто тебя обидел? Ух...

Ведьма сухая метель загремела воротами и помелом съездила по уху барышню. Юбчонку взбила до колен, обнажила кремовые чулочки и узкую полосочку плохо стиранного кружевного бельишка, задушила слова и замела пса.

Боже мой... Какая погода... Ух... И живот болит. Это солонина, это солонина! И когда же это все кончится?

Наклонив голову, бросилась барышня в атаку, прорвалась в ворота, и на улице начало ее вертеть, вертеть, раскидывать, потом завинтило снежным винтом, и она пропала.

А пес остался в подворотне и, страдая от изуродованного бока, прижался к холодной стене, задохся и твердо решил, что больше отсюда никуда не пойдет, тут и сдохнет в подворотне. Отчаяние повалило его. На душе у него было до того больно и горько, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слезы, как пупырышки, вылезали из глаз и тут же засыхали. Испорченный бок торчал свалявшимися промерзшими комьями, а между ними глядели красные зловещие пятна обвара. До чего бессмысленны, тупы, жестоки повара. «Шарик» — она назвала его... Какой он к черту «Шарик»? Шарик — это значит круглый, упитанный, глупый, овсянку жрет, сын знатных родителей, а он лохматый, долговязый и рваный, шляйка поджарая, бездомный пес. Впрочем, спасибо на добром слове.

Дверь через улицу в ярко освещенном магазине хлопнула и из нее показался гражданин. Именно гражданин, а не товарищ, и даже — вернее всего — господин. Ближе — яснее — господин. Вы думаете, я сужу по пальто? Вздор. Пальто теперь очень многие и из пролетариев носят. Правда, воротники не такие, об этом и говорить нечего, но все же издали можно спутать. А вот по глазам — тут уж и вблизи и издали не спутаешь. О, глаза значительная вещь. Вроде барометра. Все

видно — у кого великая сушь в душе, кто ни за что ни про что может ткнуть носком сапога в ребра, а кто сам всякого боится. Вот последнего холуя именно и приятно бывает тяпнуть за лодыжку. Боишься — получай. Раз боишься — значит стоишь... р-р-р... гау-гау...

Господин уверенно пересек в столбе метели улицу и двинулся в подворотню. Да, да, у этого все видно. Этот тухлой солонины лопать не станет, а если где-нибудь ему ее и подадут, поднимет такой скандал, в газеты напишет: меня, Филиппа Филипповича, обкормили.

Вот он все ближе и ближе. Этот ест обильно и не ворует, этот не станет пинать ногой, но и сам никого не боится, а не боится потому, что вечно сыт. Он умственного труда господин, с французской остроконечной бородкой и усами седыми, пушистыми и лихими, как у французских рыцарей, но запах по метели от него летит скверный — больницей. И сигарой.

Какого же лешего, спрашивается, носило его в кооператив Центрохоза? Вот он рядом... Чего ищет? У-у-у-у... Что он мог покупать в дрянном магазинишке, разве ему мало Охотного ряда? Что такое? Кол-ба-су. Господин, если бы вы видели, из чего эту колбасу делают, вы бы близко не подошли к магазину. Отдайте ее мне.

Пес собрал остаток сил и в безумии пополз из подворотни на тротуар. Вьюга захлопала из ружья над головой, взметнула громадные буквы полотняного плаката «Возможно ли омоложение?».

Натурально, возможно. Запах омолодил меня, поднял с брюха, жгучими волнами стеснил двое суток пустующий желудок, запах, победивший больницу, райский запах рубленой кобылы с чесноком и перцем. Чувствую, знаю — в правом кармане шубы у него колбаса. Он надо мной. О, мой властитель! Глянь на меня. Я умираю. Рабская наша душа, подлая доля!

Пес пополз, как змея, на брюхе, обливаясь слезами. Обратите внимание на поварскую работу. Но ведь вы ни за что не дадите. Ох, знаю я очень хорошо богатых людей! А в сущности — зачем она вам? Для чего вам гнилая лошадь? Нигде кроме такой отравы не получите, как в Моссельпроме. А вы сегодня завтракали, вы, величина мирового значения, благодаря мужским половым железам. У-у-у-у... Что же это делается на белом свете? Видно, помирать-то еще рано, а отчаяние — и подлинно грех. Руки ему лизать, больше ничего не остается.

Загадочный господин наклонился к псу, сверкнул золотыми ободками глаз и вытащил из правого кармана белый продолговатый сверток. Не снимая коричневых перчаток, размотал бумагу, которой тотчас же овладела метель, и отломил кусок колбасы, называемой «Особенная краковская». И псу этот кусок. О, бескорыстная личность! У-у-у!

— Фить-фить, — посвистал господин и добавил строгим голосом: — Бери! Шарик, Шарик!

Опять Шарик. Окрестили. Да называйте как хотите. За такой исключительный ваш поступок.

Пес мгновенно оборвал кожуру, с всхлипыванием вгрызся в краковскую и сожрал ее в два счета. При этом подавился колбасой и снегом до слез, потому что от жадности едва не заглотал веревочку. Еще, еще лижу вам руку. Целую штаны, мой благодетель!

— Будет пока что... — господин говорил так отрывисто, точно командовал. Он наклонился к Шарик, пытливо глянул ему в глаза и неожиданно провел рукой в перчатке интимно и ласково по Шарикову животу.

— А-га, — многозначительно молвил он, — ошейника нету, ну вот и прекрасно, тебя-то мне и надо. Ступай за мной. — Он пощелкал пальцами. — Фить-фить!

За вами идти? Да на край света. Пинайте меня вашими фетровыми ботиками, я слова не вымолвлю.

По всей Пречистенке сияли фонари. Бок болел нестерпимо, но Шарик временами забывал о нем, поглощенный одной мыслью — как бы не утратить в суতোлке чудесного видения в шубе и чем-нибудь выразить ему любовь и преданность. И раз семь на протяжении Пречистенки до Обухова переулка он ее выразил. Поцеловал в ботик, у Мертвого переулка, расчищая дорогу, диким воем так напугал какую-то даму, что она села на тумбу, раза два подвыл, чтобы поддержать жалость к себе.

Какой-то сволочной, под сибирского деланный кот-бродяга вынырнул из-за водосточной трубы и, несмотря на вьюгу, учуял краковскую. Шарик света не взвидел при мысли, что богатый чудак, подбирающий раненых псов в подворотне, чего доброго и этого вора прихватит с собой, и придется делиться моссельпромским изделием. Поэтому на кота он так лязгнул зубами, что тот с

шипением, похожим на шипение дырявого шланга, забрался по трубе до второго этажа. — Ф-р-р-р... гау! Вон! Не напасешься Моссельпрома на всякую рвань, шляющуюся по Пречистенке.

Господин оценил преданность и у самой пожарной команды, у окна, из которого слышалось приятное ворчание валторны, наградил пса вторым куском поменьше, золотников на пять.

Эх, чудак. Подманивает меня. Не беспокойтесь! Я и сам никуда не уйду. За вами буду двигаться куда ни прикажете.

— Фить-фить-фить! Сюда!

В Обухов? Сделайте одолжение. Очень хорошо известен нам этот переулок.

Фить-фить! Сюда? С удова... Э, нет, позвольте. Нет. Тут швейцар. А уж хуже этого ничего на свете нет. Во много раз опаснее дворника. Совершенно ненавистная порода. Гаже котов. Живодер в позументе.

— Да не бойся, ты, иди.

— Здравия желаю, Филипп Филиппович.

— Здравствуй, Федор.

Вот это — личность. Боже мой, на кого же ты нанесла меня, собачья моя доля! Что это за такое лицо, которое может псов с улицы мимо швейцаров вводить в дом жилищного товарищества? Посмотрите, этот подлец — ни звука, ни движения! Правда, в глазах у него пасмурно, но, в общем, он равнодушен под околышем с золотыми галунами. Словно так и полагается. Уважает, господа, до чего уважает! Ну-с, а я с ним и за ним. Что, тронул? Выкуси. Вот бы тяпнуть за пролетарскую мозолистую ногу. За все издевательства вашего брата. Щеткой сколько раз морду уродовал мне, а?

— Иди, иди.

Понимаем, понимаем, не извольте беспокоиться. Куда вы, туда и мы. Вы только дорожку указывайте, а я уж не отстану, несмотря на отчаянный мой бок.

С лестницы вниз:

— Писем мне, Федор, не было?

Снизу на лестницу почтительно:

— Никак нет, Филипп Филиппович (интимно вполголоса вдогонку), — а в третью квартиру жилтоварищей вселили.

Важный песий благотворитель круто обернулся на ступеньке и, перегнувшись через перила, в ужасе спросил:

— Ну-у?

Глаза его округлились и усы встали дыбом.

Швейцар снизу задрал голову, приладил ладошку к губам и подтвердил:

— Точно так, целых четыре штуки.

— Боже мой! Воображаю, что теперь будет в квартире. Ну и что ж они?

— Да ничего-с.

— А Федор Павлович?

— За ширмами поехали и за кирпичом. Перегородки будут ставить.

— Черт знает, что такое!

— Во все квартиры, Филипп Филиппович, будут вселять, кроме вашей. Сейчас собрание было, выбрали новое товарищество, а прежних — в шею.

— Что делается. Ай-яй-яй... Фить-фить.

Иду-с, поспеваю. Бок, изволите ли видеть, дает себя знать. Разрешите лизнуть сапожок.

Галун швейцара скрылся внизу. На мраморной площадке повеяло теплом от труб, еще раз повернули, и вот — бельэтаж.

II

Учиться читать совершенно ни к чему, когда мясо и так пахнет за версту. Тем не менее, ежели вы проживаете в Москве, и хоть какие-нибудь мозги у вас в голове имеются, вы волей-неволей научитесь грамоте, притом безо всяких курсов. Из сорока тысяч московских псов разве уж какой-нибудь совершенный идиот не сумеет сложить из букв слово «колбаса».

Шарик начал учиться по цветам. Лишь только исполнилось ему четыре месяца, по всей Москве развесили зелено-голубые вывески с надписью МСПО — мясная торговля. Повторяем, все это ни к чему, потому что и так мясо слышно. И путаница раз произошла: равняясь по голубоватому едкому цвету, Шарик, обоняние которого зашиб бензинным дымом мотор, вкатил вместо мясной в магазин электрических принадлежностей братьев Голубизнер на Мясницкой улице. Там у братьев пес отведаль изолированной проволоки, а она будет почище извозчичьего кнута. Этот знаменитый момент и следует считать началом шариковского образования. Уже на тротуаре тут же Шарик начал соображать, что «голубой» не всегда означает «мясной» и, зажимая от жгучей боли хвост между задними лапами и воя, припомнил, что на всех мясных первой слева стоит золотая или рыжая раскоряка, похожая на санки.

Далее, пошло еще успешней. «А» он выучил в «Главрыбе» на углу Моховой, потом и «Б» — подбегать ему было удобнее с хвоста слова «рыба», потому что при начале слова стоял милиционер.

Изразцовые квадратики, облицовывавшие угловые места в Москве, всегда и неизбежно означали «С-ы-р». Черный кран от самовара, возглавлявший слово, обозначал бывшего хозяина Чичкина, горы голландского красного, зверей приказчиков, ненавидевших собак, опилки на полу и гнуснейший, дурно пахнущий бакштейн.

Если играли на гармошке, что было немногим лучше «Милой Аиды», и пахло сосисками, первые буквы на белых плакатах чрезвычайно удобно складывались в слово «неприли...», что означало «неприличными словами не выражаться и на чай не давать». Здесь

порою винтом закипали драки, людей били кулаком по морде, правда, в редких случаях, псов же постоянно — салфетками или сапогами.

Если в окнах висели несвежие окорока ветчины и лежали мандарины... гау-гау... га... строномия. Если темные бутылки с плохой жидкостью... Ве-и-ви-на-а-вина... Елисеевы братья бывшие.

Неизвестный господин, притащивший пса к дверям своей роскошной квартиры, помещавшейся в бельэтаже, позвонил, а пес тотчас поднял глаза на большую, черную с золотыми буквами карточку, висящую сбоку широкой, застекленной волнистым и розовым стеклом двери. Три первых буквы он сложил сразу: «Пэ-ер-о — Про». Но дальше шла пузатая двубокая дрянь, неизвестно что означающая. «Неужто пролетарий»? — подумал Шарик с удивлением... — «Быть этого не может». Он поднял нос кверху, еще раз обнюхал шубу и уверенно подумал: «Нет, здесь пролетарием не пахнет. Ученое слово, а бог его знает — что оно значит».

За розовым стеклом вспыхнул неожиданный и радостный свет, еще более оттенив черную карточку. Дверь совершенно бесшумно распахнулась, и молодая красивая женщина в белом фартучке и кружевной наkolке предстала перед псом и его господином. Первого из них обдало божественным теплом, и юбка женщины запахла, как ландыш.

«Вот это да, это я понимаю», — подумал пес.

— Пожалуйста, господин Шарик, — иронически пригласил господин, и Шарик благоговейно пожаловал, вертя хвостом.

Великое множество предметов загромождало богатую переднюю. Тут же запомнилось зеркало до самого пола, немедленно отразившее второго истасканного и рваного Шарика, страшные олени рога в высоте, бесчисленные шубы и галоши и опаловый тюльпан с электричеством под потолком.

— Где же вы такого взяли, Филипп Филиппович? — улыбаясь, спрашивала женщина и помогала снимать тяжелую шубу на чернобурой лисе с синеватой искрой. — Батюшки! До чего паршивый!

— Вздор говоришь. Где паршивый? — строго и отрывисто спрашивал господин.

По снятии шубы он оказался в черном костюме английского сукна, и на животе у него радостно и неярко сверкала золотая цепь.

— Погоди-ка, не вертись, фить... да не вертись, дурачок. Гм!.. Это не парши... да стой ты, черт... Гм! А-а. Это ожог. Какой же негодяй тебя обварил? А? Да стой ты смирно!..

«Повар-каторжник, повар!» — жалобными глазами молвил пес и слегка подвыл.

— Зина, — скомандовал господин, — в смотровую его сейчас же и мне халат.

Женщина посвистала, пощелкала пальцами, и пес, немного поколебавшись, последовал за ней. Они вдвоем попали в узкий, тускло освещенный коридор, одну лакированную дверь миновали, пришли в конец, а затем попали налево и оказались в темной камере, которая мгновенно не понравилась псу своим зловещим запахом. Тьма щелкнула и превратилась в ослепительный день, причем со всех сторон засверкало, засияло и забелело.

«Э, нет... — мысленно завыл пес, — извините, не дамся! Понимаю, о черт бы взял их с их колбасой. Это меня в собачью лечебницу заманили. Сейчас касторку заставят жрать и весь бок изрежут ножиками, а до него и так дотронуться нельзя!»

— Э, нет, куда?! — закричала та, которую называли Зиной.

Пес извернулся, спружинился и вдруг ударил в дверь здоровым боком так, что хрястнуло по всей квартире. Потом, отлетел назад, закрутился на месте, как кубарь под кнутом, причем вывернул на пол белое ведро, из которого разлетелись комья ваты. Во время верчения кругом него порхали стены, уставленные шкафами с блестящими инструментами, запрыгал белый передник и искаженное женское лицо.

— Куда ты, черт лохматый?.. — кричала отчаянно Зина. — Вот окаянный!

«Где у них черная лестница?..» — соображал пес. Он размахнулся и комком ударил наобум в стекло, в надежде, что это вторая дверь. Туча осколков вылетела с громом и звоном, выпрыгнула пузатая банка с рыжей гадостью, которая мгновенно залила весь пол и завоняла. Настоящая дверь распахнулась.

— Стой, с-скотина, — кричал господин, прыгая в халате, надетом на один рукав, и хватая пса за ноги, — Зина, держи его за шиворот, мерзавца.

— Ба... Батюшки, вот так пес!

Еще шире распахнулась дверь, и ворвалась еще одна личность мужского пола в халате. Давя битые стекла, она кинулась не ко псу, а к шкафу, раскрыла его и всю комнату наполнила сладким и тошным запахом. Затем личность навалилась на пса сверху животом, причем пес с увлечением тянул ее повыше шнурков на ботинке. Личность охнула, но не потерялась. Тошнотворная жидкость перехватила дыхание пса, и в голове у него завертелось, потом ноги отвалились и он поехал куда-то криво вбок. «Спасибо, конечно, — мечтательно подумал он, валясь прямо на острые стекла. — Прощай, Москва! Не видать мне больше Чичкина и пролетариев и краковской колбасы. Иду в рай за собачье долготерпение. Братцы, живодеры, за что же вы меня?»

И тут он окончательно завалился на бок и издох.

* * *

Когда он воскрес, у него легонько кружилась голова и чуть-чуть тошнило в животе, бока же как будто не было, бок сладостно молчал. Пес приоткрыл правый томный глаз и краем его увидел, что он туго забинтован поперек боков и живота. «Все-таки отделали, сукины дети, — подумал он смутно, — но ловко, надо отдать им справедливость».

— От Севильи до Гренады... в тихом сумраке ночей, — запел над ним рассеянный и фальшивый голос.

Пес удивился, совсем открыл оба глаза и в двух шагах увидел мужскую ногу на белом табурете. Штанина и кальсоны на ней были поддернуты, и голая желтая голень вымазана засохшей кровью и йодом.

«Угодники! — подумал пес, — это, стало быть, я его куснул. Моя работа. Ну, будут драть!»

— Р-раздаются серенады, раздается стук мечей! Ты зачем, бродяга, доктора укусил? А? Зачем стекло разбил? А?

— У-у-у, — жалобно заскулил пес.

— Ну, ладно, опомнился и лежи, болван.

— Как это вам удалось, Филипп Филиппович, подманить такого нервного пса? — спросил приятный мужской голос и триковая

кальсона откатилась книзу. Запахло табаком, и в шкафу зазвенели склянки.

— Лаской-с. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделаться нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они напрасно думают, что террор им поможет. Нет-с, нет-с, не поможет, какой бы он ни был: белый, красный и даже коричневый! Террор совершенно парализует нервную систему. Зина! Я купил этому прохвосту краковской колбасы на один рубль сорок копеек. Потрудитесь накормить его, когда его перестанет тошнить.

Захрустели выметаемые стекла, и женский голос кокетливо заметил:

— Краковской! Господи, да ему обрезков нужно было купить на двугривенный в мясной. Краковскую колбасу я сама лучше съем.

— Только попробуй. Я тебе съем! Это отравка для человеческого желудка. Взрослая девушка, а, как ребенок, тащишь в рот всякую гадость. Не смей! Предупреждаю: ни я, ни доктор Борменталь не будем с тобой возиться, когда у тебя живот схватит... «Всех, кто скажет, что другая здесь сравняется с тобой...».

Мягкие дробные звоночки сыпались в это время по всей квартире, а в отдалении из передней то и дело слышались голоса. Звенел телефон. Зина исчезла.

Филипп Филиппович бросил окурок папиросы в ведро, застегнул халат, перед зеркальцем на стене расправил пушистые усы и окликнул пса:

— Фить, фить. Ну, ничего, ничего. Идем принимать.

Пес поднялся на нетвердые ноги, покачался и подрожал, но быстро оправился и пошел следом за развевающейся полой Филиппа Филипповича. Опять пес пересек узкий коридор, но теперь увидел, что он ярко освещен сверху розеткой. Когда же открылась лакированная дверь, он вошел с Филиппом Филипповичем в кабинет, и тот ослепил пса своим убранством. Прежде всего он весь полыхал светом: горело под лепным потолком, горело на столе, горело на стене, в стеклах шкафов. Свет заливал целую бездну предметов, из которых самым занятым оказалась громадная сова, сидящая на стене на суку.

— Ложись, — приказал Филипп Филиппович.

Противоположная резная дверь открылась, вошел тот, тятнутый, оказавшийся теперь в ярком свете очень красивым, молодым, с острой бородкой, подал лист и молвил:

— Прежний...

Тотчас бесшумно исчез, а Филипп Филиппович, распростерши полы халата, сел за громадный письменный стол и сразу сделался необыкновенно важным и представительным.

«Нет, это не лечебница, куда-то в другое место я попал, — в смятении подумал пес и привалился на ковровый узор у тяжелого кожаного дивана, — а сову эту мы разьясним...»

Дверь мягко открылась, и вошел некто, настолько поразивший пса, что он тьякнул, но очень робко...

— Молчать! Ба-ба, да вас узнать нельзя, голубчик.

Вошедший очень почтительно и смущенно поклонился Филипп Филипповичу.

— Хи-хи! Вы маг и чародей, профессор, — сконфуженно вымолвил он.

— Снимайте штаны, голубчик, — скомандовал Филипп Филиппович и поднялся.

«Господи Иисусе, — подумал пес, — вот так фрукт!»

На голове у фрукта росли совершенно зеленые волосы, а на затылке они отливали в ржавый табачный цвет, морщины расползались на лице у фрукта, но цвет лица был розовый, как у младенца. Левая нога не сгибалась, ее приходилось волочить по ковру, зато правая прыгала, как у детского шелкуна. На борту великолепнейшего пиджака, как глаз, торчал драгоценный камень.

От интереса у пса даже прошла тошнота.

Тяу, тяу!.. — он легонько потявкал.

— Молчать! Как сон, голубчик?

— Хе-хе. Мы одни, профессор? Это неопишимо, — конфузливо заговорил посетитель. — Пароль д'оннер ^[21]— 25 лет ничего подобного, — субъект взялся за пуговицу брюк, — верите ли, профессор, каждую ночь обнаженные девушки стаями. Я положительно очарован. Вы — кудесник.

— Хм, — озабоченно хмыкнул Филипп Филиппович, всматриваясь в зрачки гостя.

Тот совладал, наконец, с пуговицами и снял полосатые брюки. Под ними оказались невиданные никогда кальсоны. Они были кремового цвета, с вышитыми на них шелковыми черными кошками и пахли духами.

Пес не выдержал кошек и гавкнул так, что субъект подпрыгнул.

— Ай!

— Я тебя выдеру! Не бойтесь, он не кусается.

«Я не кусаюсь?» — удивился пес.

Из кармана брюк вошедший выронил на ковер маленький конвертик, на котором была изображена красавица с распущенными волосами. Субъект подпрыгнул, наклонился, подобрал ее и густо покраснел.

— Вы, однако, смотрите, — предостерегающе и хмуро сказал Филипп Филиппович, грозя пальцем, — все-таки, смотрите, не злоупотребляйте!

— Я не зло... — смущенно забормотал субъект, продолжая раздеваться, — я, дорогой профессор, только в виде опыта.

— Ну и что же? Какие результаты? — строго спросил Филипп Филиппович.

Субъект в экстазе махнул рукой.

— 25 лет, клянусь богом, профессор, ничего подобного. Последний раз в 1899-м году в Париже на Рю де ла Пэ.

— А почему вы позеленели?

Лицо пришельца затуманилось.

— Проклятая Жиркость!. Вы не можете себе представить, профессор, что эти бездельники подсунули мне вместо краски. Вы только поглядите, бормотал субъект, ища глазами зеркало. — Им морду нужно бить! — свирепая, добавил он. — Что же мне теперь делать, профессор? — спросил он плаксиво.

— Хм, обрейтесь наголо.

— Профессор, — жалобно восклицал посетитель, — да ведь они опять седые вырастут. Кроме того, мне на службу носа нельзя будет показать, я и так уже третий день не езжу. Эх, профессор, если бы вы открыли способ, чтобы и волосы омолаживать!

— Не сразу, не сразу, мой дорогой, — бормотал Филипп Филиппович.

Наклоняясь, он блестящими глазами исследовал голый живот пациента:

— Ну, что ж, — прелестно, все в полном порядке. Я даже не ожидал, сказать по правде, такого результата. «Много крови, много песен...». Одевайтесь, голубчик!

— «Я же той, что всех прелестней!..» — дребезжащим, как сковорода, голосом подпел пациент и, сияя, стал одеваться. Приведя себя в порядок, он, подпрыгивая и распространяя запах духов, отсчитал Филиппу Филипповичу пачку белых денег и нежно стал жать ему обе руки.

— Две недели можете не показываться, — сказал Филипп Филиппович, — но все-таки прошу вас: будьте осторожны.

— Профессор! — из-за двери в экстазе воскликнул голос, — будьте совершенно спокойны, — он сладостно хихикнул и пропал.

Рассыпной звонок пролетел по квартире, лакированная дверь открылась, вошел тятнутый, вручил Филиппу Филипповичу листок и заявил:

— Годы показаны неправильно. Вероятно, 54–55. Тоны сердца глуховаты.

Он исчез и сменился шуршащей дамой в лихо заломленной набок шляпе и со сверкающим колье на вялой и жеваной шее. Страшные черные мешки висели у нее под глазами, а щеки были кукольно-румяного цвета. Она сильно волновалась.

— Сударыня! Сколько вам лет? — очень сурово спросил ее Филипп Филиппович.

Дама испугалась и даже побледнела под коркой румян.

— Я, профессор, клянусь, если бы вы знали, какая у меня драма!..

— Лет вам сколько, сударыня? — еще суровее повторил Филипп Филиппович.

— Честное слово... Ну, сорок пять...

— Сударыня, — возопил Филипп Филиппович, — меня ждут. Не задерживайте, пожалуйста. Вы же не одна!

Грудь дамы бурно вздымалась.

— Я вам одному, как светилу науки. Но клянусь — это такой ужас...

— Сколько вам лет? — яростно и визгливо спросил Филипп Филиппович, и очки его блеснули.

— Пятьдесят один! — корчась от страху, ответила дама.

— Снимайте штаны, сударыня, — облегченно молвил Филипп Филиппович и указал на высокий белый эшафот в углу.

— Клянусь, профессор, — бормотала дама, дрожащими пальцами расстегивая какие-то кнопки на поясе, — этот Мориц... Я вам признаюсь, как на духу...

— От Севильи до Гренады... — рассеянно запел Филипп Филиппович и нажал педаль в мраморном умывальнике. Зашумела вода.

— Клянусь богом! — говорила дама, и живые пятна сквозь искусственные продирались на ее щеках. — Я знаю — это моя последняя страсть. Ведь это такой негодяй! О, профессор! Он карточный шулер, это знает вся Москва. Он не может пропустить ни одной гнусной модистки. Ведь он так дьявольски молод. — Дама бормотала и выбрасывала из-под шумящих юбок скомканный кружевной клочок.

Пес совершенно затуманился, и все в голове у него пошло кверху ногами.

«Ну вас к черту, — мутно подумал он, положив голову на лапы и задремав от стыда, — и стараться не буду понять, что это за штука — все равно не пойму».

Очнулся он от звона и увидел, что Филипп Филиппович швырнул в таз какие-то сияющие трубки.

Пятнистая дама, прижимая руки к груди, с надеждой глядела на Филиппа Филипповича. Тот важно нахмурился и, сев за стол, что-то записал.

— Я вам, сударыня, вставляю яичники обезьяны, — объявил он и посмотрел строго.

— Ах, профессор, неужели обезьяны?

— Да, — непреклонно ответил Филипп Филиппович.

— Когда же операция? — бледнея и слабым голосом спрашивала дама.

— От Севильи до Гренады... Угм... в понедельник. Ляжете в клинику с утра. Мой ассистент приготовит вас.

— Ах, я не хочу в клинику. Нельзя ли у вас, профессор?

— Видите ли, у себя я делаю операции лишь в крайних случаях. Это будет стоить очень дорого — 50 червонцев.

— Я согласна, профессор!

Опять загремела вода, колыхнулась шляпа с перьями, потом появилась лысая, как тарелка, голова и обняла Филиппа Филипповича. Пес дремал, тошнота прошла, пес наслаждался утихшим боком и теплом, даже всхрапнул и успел увидеть кусочек приятного сна: будто бы он вырвал у совы целый пук перьев из хвоста... потом взволнованный голос тьякнул над головой.

— Я слишком известен в Москве, профессор. Что же мне делать?

— Господа, — возмущенно кричал Филипп Филиппович, — нельзя же так! Нужно сдерживать себя. Сколько ей лет?

— Четырнадцать, профессор... Вы понимаете, огласка погубит меня. На днях я должен получить заграничную командировку.

— Да ведь я же не юрист, голубчик... Ну, подождите два года и женитесь на ней.

— Женат я, профессор.

— Ах, господа, господа!

Двери открывались, сменялись лица, гремели инструменты в шкафе, и Филипп Филиппович работал, не покладая рук.

«Похабная квартирка, — думал пес, — но до чего хорошо! А на какого черта я ему понадобился? Неужели же жить оставит? Вот чудак! Да ведь ему только глазом мигнуть, он таким бы псом обзавелся, что ахнуть! А может, я и красивый. Видно, мое счастье! А сова эта дрянь... Наглая».

Окончательно пес очнулся глубоким вечером, когда звоночки прекратились, и как раз в то мгновение, когда дверь впустила особенных посетителей. Их было сразу четверо. Все молодые люди, и все одеты очень скромно.

«Этим что нужно?» — удивленно подумал пес. Гораздо более неприязненно встретил гостей Филипп Филиппович. Он стоял у письменного стола и смотрел на вошедших, как полководец на врагов. Ноздри его ястребиного носа раздувались. Вошедшие топтались на ковре.

— Мы к вам, профессор, — заговорил тот из них, у кого на голове возвышалась на четверть аршина копна густейших вьющихся волос, — вот по какому делу...

— Вы, господа, напрасно ходите без калош в такую погоду, — перебил его наставительно Филипп Филиппович, — во-первых, вы

простудитесь, а во-вторых, вы наследили мне на коврах, а все ковры у меня персидские.

Тот, с копной, умолк и все четверо в изумлении уставились на Филиппа Филипповича. Молчание продолжалось несколько секунд и прервал его лишь стук пальцев Филиппа Филипповича по расписному деревянному блюду на столе.

— Во-первых, мы не господа, — молвил, наконец, самый юный из четверых, персикового вида.

— Во-первых, — перебил его Филипп Филиппович, — вы мужчина или женщина?

Четверо вновь смолкли и открыли рты. На этот раз опомнился первый, тот, с копной.

— Какая разница, товарищ? — спросил он горделиво.

— Я — женщина, — признался персиковый юноша в кожаной куртке и сильно покраснел. Вслед за ним покраснел почему-то густейшим образом один из вошедших — блондин в папаче.

— В таком случае вы можете оставаться в кепке, а вас, милостивый государь, прошу снять ваш головной убор, — внушительно сказал Филипп Филиппович.

— Я вам не милостивый государь, — резко заявил блондин, снимая папачу.

— Мы пришли к вам, — вновь начал черный с копной.

— Прежде всего — кто это мы?

— Мы — новое домоуправление нашего дома, — в сдержанной ярости заговорил черный. — Я — Швондер, она — Вяземская, он — товарищ Пеструхин и Жаровкин. И вот мы...

— Это вас вселили в квартиру Федора Павловича Саблина?

— Нас, — ответил Швондер.

— Боже, пропал Калабуховский дом! — в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и всплеснул руками.

— Что вы, профессор, смеетесь?

— Какое там смеюсь?! Я в полном отчаянии, — крикнул Филипп Филиппович, — что же теперь будет с паровым отоплением?

— Вы издеваетесь, профессор Преображенский?

— По какому делу вы пришли ко мне? Говорите как можно скорее, я сейчас иду обедать.

— Мы, управление дома, — с ненавистью заговорил Швондер, — пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома...

— Кто на ком стоял? — крикнул Филипп Филиппович, — потрудитесь излагать ваши мысли яснее.

— Вопрос стоял об уплотнении.

— Довольно! Я понял! Вам известно, что постановлением от 12 сего августа моя квартира освобождена от каких бы то ни было уплотнений и переселений?

— Известно, — ответил Швондер, — но общее собрание, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную. Вы один живете в семи комнатах.

— Я один живу и работаю в семи комнатах, — ответил Филипп Филиппович, — и желал бы иметь восьмую. Она мне необходима под библиотеку.

Четверо онемели.

— Восьмую! Э-хе-хе, — проговорил блондин, лишенный головного убора, — однако, это здорово.

— Это неописуемо! — воскликнул юноша, оказавшийся женщиной.

— У меня приемная — заметьте — она же библиотека, столовая, мой кабинет — 3. Смотровая — 4. Операционная — 5. Моя спальня — 6 и комната прислуги — 7. В общем, не хватает... Да, впрочем, это неважно. Моя квартира свободна, и разговору конец. Могу я идти обедать?

— Извиняюсь, — сказал четвертый, похожий на крепкого жука.

— Извиняюсь, — перебил его Швондер, — вот именно по поводу столовой и смотровой мы и пришли поговорить. Общее собрание просит вас добровольно, в порядке трудовой дисциплины, отказаться от столовой. Столовых нет ни у кого в Москве.

— Даже у Айседоры Дункан, — звонко крикнула женщина.

С Филиппом Филипповичем что-то сделалось, вследствие чего его лицо нежно побагровело, и он не произнес ни одного звука, выжидая, что будет дальше.

— И от смотровой также, — продолжал Швондер, — смотровую прекрасно можно соединить с кабинетом.

— Угу, — молвил Филипп Филиппович каким-то странным голосом, — а где же я должен принимать пищу?

— В спальне, — хором ответили все четверо.

Багровость Филиппа Филипповича приняла несколько сероватый оттенок.

— В спальне принимать пищу, — заговорил он слегка придушенным голосом, — в смотровой читать, в приемной одеваться, оперировать в комнате прислуги, а в столовой осматривать. Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а кроликов режет в ванной. Может быть. Но я не Айседора Дункан!.. — вдруг рявкнул он, и багровость его стала желтой. — Я буду обедать в столовой, оперировать в операционной! Передайте это общему собранию, и покорнейше вас прошу вернуться к вашим делам, а мне предоставить возможность принять пищу там, где ее принимают все нормальные люди, то-есть в столовой, а не в передней и не в детской.

— Тогда, профессор, ввиду вашего упорного противодействия, — сказал взволнованный Швондер, — мы подадим на вас жалобу в высшие инстанции.

— Ага, — молвил Филипп Филиппович, — так? — и голос его принял подозрительно вежливый оттенок. — Одну минуточку попрошу вас подождать.

«Вот это парень, — в восторге подумал пес, — весь в меня. Ох, тяпнет он их сейчас, ох, тяпнет. Не знаю еще — каким способом, но так тяпнет... Бей их! Этого голенастого взять сейчас повыше сапога за подколенное сухожилие... р-р-р...»

Филипп Филиппович, стукнув, снял трубку с телефона и сказал в нее так:

— Пожалуйста... Да... Благодарю вас. Петра Александровича попросите, пожалуйста. Профессор Преображенский. Петр Александрович? Очень рад, что вас застал. Благодарю вас, здоров. Петр Александрович, ваша операция отменяется. Что? Совсем отменяется. Равно, как и все остальные операции. Вот почему: я прекращаю работу в Москве и вообще в России... Сейчас ко мне вошли четверо, из них одна женщина, переодетая мужчиной, и двое вооруженных револьверами, и терроризировали меня в квартире с целью отнять часть ее.

— Позвольте, профессор, — начал Швондер, меняясь в лице.

— Извините... У меня нет возможности повторить все, что они говорили. Я не охотник до бессмыслиц. Достаточно сказать, что они предложили мне отказаться от моей смотровой, другими словами, поставили меня в необходимость оперировать вас там, где я до сих пор резал кроликов. В таких условиях я не только не могу, но и не имею права работать. Поэтому я прекращаю деятельность, закрываю квартиру и уезжаю в Сочи. Ключи могу передать Швондеру. Пусть он оперирует.

Четверо застыли. Снег таял у них на сапогах.

— Что же делать... Мне самому очень неприятно... Как? О нет, Петр Александрович! О нет. Больше я так не согласен. Терпение мое лопнуло. Это уже второй случай с августа месяца. Как? Гм... Как угодно. Хотя бы. Но только одно условие: кем угодно, когда угодно, что угодно, но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая. Настоящая! Броня. Чтобы мое имя даже не упоминалось. Кончено. Я для них умер. Да, да. Пожалуйста. Кем? Ага... Ну, это другое дело. Ага... Хорошо. Сейчас передаю трубку. Будьте любезны, — змеиным голосом обратился Филипп Филиппович к Швондеру, — сейчас с вами будут говорить.

— Позвольте, профессор, — сказал Швондер, то вспыхивая, то угасая, — вы извратили наши слова.

— Попрошу вас не употреблять таких выражений.

Швондер растерянно взял трубку и молвил:

— Я слушаю. Да... Председатель домкома... Мы же действовали по правилам... Так у профессора и так совершенно исключительное положение... Мы знаем об его работах... Целых пять комнат хотели оставить ему... Ну, хорошо... Раз так... Хорошо...

Совершенно красный, он повесил трубку и повернулся.

«Как оплевал! Ну и парень! — восхищенно подумал пес. — Что он, слово, что ли, такое знает? Ну, теперь можете меня бить, как хотите, а я отсюда не уйду».

Трое, открыв рты, смотрели на оплеванного Швондера.

— Это какой-то позор! — несмело вымолвил тот.

— Если бы сейчас была дискуссия, — начала женщина, волнуясь и загораясь румянцем, — я бы доказала Петру Александровичу...

— Виноват, вы не сию минуту хотите открыть эту дискуссию? — вежливо спросил Филипп Филиппович.

Глаза женщины загорелись.

— Я понимаю вашу иронию, профессор, мы сейчас уйдем... Только я, как заведующий культотделом дома...

— За-ве-дующая, — поправил ее Филипп Филиппович.

— Хочу предложить вам, — тут женщина из-за пазухи вытащила несколько ярких и мокрых от снега журналов, — взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука.

— Нет, не возьму, — кратко ответил Филипп Филиппович, покосившись на журналы.

Совершенное изумление выразилось на лицах, а женщина покрылась клюквенным налетом.

— Почему же вы отказываетесь?

— Не хочу.

— Вы не сочувствуете детям Германии?

— Сочувствую.

— Жалеете по полтиннику?

— Нет.

— Так почему же?

— Не хочу.

Помолчали.

— Знаете ли, профессор, — заговорила девушка, тяжело вздохнув, — если бы вы не были европейским светилом и за вас не заступались бы самым возмутительным образом (блондин дернул ее за край куртки, но она отмахнулась) лица, которых, я уверена, мы еще разьясим, вас следовало бы арестовать.

— А за что? — с любопытством спросил Филипп Филиппович.

— Вы ненавистник пролетариата! — гордо сказала женщина.

— Да, я не люблю пролетариата, — печально согласился Филипп Филиппович и нажал кнопку. Где-то прозвенело. Открылась дверь в коридор.

— Зина, — крикнул Филипп Филиппович, — подавай обед. Вы позволите, господа?

Четверо молча вышли из кабинета, молча прошли приемную, молча переднюю и слышно было, как за ними закрылась тяжело и звучно парадная дверь.

Пес встал на задние лапы и сотворил перед Филиппом Филипповичем какой-то намаз.

III

На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймой лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри. На тяжелой доске кусок сыра со слезой, и в серебряной кадлушке, обложенной снегом, — икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками. Все эти предметы помещались на маленьком мраморном столике, уютно присоединившемся к громадному резного дуба буфету, изрыгающему пучки стеклянного и серебряного света. Посреди комнаты — тяжелый, как гробница, стол, накрытый белой скатертью, а на ней два прибора, салфетки, свернутые в виде папских тиар, и три темных бутылки.

Зина внесла серебряное крытое блюдо, в котором что-то ворчал. Запах от блюда шел такой, что рот пса немедленно наполнился жидкой слюной. «Сады Семирамиды»! — подумал он и застучал по паркету хвостом, как палкой.

— Сюда их, — хищно скомандовал Филипп Филиппович. — Доктор Борменталь, умоляю вас, оставьте икру в покое. И если хотите послушаться доброго совета, налейте не английской, а обыкновенной русской водки.

Красавец тяпнутый — он был уже без халата, в приличном черном костюме — передернул широкими плечами, вежливо ухмыльнулся и налил прозрачной.

— Новоблагословенная? — осведомился он.

— Бог с вами, голубчик, — отозвался хозяин. — Это спирт. Дарья Петровна сама отлично готовит водку.

— Не скажите, Филипп Филиппович, все утверждают, что очень приличная — 30 градусов.

— А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30, это во-первых, — наставительно перебил Филипп Филиппович, — а во-вторых, — бог их знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать — что им придет в голову?

— Все, что угодно, — уверенно молвил тяпнутый.

— И я того же мнения, — добавил Филипп Филиппович и вышвырнул одним комком содержимое рюмки себе в горло. — ... Мм... доктор Борменталь, умоляю вас, мгновенно эту штучку, и если вы скажете, что это... я ваш кровный враг на всю жизнь. От Севильи до Гренады...

Сам он с этими словами подцепил на лапчатую серебряную вилку что-то похожее на маленький темный хлебик. Укушенный последовал его примеру. Глаза Филиппа Филипповича засветились.

— Это плохо? — жуя, спрашивал Филипп Филиппович. — Плохо? Вы ответьте, уважаемый доктор.

— Это бесподобно, — искренно ответил тятнутый.

— Еще бы... Заметьте, Иван Арнольдович, холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Мало-мальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими. А из горячих московских закусок, — это первая. Когда-то их великолепно приготавливали в «Славянском Базаре». На, получай.

— Пса в столовой прикармливаете, — раздался женский голос, — а потом его отсюда калачом не выманишь.

— Ничего. Бедняга наголодался, — Филипп Филиппович на конце вилки подал псу закуску, принятую тем с фокусной ловкостью, и вилку с грохотом свалил в полоскательницу.

Засим от тарелок поднимался пахнувший раками пар; пес сидел в тени скатерти с видом часового у порохового склада. А Филипп Филиппович, заложив хвост тугой салфетки за воротничок, проповедовал:

— Еда, Иван Арнольдович, штука хитрая. Есть нужно уметь, а представьте себе — большинство людей вовсе есть не умеют. Нужно не только знать — что съесть, но и когда и как. (Филипп Филиппович многозначительно потряс ложкой). И что при этом говорить. Да-с. Если вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый совет — не говорите за обедом о большевизме и медицине. И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет.

— Гм... Да ведь других нет.

— Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвел 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», — теряли в весе.

— Гм... — с интересом отозвался тятнутый, розовея от супа и вина.

— Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетенное состояние духа.

— Вот черт...

— Да-с. Впрочем, что же это я? Сам же заговорил о медицине.

Филипп Филиппович, откинувшись, позвонил, и в вишневой портъере появилась Зина. Псу достался бледный и толстый кусок осетрины, которая ему не понравилась, а непосредственно за этим ломоть окровавленного ростбифа. Слопав его, пес вдруг почувствовал, что он хочет спать и больше не может видеть никакой еды. «Странное ощущение, — думал он, захлопывая отяжелевшие веки, — глаза бы мои не смотрели ни на какую пищу. А курить после обеда — это глупость».

Столовая наполнилась неприятным синим дымом. Пес дремал, уложив голову на передние лапы.

— Сен-Жюльен — приличное вино, — сквозь сон слышал пес, — но только ведь теперь же его нету.

Глухой, смягченный потолками и коврами, хорал донесся откуда-то сверху и сбоку.

Филипп Филиппович позвонил, и пришла Зина.

— Зинуша, что это такое значит?

— Опять общее собрание сделали, Филипп Филиппович, — ответила Зина.

— Опять! — горестно воскликнул Филипп Филиппович. — Ну, теперь, стало быть, пошло, пропал Калабуховский дом. Придется уезжать, но куда — спрашивается. Все будет как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет котел в паровом отоплении и так далее. Крышка Калабухову.

— Убивается Филипп Филиппович, — заметила, улыбаясь, Зина и унесла груды тарелок.

— Да ведь как не убиваться?! — возопил Филипп Филиппович. — Ведь это какой дом был — вы поймите!

— Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филиппович, — возразил красавец тятнутый, — они теперь резко изменились.

— Голубчик, вы меня знаете? Не правда ли? Я — человек фактов, человек наблюдения. Я — враг необоснованных гипотез. И это очень хорошо известно не только в России, но и в Европе. Если я что-нибудь говорю, значит, в основе лежит некий факт, из которого я делаю вывод. И вот вам факт: вешалка и калошная стойка в нашем доме.

— Это интересно...

«Ерунда — калоши. Не в калошах счастье, — подумал пес, — но личность выдающаяся».

— Не угодно ли — калошная стойка. С 1903 года я живу в этом доме. И вот, в течение этого времени до марта 1917 года не было ни одного случая — подчеркиваю красным карандашом **ни одного**, чтобы из нашего парадного внизу при общей незапертой двери пропала бы хоть одна пара калош. Заметьте, здесь 12 квартир, у меня прием. В марте 17-го в один прекрасный день пропали все калоши, в том числе две пары моих, 3 палки, пальто и самовар у швейцара. И с тех пор калошная стойка прекратила свое существование. Голубчик! Я не говорю уже о паровом отоплении. Не говорю. Пусть: раз социальная революция — не нужно топить. Но я спрашиваю: почему, когда началась вся эта история, все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице? Почему калоши нужно до сих пор еще запиравать под замок? И еще приставлять к ним солдата, чтобы кто-либо их не стащил? Почему убрали ковер с парадной лестницы? Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что 2-й подъезд Калабуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через черный двор? Кому это нужно? Почему пролетарий не может оставить свои калоши внизу, а пачкает мрамор?

— Да у него ведь, Филипп Филиппович, и вовсе нет калош, — заикнулся было тятнудый.

— Ничего похожего! — громовым голосом ответил Филипп Филиппович и налил стакан вина. — Гм... я не признаю ликеров после обеда: они тяжелят и скверно действуют на печень... Ничего подобного! На нем есть теперь калоши и эти калоши... мои! Это как раз те самые калоши, которые исчезли весной 1917 года. Спрашивается, кто их попер? Я? Не может быть. Буржуй Саблин? (Филипп Филиппович ткнул пальцем в потолок.) Смешно даже предположить. Сахарозаводчик Полозов? (Филипп Филиппович

указал вбок.) Ни в коем случае! Это сделали вот эти самые певуны! Да-с! Но хоть бы они их снимали на лестнице! (Филипп Филиппович начал багроветь.) На какого черта убрали цветы с площадок? Почему электричество, которое, дай бог памяти, тухло в течение 20-ти лет два раза, в теперешнее время аккуратно гаснет раз в месяц? Доктор Борменталь, статистика — ужасная вещь. Вам, знакомому с моей последней работой, это известно лучше, чем кому бы то ни было другому.

— Разруха, Филипп Филиппович.

— Нет, — совершенно уверенно возразил Филипп Филиппович, — нет. Вы первый, дорогой Иван Арнольдович, воздержитесь от употребления самого этого слова. Это — мираж, дым, фикция, — Филипп Филиппович широко растопырил короткие пальцы, отчего две тени, похожие на черепаха, заерзали по скатерти. — Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? — яростно спросил Филипп Филиппович у несчастной картонной утки, висящей кверху ногами рядом с буфетом, и сам же ответил за нее: — Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «бей разруху!» — я смеюсь. (Лицо Филиппа Филипповича перекосило так, что тяпнутый открыл рот.) Клянусь вам, мне смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займется чисткой сараев — прямым своим делом, — разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя! Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев! Это никому не удастся, доктор, и тем более — людям, которые, вообще отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор еще не совсем уверенно застегивают свои собственные штаны!

Филипп Филиппович вошел в азарт. Ястребиные ноздри его раздувались. Набравшись сил после сытного обеда, гремел он подобно

древнему пророку и голова его сверкала серебром.

Его слова на сонного пса падали точно глухой подземный гул. То сова с глупыми желтыми глазами выскакивала в сонном видении, то гнусная рожа повара в белом грязном колпаке, то лихой ус Филиппа Филипповича, освещенный резким электричеством от абажура, то сонные сани скрипели и пропадали, а в собачьем желудке варился, плавая в соку, истерзанный кусок ростбифа.

«Он бы прямо на митингах мог деньги зарабатывать, — мутно мечтал пес, — первоклассный деляга. Впрочем, у него и так, по-видимому, денег куры не клюют».

— Городовой! — кричал Филипп Филиппович. — Городовой! — «Угу-гу-гу!» — какие-то пузыри лопались в мозгу пса... — Городовой! Это и только это. И совершенно неважно — будет ли он с бляхой или же в красном кепи. Поставить городского рядом с каждым человеком и заставить этого городского умерить вокальные порывы наших граждан. Вы говорите — разруха. Я вам скажу, доктор, что ничто не изменится к лучшему в нашем доме, да и во всяком другом доме, до тех пор, пока не усмирят этих певцов! Лишь только они прекратят свои концерты, положение само собой изменится к лучшему.

— Контрреволюционные вещи вы говорите, Филипп Филиппович, — шутливо заметил тяпнутый, — не дай бог вас кто-нибудь услышит.

— Ничего опасного, — с жаром возразил Филипп Филиппович. — Никакой контрреволюции. Кстати, вот еще слово, которое я совершенно не выношу. Абсолютно неизвестно — что под ним скрывается? Черт его знает! Так я и говорю: никакой этой самой контрреволюции в моих словах нет. В них здравый смысл и жизненная опытность.

Тут Филипп Филиппович вынул из-за воротничка хвост блестящей изломанной салфетки и, скомкав, положил ее рядом с недопитым стаканом вина. Укушенный тотчас поднялся и поблагодарил: «Мерси».

— Минутку, доктор! — приостановил его Филипп Филиппович, вынимая из кармана брюк бумажник. Он прищурился, отсчитал белые бумажки и протянул их укушенному со словами: — Сегодня вам, Иван Арнольдович, 40 рублей причитается. Прошу.

Пострадавший от пса вежливо поблагодарил и, краснея, засунул деньги в карман пиджака.

— Я сегодня вечером не нужен вам, Филипп Филиппович? — осведомился он.

— Нет, благодарю вас, голубчик. Ничего делать сегодня не будем. Во-первых, кролик издох, а во-вторых, сегодня в большом — «Аида». А я давно не слышал. Люблю... Помните? Дуэт... Тари-ра-рим.

— Как это вы успеваете, Филипп Филиппович? — с уважением спросил врач.

— Успевает всюду тот, кто никуда не торопится, — назидательно объяснил хозяин. — Конечно, если бы я начал прыгать по заседаниям и распевать целый день, как соловей, вместо того, чтобы заниматься прямым своим делом, я бы никуда не поспел, — под пальцами Филиппа Филипповича в кармане небесно заиграл репетир, — начало девятого... Ко второму акту поеду... Я сторонник разделения труда. В Большом пусть поют, а я буду оперировать. Вот и хорошо. И никаких разрух... Вот что, Иван Арнольдович, вы все же следите внимательно: как только подходящая смерть, тотчас со стола — в питательную жидкость и ко мне!

— Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, — патологоанатомы мне обещали.

— Отлично, а мы пока этого уличного неврастеника понаблюдаем. Пусть бок у него заживает.

«Обо мне заботится, — подумал пес, — очень хороший человек. Я знаю, кто это. Он — волшебник, маг и кудесник из собачьей сказки... Ведь не может же быть, чтобы все это я видел во сне. А вдруг — сон? (Пес во сне дрогнул.) Вот проснусь... и ничего нет. Ни лампы в шелку, ни тепла, ни сытости. Опять начинается подворотня, безумная стужа, оледеневший асфальт, голод, злые люди... Столовая, снег... Боже, как тяжело мне будет!..»

Но ничего этого не случилось. Именно подворотня растаяла, как мерзкое сновидение, и более не вернулась.

Видно, уж не так страшна разруха. Невзирая на нее, дважды в день, серые гармоники под подоконником наливались жаром, и тепло волнами расходилось по всей квартире.

Совершенно ясно: пес вытащил самый главный собачий билет. Глаза его теперь не менее двух раз в день наливались благодарными

слезами по адресу пречистенского мудреца. Кроме того, все трюмо в гостиной, в приемной между шкафами отражали удачливого пса-красавца.

«Я — красавец. Быть может, неизвестный собачий принц-инкогнито, — размышлял пес, глядя на лохматого кофейного пса с довольной мордой, разгуливающего в зеркальных далях. — Очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом. То-то я смотрю — у меня на морде — белое пятно. Откуда оно, спрашивается? Филипп Филиппович — человек с большим вкусом, не возьмет он первого попавшегося пса-дворнягу».

В течение недели пес сожрал столько же, сколько в полтора последних голодных месяца на улице. Ну, конечно, только по весу. О качестве еды у Филиппа Филипповича и говорить не приходилось. Если даже не принимать во внимание того, что ежедневно Дарьей Петровной закупалась груда обрезков на Смоленском рынке на 18 копеек, достаточно упомянуть обеды в 7 часов вечера в столовой, на которых пес присутствовал, несмотря на протесты изящной Зины. Во время этих обедов Филипп Филиппович окончательно получил звание божества. Пес становился на задние лапы и жевал пиджак, пес изучил звонок Филиппа Филипповича — два полнозвучных отрывистых хозяйских удара, и вылетал с лаем встречать его в передней. Хозяин вваливался в чернобурой лисе, сверкая миллионом снежных блесков, пахнувший мандаринами, сигарами, духами, лимонами, бензином, одеколоном, сукном, и голос его, как командная труба, разносился по всему жилищу.

— Зачем ты, свинья, сову разорвал? Она тебе мешала? Мешала, я тебя спрашиваю? Зачем профессора Мечникова разбил?

— Его, Филипп Филиппович, нужно хлыстом отодрать хоть один раз, — возмущенно говорила Зина, — а то он совершенно избалуется. Вы поглядите, что он с вашими калошами сделал.

— Никого драть нельзя, — волновался Филипп Филиппович, — запомни это раз навсегда. На человека и на животное можно действовать только внушением. Мясо ему давали сегодня?

— Господи, он весь дом обожрал. Что вы спрашиваете, Филипп Филиппович. Я удивляюсь — как он не лопнет.

— Ну и пусть ест на здоровье... Чем тебе помешала сова, хулиган?

— У-у! — скулил пес-подлиза и полз на брюхе, вывернув лапы.

Затем его с гвалтом волокли за шиворот через приемную в кабинет. Пес подвывал, огрызался, цеплялся за ковер, ехал на задуг, как в цирке.

Посредине кабинета на ковге лежала стеклянноглазая сова с распоротым животом, из которого торчали какие-то красные тряпки, пахнувшие нафталином.

На столе валялся вдребезги разбитый портрет.

— Я нарочно не убрала, чтобы вы полюбовались, — расстроено докладывала Зина, — ведь на стол вскочил, мерзавец! И за хвост ее — цап! Я опомниться не успела, как он ее всю растерзал. Мордой его потычьте в сову, Филипп Филиппович, чтобы он знал, как вещи портить.

И начинался вой. Пса, прилипшего к ковру, тащили тыкать в сову, причем пес заливался горькими слезами и думал: «Бейте, только из квартиры не выгоняйте».

— Сову чучельнику отправить сегодня же. Кроме того, вот тебе 8 рублей и 16 копеек на трамвай, съезди к Мюру, купи ему хороший ошейник с цепью.

На следующий день на пса надели широкий блестящий ошейник. В первый момент, приглядевшись в зеркало, он очень расстроился, поджал хвост и ушел в ванную комнату, размышляя — как бы ободрать его о сундук или ящик. Но очень скоро пес понял, что он — просто дурак. Зина повела его гулять на цепи по Обухову переулку. Пес шел, как арестант, сгорая от стыда, но, пройдя по Пречистенке до храма Христа, отлично сообразил, что значит в жизни ошейник. Бешеная зависть читалась в глазах у всех встречных псов, а у Мертвого переулка — какой-то долговязый с обрубленным хвостом дворняга облаял его «барской сволочьей» и «шестеркой». Когда пересекали трамвайные рельсы, милиционер посмотрел на ошейник с удовольствием и уважением, а когда вернулись, произошло самое невиданное в жизни: Федор-швейцар собственноручно отпер парадную дверь и впустил Шарика, Зине он при этом заметил:

— Ишь, каким лохматым обзавелся Филипп Филиппович. Удивительно жирный.

— Еще бы — за шестерых лопаает, — пояснила румяная и красивая от мороза Зина.

«Ошейник — все равно что портфель», — сострил мысленно пес и, виляя задом, последовал в бельэтаж, как барин.

Оценив ошейник по достоинству, пес сделал первый визит в то главное отделение рая, куда до сих пор вход ему был категорически запрещен — именно в царство поварихи Дарьи Петровны. Вся квартира не стоила и двух пядей Дарьиного царства. Всякий день в черной и сверху облицованной кафелем плите стреляло и бушевало пламя. Духовой шкаф потрескивал. В багровых столбах горело вечной огненной мукой и неутоленной страстью лицо Дарьи Петровны. Оно лоснилось и отливало жиром. В модной прическе на уши и с корзинкой светлых волос на затылке светились 22 поддельных бриллианта. По стенам на крюках висели золотые кастрюли, вся кухня гроыхала запахами, клочотала и шипела в закрытых сосудах...

— Вон! — завопила Дарья Петровна. — Вон, беспризорный карманник! Тебя тут не хватало! Я тебя кочергой!..

«Чего ты? Ну, чего лаешься? — умильно щурил глаза пес. — Какой же я карманник? Ошейник вы разве не замечаете?» — и он боком лез в дверь, просовывая в нее морду.

Шарик-пес обладал каким-то секретом покорять сердца людей. Через два дня он уже лежал рядом с корзиной углей и смотрел, как работает Дарья Петровна. Острым узким ножом она отрубала беспомощным рябчикам головы и лапки, затем, как яростный палач, с костей сдирала мякоть, из кур вырывала внутренности, что-то вертела в мясорубке. Шарик в это время терзал рябчикову голову. Из миски с молоком Дарья Петровна вытаскивала куски размокшей булки, смешивала их на доске с мясной кашницей, заливала все это сливками, посыпала солью и на доске лепила котлеты. В плите гудело, как на пожаре, а на сковородке ворчалось, пузырилось и прыгало. Заслонка с громом отпрыгивала, обнаруживала страшный ад, в котором пламя клочотало и переливалось.

Вечером потухала каменная пасть, в окне кухни над белой половинной занавесочкой стояла густая и важная пречистенская ночь с одинокой звездой. В кухне было сыро на полу, кастрюли сияли таинственно и тускло, на столе лежала пожарная фуражка. Шарик лежал на теплой плите, как лев на воротах и, задрвав от любопытства одно ухо, глядел, как черноусый и взволнованный человек в широком кожаном поясе за полуприкрытой дверью в комнате Зины и Дарьи

Петровны обнимал Дарью Петровну. Лицо у той горело мукой и страстью, все, кроме мертвенного напудренного носа. Щель света лежала на портрете черноусого и пасхальный розан свисал с него.

— Как демон пристал, — бормотала в полумраке Дарья Петровна — отстань! Зина сейчас придет. Что ты, чисто тебя тоже омолодили?

— Нам это ни к чему, — плохо владея собой и хрипло отвечал черноусый. — До чего вы огненная!

Вечерами пречистенская звезда скрывалась за тяжкими шторами и, если в Большом театре не было «Аиды» и не было заседания Всероссийского хирургического общества, божество помещалось в кабинете в глубоком кресле. Огней под потолком не было. Горела только одна зеленая лампа на столе. Шарик лежал на ковре в тени и, не отрываясь, глядел на ужасные дела. В отвратительной едкой и мутной жиже в стеклянных сосудах лежали человеческие мозги. Руки божества, обнаженные по локоть, были в рыжих резиновых перчатках, и скользкие тупые пальцы копошились в извилинах. Временами божество вооружалось маленьким сверкающим ножиком и тихонько резало желтые упругие мозги.

— К берегам священным Нила, — тихонько напевало божество, закусывая губы и вспоминая золотую внутренность Большого театра.

Трубы в этот час нагревались до высшей точки. Тепло от них поднималось к потолку, оттуда расходилось по всей комнате, в песьей шкуре оживала последняя, еще не вычесанная самим Филиппом Филипповичем, но уже обреченная блоха. Ковры глушили звуки в квартире. А потом далеко звенела входная дверь.

«Зинка в кинематограф пошла, — думал пес, — а как придет, ужинать, стало быть, будем. Сегодня, надо полагать, — телячьи отбивные!

* * *

В этот ужасный день еще утром Шарика кольнуло предчувствие. Вследствие этого он вдруг заскучал и утренний завтрак — полчашки овсянки и вчерашнюю баранью косточку — съел безо всякого аппетита. Он скучно прошелся в приемную и легонько подвыл там на собственное отражение. Но днем после того, как Зина сводила

его погулять на бульвар, день пошел обычно. Приема сегодня не было, потому что, как известно, по вторникам приема не бывает, и божество сидело в кабинете, развернув на столе какие-то тяжелые книги с пестрыми картинками. Ждали обеда. Пса несколько оживила мысль о том, что сегодня на второе блюдо, как он точно узнал на кухне, будет индейка.

Проходя по коридору, пес услышал, как в кабинете Филиппа Филипповича неприятно и неожиданно прозвенел телефон. Филипп Филиппович взял трубку, прислушался и вдруг взволновался.

— Отлично, — слышался его голос, — сейчас же везите, сейчас же!

Он засуетился, позвонил и вошедшей Зине приказал срочно подавать обед.

— Обед! Обед! Обед!

В столовой тотчас застучали тарелками, Зина забегала, из кухни послышалась воркотня Дарьи Петровны, что индейка не готова. Пес опять почувствовал волнение.

«Не люблю кутерьмы в квартире», — раздумывал он... И только он это подумал, как кутерьма приняла еще более неприятный характер. И прежде всего благодаря появлению тяпнутого некогда доктора Борменталья. Тот привез с собой дурно пахнущий чемодан, и даже не раздеваясь, устремился с ним через коридор в смотровую. Филипп Филиппович бросил недопитую чашку кофе, чего с ним никогда не случалось, выбежал навстречу Борменталю, чего с ним тоже никогда не бывало.

— Когда умер? — закричал он.

— Три часа назад, — ответил Борменталь, не снимая заснеженной шапки и расстегивая чемодан.

«Кто такой умер? — хмуро и недовольно подумал пес и сунулся под ноги, — терпеть не могу, когда мечутся».

— Уйди из-под ног! Скорей, скорей, скорей! — закричал Филипп Филиппович на все стороны и стал звонить во все звонки, как показалось псу. Прибежала Зина. — Зина! К телефону Дарью Петровну, записывать, никого не принимать! Ты нужна. Доктор Борменталь, умоляю вас — скорей, скорей, скорей!

«Не нравится мне, не нравится», — пес обиженно нахмурился и стал шляться по квартире, а вся суэта сосредоточилась в смотровой.

Зина оказалась неожиданно в халате, похожем на саван, и начала бегать из смотровой в кухню и обратно.

«Пойти, что ль, пожрать? Ну их в болото», — решил пес и вдруг получил сюрприз.

— Шарикку ничего не давать, — загремела команда из смотровой.

— Усмотришь за ним, как же.

— Запереть!

И Шарика заманили и заперли в ванной.

«Хамство, — подумал Шарик, сидя в полутемной ванной комнате, — просто плуто...»

И около четверти часа он пробыл в ванной в странном настроении духа — то в злобе, то в каком-то тяжелом упадке. Все было скучно, неясно...

«Ладно, будете вы иметь калоши завтра, многоуважаемый Филипп Филиппович, — думал он, — две пары уже пришлось прикупить и еще одну купите. Чтоб вы псов не запирали».

Но вдруг его яростную мысль перебило. Внезапно и ясно почему-то вспомнился кусок самой ранней юности — солнечный необъятный двор у Преображенской заставы, осколки солнца в бутылках, битый кирпич, вольные псы-побродяги.

«Нет, куда уж, ни на какую волю отсюда не уйдешь, зачем лгать, — тосковал пес, сопя носом, — привык. Я барский пес, интеллигентное существо, отведал лучшей жизни. Да и что такое воля? Так, дым, мираж, фикция... Бред этих злосчастных демократов...»

Потом полутьма ванной стала страшной, он завыл, бросился на дверь, стал царапаться.

«У-у-у!» — как в бочку пролетело по квартире.

«Сову раздеру опять», — бешено, но бессильно подумал пес. Затем ослаб, полежал, а когда поднялся, шерсть на нем встала вдруг дыбом, почему-то в ванне померещились отвратительные волчьи глаза.

И в разгар муки дверь открылась. Пес вышел, отряхнувшись, и угрюмо собрался на кухню, но Зина за ошейник настойчиво повлекла его в смотровую. Холодок прошел у пса под сердцем.

«Зачем же я понадобился? — подумал он подозрительно. — Бок зажил — ничего не понимаю».

И он поехал лапами по скользкому паркету, так и был привезен в смотровую. В ней сразу поразило невиданное освещение. Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал про священные берега Нила. Только по смутному запаху можно было узнать, что это Филипп Филиппович. Подстриженная его седина скрывалась под белым колпаком, напоминающим патриарший куколь; божество было все в белом, а поверх белого, как епитрахиль, был надет резиновый узкий фартук. Руки — в черных перчатках.

В куколе оказался и тяпнутый. Длинный стол был раскинут, а сбоку придвинули маленький четырехугольный на блестящей ноге.

Пес здесь возненавидел больше всего тяпнутого и больше всего за его сегодняшние глаза. Обычно смелые и прямые, ныне они бегали во все стороны от песьих глаз. Они были насторожены, фальшивы и в глубине их таилось нехорошее, пакостное дело, если не целое преступление. Пес глянул на него тяжело и пасмурно и ушел в угол.

— Ошейник, Зина, — негромко молвил Филипп Филиппович, — только не волнуй его.

У Зины мгновенно стали такие же мерзкие глаза, как у тяпнутого. Она подошла к псу и явно фальшиво погладила его. Тот с тоской и презрением поглядел на нее.

«Что же... Вас трое. Возьмете, если захотите. Только стыдно вам... Хоть бы я знал, что будете делать со мной...»

Зина отстегнула ошейник, пес помотал головой, фыркнул. Тяпнутый вырос перед ним, и скверный мутящий запах разлился от него.

«Фу, гадость... Отчего мне так мутно и страшно...» — подумал пес и попятился от тяпнутого.

— Скорее, доктор, — нетерпеливо молвил Филипп Филиппович.

Резко и сладко пахнуло в воздухе. Тяпнутый, не сводя с пса настороженных дрянных глаз, высунул из-за спины правую руку и быстро ткнул псу в нос ком влажной ваты. Шарик оторопел, в голове у него легонько закружилось, но он успел еще отпрянуть. Тяпнутый прыгнул за ним и вдруг залепил всю морду ватой. Тотчас же заперло дыхание, но еще раз пес успел вырваться. «Злодей... — мелькнуло в голове. — За что?» — И еще раз облепили. Тут неожиданно посреди смотровой представилось озеро, а на нем в лодках очень веселые

загробные, небывалые розовые псы. Ноги лишились костей и согнулись.

— На стол! — веселым голосом бухнули где-то слова Филиппа Филипповича и расплылись в оранжевых струях. Ужас исчез, сменился радостью. Секунды две угасающий пес любил тяпнутого. Затем весь мир перевернулся дном кверху и была еще почувствована холодная, но приятная рука под животом. Потом — ничего.

IV

На узком операционном столе лежал, раскинувшись, пес Шарик и голова его беспомощно колотилась о белую клеенчатую подушку. Живот его был выстрижен и теперь доктор Борменталь, тяжело дыша и спеша, машинкой въедаясь в шерсть, стриг голову Шарика. Филипп Филиппович, опершись ладонями на край стола, блестящими, как золотые обода его очков, глазами наблюдал за этой процедурой и говорил взволнованно:

— Иван Арнольдович, самый важный момент — когда я войду в турецкое седло. Мгновенно, умоляю вас, подайте отросток и тут же шить. Если там у меня начнет кровить, потеряем время и пса потеряем. Впрочем, для него и так никакого шанса нету, — он помолчал, прищуря глаз, заглянул в как бы насмешливо полуприкрытый глаз пса и добавил: — А знаете, жалко его. Представьте, я привык к нему.

Руки он вздымал в это время, как будто благословлял на трудный подвиг злосчастного пса Шарика. Он старался, чтобы ни одна пылинка не села на черную резину.

Из-под выстриженной шерсти засверкала беловатая кожа собаки.

Борменталь отшвырнул машинку и вооружился бритвой. Он намылил беспомощную маленькую голову и стал брить. Сильно хрустело под лезвием, кое-где выступила кровь. Обрив голову, тупнутый мокрым бензиновым комочком обтер ее, затем оголенный живот пса растянул и промолвил, отдуваясь: «Готово».

Зина открыла кран над раковиной и Борменталь бросился мыть руки. Зина из склянки полила их спиртом.

— Можно мне уйти, Филипп Филиппович? — спросила она, боязливо косясь на бритую голову пса.

— Можешь.

Зина пропала. Борменталь засуетился дальше. Легкими марлевыми салфеточками он обложил голову Шарика, и тогда на подушке оказался никем не виданный лысый песий череп и странная бородатая морда.

Тут шевельнулся жрец. Он выпрямился, глянул на собачью голову и сказал:

— Ну, господи, благослови. Нож.

Борменталь из сверкающей груди на столике вынул маленький брюхатый ножик и подал его жрецу. Затем он облекся в такие же черные перчатки, как и жрец.

— Спит? — спросил Филипп Филиппович.

— Спит.

Зубы Филиппа Филипповича сжались, глазки приобрели остренький, колючий блеск, и, взмахнув ножичком, он метко и длинно протянул по животу Шарика рану. Кожа тотчас разошлась и из нее брызнула кровь в разные стороны. Борменталь набросился хищно, стал комьями марли давить Шарикову рану, затем маленькими, как бы сахарными щипчиками зажал ее края и она высохла. На лбу у Борменталья пузырьками выступил пот. Филипп Филиппович полоснул второй раз и тело Шарика вдвоем начали разрывать крючьями, ножницами, какими-то скобками. Выскочили розовые и желтые, плачущие кровавой росой ткани. Филипп Филиппович вертел ножом в теле, потом крикнул: «Ножницы!»

Инструмент мелькнул в руках у тупнутаго, как у фокусника. Филипп Филиппович залез в глубину и в несколько поворотов вырвал из тела Шарика его семенные железы с какими-то обрывками. Борменталь, совершенно мокрый от усердия и волнения, бросился к стеклянной банке и извлек из нее другие, мокрые, обвисшие семенные железы. В руках у профессора и ассистента запрыгали, завились короткие влажные струны. Дробно защелкали кривые иглы в зажимах, семенные железы вшили на место Шариковых. Жрец отвалился от раны, ткнул в нее комком марли и скомандовал:

— Шейте, доктор, мгновенно кожу, — затем оглянулся на круглые белые стенные часы.

— 14 минут делали, — сквозь стиснутые зубы пропустил Борменталь и кривой иголкой впился в дряблую кожу. Затем оба заволновались, как убийцы, которые спешат.

— Нож, — крикнул Филипп Филиппович.

Нож вскочил ему в руки как бы сам собой, после чего лицо Филиппа Филипповича стало страшным. Он оскалил фарфоровые и золотые коронки и одним приемом навел на лбу Шарика красный

венец. Кожу с бритыми волосами откинули как скальп. Обнажили костяной череп. Филипп Филиппович крикнул:

— Трепан!

Борменталь подал ему блестящий коловорот. Кусая губы, Филипп Филиппович начал втыкать коловорот и высверливать в черепе Шарика маленькие дырочки в сантиметре расстояния одна от другой так, что они шли кругом всего черепа. На каждую он тратил не более пяти секунд. Потом пилой невиданного фасона, сунув ее хвост в первую дырочку, начал пилить, как выпиливают дамский рукодельный ящик. Череп тихо визжал и трясся. Минуты через три крышку черепа с Шарика сняли.

Тогда обнажился купол Шарикового мозга — серый с синеватыми прожилками и красноватыми пятнами. Филипп Филиппович вьелся ножницами в оболочки и их вскрыл. Один раз ударил тонкий фонтан крови, чуть не попал в глаз профессору, и окропил его колпак. Борменталь с торзионным пинцетом, как тигр, бросился зажимать и зажал. Пот с Борменталья полз потоками, и лицо его стало мясистым и разноцветным. Глаза его метались от рук профессора к тарелке на инструментальном столе. Филипп же Филиппович стал положительно страшен. Сипение вырывалось из его носа, зубы открылись до десен. Он ободрал оболочку с мозга и пошел куда-то вглубь, выдвигая из вскрытой чаши полушария мозга. В это время Борменталь начал бледнеть, одной рукой охватил грудь Шарика и хрипловато сказал:

— Пульс резко падает...

Филипп Филиппович зверски оглянулся на него, что-то промычал и врезался еще глубже. Борменталь с хрустом сломал стеклянную ампулку, насосал из нее шприц и коварно кольнул Шарика где-то у сердца.

— Иду к турецкому седлу, — зарычал Филипп Филиппович и окровавленными скользкими перчатками выдвинул серо-желтый мозг Шарика из головы. На мгновение он скосил глаза на морду Шарика, и Борменталь тотчас же сломал вторую ампулу с желтой жидкостью и вытянул ее в длинный шприц.

— В сердце? — робко спросил он.

— Что вы еще спрашиваете? — злобно заревел профессор, — все равно он уже 5 раз у вас умер. Колите! Разве мыслимо? — Лицо у него при этом стало, как у вдохновенного разбойника.

Доктор с размаху легко всадил иглу в сердце пса.

— Живет, но еле-еле, — робко прошептал он.

— Некогда рассуждать тут — живет — не живет, — засипел страшный Филипп Филиппович, — я в седле. Все равно помрет... Ах, ты че... К берегам священным Нила... Придаток давайте.

Борменталь подал ему склянку, в которой болтался на нитке в жидкости белый комочек. Одной рукой — «Не имеет равных в Европе... ей-богу!» — смутно подумал Борменталь, — он выхватил болтающийся комочек, а другой, ножницами, выстриг такой же в глубине где-то между распяленными полушариями. Шариков комочек он вышвырнул на тарелку, а новый заложил в мозг вместе с ниткой и своими короткими пальцами, ставшими точно чудом тонкими и гибкими, ухитрился янтарной нитью его там замотать. После этого он выбросил из головы какие-то распялки, пинцет, мозг упрятал назад в костяную чашу, откинулся и уже поспокойнее спросил:

— Умер, конечно?..

— Нитевидный пульс, — ответил Борменталь.

— Еще адреналину.

Профессор оболочками забросал мозг, отпиленную крышку приложил как по мерке, скальп надвинул и взревел:

— Шейте!

Борменталь минут в пять зашил голову, сломав три иглы.

И вот на подушке появилась на окрашенном кровью фоне безжизненная потухшая морда Шарика с кольцевой раной на голове. Тут же Филипп Филиппович отвалился окончательно, как сытый вампир, сорвал одну перчатку, выбросив из нее облако потной пудры, другую разорвал, швырнул на пол и позвонил, нажав кнопку в стене. Зина появилась на пороге, отвернувшись, чтобы не видеть Шарика в крови. Жрец снял меловыми руками окровавленный куколь и крикнул:

— Папиросу мне сейчас же, Зина. Все свежее белье и ванну.

Он подбородком лег на край стола, двумя пальцами раздвинул правое веко пса, заглянул в явно умирающий глаз и молвил:

— Вот, черт возьми. Не издох. Ну, все равно издохнет. Эх, доктор Борменталь, жаль пса, ласковый был, хотя и хитрый.

ИЗ ДНЕВНИКА ДОКТОРА БОРМЕНТАЛЯ

Тонкая, в писчий лист форматом тетрадь. Исписана почерком Борменталья. На первых двух страницах он аккуратен, уборист и четок, в дальнейшем размашист, взволнован, с большим количеством клякс.

22 декабря 1924 г. Понедельник

История болезни

Лабораторная собака приблизительно двух лет от роду. Самец. Порода — дворняжка. Кличка — Шарик. Шерсть жидкая, кустами, буроватая, с подпалинами. Хвост цвета топленого молока. На правом боку следы совершенно зажившего ожога. Питание до поступления к профессору плохое, после недельного пребывания — крайне упитанный. Вес 8 кг. (*знак восклицат.*). Сердце, легкие, желудок, температура...

23 декабря. В 8.30 часов вечера произведена первая в Европе операция по проф. Преображенскому: под хлороформным наркозом удалены яички Шарика и вместо них пересажены мужские яички с придатками и семенными канатиками, взятыми от скончавшегося за 4 часа 4 минуты до операции мужчины 28 лет и сохранившиеся в стерилизованной физиологической жидкости по проф. Преображенскому.

Непосредственно вслед за сим удален после трепанации черепной крышки придаток мозга — гипофиз и заменен человеческим от вышеуказанного мужчины.

Введено 8 кубиков хлороформа, 1 шприц камфары, 2 шприца адреналина в сердце.

Показание к операции: постановка опыта Преображенского с комбинированной пересадкой гипофиза и яичек для выяснения

вопроса о приживаемости гипофиза, а в дальнейшем и о его влиянии на омоложение организма у людей.

Оперировал проф. Ф. Ф. Преображенский.

Ассистировал д-р И. А. Борменталь.

В ночь после операции: грозные повторные падения пульса. Ожидание смертельного исхода. Громадные дозы камфары по Преображенскому.

24 декабря. Утром — улучшение. Дыхание учащено вдвое, температура 42. Камфара, кофеин под кожу.

25 декабря. Вновь ухудшение. Пульс еле прощупывается, похолодание конечностей, зрачки не реагируют. Адреналин в сердце, камфара по Преображенскому, физиологический раствор в вену.

26 декабря. Некоторое улучшение. Пульс 180, дыхание 92, температура 41. Камфара, питание клизмами.

27 декабря. Пульс 152, дыхание 50, температура 39, 8, зрачки реагируют. Камфара под кожу.

28 декабря. Значительное улучшение. В полдень внезапный проливной пот, температура 37, 0. Операционные раны в прежнем состоянии. перевязка. Появился аппетит. Питание жидкое.

29 декабря. Внезапно обнаружено выпадение шерсти на лбу и на боках туловища. Вызваны для консультации: профессор по кафедре кожных болезней Василий Васильевич Бундарев и директор московского ветеринарного показательного института. Ими случай признан не описанным в литературе. Диагностика осталась неустановленной. Температура — нормальна.

(Запись карандашом.)

Вечером появился первый лай (8 ч. 15 мин.). Обращает внимание резкое изменение тембра и понижение тона. Лай вместо слова «гау-гау» на слоги «а-о», по окраске отдаленно напоминает стон.

30 декабря. Выпадение шерсти приняло характер общего облысения. Взвешивание дало неожиданный результат — вес 30 кг за счет роста (удлинения) костей. Пес по-прежнему лежит.

31 декабря. Колоссальный аппетит.

(В тетради — клякса. После кляксы торопливым почерком.)

В 12 ч. 12 мин. дня пес отчетливо пролаял «А-б-ыр».

(В тетради перерыв и дальше, очевидно, по ошибке от волнения написано):

1 декабря. *(Перечеркнуто, поправлено)* 1 января 1925 г.

Фотографирован утром. Отчетливо лает «Абыр», повторяя это слово громко и как бы радостно. В 3 часа дня *(крупными буквами)* засмеялся, вызвав обморок горничной Зины. Вечером произнес 8 раз подряд слово «Абыр-валг», «Абыр».

(Косыми буквами карандашом): профессор расшифровал слово «Абыр-валг», оно означает «Главрыба»... Что-то чудовищ...

2 января. Фотографирован во время улыбки при магнии. Встал с постели и уверенно держался полчаса на задних лапах. Моего почти роста.

(В тетради вкладной лист.)

Русская наука чуть не понесла тяжелую утрату.

История болезни профессора Ф. Ф. Преображенского.

В 1 час 13 мин. — глубокий обморок с проф. Преображенским. При падении ударился головой о ножку стула. Тинктура Валериана.

В моем и Зины присутствии пес (если псом, конечно, можно назвать) обругал проф. Преображенского по матери.

* * *

(Перерыв в записях.)

* * *

6 января. *(То карандашом, то фиолетовыми чернилами.)*

Сегодня после того, как у него отвалился хвост, он произнес совершенно отчетливо слово «пивная». Работает фонограф. Черт знает — что такое.

* * *

Я теряюсь.

* * *

Прием у профессора прекращен. Начиная с 5-ти час. дня из смотровой, где расхаживает это существо, слышится явственно вульгарная ругань и слова «еще парочку».

7 января. Он произносит очень много слов: «Извозчик», «Мест нету», «Вечерняя газета», «Лучший подарок детям» и все бранные слова, какие только существуют в русском лексиконе.

Вид его странен. Шерсть осталась только на голове, на подбородке и на груди. В остальном он лыс, с дряблой кожей. В области половых органов — формирующийся мужчина. Череп увеличился значительно. Лоб скошен и низок.

* * *

Ей-богу, я с ума сойду.

* * *

Филипп Филиппович все еще чувствует себя плохо. Большинство наблюдений веду я. (*Фонограф, фотографии.*)

* * *

По городу расплылись слухи.

* * *

Последствия неисчислимы. Сегодня днем весь переулочек был полон какими-то бездельниками и старухами. Зеваки стоят и сейчас еще под окнами. В утренних газетах появилась удивительная заметка «Слухи о марсианине в Обуховом переулке ни на чем не основаны. Они распущены торговцами с Сухаревки и будут строго наказаны». О каком, к черту, марсианине? Ведь это — кошмар.

* * *

Еще лучше в «Вечерней» — написали, что родился ребенок, который играет на скрипке. Тут же рисунок — скрипка и моя фотографическая карточка, и под ней подпись: «Проф. Преображенский, делавший кесарево сечение у матери». Это что-то неопишное... Он говорит новое слово: «Милиционер».

* * *

Оказывается, Дарья Петровна была в меня влюблена и свистнула карточку из альбома Филиппа Филипповича. После того, как прогнал репортеров, один из них пролез на кухню и т. д.

* * *

Что творится во время приема! Сегодня было 82 звонка. Телефон выключен. Бездетные дамы с ума сошли и идут...

* * *

В полном составе домком во главе со Швондером. Зачем — сами не знают.

8 января. Поздним вечером поставили диагноз. Филипп Филиппович, как истый ученый, признал свою ошибку — перемена гипотеза дает не омоложение, а полное **очеловечение** (*подчеркнуто*

три раза). От этого его изумительное, потрясающее открытие не становится ничуть меньше.

Тот сегодня впервые прошелся по квартире. Смеялся в коридоре, глядя на электрическую лампу. Затем, в сопровождении Филиппа Филипповича и меня, он проследовал в кабинет. Он стойко держится на задних лапах (*зачеркнуто*)... на ногах и производит впечатление маленького и плохо сложенного мужчины.

Смеялся в кабинете. Улыбка его неприятна и как бы искусственна. Затем он почесал затылок, огляделся и я записал новое отчетливо произнесенное слово: «буржуи». Ругался. Ругань эта методическая, непрерывная и, по-видимому, совершенно бессмысленная. Она носит несколько фонографический характер: как будто это существо где-то раньше слышало бранные слова, автоматически, подсознательно занесло их в свой мозг и теперь изрыгает их пачками. А впрочем, я не психиатр, черт меня возьми.

На Филиппа Филипповича брань производит почему-то удивительно тягостное впечатление. Бывают моменты, когда он выходит из сдержанного и холодного наблюдения новых явлений и как бы теряет терпение. Так, в момент ругани он вдруг нервно выкрикнул:

— Перестань!

Это не произвело никакого эффекта.

После прогулки в кабинете общими усилиями Шарик был водворен в смотровую.

После этого мы имели совещание с Филиппом Филипповичем. Впервые, я должен сознаться, видел я этого уверенного и поразительно умного человека растерянным. Напевая по своему обыкновению, он спросил: «Что же мы теперь будем делать?» И сам же ответил буквально так: «Москвошвея, да... От Севильи до Гренады. Москвошвея, дорогой доктор...». Я ничего не понял. Он пояснил: «Я вас прошу, Иван Арнольдович, купить ему белье, штаны и пиджак».

9 января. Лексикон обогащается каждые пять минут (в среднем) новым словом, с сегодняшнего утра, и фразами. Похоже, что они, замерзшие в сознании, оттаивают и выходят. Вышедшее слово остается в употреблении. Со вчерашнего вечера фонографом

отмечены: «Не толкайся», «Подлец», «Слезай с подножки», «Я тебе покажу», «Признание Америки», «Примус».

10 января. Произошло одевание. Нижнюю сорочку позволил надеть на себя охотно, даже весело смеясь. От кальсон отказался, выразив протест хриплыми криками: «В очередь, сукины дети, в очередь!» Был одет. Носки ему велики.

(В тетради какие-то схематические рисунки, по всем признакам изображающие превращение собачьей ноги в человеческую.)

Удлиняется задняя половина скелета стопы (planta). Вытягивание пальцев. Когти.

Повторное систематическое обучение посещения уборной. Прислуга совершенно подавлена.

Но следует отметить понятливость существа. Дело вполне идет на лад.

11 января. Совершенно примирился со штанами. Произнес длинную веселую фразу: «Дай папиросочку, — у тебя брюки в полосочку».

Шерсть на голове — слабая, шелковистая. Легко спутать с волосами. Но подпалины остались на темени. Сегодня облез последний пух с ушей. Колоссальный аппетит. С увлечением ест селедку.

В 5 часов дня событие: впервые слова, произнесенные существом, не были оторваны от окружающих явлений, а явились реакцией на них. Именно: когда профессор приказал ему: «Не бросай объедки на пол», — неожиданно ответил: «Отлезь, гнида».

Филипп Филиппович был поражен, потом оправился и сказал:

— Если ты еще раз позволишь себе обругать меня или доктора, тебе влетит.

Я фотографировал в это мгновение Шарика. Ручаюсь, что он понял слова профессора. Угрюмая тень легла на его лицо. Поглядел исподлобья довольно раздраженно, но стих.

Ура, он понимает!

12 января. Закладывание рук в карманы штанов. Отучаем от ругани. Свистал «ой, яблочко». Поддерживает разговор.

Я не могу удержаться от нескольких гипотез: к чертям омоложение пока что. Другое неизмеримо более важное: изумительный опыт проф. Преображенского раскрыл одну из тайн

человеческого мозга. Отныне загадочная функция гипофиза — мозгового придатка — разъяснена. Он определяет человеческий облик. Его гормоны можно назвать важнейшими в организме — гормонами облика. Новая область открывается в науке: безо всякой реторты Фауста создан гомункул. Скальпель хирурга вызвал к жизни новую человеческую единицу. Проф. Преображенский, вы — творец. (Клякса.)

Впрочем, я уклонился в сторону... Итак, он поддерживает разговор. По моему предположению, дело обстоит так: прижившийся гипофиз открыл центр речи в собачьем мозгу, и слова хлынули потоком. По-моему, перед нами оживший развернувшийся мозг, а не мозг вновь созданный. О дивное подтверждение эволюционной теории! О цепь величайшая от пса до Менделеева-химика! Еще моя гипотеза: мозг Шарика в собачьем периоде его жизни накопил бездну понятий. Все слова, которыми он начал оперировать в первую очередь, — уличные слова, он их слышал и затаил в мозгу. Теперь, проходя по улице, я с тайным ужасом смотрю на встречных псов. Бог их знает, что у них таится в мозгах.

Шарик читал. Читал. (3 восклицательных знака.) Это я догадался. По главрыбе. Именно с конца читал. И я даже знаю, где разрешение этой загадки: в перерыве зрительных нервов собаки.

* * *

Что в Москве творится — уму не постижимо человеческому. Семь сухаревских торговцев уже сидят за распространение слухов о светопреставлении, которое навлекли большевики. Дарья Петровна говорила и даже точно называла число: 28 ноября 1925 года, в день преподобного мученика Стефана земля налетит на небесную ось... Какие-то жулики уже читают лекции. Такой кабак мы сделали с этим гипофизом, что хоть вон беги из квартиры. Я переехал к Преображенскому по его просьбе и ночью в приемной с Шариком. Смотровая превращена в приемную. Швондер оказался прав. Домком злорадствует. В шкафах ни одного стекла, потому что прыгал. Еле отучили.

* * *

С Филиппом что-то странное делается. Когда я ему рассказал о своих гипотезах и о надежде развить Шарика в очень высокую психическую личность, он хмыкнул и ответил: «Вы думаете?» Тон его зловещий. Неужели я ошибся? Старик что-то придумал. Пока я вожусь с историей болезни, он сидит над историей того человека, от которого мы взяли гипофиз.

* * *

(В тетради вкладной лист.)

Клим Григорьевич Чугункин, 25 лет [\[22\]](#), холост. Беспартийный, сочувствующий. Судился 3 раза и оправдан: в первый раз благодаря недостатку улик, второй раз происхождение спасло, в третий раз — условно каторга на 15 лет. Кражи. Профессия — игра на балалайке по трактирам.

Маленького роста, плохо сложен. Печень расширена (алкоголь). Причина смерти — удар ножом в сердце в пивной («Стоп-сигнал», у Преображенской заставы).

* * *

Старик, не отрываясь, сидит над климовской болезнью. Не понимаю — в чем дело. Бурчал что-то насчет того, что вот не догадался осмотреть в патологоанатомическом весь труп Чугункина. В чем дело — не понимаю. Не все ли равно чей гипофиз?

17 января. Не записывал несколько дней: болел инфлюэнцей. За это время облик окончательно сложился:

- а) совершенный человек по строению тела;
- б) вес около 3-х пудов;
- в) рост маленький;
- г) голова маленькая;
- д) начал курить;

- е) ест человеческую пищу;
- ж) одевается самостоятельно;
- з) гладко ведет разговор.

* * *

Вот так гипофиз (*клякса*).

* * *

Этим историю болезни заканчиваю. Перед нами новый организм; наблюдать его нужно сначала.

Приложение: стенограммы речи, записи фонографа, фотографические снимки.

Подпись: ассистент профессора Ф. Ф. Преображенского

Доктор Борменталь.

Был зимний вечер. Конец января. Предобеденное, предприемное время. На притолоке у двери в приемную висел белый лист бумаги, на коем рукою Филиппа Филипповича было написано:

«Семечки есть в квартире запрещаю».

Ф. Преображенский.

И синим карандашом крупными, как пирожные, буквами рукой Борменталя:

«Игра на музыкальных инструментах от пяти часов дня до семи часов утра воспрещается».

Затем рукой Зины:

«Когда вернетесь, скажите Филиппу Филипповичу: я не знаю — куда он ушел. Федор говорил, что со Швондером».

Рукой Преображенского:

«Сто лет буду ждать стекольщика?»

Рукой Дарьи Петровны (*печатно*):

«Зина ушла в магазин, сказала приведет».

В столовой было совершенно по-вечернему, благодаря лампе под шелковым абажуром. Свет из буфета падал, перебитый пополам, — зеркальные стекла были заклеены косым крестом от одной фасетки до другой. Филипп Филиппович, склонившись над столом, погрузился в развернутый громадный лист газеты. Молнии коверкали его лицо и сквозь зубы сыпались оборванные, куцые, воркующие слова. Он читал заметку:

«Никаких сомнений нет в том, что это его незаконнорожденный (как выразались в гнилом буржуазном обществе) сын. Вот как развлекается наша псевдоученая буржуазия! Семь комнат каждый умеет занимать до тех пор, пока блистающий меч правосудия не сверкнул над ним красным лучом. Шв...р».

Очень настойчиво с залихватской ловкостью играли за двумя стенами на балалайке, и звуки хитрой вариации «Светит месяц» смешивались в голове Филиппа Филипповича со словами заметки в

ненавистную кашу. Дочитав, он сухо плюнул через плечо и машинально запел сквозь зубы:

— Све-е-етит месяц... Све-е-етит месяц... Све-тит месяц... Тьфу, прицепилась, вот окаянная мелодия!

Он позвонил. Зинино лицо просунулось между полотнищами портьеры.

— Скажи ему, что 5 часов, чтобы прекратил, и позови его сюда, пожалуйста.

Филипп Филиппович сидел у стола в кресле. Между пальцами левой руки торчал коричневый окурок сигары. У портьеры, прислонившись к притолоке, стоял, заложив ногу за ногу, человек маленького роста и несимпатичной наружности. Волосы у него на голове росли жесткие, как бы кустами на выкорчеванном поле, а лицо покрывал небритый пух. Лоб поражал своей малой вышиной. Почти непосредственно над черными кисточками раскиданных бровей начиналась густая головная щетка.

Пиджак, прорванный под левой мышкой, был усеян соломой, полосатые брючки на правой коленке продраны, а на левой выпачканы лиловой краской. На шее у человека был повязан ядовито-небесного цвета галстук с фальшивой рубиновой булавкой. Цвет этого галстука был настолько бросок, что время от времени, закрывая утомленные глаза, Филипп Филиппович в полной тьме то на потолке, то на стене видел пылающий факел с голубым венцом. Открывая их, слеп вновь, так как с полу, разбрызгивая веера света, бросались в глаза лаковые штиблеты с белыми гетрами.

«Как в калошах», — с неприятным чувством подумал Филипп Филиппович, вздохнул, засопел и стал возиться с затухшей сигарой. Человек у двери мутноватыми глазами поглядывал на профессора и курил папиросу, посыпая манишку пеплом.

Часы на стене рядом с деревянным рябчиком прозвенели пять раз. Внутри них еще что-то стонало, когда вступил в беседу Филипп Филиппович.

— Я, кажется, два раза уже просил не спать на полатах в кухне — тем более днем?

Человек кашлянул сипло, точно подавившись косточкой, и ответил:

— Воздух в кухне приятнее.

Голос у него был необыкновенный, глуховатый, и в то же время гулкий, как в маленький бочонок.

Филипп Филиппович покачал головой и спросил:

— Откуда взялась эта гадость? Я говорю о галстук.

Человечек, глазами следуя пальцу, скосил их через оттопыренную губу и любовно поглядел на галстук.

— Чем же «гадость»? — заговорил он, — шикарный галстук. Дарья Петровна подарила.

— Дарья Петровна вам мерзость подарила, вроде этих ботинок. Что это за сияющая чепуха? Откуда? Я что просил? Купить приличные ботинки; а это что? Неужели доктор Борменталь такие выбрал?

— Я ему велел, чтобы лаковые. Что я, хуже людей? Пойдите на Кузнецкий — все в лаковых.

Филипп Филиппович повертел головой и заговорил веско:

— Спать на полатах прекращается. Понятно? Что это за нахальство! Ведь вы мешаете. Там женщины.

Лицо человека потемнело и губы оттопырились.

— Ну уж и женщины. Подумаешь. Барыни какие. Обыкновенная прислуга, а форсу как у комиссарши. Это все Зинка ябедничает.

Филипп Филиппович глянул строго:

— Не смей называть Зину Зинкой! Понятно?

Молчание.

— Понятно, я вас спрашиваю?

— Понятно.

— Убрать эту пакость с шеи. Вы... ты... вы посмотрите на себя в зеркало — на что вы похожи. Балаган какой-то. Окурки на пол не бросать — в сотый раз прошу. Чтобы я более не слышал ни одного ругательного слова в квартире! Не плевать! Вот плевательница. С писсуаром обращаться аккуратно. С Зиной всякие разговоры прекратить. Она жалуется, что вы в темноте ее подкарауливаете. Смотрите! Кто ответил пациенту «пес его знает»? Что вы, в самом деле, в кабаке, что ли?

— Что-то вы меня, папаша, больно утесняете, — вдруг плаксиво выговорил человек.

Филипп Филиппович покраснел, очки сверкнули.

— Кто это тут вам папаша? Что это за фамильярности? Чтобы я больше не слышал этого слова! Называть меня по имени и отчеству!

Дерзкое выражение загорелось в человеке.

— Да что вы все... То не плевать. То не кури. Туда не ходи... Что уж это на самом деле? Чисто как в трамвае. Что вы мне жить не даете?! И насчет «папаши» — это вы напрасно. Разве я просил мне операцию делать? — человек возмущенно лаял. — Хорошенькое дело! Ухватили животную, исполосовали ножиком голову, а теперь гнушаются. Я, может, своего разрешения на операцию не давал. А равно (человек завел глаза к потолку, как бы вспоминая некую формулу), а равно и мои родные. Я иск, может, имею право предъявить.

Глаза Филиппа Филипповича сделались совершенно круглыми, сигара вывалилась из рук. «Ну тип», — пролетело у него в голове.

— Вы изволите быть недовольным, что вас превратили в человека? — прищурившись, спросил он. — Вы, может быть, предпочитаете снова бегать по помойкам? Мерзнуть в подворотнях? Ну, если бы я знал...

— Да что вы все попрекаете — помойка, помойка. Я свой кусок хлеба добывал. А если бы я у вас помер под ножом? Вы что на это выразите, товарищ?

— Филипп Филиппович! — раздраженно воскликнул Филипп Филиппович. — Я вам не товарищ! Это чудовищно! «Кошмар, кошмар», — подумалось ему.

— Уж, конечно, как же... — иронически заговорил человек и победоносно отставил ногу, — мы понимаем-с. Какие уж мы вам товарищи! Где уж. Мы в университетах не обучались, в квартирах по 15 комнат с ванными не жили. Только теперь пора бы это оставить. В настоящее время каждый имеет свое право...

Филипп Филиппович, бледнея, слушал рассуждения человека. Тот прервал речь и демонстративно направился к пепельнице с изжеванной папиросой в руке. Походка у него была развалистая. Он долго мял окурочек в раковине с выражением, ясно говорящим: «На! На!». Затушив папиросу, он на ходу вдруг лязгнул зубами и сунул нос под мышку.

— Пальцами блох ловить! Пальцами! — яростно крикнул Филипп Филиппович. — И я не понимаю — откуда вы их берете?

— Да что уж, развожу я их, что ли? — обиделся человек. — Видно, блохи меня любят, — тут он пальцами пошарил в подкладке

под рукавом и выпустил в воздух клоч рыжей легкой ваты.

Филипп Филиппович обратил взор к гирляндам на потолке и забарабанил пальцами по столу. Человек, казнив блоху, отошел и сел на стул. Руки он при этом, опустив кисти, развесил вдоль лацканов пиджака. Глаза его скосились к шашкам паркета. Он созерцал свои башмаки, и это доставляло ему большое удовольствие. Филипп Филиппович посмотрел туда, где сияли резкие блики на тупых носках, глаза прижмурил и заговорил:

— Какое дело еще вы мне хотели сообщить?

— Да что ж дело! Дело простое. Документ, Филипп Филиппович, мне надо.

Филиппа Филипповича несколько передернуло.

— Хм... Черт! Документ! Действительно... Кхм... а может быть, это как-нибудь можно... — голос его звучал неуверенно и тоскливо.

— Помилуйте, — уверенно ответил человек, — как же так без документа? Это уж — извиняюсь. Сами знаете, человеку без документов строго воспрещается существовать. Во-первых, домком...

— При чем тут домком?

— Как это при чем? Встречают, спрашивают — когда ж ты, говорят, многоуважаемый, пропишешься?

— Ах, ты, господи, — уныло воскликнул Филипп Филиппович, — встречаются, спрашивают... Воображаю, что вы им говорите. Ведь я же вам запрещал шляться по лестницам.

— Что я, каторжный? — удивился человек, и сознание его правоты загорелось у него даже в рубине. — Как это так «шляться»? Довольно обидны ваши слова. Я хожу, как все люди.

При этом он посучил лакированными ногами по паркету.

Филипп Филиппович умолк, глаза его ушли в сторону. «Надо все-таки сдерживать себя», — подумал он. Подойдя к буфету, он одним духом выпил стакан воды.

— Отлично-с, — поспокойнее заговорил он, — дело не в словах. Итак, что говорит этот ваш прелестный домком?

— Что ж ему говорить... Да вы напрасно его прелестным ругаете. Он интересы защищает.

— Чьи интересы, позвольте осведомиться?

— Известно чьи — трудового элемента.

Филипп Филиппович выкатил глаза.

— Почему же вы — труженик?

— Да уж известно — не нэпман.

— Ну, ладно. Итак, что же ему нужно в защитах вашего революционного интереса?

— Известно что — прописать меня. Они говорят — где ж это видано, чтоб человек проживал непрописанный в Москве. Это — раз. А самое главное — учетная карточка. Я дезертиром быть не желаю. Опять же — союз, биржа...

— Позвольте узнать, по чему я вас пропишу? По этой скатерти или по своему паспорту? Ведь нужно все-таки считаться с положением. Не забывайте, что вы... Э... гм... вы ведь, так сказать, — неожиданно явившееся существо, лабораторное. — Филипп Филиппович говорил все менее уверенно.

Человек победоносно молчал.

— Отлично-с. Что же, в конце концов, нужно, чтобы вас прописать и вообще устроить все по плану этого вашего домкома? Ведь у вас же нет ни имени, ни фамилии.

— Это вы несправедливо. Имя я себе совершенно спокойно могу избрать. Пропечатал в газете, и шабаш.

— Как же вам угодно именоваться?

Человек поправил галстук и ответил:

— Полиграф Полиграфович.

— Не валяйте дурака, — хмуро отозвался Филипп Филиппович, — я с вами серьезно говорю.

Язвительная усмешка искривила усишки человека.

— Что-то не пойму я, — заговорил он весело и осмысленно. — Мне по матушке нельзя. Плевать — нельзя. А от вас только и слышу: «Дурак, дурак». Видно только профессорам разрешается ругаться в ресефесере.

Филипп Филиппович налился кровью и, наполняя стакан, разбил его.

Напившись из другого, подумал: «Еще немного, он меня учить станет и будет совершенно прав. В руках не могу держать себя».

Он повернулся на стуле, преувеличенно вежливо склонил стан и с железной твердостью произнес:

— Из-вините. У меня расстроены нервы. Ваше имя показалось мне странным. Где вы, интересно знать, откопали себе такое?

— Домком посоветовал. По календарю искали — какое тебе, говорят? Я и выбрал.

— Ни в каком календаре ничего подобного быть не может.

— Довольно удивительно, — человек усмехнулся, — когда у вас в смотровой висит.

Филипп Филиппович, не вставая, закинулся к кнопке на обоях и на звонок явилась Зина.

— Календарь из смотровой.

Протекла пауза. Когда Зина вернулась с календарем, Филипп Филиппович спросил:

— Где?

— 4-го марта празднуется.

— Покажите... гм... черт... В печку его, Зина, сейчас же.

Зина, испуганно тараща глаза, ушла с календарем, а человек покачал укоризненно головой.

— Фамилию позвольте узнать?

— Фамилию я согласен наследственную принять.

— Как? Наследственную? Именно?

— Шариков.

* * *

В кабинете перед столом стоял председатель домкома Швондер в кожаной тужурке. Доктор Борменталь сидел в кресле. При этом на румяных от мороза щеках доктора (он только что вернулся) было столь же растерянное выражение, как и у Филиппа Филипповича, сидящего рядом.

— Как же писать? — нетерпеливо спросил он.

— Что же, — заговорил Швондер, — дело несложное. Пишите удостоверение, гражданин профессор. Что так, мол, и так, предьявитель сего действительно Шариков Полиграф Полиграфович, гм... зародившийся в вашей, мол, квартире.

Борменталь недоуменно шевельнулся в кресле. Филипп Филиппович дернул усом.

— Гм... Вот черт! Глупее ничего себе и представить нельзя. Ничего он не зародился, а просто... ну, одним словом...

— Это — ваше дело, — со спокойным злорадством вымолвил Швондер, — зародился или нет... В общем и целом ведь вы делали опыт, профессор! Вы и создали гражданина Шарикова.

— И очень просто, — пролаял Шариков от книжного шкафа. Он вглядывался в галстук, отражавшийся в зеркальной бездне.

— Я бы очень просил вас, — огрызнулся Филипп Филиппович, — не вмешиваться в разговор. Вы напрасно говорите «и очень просто» — это очень не просто.

— Как же мне не вмешиваться, — обидчиво забубнил Шариков.

Швондер немедленно его поддержал.

— Простите, профессор, гражданин Шариков совершенно прав. Это его право — участвовать в обсуждении его собственной участи, в особенности постольку, поскольку дело касается документов. Документ — самая важная вещь на свете.

В этот момент оглушительный трезвон над ухом оборвал разговор. Филипп Филиппович сказал в трубку: «Да...», покраснел и закричал:

— Прошу не отрывать меня по пустякам. Вам какое дело? — и он с силой всадил трубку в рогульки.

Голубая радость разлилась по лицу Швондера.

Филипп Филиппович, багровея, прокричал:

— Одним словом, кончим это.

Он оторвал листок от блокнота и набросал несколько слов, затем раздраженно прочитал вслух:

— «Сим удостоверяю...» Черт знает, что такое... Гм... «Предъявитель сего — человек, полученный при лабораторном опыте путем операции на головном мозгу, нуждается в документах»... Черт! Да я вообще против получения этих идиотских документов. Подпись — «профессор Преображенский».

— Довольно странно, профессор, — обиделся Швондер, — как это так вы документы называете идиотскими? Я не могу допустить пребывания в доме бездокументного жильца, да еще не взятого на воинский учет милицией. А вдруг война с империалистическими хищниками?

— Я воевать не пойду никуда! — вдруг хмуро твякнул Шариков в шкаф.

Швондер оторопел, но быстро оправился и учтиво заметил Шарикову:

— Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени несознательно. На воинский учет необходимо взяться.

— На учет возьмусь, а воевать — шиш с маслом, — неприязненно ответил Шариков, поправляя бант.

Настала очередь Швондера смутиться. Преображенский злобно и тоскливо переглянулся с Борменталем: «Не угодно ли — мораль». Борменталь многозначительно кивнул головой.

— Я тяжко раненный при операции, — хмуро подвыл Шариков, — меня, вишь, как отделали, — и он показал на голову. Поперек лба тянулся очень свежий операционный шрам.

— Вы анархист-индивидуалист? — спросил Швондер, высоко поднимая брови.

— Мне белый билет полагается, — ответил Шариков на это.

— Ну-с, хорошо-с, не важно пока, — ответил удивленный Швондер, — факт в том, что мы удостоверение профессора отправим в милицию и нам выдадут документ.

— Вот что, э... — внезапно перебил его Филипп Филиппович, очевидно терзаемый какой-то думой, — нет ли у вас в доме свободной комнаты? Я согласен ее купить.

Желтенькие искры появились в карих глазах Швондера.

— Нет, профессор, к величайшему сожалению. И не предвидится.

Филипп Филиппович сжал губы и ничего не сказал. Опять как оглашенный загремел телефон. Филипп Филиппович, ничего не спрашивая, молча сбросил трубку с рогулек так, что она, покрутившись немного, повисла на голубом шнуре. Все вздрогнули. «Изнервничался старик», — подумал Борменталь, а Швондер, сверкая глазами, поклонился и вышел.

Шариков, скрипя сапожным рантом, отправился за ним следом.

Профессор остался наедине с Борменталем. Немного помолчав, Филипп Филиппович мелко потряс головой и заговорил:

— Это кошмар, честное слово. Вы видите? Клянусь вам, дорогой доктор, я измучился за эти две недели больше, чем за последние 14 лет! Вот — тип, я вам доложу...

В отдалении глухо треснуло стекло, затем вспорхнул заглушенный женский визг и тотчас потух. Нечистая сила шарахнула

по обоям в коридоре, направляясь к смотровой, там чем-то грохнуло и мгновенно пролетело обратно. Захлопали двери, и в кухне отозвался низкий крик Дарьи Петровны. Затем завыл Шариков.

— Боже мой, еще что-то! — закричал Филипп Филиппович, бросаясь к дверям.

— Кот, — сообразил Борменталь и выскочил за ним вслед. Они понеслись по коридору в переднюю, ворвались в нее, оттуда свернули в коридор к уборной и ванной. Из кухни выскочила Зина и вплотную наскочила на Филиппа Филипповича.

— Сколько раз я приказывал — котов чтобы не было, — в бешенстве закричал Филипп Филиппович. — Где он?! Иван Арнольдович, успокойте, ради бога, пациентов в приемной!

— В ванной, в ванной проклятый черт сидит, — задыхаясь, закричала Зина.

Филипп Филиппович навалился на дверь ванной, но та не поддавалась.

— Открыть сию секунду!

В ответ в запертой ванной по стенам что-то запрыгало, обрушились тазы, дикий голос Шарикова глухо проревел за дверью:

— Убью на месте...

Вода зашумела по трубам и полилась. Филипп Филиппович налег на дверь и стал ее рвать. Распаренная Дарья Петровна с искаженным лицом появилась на пороге кухни. Затем высокое стекло, выходящее под самым потолком ванной в кухню, треснуло червивой трещиной, и из него вывалились два осколка, а за ними выпал громаднейших размеров кот в тигровых кольцах и с голубым бантом на шее, похожий на городского. Он упал прямо на стол в длинное блюдо, расколов его вдоль, с блюда на пол, затем повернулся на трех ногах, а правой взмахнул, как будто в танце, и тотчас просочился в узкую щель на черную лестницу. Щель расширилась, и кот сменился старушечьей физиономией в платке. Юбка старухи, усеянная белым горохом, оказалась в кухне. Старуха указательным и большим пальцем обтерла запавший рот, припухшими и колючими глазами окинула кухню и произнесла с любопытством:

— О, господи Иисусе!

Бледный Филипп Филиппович пересек кухню и спросил старуху грозно:

— Что вам надо?

— Говорящую собачку любопытно поглядеть, — ответила старуха заискивающе и перекрестилась.

Филипп Филиппович еще более побледнел, к старухе подошел вплотную и шепнул удушливо:

— Сию секунду из кухни вон!

Старуха попятилась к дверям и заговорила, обидевшись:

— Что-то уж больно дерзко, господин профессор.

— Вон, я говорю! — Повторил Филипп Филиппович и глаза его сделались круглыми, как у совы. Он собственноручно трахнул черной дверью за старухой. — Дарья Петровна, я же просил вас!

— Филипп Филиппович, — в отчаянии ответила Дарья Петровна, сжимая обнаженные руки в кулаки, — что же я поделаю? Народ целые дни ломится, хоть все бросай.

Вода в ванной ревела глухо и грозно, но голоса более не было слышно.

Вошел доктор Борменталь.

— Иван Арнольдович, убедительно прошу... гм... Сколько там пациентов?

— Одиннадцать, — ответил Борменталь.

— Отпустите всех, сегодня принимать не буду.

Филипп Филиппович постучал костяшкой пальца в дверь и крикнул:

— Сию минуту извольте выйти! Зачем вы заперлись?

— Гу-гу! — Жалобно и тускло ответил голос Шарикова.

— Какого черта!.. Не слышу, закройте воду.

— Гау! Гау!..

— Да закройте воду! Что он сделал — не понимаю... — приходя в исступление, вскричал Филипп Филиппович.

Зина и Дарья Петровна, открыв дверь, выглядывали из кухни. Филипп Филиппович еще раз прогрохотал кулаком в дверь.

— Вот он! — Выкрикнула Дарья Петровна из кухни.

Филипп Филиппович ринулся туда. В разбитое окно под потолком показалась и высунулась в кухню физиономия Полиграфа Полиграфовича. Она была перекошена, глаза плаксивы, а вдоль носа тянулась, пламенея от свежей крови, царапина.

— Вы с ума сошли? — спросил Филипп Филиппович. — Почему вы не выходите?

Шариков и сам в тоске и страхе оглянулся и ответил:

— Защелкнулся я.

— Откройте замок. Что ж, вы никогда замка не видели?

— Да не открывается, окаянный! — испуганно ответил Полиграф.

— Батюшки! Он предохранитель защелкнул! — вскричала Зина и всплеснула руками.

— Там пуговка есть такая! — выкрикивал Филипп Филиппович, стараясь перекричать воду, — нажмите ее книзу... Вниз нажимайте! Вниз!

Шариков пропал и через минуту вновь появился в окошке.

— Ни пса не видно, — в ужасе пролаял он в окно.

— Да лампу зажгите. Он взбесился!

— Котяра проклятый лампу раскокал, — ответил Шариков, — а я стал его, подлеца, за ноги хватать, кран вывернул, а теперь найти не могу.

Все трое всплеснули руками и в таком положении застыли.

Минут через пять Борменталь, Зина и Дарья Петровна сидели рядышком на мокром ковре, свернутом трубкою у подножия двери, и задними местами прижимали его к щели под дверью, а швейцар Федор с зажженной венчальной свечой Дарьи Петровны по деревянной лестнице лез в слуховое окно. Его зад в крупной серой клетке мелькнул в воздухе и исчез в отверстии.

— Ду... Гу-гу! — что-то кричал Шариков сквозь рев воды.

Послышался голос Федора:

— Филипп Филиппович, все равно надо открывать, пусть разойдется, отсосем из кухни.

— Открывайте! — сердито крикнул Филипп Филиппович.

Тройка поднялась с ковра, дверь из ванной нажали, и тотчас волна хлынула в коридорчик. В нем она разделилась на три потока: прямо в противоположную уборную, направо — в кухню и налево в переднюю. Шлепая и прыгая, Зина захлопнула в нее дверь. По щиколотку в воде вышел Федор, почему-то улыбаясь. Он был как в клеенке — весь мокрый.

— Еле заткнул, напор большой, — пояснил он.

— Где этот? — спросил Филипп Филиппович и с проклятием поднял одну ногу.

— Бойтесь выходить, — глупо усмехаясь, объяснил Федор.

— Бить будете, папаша? — донесся плаксивый голос Шарикова из ванной.

— Болван! — коротко отозвался Филипп Филиппович.

Зина и Дарья Петровна в подоткнутых до колен юбках, с голыми ногами, и Шариков с швейцаром, босые, с закатанными штанами шваркали мокрыми тряпками по полу кухни и отжимали их в грязные ведра и раковину. Заброшенная плита гудела. Вода уходила через дверь на гулкую лестницу прямо в пролет лестницы и падала в подвал.

Борменталь, вытянувшись на цыпочках, стоял в глубокой луже на паркете передней и вел переговоры через чуть приоткрытую дверь на цепочке.

— Не будет сегодня приема, профессор нездоров. Будьте добры отойти от двери, у нас труба лопнула...

— А когда же прием? — добивался голос за дверью. — Мне бы только на минуточку...

— Не могу, — Борменталь переступил с носков на каблуки, — профессор лежит и труба лопнула. Завтра прошу. Зина! Милая! Отсюда вытирайте, а то она на парадную лестницу выльется.

— Тряпки не берут.

— Сейчас кружками вычерпаем, — отозвался Федор, — сейчас.

Звонки следовали один за другим, и Борменталь уже подошвой стоял в воде.

— Когда же операция? — приставал голос и пытался просунуться в щель.

— Труба лопнула...

— Я бы в калошах прошел...

Синеватые силуэты появились за дверью.

— Нельзя, прошу завтра.

— А я записан.

— Завтра. Катастрофа с водопроводом.

Федор у ног доктора ерзал в озере, скреб кружкой, а исцарапанный Шариков придумал новый способ. Он скатал громадную тряпку в трубку, лег животом в воду и погнал ее из передней обратно к уборной.

— Что ты, леший, по всей квартире гоняешь? — сердилась Дарья Петровна. — Выливай в раковину.

— Да что в раковину, — ловя руками мутную воду, отвечал Шариков, — она на парадное вылезет.

Из коридора со скрежетом выехала скамеечка, и на ней вытянулся, балансируя, Филипп Филиппович в синих с полосками носках.

— Иван Арнольдович, бросьте вы отвечать. Идите в спальню, я вам туфли дам.

— Ничего, Филипп Филиппович, какие пустяки.

— В калоши станьте.

— Да ничего. Все равно уже ноги мокрые.

— Ах, боже мой! — расстраивался Филипп Филиппович.

— До чего вредное животное! — отозвался вдруг Шариков и выехал на корточках с суповой миской в руке.

Борменталь захлопнул дверь, не выдержал и засмеялся. Ноздри Филиппа Филипповича раздулись, очки вспыхнули.

— Вы про кого говорите? — спросил он у Шарикова с высоты. — Позвольте узнать.

— Про кота я говорю. Такая сволочь, — ответил Шариков, бегая глазами.

— Знаете, Шариков, — переводя дух, отозвался Филипп Филиппович, — я положительно не видал более наглого существа, чем вы.

Борменталь хихикнул.

— Вы, — продолжал Филипп Филиппович, — просто нахал. Как вы смеете это говорить? Вы все это учинили и еще позволяете... Да нет! Это черт знает что такое!

— Шариков, скажите мне, пожалуйста, — заговорил Борменталь, — сколько времени вы еще будете гоняться за котами? Стыдитесь! Ведь это же безобразие! Дикарь!

— Какой я дикарь, — хмуро отозвался Шариков, — ничего я не дикарь. Его терпеть в квартире невозможно. Только и ищет — как бы что своровать. Фарш слопал у Дарьи. Я его поучить хотел.

— Вас бы самого поучить! — ответил Филипп Филиппович, — вы поглядите на свою физиономию в зеркале.

— Чуть глаза не лишил, — мрачно отозвался Шариков, трогая глаз мокрой грязной рукой.

Когда черный от влаги паркет несколько подсох, все зеркала покрылись банным налетом, и звонки прекратились. Филипп Филиппович в сафьяновых красных туфлях стоял в передней.

— Вот вам, Федор.

— Покорнейше благодарю.

— Переоденьтесь сейчас же. Да вот что: выпейте у Дарьи Петровны водки.

— Покорнейше благодарю, — Федор помялся, потом сказал: — Тут еще, Филипп Филиппович. Я извиняюсь, уж прямо и совестно. Только — за стекло в седьмой квартире... Гражданин Шариков камнями швырял...

— В коту? — спросил Филипп Филиппович, хмурясь, как облако.

— То-то, что в хозяина квартиры. Он уж в суд грозился подать.

— Черт!

— Кухарку Шариков ихнюю обнял, а тот его гнать стал. Ну, повздорили.

— Ради бога, вы мне всегда сообщайте сразу о таких вещах! Сколько нужно?

— Полтора.

Филипп Филиппович извлек три блестящих полтинника и вручил Федору.

— Еще за такого мерзавца полтора целковых платить, — послышался в дверях глухой голос, — да он сам...

Филипп Филиппович обернулся, закусил губу и молча нажал на Шарикова, вытеснил его в приемную и запер его на ключ. Шариков изнутри тотчас загрохотал кулаками в дверь.

— Не смей! — явно больным голосом воскликнул Филипп Филиппович.

— Ну уж это действительно, — многозначительно заметил Федор, — такого наглого я в жизнь свою не видал.

Борменталь как из-под земли вырос.

— Филипп Филиппович, прошу вас, не волнуйтесь.

Энергичный эскулап отпер дверь в приемную, и оттуда донесся его голос:

— Вы что? В кабаке, что ли?

— Это так... — добавил решительно Федор, — вот это так... Да по уху бы еще...

— Ну, что вы, Федор, — печально буркнул Филипп Филиппович.

— Помилуйте, вас жалко, Филипп Филиппович.

VII

— Нет, нет и нет! — настойчиво заговорил Борменталь. — Извольте заложить.

— Ну что, ей-богу, — забурчал недовольно Шариков.

— Благодарю вас, доктор, — ласково сказал Филипп Филиппович, — а то мне уже надоело делать замечания.

— Все равно не позволю есть, пока не заложите. Зина, примите майонез у Шарикова.

— Как это так «примите»? — расстроился Шариков. — Я сейчас заложу.

Левой рукой он заслонил блюдо от Зины, а правой запихнул салфетку за воротник и стал похож на клиента в парикмахерской.

— И вилкой, пожалуйста, — добавил Борменталь.

Шариков длинно вздохнул и стал ловить куски осетрины в густом соусе.

— Я еще водочки выпью? — заявил он вопросительно.

— А не будет ли вам? — осведомился Борменталь. — Вы последнее время слишком налегаете на водку.

— Вам жалко? — осведомился Шариков и глянул исподлобья.

— Глупости говорите... — вмешался суровый Филипп Филиппович, но Борменталь его перебил.

— Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, я сам. Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль, тем более что она и не моя, а Филиппа Филипповича. Просто — это вредно. Это — раз, а второе — вы и без водки держите себя неприлично.

Борменталь указал на заклеенный буфет.

— Зинуша, дайте мне, пожалуйста, еще рыбы, — произнес профессор.

Шариков тем временем потянулся к графинчику и, покосившись на Борменталья, налил рюмочку.

— И другим надо предложить, — сказал Борменталь, — и так: сперва Филиппу Филипповичу, затем мне, а в заключение себе.

Шариковский рот тронула едва заметная сатирическая улыбка, и он разлил водку по рюмкам.

— Вот все у вас, как на параде, — заговорил он, — салфетку — туда, галстук — сюда, да «извините», да «пожалуйста-мерси», а так, чтобы по-настоящему, — это нет. Мучаете сами себя, как при царском режиме.

— А как это «по-настоящему»? — позвольте осведомиться.

Шариков на это ничего не ответил Филиппу Филипповичу, а поднял рюмку и произнес:

— Ну желаю, чтобы все...

— И вам также, — с некоторой иронией отозвался Борменталь.

Шариков выплеснул содержимое рюмки себе в плотку, сморщился, кусочек хлеба поднес к носу, понюхал, а затем проглотил, причем глаза его налились слезами.

— Стаж, — вдруг отрывисто и как бы в забытьи проговорил Филипп Филиппович.

Борменталь удивленно покосился.

— Виноват...

— Стаж! — повторил Филипп Филиппович и горько качнул головой, — тут уж ничего не поделаешь — Клим.

Борменталь с чрезвычайным интересом остро взгляделся в глаза Филиппа Филипповича:

— Вы полагаете, Филипп Филиппович?

— Нечего полагать, уверен в этом.

— Неужели... — начал Борменталь и остановился, покосившись на Шарикова.

Тот подозрительно нахмурился.

— Später ^[23]... — негромко сказал Филипп Филиппович.

— Gut ^[24], — отозвался ассистент.

Зина внесла индейку. Борменталь налил Филиппу Филипповичу красного вина и предложил Шарикову.

— Я не хочу. Я лучше водочки выпью. — Лицо его замаслилось, на лбу проступил пот, он повеселел. И Филипп Филиппович несколько подобрел после вина. Его глаза прояснились, он благосклоннее поглядывал на Шарикова, черная голова которого в салфетке сидела, как муха в сметане.

Борменталь же, подкрепившись, обнаружил склонность к деятельности.

— Ну-с, что же мы с вами предпримем сегодня вечером? — осведомился он у Шарикова.

Тот поморгал глазами, ответил:

— В цирк пойдем, лучше всего.

— Каждый день в цирк, — благодушно заметил Филипп Филиппович, — это довольно скучно, по-моему. Я бы на вашем месте хоть раз в театр ходил.

— В театр я не пойду, — неприязненно отозвался Шариков и перекрестил рот.

— Икание за столом отбивает у других аппетит, — машинально сообщил Борменталь. — Вы меня извините... Почему, собственно, вам не нравится театр?

Шариков посмотрел в пустую рюмку как в бинокль, подумал и оттопырил губы.

— Да дурака валяние... Разговаривают, разговаривают... Контрреволюция одна.

Филипп Филиппович откинулся на готическую спинку и захохотал так, что во рту у него засверкал золотой частокор. Борменталь только повертел головою.

— Вы бы почитали что-нибудь, — предложил он, — а то, знаете ли...

— Уж и так читаю, читаю... — ответил Шариков и вдруг хищно и быстро налил себе пол стакана водки.

— Зина, — тревожно закричал Филипп Филиппович, — убирайте, детка, водку больше уже не нужна. Что же вы читаете?

В голове у него вдруг мелькнула картина: необитаемый остров, пальма, человек в звериной шкуре и колпаке. «Надо будет Робинзона»...

— Эту... Как ее... переписку Энгельса с этим... как его — дьявола — с Каутским.

Борменталь остановил на полдороге вилку с куском белого мяса, а Филипп Филиппович расплескал вино. Шариков в это время изловчился и проглотил водку.

Филипп Филиппович локти положил на стол, взгляделся в Шарикова и спросил:

— Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного.

Шариков пожал плечами.

— Да не согласен я.

— С кем? С Энгельсом или с Каутским?

— С обоими, — ответил Шариков.

— Это замечательно, клянусь богом. Всех, кто скажет, что другая... А что бы вы со своей стороны могли предложить?

— Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут... Конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет. Взять все, да и поделить...

— Так я и думал, — воскликнул Филипп Филиппович, шлепнув ладонью по скатерти, — именно так и полагал.

— Вы и способ знаете? — спросил заинтересованный Борменталь.

— Да какой тут способ, — становясь словоохотливым после водки, объяснил Шариков, — дело нехитрое. А то что ж: один в семи комнатах расселился, штанов у него 40 пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет.

— Насчет семи комнат — это вы, конечно, на меня намекаете? — горделиво прищурившись, спросил Филипп Филиппович.

Шариков съежился и промолчал.

— Что же, хорошо, я не против дележа. Доктор, скольким вы вчера отказали?

— 39-ти человекам, — тотчас ответил Борменталь.

— Гм... 390 рублей. Ну, грех на трех мужчин. Дам — Зину и Дарью Петровну — считать не станем. С вас, Шариков, 130 рублей. Потрудитесь внести.

— Хорошенькое дело, — ответил Шариков, испугавшись, — это за что такое?

— За кран и за кота, — рывкнул вдруг Филипп Филиппович, выходя из состояния иронического спокойствия.

— Филипп Филиппович, — тревожно воскликнул Борменталь.

— Погодите. За безобразие, которое вы учинили и благодаря которому сорвали прием. Это же нестерпимо. Человек, как первобытный, прыгает по всей квартире, рвет краны. Кто убил кошку у мадам Поласухер? Кто...

— Вы, Шариков, третьего дня укусили даму на лестнице, — подлетел Борменталь.

— Вы сто *ите*... — рычал Филипп Филиппович.

— Да она меня по морде хлопнула, — взвизгнул Шариков, — у меня не казенная морда!

— Потому что вы ее за грудь ущипнули, — закричал Борменталь, опрокинув бокал, — вы стоите...

— Вы стоите на самой низшей ступени развития, — перекричал Филипп Филиппович, — вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить... а в то же время вы напотались зубного порошку...

— Третьего дня, — подтвердил Борменталь.

— Ну вот-с, — гремел Филипп Филиппович, — зарубите себе на носу, кстати, почему вы стерли с него цинковую мазь? — что вам нужно молчать и слушать, что вам говорят. Учитесь и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества. Кстати, какой негодяй снабдил вас этой книжкой?

— Все у вас негодяи, — испуганно ответил Шариков, оглушенный нападением с двух сторон.

— Я догадываюсь, — злобно краснея, воскликнул Филипп Филиппович.

— Ну, что же. Ну, Швондер дал. Он не негодяй... Что я развивался...

— Я вижу, как вы развиваетесь после Каутского, — визгливо и пожелтев, крикнул Филипп Филиппович. Тут он яростно нажал на кнопку в стене. Сегодняшний случай показывает это как нельзя лучше. Зина!

— Зина! — кричал Борменталь.

— Зина! — орал испуганный Шариков.

Зина прибежала бледная.

— Зина, там в приемной... Она в приемной?

— В приемной, — покорно ответил Шариков, — зеленая, как купорос.

— Зеленая книжка...

— Ну, сейчас палить, — отчаянно воскликнул Шариков, — она казенная, из библиотеки!

— Переписка — называется, как его... Энгельса с этим чертом... В печку ее!

Зина улетела.

— Я бы этого Швондера повесил, честное слово, на первом суку, — воскликнул Филипп Филиппович, яростно впиваясь в крыло индюшки, — сидит изумительная дрянь в доме — как нарыв. Мало того, что он пишет всякие бессмысленные пасквили в газетах...

Шариков злобно и иронически начал коситься на профессора. Филипп Филиппович в свою очередь отправил ему косой взгляд и умолк.

«Ох, ничего доброго у нас, кажется, не выйдет в квартире», — вдруг пророчески подумал Борменталь.

Зина внесла на круглом блюде рыжую с правого и румяную с левого бока бабу и кофейник.

— Я не буду ее есть, — сразу угрожающе неприязненно заявил Шариков.

— Никто вас не приглашает. Держите себя прилично. Доктор, прошу вас.

В молчании закончился обед.

Шариков вытащил из кармана смятую папиросу и задымил. Откушав кофею, Филипп Филиппович поглядел на часы, нажал на репетир, и они проиграли нежно восемь с четвертью. Филипп Филиппович откинулся по своему обыкновению на готическую спинку и потянулся к газете на столике.

— Доктор, прошу вас, съездите с ним в цирк. Только, ради бога, посмотрите в программе — котов нету?

— И как такую сволочь в цирк пускают, — хмуро заметил Шариков, покачивая головой.

— Ну, мало ли кого туда допускают, — двусмысленно отозвался Филипп Филиппович, — что там у них?

— У Соломонского, — стал вычитывать Борменталь, — четыре какие-то... Юссемс и человек мертвой точки.

— Что это за Юссемс? — Подозрительно осведомился Филипп Филиппович.

— Бог их знает. Впервые это слово встречаю.

— Ну, тогда лучше смотрите у Никитиных. Необходимо, чтобы было все ясно.

— У Никитиных... У Никитиных... Гм... Слоны и предел человеческой ловкости.

— Так-с. Что вы скажете относительно слонов, дорогой Шариков? — недоверчиво спросил Филипп Филиппович у Шарикова.

Тот обиделся.

— Что же, я не понимаю, что ли. Кот — другое дело. Слоны — животные полезные, — ответил Шариков.

— Ну-с, и отлично. Раз полезные, поезжайте и поглядите на них. Ивана Арнольдовича слушаться надо. И ни в какие разговоры там не пускаться в буфете! Иван Арнольдович, покорнейше прошу пива Шарикову не предлагать.

Через 10 минут Иван Арнольдович и Шариков, одетый в кепку с утиным носом и в драповое пальто с поднятым воротником, уехали в цирк. В квартире стихло. Филипп Филиппович оказался в своем кабинете. Он зажег лампу под тяжелым зеленым колпаком, отчего в громадном кабинете стало очень мирно, и начал мерить комнату. Долго и жарко светился кончик сигары бледно-зеленым огнем. Руки профессор заложил в карманы брюк, и тяжкая дума терзала его ученый с зализами лоб. Он причмокивал, напевал сквозь зубы «к берегам священным Нила...» и что-то бормотал. Наконец, отложил сигару в пепельницу, подошел к шкафу, сплошь состоящему из стекла, и весь кабинет осветил тремя сильнейшими огнями с потолка. Из шкафа, с третьей стеклянной полки Филипп Филиппович вынул узкую банку и стал, нахмурившись, рассматривать ее на свет огней. В прозрачной и тяжелой жидкости плавал, не падая на дно, малый беленький комочек, извлеченный из недр Шарикова мозга. Пожимая плечами, кривя губы и хмыкая, Филипп Филиппович пожирал его глазами, как будто в белом нетонущем комке хотел разглядеть причину удивительных событий, перевернувших вверх дном жизнь в пречистенской квартире.

Очень возможно, что высокоученый человек ее и разглядел. По крайней мере, вдоволь насмотревшись на придаток мозга, он банку спрятал в шкаф, запер его на ключ, ключ положил в жилетный карман, а сам обрушился, вдавив голову в плечи и глубочайше засунув

руки в карманы пиджака, на кожу дивана. Он долго палил вторую сигару, совершенно изжевав ее конец, и, наконец, в полном одиночестве, зелено окрашенный, как седой Фауст, воскликнул:

— Ей-богу, я, кажется, решусь.

Никто ему не ответил на это. В квартире прекратились всякие звуки. В Обуховом переулке в 11 часов, как известно, затихает движение. Редко-редко звучали отдаленные шаги запоздавшего пешехода, они постукивали где-то за шторами и угасали. В кабинете нежно звенел под пальцами Филиппа Филипповича репетир в карманчике... Профессор нетерпеливо поджидал возвращения д-ра Борменталья и Шарикова из цирка...

VIII

Неизвестно, на что решился Филипп Филиппович. Ничего особенного в течение следующей недели он не предпринимал, и, может быть, вследствие его бездействия, квартирная жизнь переполнилась событиями.

Дней через 6 после истории с водой и котом из домкома к Шарикову явился молодой человек, оказавшийся женщиной, и вручил ему документы, которые Шариков немедленно заложил в карман и немедленно после этого позвал доктора Борменталья.

— Борменталь!

— Нет, уж вы меня по имени и отчеству, пожалуйста, называйте! — отозвался Борменталь, меняясь в лице.

Нужно заметить, что в эти 6 дней хирург ухитрился 8 раз поссориться со своим воспитанником. И атмосфера в обуховских комнатах была душная.

— Ну и меня называйте по имени и отчеству! — совершенно основательно ответил Шариков.

— Нет! — загремел в дверях Филипп Филиппович. — По такому имени и отчеству в моей квартире я вас не разрешу называть. Если вам угодно, чтобы вас перестали именовать фамильярно «Шариков», и я, и доктор Борменталь будем называть вас «господин Шариков».

— Я не господин, господа все в Париже! — отлаял Шариков.

— Швондерова работа! — кричал Филипп Филиппович. — Ну ладно, посчитаюсь я с этим негодяем. Не будет никого, кроме господ, в моей квартире, пока я в ней нахожусь! В противном случае или я, или вы уйдете отсюда, и, вернее всего, вы. Сегодня я помещу в газетах объявление, и, поверьте, я вам найду комнату.

— Ну да, такой я дурак, чтобы я съехал отсюда, — очень четко ответил Шариков.

— Как? — спросил Филипп Филиппович и до того изменился в лице, что Борменталь подлетел к нему и нежно и тревожно взял его за рукав.

— Вы, знаете, не нахальничайте, мосье Шариков! — Борменталь очень повысил голос. Шариков отступил, вытащил из кармана 3

бумаги: зеленую, желтую и белую и, тыча в них пальцами, заговорил:

— Вот. Член жилищного товарищества, и площадь мне полагается определенно в квартире № 5 у ответственного съемщика Преображенского в шестнадцать квадратных аршин, — Шариков подумал и добавил слово, которое Борменталь машинально отметил в мозгу, как новое: — благоволите.

Филипп Филиппович закусил губу и сквозь нее неосторожно вымолвил:

— Клянусь, что я этого Швондера в конце концов застрелю.

Шариков в высшей степени внимательно и остро принял эти слова, что было видно по его глазам.

— Филипп Филиппович, vorsichtig ^[25]... — предостерегающе начал Борменталь.

— Ну, уж знаете... Если уж такую подлость!.. — вскричал Филипп Филиппович по-русски. — Имейте в виду, Шариков... господин, что я, если вы позволите себе еще одну наглую выходку, я лишу вас обеда и вообще питания в моем доме. 16 аршин — это прелестно, но ведь я вас не обязан кормить по этой лягушечьей бумаге!

Тут Шариков испугался и приоткрыл рот.

— Я без пропитания оставаться не могу, — забормотал он, — где же я буду харчеваться?

— Тогда ведите себя прилично! — в один голос заявили оба эскулапа.

Шариков значительно притих и в тот день не причинил никакого вреда никому, за исключением самого себя: пользуясь небольшой отлучкой Борменталья, он завладел его бритвой и распорол себе скулу так, что Филипп Филиппович и д-р Борменталь накладывали ему на порез швы, отчего Шариков долго выл, заливаясь слезами.

Следующую ночь в кабинете профессора в зеленом полумраке сидели двое — сам Филипп Филиппович и верный, привязанный к нему Борменталь. В доме уже спали. Филипп Филиппович был в своем лазоревом халате и красных туфлях, а Борменталь в рубашке и синих подтяжках. Между врачами на круглом столе рядом с пухлым альбомом стояла бутылка коньяку, блюдечко с лимоном и сигарный ящик. Ученые, накурив полную комнату, с жаром обсуждали последние события: этим вечером Шариков присвоил в кабинете

Филиппа Филипповича 2 червонца, лежавшие под пресс-папье, пропал из квартиры, вернулся поздно, и совершенно пьяный. Этого мало. С ним явились 2 неизвестных личности, шумевших на парадной лестнице и изъявивших желание ночевать в гостях у Шарикова. Удалились означенные личности лишь после того, как Федор, присутствовавший при этой сцене в осеннем пальто, накинутом сверх белья, позвонил по телефону в сорок пятое отделение милиции. Личности мгновенно отбыли, лишь только Федор повесил трубку. Неизвестно куда после ухода личностей задевалась малахитовая пепельница с подзеркальника в передней, бобровая шапка Филиппа Филипповича и его же трость, на каковой трости золотой вязью было написано: «Дорогому и уважаемому Филиппу Филипповичу благодарные ординаторы в день ...», дальше шла римская цифра XXV.

— Кто они такие? — наступал Филипп Филиппович, сжимая кулаки, на Шарикова.

Тот, шатаясь и прилипая к шубам, бормотал насчет того, что личности ему неизвестны, что они не сукины сыны какие-нибудь, а — хорошие.

— Изумительнее всего, что ведь они же оба пьяные... Как же они ухитрились? — поражался Филипп Филиппович, глядя на то место в стойке, где некогда помещалась память юбилея.

— Специалисты, — пояснил Федор, удаляясь спать с рублем в кармане.

От двух червонцев Шариков категорически отперся и при этом выговорил что-то неясное насчет того, что вот, мол, он не один в квартире.

— Ага, быть может, это доктор Борменталь свистнул червонцы? — осведомился Филипп Филиппович тихим, но страшным по оттенку голосом.

Шариков качнулся, открыл совершенно посоловевшие глаза и высказал предположение:

— А может быть, Зинка взяла...

— Что такое?.. — закричала Зина, появившись в дверях как привидение, прикрывая на груди расстегнутую кофточку ладонью, — да как он...

Шея Филиппа Филипповича налилась красным цветом.

— Спокойно, Зинуша, — молвил он, простирая к ней руку, — не волнуйся, мы все это устроим.

Зина немедленно заревела, распутив губы, и ладонь запрыгала у нее на ключице.

— Зина, как вам не стыдно? Кто же может подумать? Фу, какой срам! — заговорил Борменталь растерянно.

— Ну, Зина, ты — дура, прости господи, — начал было Филипп Филиппович.

Но тут Зинин плач прекратился сам собой, и все умолкли. Шарикову стало нехорошо. Стукнувшись головой об стену, он издал звук — не то «и», не то «е» — вроде «эээ»! Лицо его побледнело, и судорожно задвигалась челюсть.

— Ведро ему, негодяю, из смотровой дать!

И все забегали, ухаживая за заболевшим Шариковым. Когда его отводили спать, он, пошатываясь в руках Борменталья, очень нежно и мелодически ругался скверными словами, выговаривая их с трудом.

Вся эта история произошла около часу, а теперь было часа 3 пополудни, но двое в кабинете бодрствовали, взвинченные коньяком с лимоном. Накурили они до того, что дым двигался густыми медленными плоскостями, даже не колыхаясь.

Доктор Борменталь, бледный, с очень решительными глазами, поднял рюмку со стрекозиной талией.

— Филипп Филиппович, — прочувственно воскликнул он, — я никогда не забуду, как я полуголодным студентом явился к вам, и вы приютили меня при кафедре. Поверьте, Филипп Филиппович, вы для меня гораздо больше, чем профессор, учитель... Мое безмерное уважение к вам... Позвольте вас поцеловать, дорогой Филипп Филиппович.

— Да, голубчик мой... — растерянно промычал Филипп Филиппович и поднялся навстречу. Борменталь его обнял и поцеловал в пушистые, сильно прокуренные усы.

— Ей-богу, Филипп Фили...

— Так растрогали, так растрогали... Спасибо вам, — говорил Филипп Филиппович, — голубчик, я иногда на вас ору на операциях. Уж простите стариковскую вспыльчивость. В сущности ведь я так одинок... От Севильи до Гренады...

— Филипп Филиппович, не стыдно ли вам?.. — искренно воскликнул пламенный Борменталь, — если вы не хотите меня обижать, не говорите мне больше таким образом...

— Ну, спасибо вам... К берегам священным Нила... Спасибо... И я вас полюбил как способного врача.

— Филипп Филиппович, я вам говорю!.. — страстно воскликнул Борменталь, сорвался с места, плотнее прикрыл дверь, ведущую в коридор и, вернувшись, продолжал шепотом, — ведь это — единственный исход. Я не смею вам, конечно, давать советы, но, Филипп Филиппович, посмотрите на себя, вы совершенно замучились, ведь так нельзя же больше работать!

— Абсолютно невозможно, — вздохнув, подтвердил Филипп Филиппович.

— Ну вот, это же немыслимо, — шептал Борменталь, — в прошлый раз вы говорили, что боитесь за меня, и если бы вы знали, дорогой профессор, как вы меня этим тронули. Но ведь я же не мальчик и сам соображаю, насколько это может получиться ужасная шутка. Но, по моему глубокому убеждению, другого выхода нет.

Филипп Филиппович встал, замахал на него руками и воскликнул:

— И не соблазняйте, даже и не говорите, — профессор заходил по комнате, закачав дымные волны, — и слушать не буду. Понимаете, что получится, если нас накроют. Нам ведь с вами на «принимая во внимание происхождение» — отъехать не придется, невзирая на нашу первую судимость. Ведь у вас нет подходящего происхождения, мой дорогой?

— Какой там черт! Отец был судебным следователем в Вильно, — горестно ответил Борменталь, допивая коньяк.

— Ну вот-с, не угодно ли. Ведь это же дурная наследственность. Пакостнее и представить себе ничего нельзя. Впрочем, виноват, у меня еще хуже. Отец — кафедральный протоиерей. Мерси. От Севильи до Гренады... В тихом сумраке ночей... вот, черт ее возьми.

— Филипп Филиппович, вы — величина мирового значения, и из-за какого-то, извините за выражение, сукиного сына... Да разве они могут вас тронуть, помилуйте!

— Тем более не пойду на это, — задумчиво возразил Филипп Филиппович, останавливаясь и озираясь на стеклянный шкаф.

— Да почему?

— Потому что вы-то ведь не величина мирового значения.

— Где уж...

— Ну вот-с. А бросать коллегу в случае катастрофы, самому же выскочить на мировом значении, простите... Я — московский студент, а не Шариков.

Филипп Филиппович горделиво поднял плечи и сделался похож на французского древнего короля.

— Филипп Филиппович, эх... — горестно воскликнул Борменталь, — значит, что же? Теперь вы будете ждать, пока удастся из этого хулигана сделать человека?

Филипп Филиппович жестом руки остановил его, налил себе коньяку, хлебнул, сосал лимон и заговорил:

— Иван Арнольдович, как по-вашему, я понимаю что-либо в анатомии и физиологии ну, скажем, человеческого мозгового аппарата? Как ваше мнение?

— Филипп Филиппович, что вы спрашиваете! — с большим чувством ответил Борменталь и развел руками.

— Ну, хорошо. Без ложной скромности. Я тоже полагаю, что в этом я не самый последний человек в Москве.

— А я полагаю, что вы — первый не только в Москве, а и в Лондоне и в Оксфорде! — яростно перебил Борменталь.

— Ну, ладно, пусть будет так. Ну так вот-с, будущий профессор Борменталь: это никому не удастся. Конечно. Можете и не спрашивать. Так и сошлитесь на меня, скажите, Преображенский сказал. *Finita* ^[26]. Клим! — вдруг торжественно воскликнул Филипп Филиппович, и шкаф ответил ему звоном, — Клим, — повторил он. — Вот что, Борменталь, вы первый ученик моей школы и, кроме того, мой друг, как я убедился сегодня. Так вот вам, как другу, сообщу по секрету, — конечно, я знаю, вы не станете срамить меня — старый осел Преображенский нарвался на этой операции как третьекурсник. Правда, открытие получилось, вы сами знаете — какое, — тут Филипп Филиппович горестно указал обеими руками на оконную штору, очевидно, намекая на Москву, — но только имейте в виду, Иван Арнольдович, что единственным результатом этого открытия будет то, что все мы теперь будем иметь этого Шарикова вот где — здесь, — Преображенский похлопал себя по крутой и склонной к параличу

шее, — будьте спокойны! Если бы кто-нибудь, — сладострастно продолжал Филипп Филиппович, — разложил меня здесь и выпорол, — я бы, клянусь, заплатил бы червонцев пять! От Севильи до Гренады... Черт меня возьми... Ведь я пять лет сидел, выковыривал придатки из мозгов... Вы знаете, какую я работу проделал — уму непостижимо. И вот теперь спрашивается — зачем? Чтобы в один прекрасный день милейшего пса превратить в такую мразь, что волосы дыбом встают.

— Исключительное что-то.

— Совершенно с вами согласен. Вот, доктор, что получается, когда исследователь вместо того, чтобы идти параллельно и ощупью с природой, форсирует вопрос и приподнимает завесу: на, получай Шарикова и ешь его с кашей.

— Филипп Филиппович, а если бы мозг Спинозы?

— Да! — рявкнул Филипп Филиппович. — Да! Если только злосчастная собака не помрет у меня под ножом, а вы видели — какого сорта эта операция. Одним словом, я, Филипп Преображенский, ничего труднее не делал в своей жизни. Можно привить гипофиз Спинозы или еще какого-нибудь такого лешего и соорудить из собаки чрезвычайно высоко стоящего. Но на какого дьявола? — спрашивается. Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать Спиноз, когда любая баба может его родить когда угодно. Ведь родила же в Холмогорах мадам Ломоносова этого своего знаменитого. Доктор, человечество само заботится об этом и в эволюционном порядке каждый год упорно, выделяя из массы всякой мрази, создает десятками выдающихся гениев, украшающих земной шар. Теперь вам понятно, доктор, почему я опорочил ваш вывод в истории шариковской болезни. Мое открытие, черти б его съели, с которым вы носитесь, стоит ровно один ломаный грош... Да, не спорьте, Иван Арнольдович, я ведь уж понял. Я же никогда не говорю на ветер, вы это отлично знаете. Теоретически это интересно. Ну, ладно! Физиологи будут в восторге. Москва беснуется... Ну, а практически что? Кто теперь перед вами? — Преображенский указал пальцем в сторону смотровой, где почивал Шариков.

— Исключительный прохвост.

— Но кто он? Клим, Клим, — крикнул профессор, — Клим Чугунов (Борменталь открыл рот) — вот что-с: две судимости,

алкоголизм, «все поделить», шапка и два червонца пропали (тут Филипп Филиппович вспомнил юбилейную палку и побагровел) — хам и свинья... Ну, эту палку я найду. Одним словом, гипофиз — закрытая камера, определяющая человеческое данное лицо. Данное! От Севильи до Гренады... — свирепо вращая глазами, кричал Филипп Филиппович, — а не общечеловеческое. Это — в миниатюре — сам мозг. И мне он совершенно не нужен, ну его ко всем свиньям. Я заботился совсем о другом, об евгенике, об улучшении человеческой породы. И вот на омоложении нарвался. Неужели вы думаете, что из-за денег произвожу их? Ведь я же все-таки ученый.

— Вы великий ученый, вот что! — молвил Борменталь, плотая коньяк. Глаза его налились кровью.

— Я хотел проделать маленький опыт, после того, как 2 года тому назад впервые получил из гипофиза вытяжку полового гормона. И вместо этого что же получилось? Боже ты мой! Этих гормонов в гипофизе, о господи... Доктор, передо мной — тупая безнадежность, я клянусь, потерялся.

Борменталь вдруг засучил рукава и произнес, кося глазами к носу:

— Тогда вот что, дорогой учитель, если вы не желаете, я сам на свой риск накормлю его мышьяком. Черт с ним, что папа судебный следователь. Ведь в конце концов — это ваше собственное экспериментальное существо.

Филипп Филиппович потух, обмяк, завалился в кресло и сказал:

— Нет, я не позволю вам этого, милый мальчик. Мне 60 лет, я вам могу давать советы. На преступление не идите никогда, против кого бы оно ни было направлено. Доживите до старости с чистыми руками.

— Помилуйте, Филипп Филиппович, да ежели его еще обработает этот Швондер, что ж из него получится?! Боже мой, я только теперь начинаю понимать, что может выйти из этого Шарикова!

— Ага! Теперь поняли? А я понял через десять дней после операции. Ну так вот, Швондер и есть самый главный дурак. Он не понимает, что Шариков для него более грозная опасность, чем для меня. Ну сейчас он всячески старается натравить его на меня, не соображая, что если кто-нибудь, в свою очередь, натравит Шарикова на самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки.

— Еще бы! Одни коты чего стоят! Человек с собачьим сердцем.

— О нет, нет, — протяжно ответил Филипп Филиппович, — вы, доктор, делаете крупнейшую ошибку, ради бога, не клеветайте на пса. Коты — это временно... Это вопрос дисциплины и двух-трех недель. Уверяю вас. Еще какой-нибудь месяц, и он перестанет на них кидаться.

— А почему не теперь?

— Иван Арнольдович, это элементарно... Что вы на самом деле спрашиваете? Да ведь гипофиз не повиснет же в воздухе. Ведь он все-таки привит на собачий мозг, дайте же ему прижиться. Сейчас Шариков проявляет уже только остатки собачьего, и поймите, что коты — это лучшее из всего, что он делает. Сообразите, что весь ужас в том, что у него уж не собачье, а именно человеческое сердце. И самое паршивое из всех, которые существуют в природе!

До последней степени взвинченный Борменталь сжал сильные худые руки в кулаки, повел плечами, твердо молвил:

— Кончено. Я его убью!

— Запрещаю это! — категорически ответил Филипп Филиппович.

— Да помилуйте...

Филипп Филиппович вдруг насторожился, поднял палец.

— Погодите-ка... Мне шаги послышались.

Оба прислушались, но в коридоре было тихо.

— Показалось, — молвил Филипп Филиппович и с жаром заговорил по-немецки в его словах несколько раз звучало русское слово «уголовщина».

— Минуточку, — вдруг насторожился Борменталь и шагнул к двери. Шаги слышались явственно и приблизились к кабинету. Кроме того, бубнил голос. Борменталь распахнул двери и отпрянул в изумлении. Совершенно пораженный, Филипп Филиппович застыл в кресле.

В освещенном четырехугольнике коридора предстала в одной ночной сорочке Дарья Петровна с боевым и пылающим лицом. И врача и профессора ослепило обилие мощного и, как от страху показалось обоим, совершенно голого тела. В могучих руках Дарья Петровна волокла что-то, и это «что-то», упираясь, садилось на зад, и небольшие его ноги, покрытые черным пухом, заплетались по паркету.

«Что-то», конечно, оказалось Шариковым, совершенно потерянным, все еще пьяненьким, разлохмаченным и в одной рубашке.

Дарья Петровна, грандиозная и нагая, тряхнула Шарикова, как мешок с картофелем, и произнесла такие слова:

— Полюбуйтесь, господин профессор, на нашего визитера Телеграфа Телеграфовича. Я замужем была, а Зина — невинная девушка. Хорошо, что я проснулась.

Окончив эту речь, Дарья Петровна впала в состояние стыда, вскрикнула, закрыла грудь руками и унеслась.

— Дарья Петровна, извините, ради бога, — опомнившись, крикнул ей вслед красный Филипп Филиппович.

Борменталь повыше засучил рукава рубашки и двинулся к Шарикову.

Филипп Филиппович заглянул ему в глаза и ужаснулся.

— Что вы, доктор! Я запрещаю...

Борменталь правой рукой взял Шарикова за шиворот и тряхнул его так, что полотно на сорочке спереди треснуло.

Филипп Филиппович бросился наперерез и стал выдирать щуплого Шарикова из цепких хирургических рук.

— Вы не имеете права биться! — полузадушенный, кричал Шариков, садясь наземь и трезвея.

— Доктор! — вопил Филипп Филиппович.

Борменталь несколько пришел в себя и выпустил Шарикова, после чего тот сейчас же захныкал.

— Ну, ладно, — прошипел Борменталь, — подождем до утра. Я ему устрою бенефис, когда он протрезвится.

Тут он ухватил Шарикова под мышки и поволок его в приемную спать.

При этом Шариков сделал попытку брыкаться, но ноги его не слушались.

Филипп Филиппович растопырил ноги, отчего лазоревые полы разошлись, возвел руки и глаза к потолочной лампе в коридоре и молвил:

— Ну-ну...

IX

Бенефис Шарикова, обещанный доктором Борменталем, не состоялся, однако, на следующее утро по той причине, что Полиграф Полиграфович исчез из дома. Борменталь пришел в яростное отчаяние, обругал себя ослом за то, что не спрятал ключ от парадной двери, кричал, что это непростительно, и кончил пожеланием, чтобы Шариков попал под автобус. Филипп Филиппович сидел в кабинете, запустив пальцы в волосы, и говорил:

— Воображаю, что будет твориться на улице... Вообража-а-ю. От Севильи до Гренады, боже мой.

— Он в домкоме еще может быть, — бесновался Борменталь и куда-то бегал.

В домкоме он поругался с председателем Швондером до того, что тот сел писать заявление в народный суд Хамовнического района, крича при этом, что он не сторож питомца профессора Преображенского, тем более, что этот питомец Полиграф не далее как вчера оказался прохвостом, взяв в домкоме якобы на покупку учебников в кооперативе 7 рублей.

Федор, заработавший на этом деле три рубля, обыскал весь дом сверху до низу. Нигде никаких следов Шарикова не было.

Выяснилось только одно — что Полиграф отбыл на рассвете в кепке, в шарфе и пальто, захватив с собой бутылку рябиновой в буфете, перчатки доктора Борменталья и все свои документы. Дарья Петровна и Зина, не скрывая, выразили свою бурную радость и надежду, что Шариков больше не вернется. У Дарьи Петровны Шариков занял накануне три рубля пятьдесят копеек.

— Так вам и надо! — рычал Филипп Филиппович, потрясая кулаками. Целый день звенел телефон, звенел телефон на другой день. Врачи принимали необыкновенное количество пациентов, а на третий день вплотную встал в кабинете вопрос о том, что нужно дать знать в милицию, каковая должна разыскать Шарикова в московском омуте.

И только что было произнесено слово «милиция», как благоговейную тишину Обухова переулка прорезал лай грузовика, и окна в доме дрогнули. Затем прозвучал уверенный звонок, и Полиграф

Полиграфович вошел с необычайным достоинством, в полном молчании снял кепку, пальто повесил на рога и оказался в новом виде. На нем была кожаная куртка с чужого плеча, кожаные же потертые штаны и английские высокие сапожки со шнуровкой до колен. Неимоверный запах котов сейчас расплылся по всей передней.

Преображенский и Борменталь точно по команде скрестили руки на груди, стали у притолоки и ожидали первых сообщений от Полиграфа Полиграфовича.

Он пригладил жесткие волосы, кашлянул и осмотрелся так, что видно было: смущение Полиграф желает скрыть при помощи развязности.

— Я, Филипп Филиппович, — начал он наконец говорить, — на должность поступил.

Оба врача издали неопределенный сухой звук горлом и шевельнулись.

Преображенский опомнился первый, руку протянул и молвил:

— Бумагу дайте.

Было напечатано: «Предъявитель сего товарищ Полиграф Полиграфович Шариков действительно состоит заведующим подотделом очистки города Москвы от бродячих животных (котов и пр.) В отделе МКХ».

— Так, — тяжело молвил Филипп Филиппович, — кто же вас устроил? Ах, впрочем я и сам догадываюсь.

— Ну, да, Швондер, — ответил Шариков.

— Позвольте вас спросить — почему от вас так отвратительно пахнет?

Шариков понюхал куртку озабоченно.

— Ну, что ж, пахнет... известно: по специальности. Вчера котов душили, душили...

Филипп Филиппович вздрогнул и посмотрел на Борменталья. Глаза у того напоминали два черных дула, направленных на Шарикова в упор. Без всяких предисловий он двинулся к Шарикову и легко и уверенно взял его за плотку.

— Караул! — пискнул Шариков, бледнея.

— Доктор!

— Ничего не позволю себе дурного, Филипп Филиппович, не беспокойтесь, — железным голосом отозвался Борменталь и завопил:

— Зина и Дарья Петровна!

Те появились в передней.

— Ну, повторяйте, — сказал Борменталь и чуть-чуть притиснул горло Шарикова к шубе, — извините меня...

— Ну хорошо, повторяю, — сиплым голосом ответил совершенно пораженный Шариков, вдруг набрал воздуха, дернулся и попытался крикнуть «караул», но крик не вышел, и голова его совсем погрузилась в шубу.

— Доктор, умоляю вас.

Шариков закивал головой, давая знать, что он покоряется и будет повторять.

— ...Извините меня, многоуважаемая Дарья Петровна и Зинаида?..

— Прокофьевна, — шепнула испуганно Зина.

— Уф, Прокофьевна... — говорил, перехватывая воздух, охрипший Шариков, — ...что я позволил себе...

— Себе гнусную выходку ночью в состоянии опьянения.

— Опьянения...

— Никогда больше не буду...

— Не бу...

— Пустите, пустите его, Иван Арнольдович, — взмолились одновременно обе женщины, — вы его задушите.

Борменталь выпустил Шарикова на свободу и сказал:

— Грузовик вас ждет?

— Нет, — почтительно ответил Полиграф, — он только меня привез.

— Зина, отпустите машину. Теперь имейте в виду следующее: вы опять вернулись в квартиру Филиппа Филипповича?

— Куда же мне еще? — робко ответил Шариков, блуждая глазами.

— Отлично-с. Быть тише воды, ниже травы. В противном случае за каждую безобразную выходку будете иметь со мною дело. Понятно?

— Понятно, — ответил Шариков.

Филипп Филиппович во все время насилия над Шариковым хранил молчание.

Как-то жалко он съежился у притолоки и грыз ноготь, потупив глаза в паркет. Потом вдруг поднял их на Шарикова и спросил, глухо и

автоматически:

— Что же вы делаете с этими... С убитыми котами?

— На польты пойдут, — ответил Шариков, — из них белок будут делать на рабочий кредит.

Засим в квартире настала тишина и продолжалась двое суток. Полиграф Полиграфович утром уезжал на грузовике, появлялся вечером, тихо обедал в компании Филиппа Филипповича и Борменталья.

Несмотря на то, что Борменталь и Шариков спали в одной комнате приемной, они не разговаривали друг с другом, так что Борменталь соскучился первый.

Дня через два в квартире появилась худенькая с подрисованными глазами барышня в кремовых чулочках и очень смутилась при виде великолепия квартиры. В потертом пальтишке она шла следом за Шариковым и в передней столкнулась с профессором.

Тот, оторопелый, остановился, прищурился и спросил:

— Позвольте узнать?

— Я с ней расписываюсь, это — наша машинистка, жить со мной будет. Борменталья надо будет выселить из приемной. У него своя квартира есть, — крайне неприязненно и хмуро пояснил Шариков.

Филипп Филиппович поморгал глазами, подумал, глядя на побагровевшую барышню, и очень вежливо пригласил ее.

— Я вас попрошу на минуточку ко мне в кабинет.

— И я с ней пойду, — быстро и подозрительно молвил Шариков.

И тут моментально вынырнул как из-под земли Борменталь.

— Извините, — сказал он, — профессор побеседует с дамой, а мы уж с вами побудем здесь.

— Я не хочу, — злобно отозвался Шариков, пытаюсь устремиться вслед за сгорающей от стыда барышней и Филиппом Филипповичем.

— Нет, простите, — Борменталь взял Шарикова за кисть руки и они пошли в смотровую.

Минут пять из кабинета ничего не слышалось, а потом вдруг глухо донеслись рыдания барышни.

Филипп Филиппович стоял у стола, а барышня плакала в грязный кружевной платочек.

— Он сказал, негодяй, что ранен в боях, — рыдала барышня.

— Лжет, — непреклонно отвечал Филипп Филиппович. Он покачал головой и продолжал. — Мне вас искренне жаль, но нельзя же так с первым встречным только из-за служебного положения... Детка, ведь это безобразие. Вот что... — Он открыл ящик письменного стола и вынул три бумажки по три червонца.

— Я отравлюсь, — плакала барышня, — в столовке солонина каждый день... и угрожает... говорит, что он красный командир... со мною, говорит, будешь жить в роскошной квартире... каждый день ананасы... психика у меня добрая, говорит, я только котов ненавижу... Он у меня кольцо на память взял...

— Ну, ну, ну, — психика добрая... От Севильи до Гренады, — бормотал Филипп Филиппович, — нужно перетерпеть — вы еще так молоды...

— Неужели в этой самой подворотне?

— Ну, берите деньги, когда дают займы, — рявкнул Филипп Филиппович.

Затем торжественно распахнулись двери и Борменталь по приглашению Филиппа Филипповича ввел Шарикова. Тот бегал глазами, и шерсть на голове у него возвышалась, как щетка.

— Подлец, — выговорила барышня, сверкая заплаканными размазанными глазами и полосатым напудренным носом.

— Отчего у вас шрам на лбу? Потрудитесь объяснить этой даме, — вкрадчиво спросил Филипп Филиппович.

Шариков сыграл ва-банк:

— Я на колчаковских фронтах ранен, — пролаял он.

Барышня встала и с громким плачем вышла.

— Перестаньте! — крикнул вслед Филипп Филиппович. — Погодите, колечко позвольте, — сказал он, обращаясь к Шарикову.

Тот покорно снял с пальца дутое колечко с изумрудом.

— Ну, ладно, — вдруг злобно сказал он, — попомнишь ты у меня. Завтра я тебе устрою сокращение штатов.

— Не бойтесь его, — крикнул вслед Борменталь, — я ему не позволю ничего сделать. — Он повернулся и поглядел на Шарикова так, что тот попятился и стукнулся затылком о шкаф.

— Как ее фамилия? — спросил у него Борменталь. — Фамилия! — заревел он и вдруг стал дик и страшен.

— Васнецова, — ответил Шариков, ища глазами, как бы улизнуть.

— Ежедневно, — взявшись за лацкан Шариковской куртки, выговорил Борменталь, — сам лично буду справляться в очистке — не сократили ли гражданку Васнецову. И если только вы... узнаю, что сократили, я вас... собственными руками здесь же пристрелю. Берегитесь, Шариков, — говорю русским языком!

Шариков, не отрываясь, смотрел на Борменталевский нос.

— У самих револьверы найдутся... — пробормотал Полиграф, но очень вяло и вдруг, изловчившись, брызнул в дверь.

— Берегитесь! — донесся ему вдогонку Борменталевский крик.

Ночь и половину следующего дня висела, как туча перед грозой, тишина.

Все молчали. Но на следующий день, когда Полиграф Полиграфович, которого утром кольнуло скверное предчувствие, мрачный уехал на грузовике к месту службы, профессор Преображенский в совершенно неурочный час принял одного из своих прежних пациентов, толстого и рослого человека в военной форме. Тот настойчиво добивался свидания и добился. Войдя в кабинет, он вежливо щелкнул каблуками к профессору.

— У вас боли, голубчик, возобновились? — спросил осунувшийся Филипп Филиппович. — Садитесь, пожалуйста.

— Мерси. Нет, профессор, — ответил гость, ставя шлем на угол стола, — я вам очень признателен... Гм... Я приехал к вам по другому делу, Филипп Филиппович... питаю большое уважение... гм... предупредить. Явная ерунда. Просто он прохвост... — пациент полез в портфель и вынул бумагу, — хорошо, что мне непосредственно доложили...

Филипп Филиппович оседлал нос пенсне поверх очков и принялся читать.

Он долго бормотал про себя, меняясь в лице каждую секунду. «... а также угрожая убить председателя домкома товарища Швондера, из чего видно, что хранит огнестрельное оружие. И произносит контрреволюционные речи, даже Энгельса приказал своей социал-прислужнице Зинаиде Прокофьевне Буниной спалить в печке, как явный меньшевик со своим ассистентом Борменталем Иваном Арнольдовичем, который тайно, не прописанный, проживает у него в квартире. Подпись заведующего подотделом очистки П. П. Шарикова

— удостоверяю. Председатель домкома Швондер, секретарь Пеструхин».

— Вы позволите мне это оставить у себя? — спросил Филипп Филиппович, покрываясь пятнами, — или, виноват, может быть, это вам нужно, чтобы дать законный ход делу?

— Извините, профессор, — очень обиделся пациент и раздул ноздри, — вы действительно очень уж презрительно смотрите на нас. Я... — И тут он стал надуваться, как индейский петух.

— Ну, извините, извините, голубчик! — забормотал Филипп Филиппович, простите, я право, не хотел вас обидеть. Голубчик, не сердитесь, меня он так задержал...

— Я думаю, — совершенно отошел пациент, — но какая все-таки дрянь! Любопытно было бы взглянуть на него. В Москве прямо легенды какие-то про вас рассказывают...

Филипп Филиппович только отчаянно махнул рукой. Тут пациент разглядел, что профессор сгорбился и даже как будто поседел за последнее время.

* * *

Преступление созрело и упало как камень, как это обычно и бывает. С сосущим нехорошим сердцем вернулся в грузовике Полиграф Полиграфович. Голос Филиппа Филипповича пригласил его в смотровую. Удивленный Шариков пришел и с неясным страхом заглянул в дуло на лице Борменталья, а затем на Филиппа Филипповича. Туча ходила вокруг ассистента, и левая его рука с папироской чуть вздрагивала на блестящей ручке акушерского кресла.

Филипп Филиппович со спокойствием очень зловещим сказал:

— Сейчас заберите вещи: брюки, пальто, все, что вам нужно, — и вон из квартиры!

— Как это так? — искренне удивился Шариков.

— Вон из квартиры — сегодня, — монотонно повторил Филипп Филиппович, щурясь на свои ногти.

Какой-то нечистый дух вселился в Полиграфа Полиграфовича; очевидно, гибель уже караулила его, и рок стоял у него за плечами. Он сам бросился в объятия неизбежного и гавкнул злобно и отрывисто:

— Да что такое в самом деле! Что, я управы, что ли, не найду на вас? Я на 16 аршинах здесь сижу и буду сидеть.

— Убирайтесь из квартиры, — задуманно шепнул Филипп Филиппович.

Шариков сам пригласил свою смерть. Он поднял левую руку и показал Филиппу Филипповичу обкусанный с нестерпимым кошачьим запахом шиш. А затем правой рукой по адресу опасного Борменталья из кармана вынул револьвер. Папироса Борменталья упала падучей звездой, а через несколько секунд прыгающий по битым стеклам Филипп Филиппович в ужасе метался от шкафа к кушетке. На ней, распростертый и хрипящий, лежал заведующий подотделом очистки, а на груди у него помещался хирург Борменталь и душил его беленькой малой подушкой.

Через несколько минут доктор Борменталь с не своим лицом прошел на передний ход и рядом с кнопкой звонка наклеил записку:

«Сегодня приема по случаю болезни профессора нет. Просят не беспокоить звонками».

Блестящим перочинным ножичком он перерезал провод звонка, в зеркале осмотрел поцарапанное в кровь свое лицо и изодранные, мелкой дрожью прыгающие руки. Затем он появился в дверях кухни и настороженным голосом Зине и Дарье Петровне сказал:

— Профессор просит вас никуда не уходить из квартиры.

— Хорошо, — робко ответили Зина и Дарья Петровна.

— Позвольте мне запереть дверь на черный ход и забрать ключ, — заговорил Борменталь, прячась за дверь в тень и прикрывая ладонью лицо. — Это временно, не из недоверия к вам. Но кто-нибудь придет, а вы не выдержите и откроете, а нам нельзя мешать. Мы заняты.

— Хорошо, — ответили женщины и сейчас же стали бледными. Борменталь запер черный ход, запер парадный, запер дверь из коридора в переднюю и шаги его пропали у смотровой.

Тишина покрыла квартиру, заползла во все углы. Ползли сумерки, скверные, настороженные, одним словом мрак. Правда, впоследствии соседи через двор говорили, что будто бы в окнах смотровой, выходящих во двор, в этот вечер горели у

Преображенского все огни, и даже будто бы они видели белый колпак самого профессора... Проверить трудно. Правда, и Зина, когда уже кончилось, болтала, что в кабинете у камина после того, как Борменталь и профессор вышли из смотровой, ее до смерти напугал Иван Арнольдович.

Якобы он сидел в кабинете на корточках и жег в камине собственноручно тетрадь в синей обложке из той пачки, в которой записывались истории болезни профессорских пациентов! Лицо будто бы у доктора было совершенно зеленое и все, ну, все... вдребезги исцарапанное. И Филипп Филиппович в тот вечер сам на себя не был похож. И еще что... Впрочем, может быть, невинная девушка из пречистенской квартиры и врет...

За одно можно поручиться: в квартире в этот вечер была полнейшая и ужаснейшая тишина.

КОНЕЦ ПОВЕСТИ

ЭПИЛОГ

Ночь в ночь через десять дней после сражения в смотровой в квартире профессора Преображенского, что в Обуховском переулке, ударил резкий звонок.

— Уголовная милиция и следователь. Благоволите открыть.

Забегали шаги, застучали, стали входить, и в сверкающей от огней приемной с заново застекленными шкафами оказалось масса народу. Двое в милицейской форме, один в черном пальто, с портфелем, злорадный и бледный председатель Швондер, юноша-женщина, швейцар Федор, Зина, Дарья Петровна и полуодетый Борменталь, стыдливо прикрывающий горло без галстука.

Дверь из кабинета пропустила Филиппа Филипповича. Он вышел в известном всем лазоревом халате и тут же все могли убедиться сразу, что Филипп Филиппович очень поправился в последнюю неделю. Прежний властный и энергичный Филипп Филиппович, полный достоинства, предстал перед ночными гостями и извинился, что он в халате.

— Не стесняйтесь, профессор, — очень смущенно отозвался человек в штатском, затем он замялся и заговорил. — Очень неприятно. У нас есть ордер на обыск в вашей квартире и, — человек покосился на усы Филиппа Филипповича и закончил, — и арест, в зависимости от результата.

Филипп Филиппович прищурился и спросил:

— А по какому обвинению, смею спросить, и кого?

Человек почесал щеку и стал вычитывать по бумажке из портфеля.

— По обвинению Преображенского, Борменталья, Зинаиды Буниной и Дарьи Ивановой в убийстве заведующего подотделом очистки МКХ Полиграфа Полиграфовича Шарикова.

Рыдания Зины покрыли конец его слов. Произошло движение.

— Ничего я не понимаю, — ответил Филипп Филиппович, королевски вздергивая плечи, — какого такого Шарикова? Ах, виноват, этого моего пса... Которого я оперировал?

— Простите, профессор, не пса, а когда он уже был человеком. Вот в чем дело.

— То-есть он говорил? — спросил Филипп Филиппович. — Это еще не значит быть человеком. Впрочем, это не важно. Шарик и сейчас существует, и никто его решительно не убивал.

— Профессор, — очень удивленно заговорил черный человек и поднял брови, — тогда его придется предъявить. Десятый день, как пропал, а данные, извините меня, очень нехорошие.

— Доктор Борменталь, благоволите предъявить Шарика следователю, — приказал Филипп Филиппович, овладевая ордером.

Доктор Борменталь, криво улыбнувшись, вышел.

Когда он вернулся и посвистал, за ним из двери кабинета выскочил пес странного качества. Пятнами он был лыс, пятнами на нем отрастала шерсть. Вышел он, как ученый циркач, на задних лапах, потом опустился на все четыре и осмотрелся. Гробовое молчание застыло в приемной, как желе.

Кошмарного вида пес с багровым шрамом на лбу вновь поднялся на задние лапы и, улыбнувшись, сел в кресло.

Второй милиционер вдруг перекрестился размашистым крестом и, отступив, сразу отдал Зине обе ноги.

Человек в черном, не закрывая рта, выговорил такое:

— Как же, позвольте?.. Он служил в очистке...

— Я его туда не назначал, — ответил Филипп Филиппович, — ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.

— Я ничего не понимаю, — растерянно сказал черный и обратился к первому милиционеру. — Это он?

— Он, — беззвучно ответил милицейский. — Форменно он.

— Он самый, — послышался голос Федора, — только, сволочь, опять оброс.

— Он же говорил... Кхе... Кхе...

— И сейчас еще говорит, но только все меньше и меньше, так что пользуйтесь случаем, а то он скоро совсем умолкнет.

— Но почему же? — тихо осведомился черный человек.

Филипп Филиппович пожал плечами.

— Наука еще не знает способов обращать зверей в людей. Вот я попробовал да только неудачно, как видите. Поговорил и начал обращаться в первобытное состояние. Атавизм.

— Неприличными словами не выражаться, — вдруг гаркнул пес с кресла и встал.

Черный человек внезапно побледнел, уронил портфель и стал падать на бок, милицейский подхватил его сбоку, а Федор сзади. Произошла суматоха, и в ней отчетливей всего были слышны три фразы:

Филипп Филипповича: — Валерьянки. Это обморок.

Доктора Борменталья: — Швондера я собственноручно сброшу с лестницы, если он еще раз появится в квартире профессора Преображенского.

И Швондера: — Прошу занести эти слова в протокол.

* * *

Серые гармонии труб грели. Шторы скрыли густую пречистенскую ночь с ее одинокою звездой. Высшее существо, важный песий благодетель сидел в кресле, а пес Шарик, привалившись, лежал на ковре у кожаного дивана. От мартовского тумана пес по утрам страдал головными болями, которые мучили его кольцом по головному шву. Но от тепла к вечеру они проходили. И сейчас легчало, легчало и мысли в голове у пса текли складные и теплые.

«Так свезло мне, так свезло, — думал он, задремывая, — просто неопишимо свезло. Утвердился я в этой квартире. Окончательно уверен я, что в моем происхождении нечисто. Тут не без водолаза. Потаскуха была моя бабушка, царство ей небесное, старушке. Правда, голову всю исполосовали зачем-то, но это до свадьбы заживет. Нам на это нечего смотреть».

* * *

В отдалении глухо позвякивали склянки. Тяпнутый убирал в шкафах смотровой.

Седой же волшебник сидел и напевал:

— К берегам священным Нила...

Пес видел страшные дела. Руки в скользких перчатках важный человек погружал в сосуд, доставал мозги, — упорный человек, настойчивый, все чего-то добивался, резал, рассматривал, шурился и пел:

— К берегам священным Нила...

Январь — март 1925 г.

Москва

А. Н. ТОЛСТОЙ

СОЖИТЕЛЬ

В чертей не верите? Чего в них верить, когда их и нет совсем. Правильнее сказать — пропали. А пропали они от электрического освещения. Сейчас я это докажу.

Было им приволье, когда еще жгли лучину в курной избе: дым — топор вешай, грязь, невежество, народ живет боязливый, напугать его ничего не стоит, — разведется в такой избе бесенят, домовых, кикимор, шишиг — беги без оглядки. До того доходили: мужик ест, и тут они в рот так и лезут. Не дай бог ложку положить вниз горбом — сейчас уж один примостится и в ложку нагадит...

Когда завели керосиновые лампы, стали жить чище, умнее — подалась нечистая сила в подполье. Оттуда пугала большей частью ребят: из-за печки высунет конец хвоста, свернет его штопором и — назад. Ребятишки на полатах: «Ой, мамка, боюсь, боюсь!..» Лошадям гривы путали. Или придет мужик в клеть задать овцам корму, — глядь — овцы всю ночь, сбившись, у стены простояли, не жрали. Это отчего?

Ну, уж как пошло электричество — беда. Особенно полуваттные лампы. Поглядите на нее в упор — поплывут в глазах лиловые круги. От этого лилового света, или — как ученые говорят — ультра, — нечистая сила кончилась: иные разбежались, куда глаза глядят, иные забились в сырые углы, там зачервивели, загнили.

Недавно еще в одном особнячишке на Остоженке провели электрическое освещение. С неделю прошло — и начало вонять. Бились, бились — не понять откуда, а тянет. Позвали санитарную комиссию. Она: «Ага», и — прямо к помойной яме. Но — в порядке. Фановые трубы — им и бог велел несколько пованивать. «Все равно, — комиссия говорит, — мы вас оштрафуем». — «Да за что?» — «За уклон». Насилу от нее отругались. И уж потом только старлица одна забрела на кухню чайку попить, узнала про домовую беду и за небольшое вознаграждение общептала весь дом. «Это, — говорит, — они гниют. Ничего, потерпите, скоро дух кончится». Так по ее словам и вышло.

Короче говоря, если кто и встречал чертей за последние времена, то разве пьянчужка какой-нибудь мокрый. Свидетельства были: в Гранатном переулке ходил «не наш», под Крещение в полночь, и не в лунной тени, окаянный, под белыми деревьями, а посреди переулка: ноги жилистые, хвост петель, как у обезьяны, так и хрустит гусиными лапами по снегу. Одного мещанина до того напугал — тот валенки скинул и бежать, шапку бросил, летел — вскрикивал до самой Нижней Кисловки. Словом, черти — сплошной продукт невежества. Ими теперь малого ребенка не напугаешь.

Вот обмолвился ребенком, а вышло не в стиле эпохи. В прошлую субботу иду с веником из бани, винограду купил сто пятьдесят граммов, ем на морозце с большим удовольствием. А проходить мне мимо стройки, где асфальтовые котлы стоят. Только поравнялся — выпрыгивает из котла малый ребенок, черный, страшный, да не один... Окружили, в лицо фыркают, виноград, веник отняли, варежки сдернули. Я отбиваюсь: «Ах, ах!» — а их уже и нет никого. Хорошо, что я материалист, а напади они на старушонку какую-нибудь с предрассудками — пойдет гулять молва по Москве, что на Нижней Кисловке — черти.

Вы, пожалуй, и книжку готовы бросить: охота, в самом деле, разговаривать про чертей! Нам хорошие работники нужны. Вот предмет для рассказа! Успокойтесь, я к этому и гну. А черти здесь очень даже при чем.

Один человек, не то чтобы какой-нибудь сморкун, а просто отличный молодой человек завидной наружности приехал в Москву с самыми лучшими намерениями: поступить в вуз. «Хуже позора нет, как невежество, — говорил он. — Черепушку себе разобью, навоз буду есть, а своего добыю».

Слова и намерения хороши. Но пока что, за недостатком материальных средств и жилой площади, ютился он до середины сентября в Сокольиичьем парке под деревьями. Просыпался с зарей, умывался росой, питался исключительно, благодаря своей прекрасной наружности, у моссельпромских продавщиц, при лотках. Подойдет на накинутах на плечо полушубчике, поздоровадается безо всякого нахальства, непременно обратит внимание на какое-нибудь мелкое обстоятельство и так, с шуточками, бойко и весело, заговорит

лоточницу, — ну, просто свой человек, и смешно, и его жалко, распахнется у нее рабоче-крестьянское сердце: «Нате, — сунет ему калач, колбасы, — потом отдадите, проходите, гражданин».

С первыми заморозками попробовал он ночевать на вокзалах — нельзя, суетливо. Пошел в ночлежку. Там воры, налетчики, шпандыри до шести утра делят фарт, сговариваются о делах, тренируют малолетних, в девятку режутся, нанюхиваются кокаином. В седьмом часу расходятся по городу к марухам — спать.

К просвещению они все относились свысока и, когда увидели, что молодой человек воровать не интересуется, стали его бить и били три ночи подряд. Пришлось податься из ночлежного дома.

А осень стояла студеная. Стало ему трудно — вот-вот уж готов был черепушку себе разбить. Выручил случай.

Стоял он вечером на перекрестке, задумался. Задумаешься! От осенней сырости моссельпромские лоточницы стали неподатливы, злы. Ночевать негде. Около остановился толстомордый, бритый гражданин в каракулевом картузе и сел задом на палку.

— Паразиты, вы куда бежите? — обратился он к двум трепушкам, мокрым девицам с красными носиками. Трепушки сразу остановились, заспешили.

— Нэпман, послушайте, идемте с нами...

— Крафный купец, идемте ф нами.

Под гражданином трещала палка, он пялился, косился, — трепушки ему не понравились, обругал их, пошел, покачиваясь. Они остались, только пошмыгивали. Дождь хлестал в коленки. Одна сказала:

— Хоть сдохни, не фартит.

Другая:

— Мордами не выфли. — Посмотрела на молодого человека и попросила папирску. Он ответил сколько мог бойко.

— Три дня не ел, ночевать негде. А между тем, завести меня в пивнушку, предложить порцию сосисок, бутылку пива — более веселого кавалера не можете себе представить.

Трепушки стали совещаться. Самим тоже хотелось погреться, с мужчиной было надежнее, в смысле красноголового, и они сказали молодому человеку:

— Хорошо, гражданин, мы вас угощаем, берите Дуньку под руку, идите, ничего не бойтесь.

В пивной — в теплоте, под гармонью — душевно разговорились. Трепушки деловито рассказали про то, как потеряли невинность, жаловались на нэпманов: подавай им теперь заграничный шик, а чума его знает, какой шик за границей!

Молодой человек в свою очередь открыл им, что его зовут Иван Иванович Гирькин, из Кашинского уезда, что грамоте научился он в Красной Армии, потом действовал самоучкой. «Навоз буду есть, черепушку разобью, а своего добыюсь — получу образование», — сказал он трепушкам.

Они стали его жалеть, охали.

«Мне, — он сказал, — главное — до жилой площади добраться, хотя бы вот с этот стол, а есть я навоз буду». Они заказали ему еще полпорции сосисок. Ну, как помочь?

— В коты ведь вы не пойдете? — спросила одна.

— Ни под каким видом.

Другая сказала:

— Есть одна комната на Малой Якиманке, только там надо жениться.

— Жениться? Эге. А невеста очень страшна?

— Наоборот, замечательно красивая. Только с придурью.

— А именно, какая придурь?

— Сами увидите.

Оказалось, трепушкина двоюродная сестра жила в том доме на Якиманке домашней работницей. Решили. Ивану Ивановичу туда идти, отнести работнице поклон и тут же добиться знакомства с невестой-вдовой.

— Ваше дело — увидеть вдову, дальше она сама зубами вцепится.

Трепушки повели Гирькина к себе ночевать. За месяц жизни в Сокольниках ему ни разу не привелось помыться, поэтому наперед они велели ему пойти в баню, выдали пятиалтынный и для страха отобрали у него трудовую книжку. Покуда он мылся, одна трепушка дожидалась на улице, другая сбегала к подруге, гулявшей с одним вором, и принесла штiblеты и брюки, взятые у вора на подержание: «Вдове показаться».

Душевные оказались трепушки, себя не жалели, вошли в положение человека. Даже за ночь простирали ему исподнее.

Утром он побежал на Якиманку и постучался у деревянного домика на черном ходу. Отворила домашняя работница лет восемнадцати, такая сердитая, что Гирькин едва не упал духом. Была она стриженная по-модному, но в валенках и в нагольном, кавалерийского покроя, полушубке, изо всей силы перепоясанная ремнем.

— Куда лезете, чего надо? Не хватайтесь за дверь! — закричала она на Гирькина.

— Извините, я поклончик принес от Дуни.

— От Дуньки поклонов не принимаю, она — паразит.

— Извините, товарищ, ваше имя?

— Варвара. Ну?

— Товарищ, вы политически несознательны: Дуня, ваша двоюродная сестра, не паразит, но продукт неизжитого быта.

Варвара ничего не ответила. Пропустила Гирькина на кухню, принялась мыть, шваркать вдовью посуду. Гирькин отрекомендовался, объяснил свое социальное положение и откровенно рассказал истинную причину своего появления на кухне. Варвара стала улыбаться, — хороши у нее были зубы. Сама — ловкая, как молния, кидалась по кухне.

— Мешать вам не буду, — сказала Варвара, — эта моя труперда хоть на что-нибудь пригодится. Чем без толку чаем надуваться, пускай использует себя на образование порядочного пролетария.

В это время ленивый голос позвал из комнаты. Варвара крикнула:

— Не глухая, не орите.

— Варвара, неси самовар, — позвала вдова.

— Сказано — не могу.

— Почему?

— В студии запретили по тысяче пудов самовары таскать.

— В какой это еще студии?

— В театральной.

— Новость!

— Для кого новость, а я третьего дня зачислилась и на вашей каторге последнюю неделю.

Вдова всхлипнула за стеной, притихла. Варвара шепнула Гирькину:

— Отнесите ей самовар, вот вам случай для знакомства.

— Эх, Варвара! — с восхищением сказал Гирькин.

Сдунул пепел с двухведерного самовара и понес его в комнату, отворачивая морду, чтобы не ошпариться паром. Варвара кивком зубов показала на дверь.

Вдова сидела у окошка, затянутого тюлем. Она была в верблюжьем свитере, облегавшем ее несколько полные, ленивые формы. Русые волосы заплетены по-утреннему в косу. Миловидное, румяное лицо ее задрожало от испуга при виде Гирькина. Он поспешно сказал:

— Студент, земляк вашей Варвары. Здравствуйте, Софья Ивановна!

Вдова перекрестилась. Передохнула:

— Ох, напугал! Да ты самовар-то поставь. Бережнее ставь. Варвара вот шваркала его, шваркала, он и потек. Студент? А не врешь? Какой же ты студент — советский, нынешний?

— Я, Софья Ивановна, беспартийный, смирный.

— Ну, слава тебе, господи.

Гирькин осторожно поставил самовар и попятился к двери, будто до того заробел, что не уйти. Комната была низенькая, в два окошечка, загроможденная вещами до последней возможности. Гардеробы стояли ребром к стене, на них сундуки, между ними — рукомошник, далее — столик и зеркало, далее деревянная кровать с перинами чуть не до потолка.

«Ух ты, черт, — подумал Гирькин, — какая симпатичная обстановка!» И ноги его сами прилипли к некрашеному полу. Минута была боевая: закрючить вдову так, не выходя за порог, чтобы к ночи, в крайности завтра с утра, уплотнить ее.

Вдова заваривала чай и тихим, покойным голосом ругательски ругала Варвару:

— На кухню боюсь зайти: оскалится, проклятая, — ну чистая «луканька»! Металлическую посуду помяла, горшки все с трещинами. Постоянно грозит: в комсомол, говорит, запишусь, вас за Полярный круг угоню. Этим от нее только и обороняюсь. — Вдова махнула косой, указала синими глазами на горящую лампаду перед угодником,

где чернели лики в ризах. — На Моховой намедни встретила вот тоже студента. На нем — звезда, и перчатки, бесстыдник, из рукавов вытянул, как когти. Страшно стало и днем-то по Москве ходить... Женатый?

— Что вы, Софья Ивановна! — проговорил Гирькин, облизывая губы. — Я даже вкуса этого не знаю. Молодой еще.

Вдова сейчас же кинула на него синий взор из-за мохнатых ресниц, отвернулась, но в самоварном отражении Гирькин увидел, что она смеется. Самовар ударял паром в потолок, весь дрожал, кипел. «Уплотню», — с восторгом подумал Гирькин.

— Мне, Софья Ивановна, лихое дело — до жилой площади добраться, горы сворочу. А питаться я могу навозом.

Вдова во второй раз взглянула:

— Да вы сели бы. Чаю выпейте.

Гирькин поблагодарил, сел, принял стакан чаю, хлебнул.

— У меня, Софья Ивановна, коренные вопросы не разрешены в смысле жилищном и смысле половом.

Вдова покачала головой, сказала:

— У нас на Якиманке почти в каждом доме эти вопросы. Девки теперь до того стали бойкие, понятливые — срамотища! Некрученные, невенчаные, у каждой по ребенку — получают алименты, ничего не работают, только бегают в кинематограф. Одна — видите — напротив в домишке, третье окно, билась-билась, не может дитя зародить. Так она что придумала: чтобы хахаль ее трудоспособности лишил. Стала его дразнить, стервиться, и он, конечно, пьяный, откусил ей нос, самый кончик, — и теперь ей плотит, несчастный. Вчера приходил под ее окошко, умолял облегчить пенсию. Заплакал, головой бьется о водосточную трубу. А она с грызеным носом, принцесса, хоть бы опянулась на окошко; с утра до ночи жует да спит. Нет, я не девица, конечно, но иначе, как старорежимным браком, даже и глядеть не стану на мужчину.

— Современность отвергает идеализм, — отчетливо сказал Гирькин, взаимные сношения должны быть основаны на проверке. Вы партию товара покупаете, вы ведь его пробуете сначала?

— Это так, — ответила вдова.

— А тем более в выборе мужчины.

— Ох!

— Стойте на логической точке зрения, Софья Ивановна: вы на мужчину прицельтесь, попытайте его во всех отношениях. Подошло — к попу!

— Чего же его пытаться? Мужчину сразу можно определить, по тону голоса... Вот тоже вы скажете! — Вдова вдруг сладко потянулась, усмехнулась, одернула свитер.

— Софья Ивановна, нельзя знать — где найдешь, где потеряешь... Современная научная мысль говорит: за все надо хвататься с интересом...

— Это как так хвататься? — Вдова даже рот раскрыла, глядела на Гирькина. От самоварного пара по окошкам ползли слезы. Гирькин тоже запотел, и вдове стало казаться, что сквозь пар он скалится весело, блестит глазами — бес лукавый. Хотела перекреститься — не поднять руки; успею — подумала. Стало ей смерть любопытно, сердце — бух — замерло, бух замерло. Вдову одолел грех.

— А ведь года-то уходят, — урчал прекрасный Гирькин из-за самовара.

Многое еще он говорил. От иных слов вдова вздрагивала, потуплялась в заповедном наслаждении. Когда же Гирькин вдруг стал прощаться, она проговорила лениво:

— Безусловно, если вам ночевать негде — как-нибудь у меня устроим. Не в смысле уплотнения, потому что площадь у меня законная, а так, чтобы просто человек не погиб, пока обглядится, да то, да се...

Часа через два Гирькин, забежав к трепушкам за книгами и тетрадями, веселый и румяный, опять появился на Якиманке. Вдова ждала его у окна. Увидела — откинулась.

Варвары на кухне след простыл. Гирькин сам поставил самовар, сбегал за ситником, затопил печку и в сумерках, без огня, беседовал задумчиво, улещал вдову:

— Какая роскошь — ваше помещение! Какое удовольствие сидеть близко около вас! Ах, Софья Ивановна, надо ловить минуты жизни...

Без нахальства, семейственно, он поцеловал вдову в щеку, в шею и даже в затылок под косу. И само собой вышло: прокуковала на охрипших за годы революции часах деревянная кукушка десять — и Гирькин со вдовой очутились на пышных перинах; прикрылись от

превратностей жизни громадным, как печь, одеялом. Чего еще было желать человеку?

Утром, в самом наилучшем расположении духа, Гирькин приловчился бежать в университет. Вдова подняла брови выше головы. «Вы куда?» И заморгала. Ничего не поделаешь — он остался. Утешал ее. Опять пили чай. Вдова вместо свитера надела шерстяное голубое платье старорежимного фасона с гипюром. На ногах ковровые туфли. И все нет-нет, да и присаживалась к Гирькину на колени. Обняв, глядит в глаза странно, вопросительно.

— Ну что? Ну что еще тебе нужно? — спрашивал Гирькин, трепля ее за косу.

Весь день мочил, плюхал за окнами ноябрьский дождик со снегом. День и ночь промелькнули. Наутро Гирькин собрался в вуз, вдова опять брови подняла — и плакать.

— Да ведь надо же мне делом когда-нибудь заняться, — сказал Гирькин.

— Уйдешь — раздумаюсь, сама не знаю что натворю, — ответила вдова грудным голосом.

Поглядел Гирькин за окна, не пошел в вуз. На кухне Варвара, как молнии, кидала кастрюли, скалилась белыми зубами:

— Дорого вам въедет жилая площадь, товарищ Гирькин.

— Пустяки, я вдову обломаю.

— Посмотрим.

Попробовал Гирькин заниматься дома, — Софья Ивановна молчит, как мертвая, у него за спиной, неслышно подкрадет, книжку — хлоп и глядит, будто спрашивает: «Да кто ты, кто?»

Думал он, что она скучливая, поминутно нужно ее развлекать. Нет. Неправильно. Вдова скучать не умела. С удовольствием садилась у мокрого окошка в сумерках и зевала по полсотне раз без перестановки. У Гирькина даже во рту приторно, в теле истома. Нет, нет. Вдова терпеть не могла ни шумного, ни бойкого. Но едва Гирькин наморщит лоб — значит, раздумался, уединился, — она тут как тут, с вопросом, с тревогой.

— Да не брошу я тебя, успокойся, Софья Ивановна.

— Этого я меньше всего боюсь.

— Пусти, я схожу в университет. Ну, хоть политграмоту дай поучить. Не могу я весь век только за ситником бегать. Я погибну.

— Потерпи немного. Обвенчаемся — ходи куда хочешь.

— Ну, давай обвенчаемся.

— Не могу еще.

— Почему? Я не бродяга, сама видишь...

— Не могу, говорят тебе... Боюсь...

— Чего, чего ты боишься?

Вдова перепугалась — видимо, сказала лишнее. Он схватил ее за плечи, тряс, как грушу. Она губы стиснула, побледнела, молчала.

В тот же день шел он домой под дождем, нес ситник. Малая Якиманка не Париж: все же засосала Гирькина тоска по людям, по улицам. С умилением даже трепушек вспомнил. Раздумался, влез у ворот в лужу, промочил ноги. Варвары на кухне след простыл. Гирькин снял воровы башмаки, пошел в носках к себе. Видит, дверь приотворена, в комнате жидкий, необыкновенный свет. И чей-то чужой голос бормочет, причитывает.

Гирькин обомлел у дверной щели: перед угольником горят три лампы, Софья Ивановна стоит в черной шали, руки прижала к груди, дико плядит на огоньки. Около на табуретке лежат книжки Гирькина, и над ними нагнулась отчитывает их сморщенная старушонка. В руке кропило, — кунает его в медный кувшин и кропит на книги.

«Эге, вот оно что!» — подумал Гирькин, осторожно вернулся на кухню и там курил, покуда над книгами не кончилась операция. Он вдове и вида не подал, что видел сквозь двери, — так это его ошарашило.

На другой день хватился политграмоты — нашел в печке один обгорелый корешок. Не вытерпел Гирькин, рявкнул:

— Восемь гривен за книжку отдано, черт бы вас забодал, Софья Ивановна...

Вдова кинулась к образам. Лицо дрожит. Пальцами сложила крест, прикрылась им. Гирькин потом чуть в ногах не валялся — еле-еле восстановил равновесие.

Старушонка с той поры стала забегать ежедневно. Сушила гнилой подол у печки, вся закапанная воском, постная до последней возможности, — шептала про владычиц:

— У (такой-то) владычицы ручку целовала, милая моя, у (такой-то) свечку за копеечку ставила, а бежала оттуда к (такой-то)

владычице, прочла на стене любово-страстную надпись, и вся я, милая моя, затрепетала, как мышь... Ходят, ходят по Москве не наши, луканьки, пишут, пишут... Ох, милая моя, не читай писанного на стенах, на заборах, печатанного не читай без яти... На Солянке весь забор обклеен в пол-аршина буквами, — язык вырви — это слово тебе не скажу, — такой срам...

Она наклонилась к вдове:

— Мандат...

Вдова вспыхнула, руки прижала к щекам. Старушонка мелко затопталась от удовольствия...

— И ведь так и горит по всему забору... Да что, милая моя... А последнее время в честные дома стали пробираться...

— Кто? — дико спросила вдова.

— Да все они же, «игрецы», милая моя... И бумаги у них выправлены, как у людей, и уплотняют они по ордеру, да... Одна примета у них — ногти синее нашего... Человек мне сказывал: доживаем, говорит, последние полтора месяца... Аминь! Аккурат ночью под Новый год настанет наша мука. Будет полный сбор ихний. Пройдут они бесчисленной толпой с прелестным лозунгом от самого Дорогомилова. И пойдут они бесстыдно, в обнаженном виде. И от Красных Ворот разбегутся по домам, жилистые, срамные — вот соблазн, милая...

Тут вдова так пронзительно взвизгнула, рванулась под лампы, что и старушка оробела, и у Гирькина за дверью застучала челюсть.

— Это будет последнее искушение. Половина народа погибнет, — ну, тогда вступится Михаил-архангел и большевики пропадут, а всем истинно верующим будет оказано большое денежное пособие.

Гирькин слушал эти разговоры, главным образом стоя за дверью. Когда входил, старушонка замолкала, только благостно побряхтывала. При нем же, попивая чаек, она заводила другое — двуличное:

— Вот и верно, что при царе плохо жилось, а нынче хорошо. Из Тарусы одной знакомой племянники пишут: «Дорогая тетя, слава труду, живем хорошо... Папенька наш сослан за Ледовитый океан... А при царском режиме две лавки были... У маменьки, слава труду, чахотка. Крыша у нас при ненавистном царе не текла, а нынче совсем протекла». Умно так эти дети пишут... Ох, господи, господи...

Но едва Гирькин за дверь — старушонка шепчет вдове:

— Он это, мать владычица, он... Где у тебя глаза-то, опомнись... Все капиталы из тебя вымотает... До народного судьи доведет. Ты уж и так с лица спала. А когда он всю-то тебя опутает, как муху, тут и запустит когти в бока...

— Да что ты... Да будет тебе... Не хочу, не верю! — металась вдова.

Действительно, стала она худеть, мучиться. То не позволяла Гирькину пальцем до себя дотронуться, то схватит его за виски, вопьется, целует жадно... Застонет, ляжет на постель, завернется с головой в шаль.

Сердце у Гирькина оказалось привязчивое: чем больше мучила его вдова, тем сильнее нравилась.

Он и книги бросил, и на вуз махнул рукой. Варвара спозаранку теперь мчалась в студию, являлась только ночевать. Жильцы из других комнат в домишке Софьи Ивановны доставляли ему немало хлопот. «Иван, — звали из одной комнаты две сестры Израилевич, — извиняюсь, возьмите у нас помой». За отсутствием Варвары он таскал ведра, мел коридор, мыл кухню. К сестрам Израилевич ходил мрачный зубной врач, и тогда одна из сестер — та, что пострашнее, — уходила спать на пол в кухню, где всю ночь стонала и всхлипывала, тревожа вдову и тем самым Гирькина. В другой Комнате жил изобретатель Заикин. Стоя в дверях, скребя бороду и нечесаные волосы, он говорил басом «Иван Иванович, дорогуша, я вот как раз в пылу творчества, родной, слетайте за пивом, за папиросами». В чулане жил советский служащий, мучительно влюбленный в Варвару. По ночам он бился коленками о перегородку, повторял надрывающимся голосом: «Ах, одиночество, одиночество!» — и всегда в чулане что-то валилось. Вдова толкала Гирькина локтем: «Посмотри, не воры ли...»

Он все сносил. Взглянет, как за окнами моросит несказанная гниль, вспомнит белые плечи Софьи Ивановны...

«...Нет, надо терпеть. Черепушку разобью, навоз буду есть, — повторял он любимое выражение, — а из этого дома меня канатом не вытащишь. Старушонку бы только угробить, чтобы не шляется. Это она гадит наши отношения».

Гирькин был прав. Вдова раздиралась надвое между ним и старушонкой. Гирькин ей был мил, но непонятен, как, например,

новые слова: мосрайрабкооп или госпромцветмет. От этих слов у нее щемила душа, хотелось прилечь на кровать, обмотать голову шалью. Старушонка же звала ее в понятное, в насиженное, но в великую скуку. Вдова и верила ей, и сомневалась, и жутко ей было, и вся молодость ее тянулась к простодушному Гирькину. Ну, а вдруг он — подосланный? Не наш, лукавый в прелестной личине? Опутает, обольстит да ночью поднимет голову с подушки, а голова у него с бараньими рогами, со срамным носом?

И вдова не жила, а будто ее по живому телу пороли ножом. За вечерним чаем она сказала:

— Нервы у меня все дочиста в беспорядке, — и заплакала. Старушонка зашуршала и, должно быть уже не в первый раз, стала поминать какого-то отца Иванушку, старца великой святости.

— Все равно, зови кого хочешь, — плакала вдова.

Тогда Гирькин понял, что старушонку немедленно надо ликвидировать.

Как ей уходить, он стал за дровами в сенях на черном ходу.

Притаился и там в темноте схватил старушечку, зажал ей рот и сказал шепотом, но твердо:

— Попробуй только, чертова ворона, еще раз к нам прийти, я тебя нагишом выбью за ворота, в район сволоку, там тебе пропишут показательный процесс. Поняла, стерва?

Старушонка дробно тряслась, все поняла. И действительно, дня три ее и духу не было. Вдова была тиха, кротка, грустна. Гирькин садился читать книжки и даже бегал в университетскую канцелярию за справками. Погода повернула со слякоти на морозец. Полетели за окнами белые мухи — первый снежок, наряжая Москву в серебряные ризы.

И вот тут-то беда и пришла.

Гирькин колот дрова в сарае. Поднял колун и из-за руки вдруг видит: в ворота вошли старушонка и с ней высокий, бородатый мужик с ковровой сумой, с посохом, босиком, без шапки. Лицо сердитое, с большим носом, с медвежьими злыми глазами, на костлявых плечах кафтан, сквозь дыры видно тело.

Гирькин следом за ними пробрался в дом. Дверь у вдовы оказалась на крючке. За дверью гудел сердитый, как туча, мужской голос.

— Это дело страшное, Соня. Ты на край пропасти зашла. А имя той пропасти — ад крошечный. Поддай мне его рубаху.

— Какую, отец? Чистую?

— Нет, Соня, не чистую — грязную, ношеную.

Слышно — вдова полезла в гардероб. Затем сильно что-то засопело: это старец Иванушка нюхал исподнее.

— Зловещее, — пробасил он, — дух не наш.

Вдова всхлипнула. И сейчас же старушонка залопотала:

— Третьего дня в сеньях-то, в потемках, налетел он на меня, когтищи запустил в цыцки. Господи, пречистая!.. Глаза — как фонари, и лицо у него круглое, — провалиться мне, успела рассмотреть — лицо у него кошачье...

— Неправда, не круглое, а миловидное, — простонала вдова.

Старец густо кашлянул:

— Не он ли, Соня, сейчас в сарае дрова колот?

— Он.

— Ах, ах! Какой ужас! Вхожу я в ворота, оглянулся, а в сарае стоит с топором человек, а голова круглая, кошачья.

— Кошачья, кошачья! — зашипела старушонка. — Давно я это вижу, сказать ей боюсь...

— Это, Соня, все видят, одна ты ничего не видишь. Кто спит-то с тобой? Бесище...

Сразу стало тихо. Затем заскрипела кровать, — это вдова кинулась на перину. Старушонка и старец шептались. И Гирькин услышал:

— Ничего, не бойся, Соня, отрежем. (Молчанье.) Ножницы у тебя есть? Я возьму: освятить надо, а то так не возьмут.

Шепот старушонки:

— Без памяти... Ты бы над ней почитал...

Молчанье. Тихий, отчаянный голос вдовы:

— Жить не хочу... С ума сойду... Выйдите... Делайте что надо...

Гирькин вернулся в сарай колотить дрова. Так тюкал со зла топором, что летели щепки. Старец и старушонка прошли в ворота, не оглянулись.

«Начинай опять все сначала, — думал Гирькин. — Надо бы сразу ее марксистским подходом за жабры... Эх!»

И так тюкнул по полену — щепки полетели. Наколов полторы сажени, он пошел обедать. Были уже сумерки. В доме — тихо, пусто. У Софьи Ивановны темно, дверь на крючке. Гирькин стучался, улещал, пробовал сердиться и даже хныкал, — вдова не подала голоса, только кровать поскрипывала.

— Ну, хорошо, Софья Ивановна, — сказал он зловеще, — после пожалеете.

Поел шей и прилег в конце коридора на сундуке. Поворочался, повздыхал и заснул крепко.

Сейчас же приснилось: перебирая ногами, он летит по комнате. За окошечком стоят плакучие березы — белые, в инее, до синего неба; над ними в радужных кругах — луна. За серебряными ветвями, в лунном тумане, виден дом с колоннами, — в тысяче окон блестит лунный свет. И кажется Гирькину: вот он, вот он — дом, виденный во снах. И Гирькин вылетает в окно туда, в этот иней и свет. А сзади Софья Ивановна хватает его за валенки: «Не улетай, Ваня, заплачу...» И Гирькину хочется ей крикнуть от всего наболевшего: «В невежестве жить не хочу, нет, не хочу!..» И никак не может крикнуть, разжать рта...

Он сотрясся, проснулся и сел на сундуке.

В глаза кольнул свет свечи: ее держала вдова, стоя перед сундуком, прикрыв низ лица шалью. Сбоку сундука стоял старец Иванушка и казался огромным, тень от него упиралась в потолок. В руках держал кропило и ножницы. А в ногах, схватив Гирькина за валенки, шипела старушонка.

— Да скорее, отец, скорее режь... Вот он, хвост-то, рукой вижу.

Все это увидел Гирькин в секунду. И сейчас же старец, хлестнув его кропилом по глазам, навалился, вонючий, кислый, костлявый, — лез куда-то ножницами...

— Да воскреснет бог, расточатся врази его!.. — взвыла старушонка. Хвостище-то, хвостище... Режь, режь, режь!..

Не своим голосом вскрикнул Гирькин и поволок за собой старца и старушонку. В сених они его совсем одолели, но от возни рассыпалась поленница, полетели дрова... Гирькин выскочил за ворота и помчался по Малой Якиманке.

Остановился он только на другом берегу, на Театральной площади. Огни, огни, огни, фонари, снопы лучей в морозном инее.

Звенели, светлыми линиями уносились трамваи. Тысячи людей шли, и шли, и шли по синему снегу. Налетали огненные глаза автобусов. В черноте зимнего неба рисовались игрушечные башни и гребенчатые стены Китай-города. «Вот она, Москва-то, ух ты! — подумал Гирькин и рот разинул и оглядывался, стоя без шапки. — Ну нет, черепушку себе разобью, навоз буду есть...»

— Извозчик, товарищ дорогой, скажи, — не знаешь, где здесь театральная студия помещается?..

1926

А. П. ПЛАТОНОВ

ГОРОД ГРАДОВ

*Мое сочинение скучно и терпеливо,
как жизнь, из которой оно сделано.*

Ив. Шаронов, писатель конца XIX века

1

От татарских князей и мурз, в летописях прозванных мордовскими князьями, произошло столбовое градовское дворянство, — все эти князья Енгальчевы, Тенишевы и Кугушевы, которых до сих пор помнит градовское крестьянство.

Градов от Москвы лежит в пятистах верстах, но революция шла сюда пешим шагом. Древлеводчинная Градовская губерния долго не сдавалась ей: лишь в марте 1918 года установилась Советская власть в губгороде, а в уездах — к концу осени.

Оно и понятно: в редких пунктах Российской империи было столько черносотенцев, как в Градове. Одних мощей Градов имел трое: Евфимий — ветхопещерник, Петр — женоненавистник и Прохор — византиец; кроме того, здесь находились четыре целебных колодца с соленой водой и две лежащих старушки-прорицательницы, живьем легшие в удобные гробы и кормившиеся там одной сметаной. В голодные годы эти старушки вылезли из гробов и стали мешочницами, а что они святые — все позабыли, до того суетливо жилось тогда.

Проезжий ученый говорил властям, что Градов лежит на приречной террасе, о чем и был издан циркуляр для сведения.

Город орошала речка Жмаевка — так учили детей в школе первой ступени. Но летом на улицах было сухо, и дети не видели, что Жмаевка орошает Градов, и не понимали урока.

Вокруг города жили слободы: исконные градовцы называли слобожан нахальщиками, ибо слобожане бросали пахотное дело и стремились стать служилами-чиновниками, а в междуцарствие свое — пока им должностей не выходило — занимались чинкой сапог,

смолокурством, перепродажей ржаного зерна и прочим незнатным занятием. Но в том была подоплека всей жизни Градова: слобожане наседали и отнимали у градовцев хлебные места в учреждениях, а градовцы обижались и отбивались от деревенских охальников. Поэтому три раза в год — на троицу, в николин день и на крещение — между городом и слободами происходили кулачные бои. Слобожане, кормленные густой пищей, всегда побивали градовцев, исчахших на казенных харчах.

Если подъезжать к Градову не по железной дороге, а по грунту, то въедешь в город незаметно: все будут поля, потом пойдут хаты, сделанные из глины, соломы и плетня, потом предстанут храмы и уже впоследствии откроется площадь. Посреди площади стоит собор, а против него двухэтажный дом.

— А где же город? — спросит приезжий человек.

— А вот он, город, и есть! — ответит ему возчик и укажет на тот же двухэтажный дом старинной стройки. На доме том висит вывеска: «Градовский уисполком».

На краю базарной площади стоят еще несколько домов казенного вечного образца — там тоже необходимые губернии учреждения.

Есть в Градове жилища и поприличней хат. Крыты они железом, на дворе имеют нужники, а с уличной стороны палисадники. У иных есть и садики, где растут вишня и яблоня. Вишня идет в настойку, а яблоко в мочку.

Живут в таких домах служащие люди и хлебные скупщики.

В летние вечера город наполняется плавающим колокольным звоном и трубным дымом поставленных самоваров.

Народ в городе существовал без спешки и не беспокоился о якобы лучшей жизни. Служил с усердием, держа порядок в губернии, но ярости в труде не знал. Торговали по малости, без риска, но прочно сбивая хлеб насущный.

Героев город не имел, безропотно и единогласно принимая резолюции по мировым вопросам.

А может, и были в Градове герои, только их перевела точная законность и надлежащие мероприятия.

Отсюда пошло то, что сколько ни давали денег этой ветхой, растрепанной бандитами и заросшей лопухами губернии, ничего замечательного не выходило.

В Москве руководители губернии говорили правительству, что хотя нельзя сказать точно, но что истрачены пять миллионов, отпущенные в прошлом году на сельское хозяйство, но толк от этих миллионов должен быть: все-таки деньги истрачены в Градовской губернии, а не в чужом месте и как-нибудь скажутся.

— Может, пройдет десять годов, — говорил председатель Градовского губисполкома, — а у нас рожь начнет расти с оглоблю, а картошка в колесо. Вот тогда и видно будет, куда ушло пять миллионов рублей!

А было дело так. Случился в Градовской губернии голод от засухи. На прокормление крестьян и на особые гидротехнические работы отпустили пять миллионов рублей.

Восемь раз заседал президиум Градовского губисполкома: что делать с этими деньгами? Четыре месяца шло обсуждение серьезного вопроса.

В основу отбора голодающих крестьян от сытых был положен классовый принцип: помощь оказывать только тем крестьянам, у которых нет ни коровы, ни лошади, а наличный скот — не свыше двух овец и двадцати кур, включая петуха; остальным крестьянам, имеющим корову или лошадь, давать хлеб порциями, когда в теле есть научные признаки голода.

Научное определение голода было возложено на ветеринаров и на сельский педагогический персонал. Затем Градовским губисполкомом была детально разработана «Ведомость учета крестьянских хозяйств, на восстановление, укрепление и развитие коих может в некоторой степени повлиять частичный недород некоторых районов губернии».

Сверх натуральной кормежки решено было начать гидротехнические работы. Создана была особая комиссия по набору техников. Но она ни одного техника не приняла, так как оказалось: чтобы построить деревенский колодезь, техник должен знать всего Карла Маркса.

Комиссия решила, что технического персонала на рынке республики нет, и по одному доброму совету приняла, что эти работы надо поручить бывшим солдатам-военнопленным, а также сельским самоучкам, которые даже часы могут чинить, а не только насыпь сделать или яму для воды выкопать. Один член этой приемочной комиссии вслух прочитал книгу, где говорится, как холоп Микишка

сделал аэроплан и летал на нем перед Иваном Грозным, — чем убедил окончательно комиссию в скрытых силах пролетариата и трудового крестьянства. Следовательно, решила комиссия, средства, отпущенные губернии на борьбу с недородом, помогут «выявить, использовать, учесть и в дальнейшем снова использовать внутренние умственные силы пролетариата и беднейших крестьян, тем самым гидротехнические работы в нашей губернии будут иметь косвенный культурный эффект».

Было построено шестьсот плотин и четыреста колодцев. Техников совсем не было, а может, было человека два. Не дотянув до осени, плотины были смыты летними легкими дождями, а колодцы почти все стояли сухими.

Кроме того, одна сельскохозяйственная коммуна, под названием «Импорт», начала строить железную дорогу длиной в десять верст. Железная дорога должна соединить «Импорт» с другой коммуной — «Вера, Надежда, Любовь». Денег «Импорт» имел пять тысяч рублей, и даны они были на орошение сада. Но железная дорога осталась недостроенной: коммуна «Вера, Надежда, Любовь» была ликвидирована губернией за свое название, а член правления «Импорта», посланный в Москву купить за двести рублей паровоз, почему-то не вернулся.

Сверх того, на те же деньги десятниками самочинно были построены восемь планеров для почтовой службы и перевозки сена и один вечный двигатель, действующий моченым песком.

В Градов Иван Федотович Шмаков ехал с четким заданием — вразить в губернские дела и освежить их здравым смыслом. Шмакову было тридцать пять лет, и славился он совестью перед законом и административным инстинктом, за что и был одобрен высоким госорганом и послан на ответственный пост.

Думал Шмаков как раз про то, что было ему известно про Градов. А известно ему было одно, что Градов — оскуделый город и люди живут там настолько бестолково, что даже чернозем травы не родит.

За два часа до Градова Шмаков вышел на попутную станцию и, оглянувшись по сторонам, испуганно и наспех выпил водочки в буфете, зная, что советская власть не любит водки. Особое чувство скуки и беспокойства охватило Шмакова, когда он шел по мрачным и бесприютным залам вокзала. В третьем классе сидели безработные и ели дешевую мокрую колбасу. Плакали дети, увеличивая чувство тревоги и беспомощной жалости. Уныло гудели маломощные паровозы, готовясь к одолению скучных осенних пространств, полных редкой и убогой жизни.

Проезжие люди жили так, как будто они ехали по чужой планете, а не по отечественной стране; каждый ел укромкой и соседу пищи не давал, но все-таки люди жались друг к другу, ища защиты на страшных путях сообщения.

Шмаков вошел в вагон и закурил. Поезд тронулся. Наспех выскочила баба с яблоками, запутавшись в сдаче пассажиру с гривенника.

Шмаков плюнул, раздражаясь от длительности пути, и сел. За окном проскакивали хижины какого-то городка и не спеша помахивала мельница ветхими крыльями, тяжело меля грубое зерно.

Некий старичок рассказывал соседям хитроумную притчу, и люди смеялись, торопя старика:

— А мордвин што?

— А мордвин богатый человек, — говорил старик, — мордвин угостил русского подобру и честь честью. Только русский говорит мордвину: «Я беден, и когда разбогатею, тогда тебя тоже в гости позову».

— А мордвин ему што?

— А мордвин ждет! Прошел год, еще год, а потом сразу два. Русский все не богатеет, а мордвин все ждет — когда его русский к себе в гости позовет? Четыре года томился мордвин, а потом вспомнил про русского и пошел к нему в гости. Вот приходит в хату...

— К русскому?

— К русскому, то видно по рассказу. Русский схватил шапку с мордвина — то на один гвоздь ее повесит, то на другой, то на третий. «Што ты?» спрашивает его мордвин. «Места тебе не найду», — говорит русский. «Почет, значит?» — «Ну, почет, конечно». Сел мордвин за порожний стол и плядит, чего бы ухватить ему из пищи.

Глядь, русский кувшин тащит. «Пей», говорит. Мордвин ухватился, думал — влага какая, а там вода. Попил мордвин. «Будя», — говорит. «Пей, — говорит русский, — не обижай, пожалуйста!» Мордвин, конечно, человек уважительный, — пьет. Не успел выпить этого кувшина, хозяйка ведро принесла, а хозяин доливает кувшин и потчует гостя. «Не обидь, — говорит, — угощайся, ради бога!» Выпил мордвин три ведра воды и пошел домой. «Хорошо угостил тебя русский?» — спрашивает мордвина жена. «Хорошо, — говорит мордвин, — спасибо, что вода была, а от водки я бы помер — три ведра выпил...»

Шмаков задремал от плавного хода поезда и сбился с рассказа старика. Увидев во сне кошмарное видение, что рельсы лежат не на земле, а на диаграмме и означают пунктир, то есть косвенное подчинение, Шмаков пробормотал что-то и проснулся. Старичок исчез, взяв свой мешок с продуктами, а на его месте сидел комсомолец и проповедовал:

— Религия должна караться по закону!

— Это через почему ж такое по закону-то? — злобно допытывался неизвестный человек, ранее рассказывавший о ценах на пшено в Саратове и Раненбурге.

— А вот почему! — говорил парень, равнодушно и старчески улыбаясь и явно жалея собеседников. — Я расскажу все последовательно! Потому что религия есть злоупотребление природой! Поняли? Дело ведь просто: солнце начинает нагревать навоз, сначала вонь идет, а потом оттуда трава вырастает. Так и вся жизнь на земле произошла — очень просто...

— А я у вас извинения попрошу, товарищ коммунист, — робко выговорил все тот же неизвестный человек, что на пшено цену знал, — ежели ты навоз, допустим, на загнетку положишь, а печку затопишь, чтоб тепло и свет шли, то, по-вашему, вырастет трава из навоза аль нет?

— Ну да, вырастет! — ответил знающий парень. — Все равно — что печка, что солнце...

— И на лежанке можно? — хитрил неизвестный человек.

— Ясно, можно! — подтвердил комсомолец.

— А вы вот что нам скажите, гражданин коммунист, — хрипло обратился человек, ехавший в Козлов на мясохладобойню, — правда,

что Днепр перегородить хотят и Польшу затопить?

Комсомольский знаток разгорелся и сразу рассказал о Днепрострое все, что известно и неизвестно.

— Сурьезное дело! — дал свое заключение о Днепрострое козловский человек. — Только воду в Днепре не удержать!

— Это почему ж такое? — вступился тут Шмаков.

Козловец сумрачно поглядел на Шмакова: дескать, это еще что за моль тут встряла в разговор?

— А потому, — сказал он, — что вода — дело тяжелое, камень точит и железо скоблит, а советский материал — мягкая вещь!

«Он прав, сволочь! — подумал Шмаков. — У меня тоже пуговицы от новых штанов оторвались, а в Москве покупал!»

Дальше Шмаков не слушал, заскорбев от дум и недоброкачества жизни. Поезд гремел на крутом уклоне и скрежетал бессильными тормозами.

Печальный, молчаливый сентябрь стоял в прохладном пустопорожном поле, где не было теперь никакого промысла. Одно окно в вагоне было открыто, и какие-то пешие люди кричали в поезд:

— Эй, сволочи!

Иногда встречные пастушонки просили:

— Брось газету! — Газета им требовалась на сигарки.

Комсомолец, раздобрев от своей осведомленности, побросал им всю наличную бумагу, и пастушонки ловили ее, не допуская до земли. Но Шмаков своей газеты не дал — в чужом городе всякий клочок дорог.

— Градов! Кому до Градова? Первая остановка! — сказал проводник и начал выметать сор. — Насорили, идола, как в поле! Штрафовать вас надо, да денег у вас нету! Бабка, прими ноги!

Шмаков сошел в Градове, и его охватила некоторая жуть.

«Вот оно, мое поселение», — подумал Шмаков и оглядывал тихий вокзал и скромных людей, спешащих попасть в вагоны.

Несмотря на то, что этот пункт был связан рельсами со всем миром — с Афинами и Апеннинским полуостровом, а также с берегом Тихого океана, никто туда не ездил: не было надобности. А если б кто поехал, то запутался бы в маршруте: народ тут жил бестолковый.

Вселился Шмаков в дом № 46 по Коркиной улице; дом был невелик, и жила в нем одна старушка, караульщица своего недвижимого имущества. Получала она за мужа пенсию одиннадцать рублей двадцать пять копеек в месяц и комнату сдавала за восемь рублей с ее топкой.

Сел за голый стол Иван Федотыч, поглядел на двор, где травы умирали, и ему сделалось скучно. Посидев, Иван Федотыч лег, а полежавши, встал и пошел еды купить.

Еще не закатилось сентябрьское солнце, а Иван Федотыч вернулся в пустоту своего жилища. Старушка вздыхала на кухне от перемены власти и трещала лучинками к самовару.

Иван Федотыч поел колбасы, а затем сел выработать форму своей подписи на будущих бумагах. «Шмаков», — написал Иван Федотыч. «Нет, не твердо», — подумал он и вновь написал «Шмаков», но уже более бесхитростно и как бы невзначай копируя по простоте начертания подпись Ленина.

Затем долго раздумывал Иван Федотыч — ставить ему перед своей фамилией «Ив» — Иван или не надо. Наконец решил поставить: могут обознаться и спутать с инородным человеком; хотя фамилия «Шмаков» достаточно редкостная.

В восемь часов старушка перестала вздыхать и тихо засопела — уснула, стало быть. Потом проснулась и долго бормотала славянские молитвы.

Иван Федотыч задернул занавесочки, понюхал больной цветок на подоконнике и извлек из чемодана кожаную тетрадь. На коже было вырезано перочинным ножом заглавие рукописного труда:

«ЗАПИСКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЧЕЛОВЕКА».

Открыв рукопись на сорок девятой странице, Иван Федотыч подчитал конец и, разогнавшись мыслью, начал продолжать:

«...Я тайно веду свой труд. Но когда-нибудь он сделается мировым юридическим сочинением, а именно: я говорю, чиновник и прочее всякое должностное лицо — это ценнейший агент социалистической истории, это живая шпала под рельсами в социализм.

Служение социалистическому отечеству — это новая религия человека, ощущающего в своем сердце чувство революционного долга.

Воистину в 1917 году в России впервые отпраздновал свою победу гармонический разум порядка!

Современная борьба с бюрократией основана отчасти на непонимании вещей.

Бюро есть конторка. А конторский стол суть неременная принадлежность всякого государственного аппарата.

Бюрократия имеет заслуги перед революцией: она склеила расплывшиеся части народа, пронизала их волей к порядку и приучила к однообразному пониманию обычных вещей.

Бюрократ должен быть раздавлен и выжат из Советского государства, как кислота из лимона. Но не останется ли тогда в лимоне одно ветхое дерьмо, не дающее вкусу никакого достоинства...»

— Гады! — заорал кто-то у окна. — Испотрошу всяку сволочь, всяку баптистскую ересь...

И вдруг голос смилостивился и зазвучал милосердно:

— Друг, скажи по-матерному, по-церковнославянски! Ага, нельзя!.. Эх ты, гниденьш!

Шаги удалились, и пустынно застучал колотушечник, предупреждая грабеж.

Шмаков сначала насторожился, а потом поник в удручении от многочисленности хамства.

Одолев нравственную тревогу, он продолжал:

«Что нам дают вместо бюрократизма? Нам дают — доверие вместо документального порядка, то есть дают хищничество, ахинею и поэзию.

Нет! Нам нужно, чтобы человек стал святым и нравственным, потому что иначе ему деться некуда. Всюду должен быть документ и надлежащий общий порядок.

Бумага лишь символ жизни, но она и тень истины, а не хамская выдумка чиновника.

Бумага, изложенная по существу и надлежаще оформленная, есть продукт высочайшей цивилизации. Она предучитывает порочную породу людей и фактирует их действия в интересах общества.

Более того, бумага приучает людей к социальной нравственности, ибо ничто не может быть скрыто от канцелярии».

Часто бывало, что мысль Ивана Федотыча увлекалась сторонними соображениями во вред пользе. Вот и сейчас, пренебрегая временем, он задумался о сравнительной административной силе преуика и исправника. Затем он подумал о воде земного шара и решил, что лучше спустить все океаны и реки в подземные недра, чтобы была сухая территория. Тогда не будет беспокойства от дождей, а народ можно расселить просторнее. Воду будут сосать из глубины насосы, облака исчезнут, а в небе станет вечно гореть солнце, как видимый административный центр.

«Самый худший враг порядка и гармонии, — думал Шмаков, — это природа. Всегда в ней что-нибудь случается...

А что, если учредить для природы судебную власть и карать ее за бесчинство? Например, драть растения за недород. Конечно, не просто пороть, а как-нибудь похитрее — химически, так сказать!

Не согласятся, — вздохнул Шмаков, — беззаконники везде сидят!»

Потом он очнулся и продолжал работать:

«И как идеал зиждется перед моим истомленным взором то общество, где деловая официальная бумага проела и проконтролировала людей настолько, что, будучи по существу порочными, они стали нравственными. Ибо бумага и отношение следовали за поступками людей неотступно, грозили им законными карами, и нравственность сделалась их привычкой.

Канцелярия является главной силой, преобразующей мир порочных стихий в мир закона и благородства.

Подумать надо над этим — и крепко подумать. Я кончаю сегодняшнюю очередную запись, чтобы крепко подумать о бюрократии».

Тут Иван Федотыч встал и действительно задумался.

Так думал он о бюрократии долго, пока его не перебил собачий лай на ночной улице, и тогда он уснул, зря не потушив лампы.

На другой день Шмаков явился на службу — в губернское земельное управление, куда он назначен был заведовать подотделом.

Явившись, он молча сел и начал листовать разумные бумаги. Сослуживцы дико смотрели на новое молчаливое начальство и,

вздыхая, не спеша чертили какие-то длинные скрижали.

Иван Федотыч постепенно входил в самое средоточие дел, но сразу усмотрел ущерб стройности и делопроизводственной логике.

Вечером, лежа на кровати, он раздумывал о своей новой службе. Круг обязанностей каждого сотрудника очерчен недостаточно четко, служащие суетятся с малой пользой, в бумагах запер смысла и скользкая бесплановая логика, в толчее и подотдельской тесноте сотрудники утратили самую цель своих трудов и исторический смысл своей службы.

Поев вчерашней колбасы, Шмаков сел писать доклад начальнику земуправления.

«О соподчинении служащих внутри вверенного мне подотдела в целях рационализации руководимой мною области сельскохозяйственных мероприятий».

Трактат свой Иван Федотыч кончил поздней ночью — за полночь.

Утром хозяйка сжалась над одиноким человеком и дала Ивану Федотычу бесплатно чай. Ночью она слышала, как у спящего Шмакова рычала и резко трескалась сухая жирная пища в животе.

Иван Федотыч принял чай без всякого одобрения и без интереса прослушал хозяйкин рассказ об их глухой стороне.

Оказалось, что в ближних к Градову деревнях — не говоря про дальние, что в лесистой стороне, — до сей поры весной в новолунье и в первый гром купались в реках и озерах, умывались с серебра, лили воск, окуривали от болезней скот и насвистывали ветер.

«Холуйство! — подумал Иван Федотыч, послушав старуху. — Только живая сила государства — служилый, должный народ способен упорядочить это мракобесие».

Идя на службу, Иван Федотыч чувствовал легкость желудка от горячего чая старухи и покой мысли от убежденности в благотворном государственном начале.

На службе Ивану Федотычу дали дело о наделении землей потомков некоей Алены, которая была предводительницей мятежных отрядов Поценского края в XVIII столетии и которую сожгли за чародейные дела в срубе в г. Кадоме.

«Ездили они, отцы наши, воровские казаки, — читал в деле Шмаков, — по уездам, рубили помещиков и вотчинников, за которыми

были крестьяне, а черных людей, крестьян и боярских людей и иных служилых людей никого не рубили и не грабили».

Дело о землеустройстве потомков Алены тянулось уже пятый год. Теперь пришла новая бумага от них с резолюцией начальника учреждения:

«Тов. Шмакову. Реши это дело, пожалуйста, окончательно. Пятый год идет волокита о семи десятинах. Доложи мне срочно по сему».

Шмаков исчитал все дело и нашел, что это дело можно решить трояко, о чем и написал особую докладную записку начальнику учреждения, не предрешая вопроса, а ставя его на усмотрение вышестоящих инстанций. В конце записки он вставил собственное изречение, что волокита есть умственное коллективное вырабатывание социальной истины, а не порок. Управившись с Аленой, Шмаков углубился в поселок Гора-Горушку, который жил на песках, а на лучшие земли не выходил. Оказалось, что поселок жил тихим хищничеством с железной дороги, которая проходила в двух верстах. Поселку давали и деньги и агрономов, а он сидел на песке и жил неведомо чем.

Шмаков написал на этом деле резолюцию:

«Гору-Горушку считать вольным поселением, по примеру немецкого города Гамбурга, а жителей — транспортными хищниками; земли же надлежит у них изъять и передать в трудовое пользование».

Далее попало заявление жителей хутора Девьи Дубравы о необходимости присылки им аэроплана для подгонки туч в сухое летнее время. К заявлению прилагалась вырезка из газеты «Градовские известия», которая обнадежила девьедубравцев.

«Пролетарский Илья Пророк.

Ленинградский советский ученый профессор Мартенсен изобрел аэропланы, самопроизвольно льющие дождь на землю и делающие над пашней облака. Будущим летом предполагено испытать эти аэропланы в крестьянских условиях. Аэропланы действуют посредством наэлектризованного песка».

Изучив все тексты сего дела, Шмаков положил свое заключение:

«Ввиду сыпящегося из аэроплана песка, чем уменьшается добротность пахотных почв, признать отпуск аэроплана хутору Девьи Дубравы пока преждевременным, о чем и уведомить просителей».

Остаток трудового дня Шмаков истратил целиком и полностью на заполнение форм учета учетной работы, наслаждаясь графами и терминами государственного точного языка.

На пятый день службы Шмаков познакомился с заведующим административно-финансовым отделом земельного управления Степаном Ермиловичем Бормотовым.

Бормотов принял Шмакова спокойно, как чуждое интересам дела явление.

— Товарищ Бормотов, — обратился Шмаков, — у нас дело стоит: вы почту приказали отправлять два раза в месяц okazиями.

Бормотов молчал и подписывал ассигновки.

— Товарищ Бормотов, — повторил Иван Федотыч, — у меня тут срочные бумажки, а отправлять почту будут через неделю чохом...

Бормотов нажал кнопку звонка, не глядя на Шмакова.

Вошел испуганный пожилой человек и прищурился на Бормотова с почтительным и усиленным вниманием.

— Отнеси это в ремесленную управу, — сказал Бормотов человеку. — Да позови мне какую-нибудь балерину из переписчиц.

Человек не осмелился ничего сказать и ушел.

Вошла машинистка.

— Соня, — сказал ей Бормотов, не взирая на нее, а узнав по запаху и иным косвенным признакам. — Соня! Ты оперплан не переписала еще?

— Переписала, Степан Ермилыч! — ответила Соня. — Это операционный план? Ах, нет, не переписала!

— Ну вот, ты спроси сначала, а потом отвечай, а то — переписала!

— Вы про операционный спрашиваете, Степан Ермилыч?

— Ну да, не про опереточный! Оперплан и есть оперплан!

— Ах, я его сейчас только вдела в машинку!

— Вдела и держи там! — ответил Степан Ермилыч.

Тут Бормотов кончил подписывать ассигновки и заметил Шмакова.

Бормотов прослушал и ответил:

— А как же в Вавилоне акведуки строили? Хорошо ведь строили? Хорошо! Прочно? — Прочно! А почта ведь там раз в полгода отправлялась, и не чаще! Что теперь мне скажешь? — Бормотов

знающе улыбнулся и принялся подписывать подтверждения и напоминания.

Шмаков сразу утих от такого резона Бормотова и недоуменно вышел. По дороге он дышал воздухом старой деловой бумаги и думал о том, что значит ремесленная управа, которую упомянул Бормотов. Думал Шмаков и еще кое о чем, но о чем — неизвестно.

В дверях административно-финансового отдела спорили два человека. Каждый из них был особенный: один утлый, истощенный и несчастный, пьющий водку после получки, другой — полный благотворности жизни от сытой пищи и внутреннего порядка. Первый, тощий, свирепо убеждал второго, что это глина, держа в руке какой-то комочек. Другой, напротив, стоял за то, что это песчаный грунт, и удовлетворялся этим.

— А почему? Ну почему песок? — пытал его тощий.

— А потому, что сыплется, — резонно говорил тот, что поспокойнее. Потому, что мукой пылит. Ты дунь!

Тощий дунул — и что-то вышло.

— Ну? — спросил утлый человек.

— Что — ну? — сказал плотный. — Сыплется, — значит, песок!

— А ты плюнь, — догадался тощий.

Его недруг взял в свои руки комок неведомого грунта и смачно харкнул, уверенный в неразмочимой природе песка.

— Ну? — торжественно возгласил тощий. — Помн итеперь!

Тот помял и сразу согласился, чтобы не рушить равновесия чувств.

— Глина! Мажется. Дребедень!..

Шмаков прослушал беседу друзей и, достигнув своего стола, сейчас же сел писать доклад начальнику управления — «О необходимости усиления внутренней дисциплины во вверенном Вам управлении, дабы пресечь неявный саботаж».

Но вскоре саботаж явился перед Шмаковым как узаконенное явление. Во вверенном Шмакову подотделе сидело сорок два человека, а работы было на пятерых; тогда Шмаков, испугавшись, донес рапортом кому следовало о необходимости сократить штат на тридцать семь единиц.

Но его вызвали сейчас же в местком и там заявили, что это недопустимо — профсоюз не позволит самодурствовать.

— А чего ж они будут делать? — спросил Шмаков, — им дела у нас нет!

— А пускай копаются, — сказал профсоюзник, — дай им старые архивы листовать, тебе-то што?

— А зачем их листовать? — допытывался Шмаков.

— А чтоб для истории материал в систематическом порядке лежал! — пояснил профработник.

— Верно ведь! — согласился Шмаков и успокоился, но все же донес по начальству, чтобы на душе покойнее было.

— Эх ты, жамка! — сказал впоследствии Шмакову его начальник, профтрепача послушал — ты работай, как гепеус, вот где умные люди!

Раз подходит к Шмакову секретарь управления и угощает его рассыпными папиросами.

— Покушайте, Иван Федотович! Новые: пять копеек сорок штук — градовского производства. Под названием «Красный Инок», — вот на мундштучке значится — инвалиды делают!

Шмаков взял папиросу, хотя почти не курил из экономии, только дарственным табаком баловался.

Секретарь приник к Шмакову и пошептал вопрос:

— Вот вы из Москвы, Иван Федотович! Правда, что туда сорок вагонов в день мацы приходит, и то будто не хватает? Неужели верно?

— Нет, Гаврил Гаврилович, — успокоил его Шмаков, — должно быть, меньше. Маца не питательна — еврей любит жирную пищу, а мацу он в наказанье ест.

— Вот именно, я ж и говорю, Иван Федотович, а они не верят!

— Кто не верит?

— Да никто: ни Степан Ермилович, ни Петр Петрович, ни Алексей Палыч никто не верит!

А меж тем сквозь время наступила Градов печальная мягкая зима. Сослуживцы сходились по вечерам пить чай, но беседы их не отходили от обсуждения служебных обязанностей: даже на частной квартире, вдали от начальства, они чувствовали себя служащими

государства и обсуждали казенные дела. Попав раз на такой чай, Иван Федотыч с удовольствием установил непрерывный и сердечный интерес к делопроизводству у всех сотрудников земельного управления.

Желчь дешевого табака, шелест бумаги, запечатлевшей истину, покойный ход очередных дел, шествующих в общем порядке, — эти явления заменяли сослуживцам воздух природы.

Канцелярия стала их милым ландшафтом. Серый покой тихой комнаты, наполненной умственными тружениками, был для них уютней девственной природы. За огорожами стен они чувствовали себя в безопасности от диких стихий неупорядоченного мира и, множа писчие документы, сознавали, что множат порядок и гармонию в нелепом, неустойчивом мире.

Ни солнца, ни любви, ни иного порочного явления они не признавали, предпочитая письменные факты. Кроме того, ни любовь, ни учет деятельности солнца — в прямой круг делопроизводства не входили.

Однажды в темный вечер, когда капала неурочная вода — был уже декабрь — и хлопал мокрый снег, по улицам Градова спешил возбужденный Шмаков.

Предназначалась сегодня пирушка — по три рубля с души — в честь двадцатипятилетия службы Бормотова в госорганах.

Шмаков кипел благородством невысказанных открытий. Он хотел выступить перед Бормотовым и прочими на свою сокровенную тему «Советизация как начало гармонизации вселенной». Именно так он хотел переименовать свои «Записки государственного человека».

Градов еще не спал, потому что шел восьмой час вечера. Злились от скуки собаки на каждом дворе. Замечательно — потому что он был один — горел вдалеке электрический фонарь. Небо было так низко, тьма так густа, а город столь тих, невелик и явно благодатен, — что почти не имелось никакой природы на первый взгляд, да и нужды в ней не было.

Проходя мимо пожарной каланчи, Шмаков слышал, как вздыхал наверху одинокий пожарный, томясь созерцанием.

«А все-таки он не спит, — с удовольствием гражданина подумал Иван Федотыч, — значит, долг есть! Хотя пожаров тут быть не может: все люди осторожны и порядочны!»

На вечер, в условный дом вдовы Жамовой, сдавшей помещение за два рубля, Шмаков пришел первым. Вдова его встретила без приветливости, как будто Шмаков был самый голодный и пришел захватить еду.

Иван Федотыч сел и затих. Отношений к людям, кроме служебных, он не знал. Если бы он женился, его жена стала бы несчастным человеком. Но Шмаков уклонялся от брака и не усложнял историю потомством. Шмаков не чувствовал в женщинах никакой прелести, как настоящий мыслитель, в котором циркулирует голый долг. Воли в себе он не знал, ощущая лишь повиновение — радостное, как сладострастие; он любил служебное дело настолько, что дорожил даже крошками неизвестного происхождения, затерянными в ящиках своего письменного стола, как неким царством покорности и тщетности.

Вторым явился Степан Ермилович Бормотов. Он держался не как именинник, а как распорядитель.

— Марфуша, — обратился он к Жамовой, — ты бы половичок в передней постелила! Ноги могут быть нечисты, калоши людям не по бюджету, а у тебя все-таки горница, а не кабак!

— Сейчас, Степан Ермилыч, сейчас постелю! А вы проходите — я вам престольное место приготовила. Выше вас чина ведь не будет?

— Да не должно быть, Марфа Егоровна, не должно! — И Степан Ермилович сел в лучшее кресло старинного устройства.

Чуя, что Степан Ермилович уже на месте, быстро стали подходить другие гости.

Пришли четыре деловода, три счетовода, два заведующих личными столами, два бухгалтера, три заведующих подотделами, машинистка Соня и заведующий местной черепичной мастерской — старинный приятель Бормотова по земской службе — гражданин Родных. Этими людьми мир Бормотова замкнулся в своих горизонтах и плановых перспективах, и началось чаепитие.

Чай пили молча и с удовольствием, разогревая им настроение. Марфа Жамова стояла за спиной Бормотова и меняла ему пустые стаканы, сластя чай желтым экономическим песком, купленным в кооперативе как брак.

Степан Ермилович Бормотов сидел с сознанием чести. Почтительный разговор не выходил из круга служебных тем.

Поминались лихие случаи задержки распоряжений губисполкома — и в голове говорившего чувствовался страх и скрытая радость избавления от ответственности.

Выплыло событие об исчезновении Градовской губернии. Центр вдруг перестал присылать циркуляры. Тогда Бормотов добровольно поехал дешевым поездом в Москву выяснять положение. Денег ему дали мало — не пришли из Москвы кредиты, а отпустили пышек из инвалидной пекарни и выписали удостоверение о командировке. В Москве Бормотов узнал, что Градов хотят передать в область и в областной же город передали поэтому все градовские кредиты.

А областной город отказывался от Градова.

— Город не пролетарский, — говорят, — на черт он нам сдался!

Так и повис Градов без государственного причалу. После своего возвращения Бормотов собрал на своей квартире старожилов и хотел объявить в Градовской губернии автономную национальную республику, потому что в губернии жили пятьсот татар и штук сто евреев.

— Не республика мне была нужна, — объяснял Бормотов, — я не нацменьшой, а непрерывное государственное начало и сохранение преемственности в делопроизводстве.

Шмаков тлел возбуждением и шумел переполненным сердцем, но молчал до поры и тер свои писцовые руки.

Много еще случаев помянули присутствующие. История текла над их головами, а они сидели в родном городе, прижукнувшись, и наблюдали, усмехаясь, за тем, что течет. Усмехались они потому, что были уверены, что то, что течет, потечет-потечет и — остановится. Еще давно Бормотов сказал, что в мире не только все течет, но и все останавливается. И тогда, быть может, вновь зазвонят колокола. Бормотов, как считающий себя советским человеком, да и другие не желали, конечно, звона колоколов, но для порядка и внушения массам единого идеологического начала и колокола не плохи. А звон в государственной плуши, несомненно, хорош, хотя бы с поэтической точки зрения, ибо в хорошем государстве и поэзия лежит на предназначенном ей месте, а не поет бесполезные песни.

Незаметно чай кончился, самовар заглох. Марфа осунулась и села в уголок, устав угождать. Тогда за чай заступилась русская горькая.

— Вот, граждане, — сказал счетовод Смачнев, — я откровенно скажу, что одно у меня угощение — водка!.. Ничто меня не берет — ни музыка, ни пение, ни вера, — а водка меня берет! Значит, душа у меня такая твердая, только ядовитое вещество она одобряет... Ничего духовного я не признаю, то — буржуазный обман...

Смачнев, несомненно, был пессимист и, в общем и целом, перегнул палку.

Но действительно, что только водка разморозила сознание присутствующих и дала теплую энергию их сердцам.

Первым, по положению, встал Бормотов.

— Граждане! Служил я в разных местах. Я пережил восемнадцать председателей губисполкома, двадцать шесть секретарей и двенадцать начальников земуправлений. Одних управделами ГИКа при мне сменилось десять человек! А чиновников особых поручений, — как их, личных секретарей, председателей, — целых тридцать штук прошло... Я страдалец, друзья, душа моя горька, и ничто ее не растрогает... Всю жизнь я спасал Градовскую губернию. Один председатель хотел превратить сухую территорию губернии в море, а хлебопашцев в рыбаков. Другой задумал пробить плубоку дырку в земле, чтобы оттуда жидкое золото наружу вылилось, и техника заставлял меня сыскать для такого дела. А третий все автомобили покупал, для того чтобы подходящую систему для губернии навеки установить. Видали, что значит служба? И я должен всему благожелательно улыбаться, терзая свой здравый смысл, а также истребляя порядок, установленный существом дела! И более того — ремесленная управа, то есть губпрофсовет, однажды исключила меня из союза рабземлеса за то, что я назвал членские взносы налогом в пользу служащих профессиональных союзов. Но, однако, членом союза я остался — иначе и быть не могло! Ремесленной управе невыгодно лишаться плательщика налога, а об остальном постаралось мое начальство — без меня ему бы делать нечего было!

Бормотов хлебнул пивца для голоса, оглядел подведомственное собрание и спросил:

— А? Не слышу?

Собрание молчало, истребляя корм.

— Ваня! — обратился Бормотов к человеку, мешавшему пиво с водкой. Ваня! Закрой, дружок, форточку! Время еще раннее, всякий

народ мимо шляется... Так вот, я и говорю, что такое губком? А я вам скажу: секретарь — это архиерей, а губком — епархия! Верно ведь? И епархия мудрая и серьезная, потому что религия пошла новая и посерьезней православной. Теперь на собрание — ко всеобщей — попробуй не сходи! Давайте, скажут, ваш билетик, мы отметочку там сделаем! Отметочки четыре будет, тебя в язычники зачислят. А язычник у нас хлеба не найдет! Так-то! А я про себя скажу: кто в епархии делопроизводство поставил? Я! Кто контрольную палату — РКИ, скажем, или казначейство — губфо наше — на ноги поставил и людей там делом занял? Кто? А кто всякие карточки, НОТы и прочую антисанитарию истребил в канцеляриях? Ну, кто?..

— Без Бормотова, друзья, — сказал Степан Ермилович со слезами на глазах, — не было бы в Градове учреждений и канцелярий, не уцелела бы советская власть и не сохранилось бы деловой родственности от старого времени, без чего нельзя нам жить! Я первый, кто сел за стол и взял казенную вставочку, не сказав ни одной речи.

Бормотов умиленно подождал и закончил веско:

— Вот, милые мои, где держится центр власти и милость разума! Мне бы царем быть на всемирной территории, а не заведовать охраной материнства и младенчества своих машинисток или опекать лень деловодов!..

Тут Бормотов захлестнулся своими словами и сел, уставившись в пищу на столе. Собрание шумело одобрением и питалось колбасой, сдерживая ею стихию благородных чувств. Водка расходовалась медленно и планомерно, в круговую и в общем порядке, оттого и настроение участников ползло вверх не скачками, а прочно, по гармонической кривой, как на диаграмме.

Наконец встал счетовод Пехов и спел, поверх разговоров, песнь о диком кургане. Счетоводство — нация артистов, и нет ни одного счетовода или бухгалтера, который бы не смотрел на свою профессию как на временное и бросовое дело, почитая своим исконным призванием искусство — пение, а изредка — скрипку или гитару. Менее благородный инструмент счетоводы не терпели.

За Пеховым, так же молча и без предупреждения, встал бухгалтер Десущий и пропел какой-то отрывок из какой-то оперы, какой — никто не понял. Десущий славился своей корректностью и

культурностью в областях искусства и полным запустением своих бухгалтерских дел.

Наконец, приподнялся и постучал вилкой о необходимости молчания заведующий подотделом землеустройства Рванников.

— Любимые братья в революции! — начал раздобревший от горькой Рванников. — Что привело вас сюда, не щадя ночи? Что собрало нас, не сожалея симпатий? Он — Степан Ермилович Бормотов — слава и административный мозг нашего учреждения, революционный наставник порядка и государственности великой неземлеустроенной территории нашей губернии!

И пусть он не кивает там мудрой головой, а пьет рябиновую златыми устами, если я скажу, что нет ему равных среди людского остальца после революции! Вот действительно человек дореволюционного качества!

Граждане советские служащие! — проревел в заключение Рванников. Приглашаю вас выпить за двадцатипятилетие Степана Ермиловича Бормотова, истинного зиждителя территории нашей губернии, еще подлежащей быть устроенной такими людьми, как наш славный и премудрый юбиляр!..

Все вскочили с места и пошли с рюмками к Бормотову.

Плача и торжествуя, Бормотов всех перецеловал — этого момента он только и ждал весь вечер, сладко томя честолубие.

Тогда не выдержал Шмаков и, встав на стул, произнес животрепещущую речь — длинную цитату из своих «Записок государственного человека»:

— Граждане! Разрешите поговорить на злобу дня!

— Разрешаем! — сказало коллективно собрание. — Говори, Шмаков! Только режь экономию: кратко и не голословно, а по кровному существу!

— Граждане, — обнаглел Шмаков, — сейчас идет так называемая война с бюрократами. А кто такой Степан Ермилович Бормотов? Бюрократ или нет? Бюрократ положительно! И да будет то ему в честь, а не в хулу или осуждение! Без бюрократии, уважаемые ратники государства, не удержаться бы Советскому государству и часа — к этому я дошел долгою мыслью... Кроме того... (Шмаков начал путаться, голова его сразу вся выпотрошилась — куда что девалось?) Кроме того, дорогие соратники...

— Мы не ратники, — прогудел кто-то, — мы рыцари!

— Рыцари умственного поля! — схватил лозунг Шмаков. — Я вам сейчас открою тайну нашего века!

— Ну-ну! — одобрило собрание. — Открой его, черта!

— А вот сейчас, — обрадовался Шмаков. — Кто мы такие? Мы за-ме-сти-те-ли пролетариев! Стало быть, к примеру, я есть заместитель революционера и хозяина! Чувствуете мудрость? Все замещено! Все стало подложным! Все не настоящее, а суррогат! Были сливки, а стал маргарин: вкусен, а не питателен! Чувствуете, граждане?.. Поэтому-то так называемый, всеми злоумышленниками и глупцами поносимый бюрократ есть как раз зодчий грядущего членораздельного социалистического мира.

Шмаков сел и достойно выпил пива — среднего непорочного напитка; высшей крепости он не пил.

Но тут встал Обрубаев... Его заело; он озлобился и приготовился быть на посту. Пост его был видный — кандидат ВКП; но такое состояние Обрубаева службе не помогало, он был и остался делопроизводителем с окладом в двадцать восемь рублей ежемесячно, по шестому разряду тарифной сетки при соотношении 1:8.

— Уважаемые товарищи и сослуживцы! — сказал Обрубаев, доев что-то. Я не понимаю ни товарища Бормотова, ни товарища Шмакова! Каким образом это допустимо! Налицо определенная директива ЦКК — борьба с бюрократизмом. Налицо — наименования советских учреждений девятилетней давности. А тут говорят, что бюрократ — как его? — зодчий и вроде кормилец. Тут говорят, что губком — епархия, что губпрофсовет — ремесленная управа и так далее. Что это такое? Это перегиб палки, констатирую я. Это затмение основной директивы по линии партии, данной всерьез и надолго. И вообще в целом я высказываю свое особое мнение по затронутым предыдущими ораторами вопросам, а также осуждаю товарищей Шмакова и Бормотова. Я кончил.

— Закон-с, товарищ Обрубаев! — сказал тихо, вразумляюще, но сочувственно Бормотов. — Закон-с! Уничтожьте бюрократизм — станет беззаконие! Бюрократизм есть исполнение предписаний закона. Ничего не поделаешь, товарищ Обрубаев, закон-с!

— А если я губкому сообщу, товарищ Бормотов, или в РКИ? — мрачно сказал Обрубаев, закуривая для демонстрации папиросу

«Пушку».

— А где у вас документики, товарищ Обрубаев? — спросил Бормотов. Разве кто вел протокол настоящего собрания? Вы ведь, Соня, ничего не записывали? — обратился Бормотов к единственной здесь машинистке, особо чтимой в земуправлении.

— Нет, Степан Ермилыч, — я не записывала; вы ничего не сказали мне, а то бы я записала, — ответила хмельная, блаженная Соня.

— Вот-с, товарищ Обрубаев, — мудро и спокойно улыбнулся Бормотов. Нет документа, и нет, стало быть, самого факта! А вы говорите — борьба с бюрократизмом! А был бы протокольчик, вы бы нас укатали в какую-нибудь гепею или рекаю! Закон-с, товарищ Обрубаев, закон-с!

— А живые свидетели! — воскликнул зачумленный Обрубаев.

— Свидетели пьяные, товарищ Обрубаев. Во-первых, а во-вторых, они, так сказать, масса, существа наших разногласий не поняли и понять не могли, и дело мое наверняка пойдет к прекращению. А в-третьих, товарищ Обрубаев, выносит ли дисциплинированный партиец внутрипартийные разногласия на обсуждение широкой массы, к тому же мелкобуржуазной, — попытаю я вас? А?! Выпьем, товарищ Обрубаев, там видно будет... Соня, ты не спишь там? Угощай товарища Обрубаева, займись чистописанием... Десущий, крикни что-нибудь подушевной.

Десущий сладко запел, круто выводя густые ноты странной песни, в которой говорилось о страдальце, жаждущем только арфы золотой. Затем делопроизводитель Мышаев взял балалайку: я, говорит, хоть и кустарь в искусстве, но побрякаю! И он быстро залепетал пальцами, выбивая лихой такт веселящегося тела.

Бормотов прикинулся благодушным человеком, сощурил противоречивые утомленные глаза и, истощенный повседневной дипломатической работой, вдарился бессмысленно плясать, насилуя свои мученические ноги и веселя равнодушное сердце.

Шмакову стало жаль его, жаль тружеников на ниве всемирной государственности, и он заплакал навзрыд, уткнувшись во что-то соленое.

А утром Градов горел; сгорели пять домов и одна пекарня. Загорелось, как говорят, с пекарни, но пекарь уверял, что он окурки всегда бросает в тесто, а не на пол, тесто же не горит, а шипит и гасит огонь. Жители поверили, и пекарь остался печь хлеба.

Далее жизнь шла в общем порядке и согласно постановлениям Градовского губисполкома, которые испуганно изучались гражданами. В отрывных календарях граждане метили свои непрерывные обязанности. Со сладостью в душе установил это Шмаков в бытность на именинах у одного столоначальника, по прозвищу Чалый. В листках календаря значилось что-нибудь почти ежедневно, а именно:

«Явиться на переучет в терокруг — моя буква Ч, подать на службе рапорт о неявке по законной причине».

«В 7 часов перевыборы горсовета — кандидат Махин, выдвинут ячейкой, голосовать единогласно».

«Сходить в ком. отд. — отнести деньги за воду, последний срок, а то пеня»...

«Подать сведения горсанкомиссии о состоянии двора, — штраф, см. постановление ГИК».

«Собрание жилтоварищества о забронировании сарая под нужник».

«Протестовать против Чемберлена, — в случае чего стать, как один, под ружье».

«Зайти вечером постоять в красном уголке, а то сочтут отступником».

«Именины супруги сочетать с режимом экономии и производственным эффектом. Пригласить наш малый совнарком».

«Узнать у Марфы Ильиничны, как варить малиновый узвар».

«Справиться в загсе, как переменить прозвище Чалый на официальную фамилию Благовещенский, а также имя Фрол на Теодор».

«Переморить клопов и проверить лицевой счет жены».

«Суббота — открыто заявить столоначальнику, что иду ко всеобщей, в бога не верю, а хожу из-за хора, а была бы у нас приличная опера, ни за что не пошел бы».

«Попросить у сослуживцев лампадного масла. Нигде нет, и все вышло. Будто для смазки будильника».

«Отложить 366-ю бутылку для вишневой настойки. Этот год високосный».

«Сушить сухари впрок — весной будет с кем-то война».

«Не забыть составить 25-летний перспективный план народного хозяйства — осталось 2 дня». Каждый день был занят.

Не в первый раз и не во второй, а в более многократный констатировал Шмаков то знаменательное явление, что времени у человека для так называемой личной жизни не остается — она заменилась государственной и общепольной деятельностью. Государство стало душой. А то и надобно, в том и сокрыто благородство и величие нашей переходной эпохи!

— А как, товарищ Чалый, существует в вашей губернии точный план строительства?

— Как же-с, как же-с! В десятилетний план сто элеваторов включено: по десяти в год будем строить, затем-с двадцать штук мясохладобоев и пятнадцать фабрик валяной обуви... А сверх того водяной канал в земле до Каспийского моря рыть будем, чтобы персидским купцам повадно стало торговать с градовскими госорганами.

— Вон оно как! — дал заключение Шмаков. — Курс значительный! Ну, а денег сколько же вам потребно на эти солидные мероприятия?

— Денег надо множество, — сообщил Чалый второстепенным тоном. — Того не менее, как миллиарда три, сиречь — по триста миллионов в год.

— Ого, — сказал Шмаков, — сумма почтительная! А кто же даст вам эти деньги?

— Главное — план! — ответил Чалый. — А уж по плану деньги дадут...

— Это верно! — согласился Шмаков.

Вопрос получил надлежащее уточнение.

И жил Шмаков в Градове уже без малого год. Жизнь для него выдалась подходящая: все шло в общем порядке и по закону.

Лицо его было беззаботным, пожилым и равнодушным, как у актера в забвенной игре. Труд его жизни — «Записки государственного человека» подбивался к концу. Шмаков обдумывал лишь заключительные аккорды его.

Как и всюду по республике, над Градовом ночью солнце не светило, зато отсвечивало на чужих звездах.

Прогуливаясь для укрепления здоровья и поглядывая на них, Шмаков нашел однажды заключительный аккорд для своего труда:

«В сердце моем дышит орел, а в голове сияет звезда гармонии».

Придя домой и завершив рукописный труд, Шмаков до раннего утра сидел за ним, увлекшись чтением своего сочинения.

«...Стоит ли, — читал он середину, — измышлять изобретения, раз мир диалектичен, сиречь для всякого героя есть своя стерва. Не стоит!

И тому пример: в Градове пять лет тому назад, и двадцать лет обратно, было всего две пишущие машинки (обе системы «Ройяль», то есть король), а теперь их близко сорока штук, не обращая внимания на системы.

Но увеличился ли от этого социальный прок? — Нисколько! А именно: сидели ранее писцы за бумагой, снабженные гусиными перьями, и писали. Затупится перо или засквозится от переусердия, писец его начинает зачинивать; сам зачинивает, а сам на часы смотрит, — глядь, время уже истекло, и пора идти в собственный деревянный домик, где его ждала как-никак пища и уют порядка, высшим образом обеспеченный государственным строем.

И ничего не нарушалось от течения дел рукописным порядком. Ничто не спешило, а все поспевало.

А теперь что? Барышне попудриться не успеть, как втыкают ей новое черновое произведение...

Да и то видно, как появляется человек, так и бумага около него заводится, и не малая грудка. А что, если лишнего человека не заводить! Может, и бумаге завестись будет неоткуда?..»

Тут Иван Федотыч вздохнул и задумался.

Не пора ли ему отправиться в глухой скит, чтобы дальше не скорбеть над болящим миром? Но так будет бессовестно.

Хотя оправданием такого поступка может послужить то, что мир официально никем не учрежден и, стало быть, юридически не

существует. А если бы и был учрежден и имел устав и удостоверение, то и этим документам верить нельзя, так как они выдаются на основании заявления, а заявление подписывается «подателем сего», а какая может быть вера последнему? Кто удостоверит самого «подателя», прежде чем он подаст заявление о себе?

Почувствовав изжогу в желудке и отчаяние в сердце, Иван Федотыч сходил на кухню попить водицы и посмотреть, кто там пишит все время.

Возвратившись, он снова принялся за чтение, трепеща всеми чувствами.

«...Возьмем соподчиненный мне подотдел. Что там есть?

Я за ошибки подчиненных не упрекаю, а лишь вывожу из них следствие, что, значит, дело идет. А когда мне заявили, что построенные под моим руководством вододержательные плотины почти все вровень с землей уничтожены, я ответил, что постройка их, следовательно, велась.

А никакая земля воды не держит, тому доказательство — явление оврагов...»

После этого Шмаков успокоился и уснул с легким сердцем и удовлетворенным умом.

Но известно ли что-нибудь достоверно на свете? Оформлены ли надлежаще все факты природы? Того документально нет! Не есть ли сам закон или другое присутственное установление — нарушение живого тела вселенной, трепещущей в своих противоречиях и так достигающей всецелой гармонии?

Эта преступная мысль, собственно, разбудила Ивана Федотовича.

Оказалось, что стояло раннее счастливое утро. В Градове топились печки, разогревая вчерашний ужин на завтрак. Хозяйки шли за теплым хлебом для мужей, резак в пекарнях его резали и метрически взвешивали, мудря на граммах: никто из них не верил, что грамм лучше фунта, знали только, что он легче.

Кроме того, чувствовалось счастье, что новый день уподобится вчерашнему и оттого терзаний жизни не причинит.

Сапожник Захар, сосед Ивана Федотыча по двору, каждый день будился от сна женою одинаковыми словами:

— Захарий! Вставай, садись за свой престол!

Престол — круглый пенек, на котором сидел Захар перед верстаком. Пенек на треть стерся от сидения, и Захар много раз думал о том, что человек прочней дерева. Так оно и было.

Захарий вставал, закуривал трубку и говорил:

— Я в мире человек сверхштатный! Не живу, а присутствую, и учета мне нет... На собранья я не хожу и ничего не член!

— Ну, будя, будя тебе, Захарий, — говорила ему жена. — Будя бурчать, садись чай пить. Член! Обдумал тоже, член!

После чая Захар садился за работу, которой не вынес бы ни один зверь: столько она требовала мужества и терпения.

Шмаков постоянно латал свои сапоги у Захара, которым тот много удивлялся:

— Иван Федотыч, вашей обуше восьмой год идет, и как вы ее терпите? Когда их на фабрике сшили, с тех пор дети выросли и грамоте выучились, а многие померли из них, а сапоги все живут... Кустарник лесом стал, революция прошла, может, и звезды какие потухли, а сапоги все живут... Это непостижимо!..

Иван Федотыч ему отвечал:

— В этом и есть порядок, Захарий Палыч! Жизнь бесчинствует, а сапоги целы! В этом и находится чудо бережного разума человека.

— А по мне, — говорит Захар, — бесчинство благородней! А то на сапожном престоле так и будешь сидеть, как и я!

Иван Федотыч убеждал Захария Палыча не глядеть на жизнь такими чувствительными глазами и не скорбеть влекущей мыслью. На свете того не бывает, чем бы утешилось беспутное сердце человека. А что такое утешение, как не мещанство, опороченное Октябрьской революцией?

— Порядок — дело чинное, — говорил Захар. — Да уж дюже землю налили, Иван Федотыч! В порядок ее теперь добром не приведешь, — опустошать надо, не иначе!

По уходе Ивана Федотыча Захар Палыч втайне думал, что постная жизнь все же лучше благородного бесчинства, и удовлетворительно глядел на свой порожний двор, ландшафт которого — плетень, а житель — курица.

Через три месяца для всего государственного населения Градова настали боевые дни. Центр решил четыре губернии, как раз и Градовскую, слить в одну область.

И заспорили четыре губернских города, кому приличествует быть областным.

Особенно лютовал в этом деле Градов.

Он имел четыре тысячи советских служащих, да безработных имелось две тысячи восемьсот тридцать семь человек; только область могла поглотить этот писчий народ.

Бормотов, Шмаков, управделами ГИКа Скобкин, зампред губплана Наших и другие заметные люди Градова стали во главе бумажной войны с другими городами перед лицом Москвы.

Градовцы спешно приступили к рытью канала, начав его в лопухах слободы Моршевки из усадьбы гражданина Моева.

Канал тот учреждался для сплошного прохода в Градов персидских, месопотамских и иных коммерческих кораблей.

О канале губплан написал три тома и послал их в центр, чтобы там знали про это. Градовский инженер Паршин составил проект воздушных сообщений внутри будущей области, предусмотрев необходимость воздушной перевозки не только багажа, но и объемистых кормов для скота; для последней цели в мастерских райсельсоюза строился аэроплан сугубой мощности, с двигателем, работающим на порохе.

Сам предгубисполкома тов. Сысоев рвал, метал и внушал подчиненной ему губернии, что только Градов будет областным центром — и никакой иной населенный пункт.

Тов. Сысоев распорядился заказать штампы и вывески с наименованиями Градовского облисполкома и отдал приказ называть себя впредь предоблисполкома.

Когда никто из служащих не сбивался с области на губернию в отношениях и устных словах, тов. Сысоев повышался в добром чувстве и говорил кому попало, кто оказывался на глазах:

— Область у нас, братец! А? Почти республика! А Градов-то — почти столица европейского веса! А что такое губерния?

Контрреволюционная царская ячейка, и больше ничего!

Началась беспрецедентная война служащих. Соседние города — претенденты на областной престол — не отставали от градовцев в должном усердии.

Но Градов истреблял всех перед молчаливой Москвой. Иван Федотыч Шмаков написал на четырехстах страницах среднего формата проект администрирования проектируемой Градо-Черноземной области; за соответствующими подписями он был отослан в центр.

Бормотов Степан Ермилович подошел к делу исподволь. Он предложил учредить такой облисполком, чтобы он собирался на сессии по очереди во всех бывших губгородах и нигде не имел постоянного местопребывания и вечного здания.

Но тут была уловка: Москва на это, конечно, не согласится, но спросит, кто это изобрел. И когда станет известным, что это измышление принадлежит гражданину города Градова, Москва улыбнется, но учтет, что в Градове живут умные люди, подходящие для руководства областью.

Так раздоказал свою мысль Бормотов товарищу Сысоеву, председателю ГИК. Тот подумал и сказал:

— Да, это орудие высшего психологического увещания, но теперь нам всякое дерьмо гоже! — и подписал доклад Бормотова для следования его в Москву.

Много дел наделали градовцы, доказывая свое явное превосходство перед соседями.

Шмаков извелся и застрадал общей болью в теле, с ужасом думая о поражении Градова, но тихо заходя сердцем при мысли о Градове — областном центре.

Большую книгу стоит написать, излагая борьбу пяти губгородов. Букв в ней было бы столько, сколько лопухов в Градовской губернии [27].

Сапожник Захарий Палыч умер, не дождавшись области; сам Шмаков поник на уклоне к пожилому возрасту.

Бормотов же был уволен старшим инспектором Наркомата РКИ за волокиту и чах дома, заведя частную канцелярию по выработке форм учета деятельности госорганов; в этой канцелярии он служил один, и притом без жалованья и без охраны труда.

Наконец, через три года после начала областной войны, пришло постановление Москвы:

«Организовать Верхне-Донскую земледельческую область в составе территорий таких-то губерний. Областным городом считать Ворожеев. Окружными центрами учредить такие-то пункты. Градовгород, как не имеющий никакого промышленного значения, с населением, занятым преимущественно сельским хозяйством и службою в учреждениях, перечислить в заштатные города, учредив в нем сельсовет, переместив таковой из села Малые Вершины».

Что же случилось потом в Градове? Ничего особенного не вышло, — только дураки в расход пошли. Шмаков через год умер от истощения на большом социально-философском труде: «Принципы обезличения человека, с целью перерождения его в абсолютного гражданина с законно упорядоченными поступками на каждый миг бытия». Перед смертью он служил в сельсовете уполномоченным по грунтовым дорогам. Бормотов и жив и каждый день нарочно гуляет перед домом, где раньше помещался губисполком. Теперь на том доме висит вывеска «Градовский сельсовет».

Но Бормотов не верит глазам своим — тем самым глазам, которые некогда были носителями неуклонного государственного взора.

1927

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИТЕЛЬ

Пожилой человек любил транспорт наравне с кооперативами и перспективой будущего строительства. Утром он закусывал вчерашней мелочью и выходил наблюдать и наслаждаться. Сначала он посещал вокзал, преимущественно товарные платформы прибытия грузов, и там был рад накоплению товаров. Паровоз, сопя гущей своих мирных сил, медленно осаживал вагоны, полные общественных веществ: бутылей с серной кислотой, бугров веревок, учрежденской клади и необозначенных мешков с чем-то полезным. Пожилой человек, по имени Петр Евсеевич Веретенников, был доволен, что их город снабжается, и шел на платформу отправления посмотреть, уходят ли оттуда поезда в даль Республики, где люди работают и ожидают грузов. Поезда уходили со сжатыми рессорами, — столько везли они необходимой тяжести. Это тоже удовлетворяло Петра Евсеевича, — тамошние люди, которым назначались товары, будут обеспечены.

Невдалеке от станции строился поселок жилищ. Петр Евсеевич ежедневно следил за ростом сооружений, потому что в теплоте их кровя приютятся тысячи трудящихся семейств и в мире после их поселения станет честней и счастливей. Покидал строительство Петр Евсеевич уже растроганным человеком — от вида труда и материала. Все это заготовленное добро посредством усердия товарищеского труда вскоре обратится в прочный уют от вреда осенней и зимней погоды, чтобы самое содержание государства, в форме его населения, было цело и покойно.

На дальнейшем пути Петра Евсеевича находился небольшой, уже использованный сельской общественностью лес, лишь изредка обогащенный строевыми, хотя и ветшающими соснами. В межевой канаве того малого леса спал землемер; он был еще не старый, но изжитый, видимо, ослабевший от землеустройства человек. Рот его отворился в изнеможении сна, и жизненный тревожный воздух смоляной сосны входил в глубину тела землемера и оздоравливал его там, чтобы тело вновь было способно к землеустройству пахарей хлеба. Человек отдыхал и наполнялся счастьем попутного покоя; его

инструменты — теодолит и мерная лента — лежали в траве, их спешно обследовали муравьи и сухой паучок, проживающий от скупости всегда единолично. Петр Евсеевич нарвал травы среди ее канавного скопища, оформил ту траву в некую мякоть и подложил ее под спящую голову землеустроителя, осторожно побеспокоив его, чтоб получилось удобство. Землемер не проснулся, — он лишь простонал что-то, как жалобная сирота, и вновь опустил в сон. Но отдыхать на мягкой траве ему уже было лучше. Он глубже поспит и точнее измерит землю, — с этим чувством своего полезного участия Петр Евсеевич пошел к следующим делам.

Лес быстро прекращался, и земля из-под деревьев переходила в овражные ущербы и в еще несверстанную чересполосицу ржаных наделов. А за рожью жили простые деревни, и над ними — воздух из жуткого пространства, Петр Евсеевич считал и воздух благом, — оттуда поставлялось дыхание на всю площадь государства. Однако безветренные дни его беспокоили: крестьянам нечем молоть зерно, и над городом застаивается зараженный воздух, ухудшая санитарное условие. Но свое беспокойство Петр Евсеевич терпел не в качестве страдания, а в качестве заботливой нужды, занимающей своим смыслом всю душу и делающей поэтому неощутимой собственную тяжесть жизни. Сейчас Петр Евсеевич несколько волновался за паровоз, который с резкой задыхающейся отсечкой пара, дошедшей до напряженных чувств Петра Евсеевича, взволакивал какие-то грубые грузы на подъем. Петр Евсеевич остановился и с сочувствием помощи вообразил мучение машины, гнетущей вперед и на гору косность осадистого веса.

— Лишь бы что не лопнуло на сцепках, — прошептал Петр Евсеевич, сжимая зубы меж зудящих десен. — И лишь бы огню хватило, — ведь он там воду жжет! Пусть потерпит, теперь недалеко осталось...

Паровоз со скрежетом бандажей пробуксовывал подъем, но не сдавался влипающему в рельсы составу. Вдруг паровоз тревожно и часто загудел, прося сквозного прохода: очевидно, был закрыт семафор; машинист боялся, что, остановившись, он затем не возьмет поезд в упор подъема.

«И что это делается, господи боже мой!» — горестно поник Петр Евсеевич и энергично отправился на вокзал — рассмотреть

происшествие.

Паровоз дал три свистка, что означает остановку, а на вокзале Петр Евсеевич застал полное спокойствие. Он сел в зале третьего класса и начал мучиться. «Где же тут государство? — думал Петр Евсеевич. — Где же тут находится автоматический порядок?»

— Щепотко! — крикнул дежурный агент движения составителю поездов. — Пропускай пятьдесят первый на восьмую. Сделай механику и плавному отметку, что нас транзитом забили. Ты растаскал там цистерны?

— Так точно! — ответил Щепотко. — Больше пока ничего не принимайте, — мне ставить некуда. Надо пятьдесят первый сработать.

«Теперь мне вполне понятно, — успокоился Петр Евсеевич. — Государство тут есть, потому что здесь забота. Только надо населению сказать, чтоб оно тише существовало, иначе машины лопнут от его потребностей».

С удовлетворенным огорчением Петр Евсеевич покинул железнодорожный узел, чтобы посетить ближнюю деревню, под названием Козьма.

В той Козьме жило двадцать четыре двора. Дворы расположились по склонам действующего оврага и уже семьдесят лет терпели такое состояние. Кроме оврага, деревню мучила жажда, а от жажды люди ели плохо и не размножались как следует. В Козьме не было свежей и утоляющей воды, — имелся небольшой пруд среди деревни, внизу оврага, но у этого пруда плотина была насыпана из навоза, а вода поступала из-под жилья и с дворовых хозяйственных мест. Весь навоз и мертвые остатки человеческой жизни смывались в ложбину пруда и там отстаивались в желто-коричневый вязкий суп, который не мог служить утоляющей влагой. Во время общегражданских заболеваний, а именно холеры, тифа или урожая редкого хлеба, потому что в здешней почве было мало тучного добра, — люди в Козьме ложились на теплые печи и там кончались, следя глазами за мухами и тараканами. В старину, говорят, в Козьме было до ста дворов, но теперь нет следов прошлой густоты населения. Растительные кущи покрыли обжитые места вымороченных усадеб, и под теми кущами нет ни гари, ни плешин от кирпича или извести. Петр Евсеевич уже рылся там, — он не верил, чтобы государство могло уменьшиться, он

чувствовал размножающуюся силу порядка и социальности, он всюду наблюдал автоматический рост государственного счастья.

Крестьяне, проживающие в Козьме, уважали Петра Евсеевича за подачу им надежды и правильно полагали, что их нужду в питье должна знать вся Республика, а Петр Евсеевич в том их поддерживал.

— Питье тебе предоставят, — обещал он. — У нас же государство. Справедливость происходит автоматически, тем более питье! Что это — накожная болезнь, что ли? Это внутреннее дело, — каждому гражданину вода нужна наравне с разумом!

— Ну, еще бы! — подтверждали в Козьме. — Мы у советской власти по водяному делу на первой заметке стоим. Черед дойдет — и напьемся! Аль мы не пили сроду? Как в город поедешь, так и пьешь.

— Совершенно верно, — определял Петр Евсеевич. — Да еще и то надо добавочно оценить, что при жажде жизнь идет суше и скупее, ее от томления больше чувствуешь.

— От нее без воды деться некуда, — соглашались крестьяне. — Живешь — будто головешку из костра проглотил.

— Это так лишь мнительно кажется, — объяснил Петр Евсеевич. — Многое покажется, когда человеку есть желание пить. Солнце тоже видится тебе и нам жарой и силой, а его паром из самовара можно застать и потушить — сразу на скатерти холод настанет. Это только тебе и нам так воображается в середине ума...

Петр Евсеевич себя и государство всегда называл на «вы», а население на «ты», не сознавая, в чем тут расчет, поскольку население постоянно существует при государстве и обеспечивается им необходимой жизнью.

Обычно в Козьме Петру Евсеевичу предлагали чего-нибудь поесть — не из доброты и обилия, а из чувства безопасности. Но Петр Евсеевич никогда не кушал чужой пищи: ведь хлеб растет на душевном наделе, и лишь на одну душу, а не на две, — так что есть Петру Евсеевичу было не из чего. Солнце — оно тоже горит скупой и социально: более чем на одного трудящегося едока оно хлеба не нагревает, стало быть, вкушающих гостей в государстве быть не должно.

Среди лета деревня Козьма, как и все сельские местности, болела поносом, потому что поспевали ягоды в кустах и огородная зелень. Эти плоды доводили желудки до нервности, чему способствовала

водяная гуща из пруда. В предупреждение этого общественного страдания козьминские комсомольцы ежегодно начинали рыть колодцы, но истощались мощью непроходимых песков и ложились на землю в тоске тщетного труда.

— Как это вы все делаете без увязки? — сам удручался и комсомольцев упрекал Петр Евсеевич. — Ведь тут грунт государственный, государство вам и колодезь даст — ждите автоматически, а пока пейте дожди! Ваше дело — пахота почвы в границах надела.

Покидал Козьму Петр Евсеевич с некоторой скорбью, что нет у граждан воды, но и со счастьем ожидания, что, стало быть, сюда должны двигаться государственные силы и он их увидит на пути. Кроме того, Петр Евсеевич любил для испытания ослабить свой душевный покой посредством и организации малого сомнения. Это малое сомнение в государстве Петр Евсеевич выносил с собой из Козьмы вследствие безводия деревни. Дома Петр Евсеевич вынимал старую карту Австро-Венгрии и долгое время рассматривал ее в спокойном созерцании; ему дорога была не Австро-Венгрия, а очерченное границами живое государство, некий огороженный и защищенный смысл гражданской жизни.

Под картиной севастопольского сражения, которая украшала теплое, устойчивое жилище Петра Евсеевича, висела популярная карта единого Советского Союза. Здесь Петр Евсеевич наблюдал уже более озабоченно: его беспокоила незыблемость линии границ. Но что такое граница? Это замерший фронт живого и верного войска, за спиною которого мирно вздыхает согбенный труд.

В труде есть смирение расточаемой жизни, но зато эта истраченная жизнь скопляется в виде государства — и его надо любить нераздельной любовью, потому что именно в государстве неприкосновенно хранится жизнь живущих и погибших людей. Здания, сады и железные дороги — что это иное, как не запечатленная надолго кратковременная трудовая жизнь? Поэтому Петр Евсеевич правильно полагал, что сочувствовать надо не преходящим гражданам, но их делу, затвердевшему в образе государства. Тем более необходимо было беречь всякий труд, обратившийся в общее тело государства.

«Нет ли птиц на просе? — с волнением вспоминал Петр Евсеевич. — Поклюют молодые зернышки, чем тогда кормиться населению?»

Петр Евсеевич поспешно удалялся на просяное поле и, действительно, заставлял там питающихся птиц.

«И что же это делается, господи боже ты мой? Что ж тут цело будет, раз никакому добру покоя нет? Замучили меня эти стихии — то дожди, то жажда, то воробьи, то поезда останавливаются! Как государство-то живет против этого? А люди еще обижаются на страну: разве они граждане? Они потомки орды!»

Согнав птиц с проса, Петр Евсеевич замечал под ногами ослабевшего червя, не сумевшего уйти вслед за влагой в глубину земли.

«Этот еще тоже существует — почву ploжет! — сердился Петр Евсеевич. — Без него ведь никак в государстве не обойдешься!» — и Петр Евсеевич давил червя насмерть: пусть он теперь живет в вечности, а не в истории человечества, здесь и так тесно.

В начале ночи Петр Евсеевич возвращался на свою квартиру. Воробьи тоже теперь угомонились и жрать на просо не придут; а за ночь зернышки в колосьях более созреют и окрепнут — завтра их выклевать будет уже трудней. С этим успокоительным размышлением Петр Евсеевич подьедал крошки утреннего завтрака и преклонял голову ко сну, но заснуть никак не мог; ему начинало что-нибудь чудиться и представляться; он прислушивался — и слышал движение мышей в кооперативах, а сторожа сидят в чайных и следят за действием радио, не доверяя ему от радости; где-нибудь в редко посещаемой степи кулаки сейчас гонятся за селькором, и одинокий государственный человек падает без сил от ударов толстой силы, подобно тому, как от неуравновешенной бури замертво ложится на полях хлеб жизни.

Но память милосердна — Петр Евсеевич вспомнил, что близ Урала или в Сибири — он читал в газете — начат возведением мощный завод сложных молотилок, и на этом воспоминании Петр Евсеевич потерял сознание.

А утром мимо его окон проходили на работу старики кровельщики, нес материал на плече стекольщик, и кооперативная телега везла говядину; Петр Евсеевич сидел, как бы пригорюнившись,

но сам наслаждался тишиной государства и манерами трудящихся людей. Вон пошел в потребительскую пекарню смиренный, молчаливый старичишка Терморезов; он ежедневно покупает себе на завтрак булочку, а затем уходит трудиться в сарай Копромсоюза, где изготавливаются веревки из пеньки для нужд крестьянства.

Разутая девочка тянула за веревку козла — пастись на задних дворах: лицо козла, с бородкой и желтыми глазами, походило на дьявола, однако его допускали есть траву на территории, значит, козел был тоже важен.

«Пускай и козел будет, — думал Петр Евсеевич. — Его можно числить младшим бычком».

Дверь в жилище отворилась, и явился знакомый крестьянин — Леонид из Козьмы.

— Здравствуй, Петр Евсеевич, — сказал Леонид. — Вчерашний день тебе бы у нас обождать, а ты поспешил на квартиру...

Петр Евсеевич озадачился и почувствовал испуг.

— А что такое вышло? А? Деревня-то цела, на месте? Я видел, как один нищий окуроч бросал, не спалил ли он имущество?..

— От окурка-то деревня вполне сохранилась... А — только что ты вышел — с другого конца два воза едут, а сзади экипаж, и в нем старик. Старик говорит: «Граждане, а не нужна ли вам глубокая вода?» Мы говорим: «Нужна, только достать ее у нас мочи нет». А старик сообщает: «Ладно, я — профессор от государства и вам достану воду из материнского пласта». Старик поночевал и уехал, а два техника с инструментом остались и начали почву шупать внутрь. Теперь мы, Петр Евсеевич, считай, будем с питьем. За это я тебе корчажку молока завез: если б не ты, мы либо рыли зря, либо не пивши сидели, а ты ходил и говорил: ждите движения государства, оно все предвидит. Так и вышло. Пей, Петр Евсеевич, за это наше молоко...

Петр Евсеевич сидел в разочаровании, он опять пропустил мимо себя живое государство и не заметил его чистого первоначального действия.

— Вот, — сказал он Леониду. — Вот оно приехало и выбыло. Из сухого места воду вам добудет, вот что значит оно!

— Кто же это такое? — тихо спросил Леонид.

— Кто! — отвлеченно произнес Петр Евсеевич. — Я сам не знаю кто, я только его обожаю в своем помышлении, потому что я и ты — лишь население. Теперь я все вижу, Леонид, и замру в надежде. Пускай птицы клюют просо, пускай сторожа в кооперативе на радио глядят, а мыши кушают добро, — государство внезапно грянет и туда, а нам надо жить и терпеть.

— Это верно, Петр Евсеевич, всегда до хорошего дотерпишься, когда ничего не трогаешь.

— Вот именно, Леонид! — согласился Петр Евсеевич. — Без государства ты бы молочка от коровы не пил.

— А куда ж оно делось бы? — озаботился Леонид.

— Кто же его знает куда! Может, и трава бы не росла.

— А что ж было бы?

— Почва, Леонид, главное дело — почва! А почва ведь и есть государственная территория, а территории тогда бы и не имелось! Где ж бы твоей траве поспеть было? В неизвестном месте она не растет — ей требуется территория и землеустройство. В африканской Сахаре вон нету государства, и в Ледовитом океане нет, от этого там и не растет ничего: песок, жара да мертвые льды!

— Позор таким местам! — твердо ответил Леонид и сразу смолк, а потом добавил обыкновенным человеческим голосом: — Приходи к нам, Петр Евсеевич, без тебя нам кого-то не хватает.

— Были бы вы строгими гражданами, тогда бы вам всего хватило, — сказал Петр Евсеевич.

Леонид вспомнил, что воды в Козьме еще нет, и напился из ведра Петра Евсеевича в запас желудка.

После отъезда крестьянина Петр Евсеевич попробовал подаренного молока и пошел ходить среди города. Он щупал на ходу кирпич домов, гладил заборы, а то, что недостижимо ощущению, благодарно созерцал. Быть может, люди, что творили эти кирпичи и заборы, уже умерли от старости и от истощения труда, но зато от их тела остались кирпичи и доски — предметы, которые составляют сумму и вещество государства. Петр Евсеевич давно открыл для своей радости, что государство — полезное дело погибшего, а также живущего, но трудящегося населения; без производства государства население умирало бы бессмысленно.

В конце пути Петр Евсеевич нечаянно зашел на вокзал, — он не особо доверял железной дороге, слыша оттуда тревожные гудки паровозов. И сразу же Петр Евсеевич возмутился: в зале третьего класса один мальчик топил печку казенными дровами, несмотря на лето.

— Ты что, гадина, топливо жгешь? — спросил Петр Евсеевич.

Мальчик не обиделся, он привык к своей жизни.

— Мне велели, — сказал он. — Я за это на станции ночую.

Петр Евсеевич не мог подумать, в чем тут дело, отчего летом требуется нагрев печей. Здесь сам мальчик помог Петру Евсеевичу рассеяться от недоразумения: на станции были залежи гнилых шпал. Чтобы их не вывозить, велено было сжечь в печках помещений, а тепло выпустить в двери.

— Дай мне, дядь, копейки две! — попросил после рассказа мальчик.

Просил он со стыдом, но без уважения к Петру Евсеевичу. Для Петра же Евсеевича дело было не в двух копейках, а в месте, которое занимал этот мальчик в государстве: необходим ли он? Такая мысль уже начинала мучить Петра Евсеевича. Мальчик неохотно сообщил ему, что в деревне у него живут мать и сестры-девки, а едят одну картошку. Мать ему сказала: «Поезжай куда-нибудь, может быть, ты себе жизнь где-нибудь найдешь. Что ж ты будешь с нами страдать, — я ведь тебя люблю». Она дала сыну кусок хлеба, который заняла на хуторах, а должно быть, врет — ходила побираться. Мальчик взял хлеб, вышел на разъезд и залез в пустой вагон. С тех пор он и ездит: был в Ленинграде, в Твери, в Москве и Торжке, а теперь — тут. Нигде ему не дают работы, говоря: в нем силы мало и без него много круглых сирот.

— Что ж ты будешь делать теперь? — спрашивал его Петр Евсеевич. — Тебе надо жить и ожидать, пока государство на тебя оглянется.

— Ждать нельзя, — ответил мальчик. — Скоро зима настанет, я боюсь тогда умереть. Летом и то помирают. Я в Лихославле видел, — один в ящик с сором лег спать и там умер.

— А к матери ты не хочешь ехать?

— Нет. Там есть нечего, сестер много, — они рябые, их мужики замуж не берут.

— Что ж им своевременно оспу не привили? Ведь фельдшера на казенный счет ее прививают?

— Не знаю, — сказал мальчик равнодушно.

— Ты вот не знаешь, — раздраженно заявил Петр Евсеевич, — а вот теперь о тебе заботься! Во всем виновато твоё семейство: государство ведь бесплатно прививает оспу. Привили бы её твоим сестрам, когда нужно было, и сестры бы замужем давно были, и тебе бы место дома нашлось! А раз вы не хотите жить по государству — вот и ходите по железным дорогам. Сами вы во всем виноваты — так походи матери и скажи! Какие же я тебе две копейки после этого дам? Никогда не дам! Надо, гражданин, оспу вовремя прививать, чтоб потом не шататься по путям и не ездить бесплатно в поездах!

Мальчик молчал. Петр Евсеевич оставил его одного, не жалея больше виноватого.

Дома он нашел повестку: явиться завтрашний день на биржу труда для очередной перерегистрации, — там Петр Евсеевич состоял безработным по союзу сотворгслужащих и любил туда являться, чувствуя себя служащим государству в этом учреждении.

Ю. Н. ТЫНЯНОВ

ПОДПОРУЧИК КИЖЕ

1

Император Павел дремал у открытого окна. В послеобеденный час, когда пища медленно борется с телом, были запрещены какие-либо беспокойства. Он дремал, сидя на высоком кресле, заставленный сзади и с боков стеклянной ширмой. Павлу Петровичу снился обычный послеобеденный сон.

Он сидел в Гатчине, в своем стриженном садике, и округлый купидон в углу смотрел на него, как он обедает с семьей. Потом издали пошел скрип. Он шел по ухабам, однообразно и подпрыгивая. Павел Петрович увидел вдали треуголку, конский скок, оглобли одноколки, пыль. Он спрятался под стол, так как треуголка была — фельдъегерь. За ним скакали из Петербурга.

— *Nous sommes perdus...* [28] — закричал он хрипло жене из-под стола, чтобы она тоже спряталась.

Под столом не хватало воздуха, и скрип уже был там, одноколка оглоблями лезла на него.

Фельдъегерь заглянул под стол, нашел там Павла Петровича и сказал ему:

— Ваше величество. Ее величество матушка ваша скончалась.

Но как только Павел Петрович стал вылезать из-под стола, фельдъегерь щелкнул его по лбу и крикнул:

— Караул!

Павел Петрович отмахнулся и поймал муху.

Так он сидел, выкатив серые глаза в окно Павловского дворца, задыхаясь от пищи и тоски, с жужжащей мухой в руке, и прислушивался.

Кто-то кричал под окном «караул».

2

В канцелярии Преображенского полка военный писарь был сослан в Сибирь, по наказанию.

Новый писарь, молодой еще мальчик, сидел за столом и писал. Его рука дрожала, потому что он запоздал.

Нужно было кончить перепиской приказ по полку ровно к шести часам, для того чтобы дежурный адъютант отвез его во дворец, и там адъютант его величества, присоединив приказ к другим таким же, представил императору в девять. Опоздание было преступлением. Полковой писарь встал раньше времени, но испортил приказ и теперь делал другой список. В первом списке сделал он две ошибки: поручика Синюхаева написал умершим, так как Синюхаев шел сразу же после умершего майора Соколова, и допустил нелепое написание — вместо «Подпоручики же Стивен, Рыбин и Азанчеев назначаются» написал: «Подпоручик Киже, Стивен, Рыбин и Азанчеев назначаются». Когда он писал слово «*Подпоручики*», вошел офицер, и он вытянулся перед ним, остановясь на *к*, а потом, сев снова за приказ, напутал и написал: «*Подпоручик Киже*».

Он знал, что, если к шести часам приказ не успеет, адъютант крикнет: «взять», и его возьмут. Поэтому рука его не шла, он писал все медленнее и медленнее и вдруг брызнул большую, красивую, как фонтан, кляксу на приказ.

Оставалось всего десять минут.

Откинувшись назад, писарь посмотрел на часы, как на живого человека, потом пальцами, как бы отделенными от тела и ходившими по своей воле, он стал рыться в бумагах за чистым листом, хотя здесь чистых листов вовсе не было, а они лежали в шкапу, в большом аккурате сложенные в стопку.

Но так, уже в отчаянии и только для последнего приличия перед самим собою роясь, он вторично остолбенел.

Другая, не менее важная бумага была написана тоже неправильно.

Согласно императорского предложения за № 940 о неупотреблении слов в донесениях, следовало не употреблять слова «обозреть», но *осмотреть*, не употреблять слова «выполнять», но *исполнить*, не писать «стража», но *караул*, и ни в коем случае не писать «отряд», но *деташемент*.

Для гражданских установлений было еще прибавлено, чтобы не писать «степень», но *класс*, и не «общество», но *собрание*, а вместо «гражданин» употреблять: *купец* или *мещанин*.

Но это уже было написано мелким почерком, внизу распоряжения № 940, висящего тут же на стене, перед глазами писаря, и, этого он не читал, но о словах «обозреть» и прочая он выучил в первый же день и хорошо помнил.

В бумаге же, приготовленной для подписания командиру полка и направляемой барону Аракчееву, было написано:

Обозрев, по поручению вашего превосходительства, *отряды стражи*, собственно для несения пригородной при Санктпетербурге и выездной служб назначенные, донести честь имею, что все сие *выполнено...*

И это еще не все.

Первая строка им же самим давеча переписанного донесения изображена была:

Ваше превосходительство Милостивый Государь.

Для малого ребенка уже было небезызвестно, что обращение, в одну строку написанное, означало приказание, а в донесениях лица подчиненного, и в особенности такому лицу, как барон Аракчеев, можно было писать только в двух строках:

*Ваше Превосходительство
Милостивый Государь,*

что означало подчинение и вежливость.

И если за *обозреви* прочая могло быть ему поставлено в вину, что он не заметил и вовремя не обратил внимание, то с *Милостивым Государем* напутал при переписке именно он сам.

И, уж более не сознавая, что делает, писарь сел исправить эту бумагу. Переписывая ее, он мгновенно забыл о приказе, хотя тот был много спешнее.

Когда же от адъютанта прибыл за приказом вестовой, писарь посмотрел на часы и на вестового и вдруг протянул ему лист с умершим поручиком Синюхаевым.

Потом сел и, все еще дрожа, писал: *превосходительства, деташементы караула.*

Ровно в девять часов прозвонил во дворце колокольчик, император дернул за шнурок. Адъютант его величества ровно в девять часов вошел с докладом к Павлу Петровичу. Павел Петрович сидел во вчерашнем положении, у окна, заставленный стеклянной ширмой.

Между тем он не спал, не дремал, и выражение его лица было также другое.

Адъютант знал, как и все во дворце, что император гневен. Но он равным образом знал, что гнев ищет причин и чем более их находит, тем более воспламеняется. Итак, доклад ни в коем случае не мог быть пропущен.

Он вытянулся перед стеклянной ширмой и императорской спиной и отрапортовал.

Павел Петрович не повернулся к адъютанту. Он тяжело и редко дышал.

Весь вчерашний день не могли доискаться, кто кричал под его окном «караул», и ночью он два раза просыпался в тоске.

«Караул» был крик нелепый, и вначале у Павла Петровича был гнев небольшой, как у всякого, кто видит дурной сон и которому помешали досмотреть его до конца. Потому что благополучный конец сна все же означает благополучие. Потом было любопытство: кто и зачем кричал «караул» у самого окна. Но когда во всем дворце, метавшемся в большом страхе, не могли сыскать того человека, гнев стал большой. Дело оборачивалось так: в самом дворце, в послеобеденное время, человек мог причинить беспокойство и остаться неразысканным. Притом же никто не мог знать, с какой целью было крикнуто: «караул». Может быть, это было предостережение раскаявшегося злоумыслителя. Или, может быть,

там, в кустах, уже трижды обысканных, сунули человеку глухой кляп в плотку и удушили его. Он точно провалился сквозь землю.

Надлежало... Но что надлежало, если тот человек не разыскан.

Надлежало увеличить караулы. И не только здесь.

Павел Петрович, не оборачиваясь, смотрел на четырехугольные зеленые кусты, такие же почти, как в Трианоне. Они были стриженные. И, однако же, неизвестно, кто в них был.

И, не глядя на адъютанта, он закинул назад правую руку. Адъютант знал, что это означает: во времена большого гнева император не оборачивается. Он ловко всунул в руку приказ по гвардии Преображенскому полку, и Павел Петрович стал внимательно читать. Потом рука опять откинулась назад, и адъютант, изловчившись, без шума поднял перо с рабочего столика, обмакнул в чернильницу, стряхнул и легко положил на руку, замарав себя чернилами. Все у него заняло мгновение. Вскоре подписанный лист полетел в адъютанта. Так адъютант стал подавать листы, и подписанные или просто читанные листы летели один за другим в адъютанта. Он стал уже привыкать к этому делу и надеялся, что так сойдет, когда император соскочил с возвышенного кресла.

Маленькими шагами он подбежал к адъютанту. Лицо его было красно, и глаза темны.

Он приблизился вплотную и понюхал адъютанта. Так делал император, когда бывал подозрителен. Потом он двумя пальцами крепко ухватил адъютанта за рукав и ущипнул.

Адъютант стоял прямо и держал в руке листы.

— Службы не знаешь, сударь, — сипло сказал Павел, — сзади заходишь.

Он щипнул его еще разок.

— Потемкинский дух вышибу, ступай.

И адъютант задом удалился в дверь.

Как только дверь неслышно затворилась, Павел Петрович быстро размотал шейный платок и стал тихонько раздирать на груди рубашку, рот его перекосялся и губы задрожали.

Начинался *великий гнев*.

Приказ по гвардии Преображенскому полку, подписанный императором, был им сердито исправлен. Слова: *Подпоручик Киже, Стивен, Рыбин и Азанчеев назначаются* император исправил: после первого *к* поставил преогромный *ер*, несколько следующих букв похерил и сверху надписал: *Подпоручик Киже в караул*. Остальное не встретило возражений. Приказ был передан.

Когда командир его получил, он долго вспоминал, кто таков подпоручик со странной фамилией Киже. Он тотчас взял список всех офицеров Преображенского полка, но офицер с такой фамилией не значился. Не было его даже и в рядовых списках. Непонятно, что это было такое. Во всем мире понимал это верно один писарь, но его никто не спросил, а он никому не сказал. Однако же приказ императора должен был быть исполнен. И все же он не мог быть исполнен, потому что нигде в полку не было подпоручика Киже.

Командир подумал, не обратиться ли к барону Аракчееву. Но тотчас махнул рукой. Барон Аракчеев проживал в Гатчине, да и исход был сомнителен.

А как всегда в беде было принято бросаться к родне, то командир быстро счелся родней с адъютантом его величества Саблуковым и поскакал в Павловское.

В Павловском было большое смятение, и адъютант сначала вовсе не хотел принять командира.

Потом он брезгливо выслушал его и уже хотел сказать ему черта, и без того дел довольно, как вдруг насупился, метнул взгляд на командира, и взгляд этот внезапно изменился: он стал азартным.

Адъютант медленно сказал:

— Императору не доносить. Считать подпоручика Киже в живых. Назначить в караул.

Не глядя на обмякшего командира, он бросил его на произвол судьб, подтянулся и зашагал прочь.

Поручик Синюхаев был захудалый поручик. Отец его был лекарь при бароне Аракчееве, и барон, в награждение за пилюли, восстановившие его силы, тишком сунул лекарского сына в полк.

Прямолинейный и неумный вид сына понравился барону. В полку он ни с кем не был на короткой ноге, но и не бегал от товарищей. Он был неразговорчив, любил табак, не махался с женщинами и, что было не вовсе бравым офицерским делом, с удовольствием играл на «гобое любви».

Амуниция его была всегда начищена.

Когда читался приказ по полку, Синюхаев стоял и, как обычно, вытянувшись в струнку, ни о чем не думал.

Внезапно он услышал свое имя и дрогнул ушами, как то случается с задумавшимися лошадьми от неожиданного кнута.

«Поручика Синюхаева, как умершего горячкою, считать по службе выбывшим».

Тут случилось, что командир, читавший приказ, невольно посмотрел на то место, где всегда стоял Синюхаев, и рука его с бумажным листом опустилась.

Синюхаев стоял, как всегда, на своем месте. Однако вскоре командир снова стал читать приказ — правда, уже не столь отчетливо, — прочел о Стивене, Азанчеве, Киже и дочитал до конца. Начался развод, и Синюхаеву должно было вместе со всеми двигаться в фигурных упражнениях. Но вместо того он остался стоять.

Он привык внимать словам приказов как особым словам, не похожим на человеческую речь. Они имели не смысл, не значение, а собственную жизнь и власть. Дело было не в том, исполнен приказ или не исполнен. Приказ как-то изменял полки, улицы и людей, если даже его и не исполняли.

Когда он услышал слова приказа, он сначала остался стоять на месте, как недослышавший человек. Он тянулся за словами. Потом перестал сомневаться. Это о нем читали. И, когда двинулась его колонна, он начал сомневаться, жив ли он.

Ощущая руку, лежащую на эфесе, некоторое стеснение от туго стянутых портупейных ремней, тяжесть сегодня утром насаленной косы, он как будто и был жив, но вместе с тем он знал, что здесь что-то неладно, что-то непоправимо испорчено. Он ни разу не подумал, что в приказе ошибка. Напротив, ему показалось, что он по ошибке, по оплошности жив. По небрежности он чего-то не заметил и не сообщил никому.

Во всяком случае он портил все фигуры развода, стоя столбиком на площади. Он даже не подумал шелохнуться.

Как только кончился развод, командир налетел на поручика. Он был красен. Было настоящим счастьем, что на разводе не было по случаю жаркого времени императора, отдохавшего в Павловском. Командир хотел рявкнуть: на гауптвахту, — но для исхода гнева нужен был более раскатистый звук, и он уже хотел пустить на *pp*: под арест, — как вдруг рот его замкнулся, словно командир случайно поймал им муху. И так он стоял перед поручиком Синюхаевым минуты две.

Потом, отшатнувшись, как от зачумленного, он пошел своим путем.

Он вспомнил, что поручик Синюхаев, как умерший, отчислен от службы, и сдержался, потому что не знал, как говорить с таким человеком.

6

Павел Петрович ходил по своей комнате и изредка останавливался.

Он прислушивался.

С тех пор как император в пыльных сапогах и дорожном плаще прогремел шпорами по зале, в которой еще хрипела его мать, и хлопнул дверью, было наблюденно: большой гнев становился великим гневом, великий гнев кончался через дня два страхом и умилением.

Химеры по лестницам делал в Павловском дикий Бренна, а плафоны и стены дворца делал Камерон, любитель нежных красок, которые мрут на глазах у всех. С одной стороны — разинутые пасти вздыбленных и человекообразных львов, с другой — изящное чувство.

Кроме того, в дворцовом зале висели два фонаря, подарок незадолго перед тем обезглавленного Людовика XVI. Этот подарок получил он во Франции, когда еще странствовал под именем графа Северного.

Фонари были высокой работы: стенки были таковы, что смягчали свет.

Но Павел Петрович избегал зажигать их.

Также часы, подарок Марии-Антуанетты, стояли на яшмовом столе. Часовая стрелка была золотым Сатурном с длинной косой, а минутная — амуром со стрелою.

Когда часы били полдень и полночь, Сатурн заслонял косой стрелу амура. Это значило, что время побеждает любовь.

Как бы то ни было, часы не заводились.

Итак, в саду был Бренна, по стенам Камерон, а над головой в подпотолочной пустоте качался фонарь Людовика XVI.

Во время великого гнева Павел Петрович приобретал даже некоторое наружное сходство с одним из львов Бренны.

Тогда, как с неба при ясной погоде, рушились палки на целые полки, темною ночью при свете факелов рубили кому-то голову на Дону, маршировали пешком в Сибирь случайные солдаты, писаря, поручики, генералы и генерал-губернаторы.

Похитительница престола, его мать, была мертва. Потемкинский дух он вышиб, как некогда Иван Четвертый вышиб боярский. Он разметал потемкинские кости и сровнял его могилу. Он уничтожил самый вкус матери. Вкус похитительницы! Золото, комнаты, выложенные индийским шелком, комнаты, выложенные китайской посудой, с голландскими печами, и комната из синего стекла — табакерка. Балаган! Римские и греческие медали, которыми она хвасталась! Он велел употребить их на позолоту своего замка.

И все же дух остался, привкус остался.

Им пахло кругом, и поэтому, может быть, Павел Петрович имел привычку принохиваться к собеседникам.

А над головой качался французский висельник, фонарь.

И наступал страх. Императору не хватало воздуха. Он не боялся ни жены, ни старших сыновей, из которых каждый, вспомнив пример веселой бабушки и свекрови, мог его заколоть вилкою и сесть на престол.

Он не боялся подозрительно веселых министров и подозрительно мрачных генералов. Он не боялся никого и той пятидесятиmillionной черни, которая сидела по кочкам, болотам, пескам и полям его империи и которую он никак не мог себе представить. Он не боялся их, взятых в отдельности. Вместе же это было море, и он тонул в нем.

И он приказал окопать свой петербургский замок рвами и форпостами и вздернуть на цепи подъемный мост. Но и цепи были неверны — их охраняли часовые.

И когда великий гнев становился великим страхом, начинала работать канцелярия криминальных дел, и кого-то подвешивали за руки, и под кем-то проваливался пол, а внизу его ждали заплечные мастера.

Поэтому, когда из императорской комнаты слышались то маленькие, то растянутые, внезапно спотыкливые шаги, все переглядывались с тоской и редко кто улыбался.

В комнате великий страх.

Император бродит.

Поручик Синюхаев стоял на том самом месте, где налетел на него распекателем, и не распек, и так внезапно остановился командир.

Вокруг него никого не было.

Обычно после развода он расправлялся, сбавлял выправку, руки размякали, и он шел в казармы вольно. Каждый член становился вольным: он становился партикулярным.

Дома, в офицерской казарме, поручик расстегивал сюртук и играл на «гобое любви». Потом набивал трубку и смотрел в окно. Он видел большой кус вырубленного сада, где теперь была пустыня, называемая Царицыным лугом. На поле не было никакого разнообразия, никакой зелени, но на песке сохранились следы коней и солдат. Куренье нравилось ему всеми статьями: набивкой, придавкой, затяжкой и дымом. С куреньем человек никогда не пропадет. Этого было достаточно, так как вскоре наступал вечер и он уходил к приятелям или просто погулять.

Он любил вежливость простонародья. Однажды мещанин сказал ему, когда он чихнул: «Спица в нос невелика — с перст».

Перед сном он садился играть со своим денщиком в карты. Он выучил денщика в контру и в памфил, и когда денщик проигрывал, поручик хлопал его колодой по носу, а когда он сам проигрывал, то не

хлопал денщика. Наконец он осматривал начищенную денщиком амуницию, сам завивал, заплетал и салил косу и ложился спать.

Но теперь он не расправился, мышцы его были надуты, и дыханья было не слышно у поручиковых губ. Он стал рассматривать разводную площадь, и она оказалась незнакомой ему. По крайней мере, он никогда не замечал раньше карнизов на окнах красного казенного здания и мутных стекол.

Круглые бульжники мостовой были не похожи один на другой, как разные братья.

В большом порядке, в сером аккурате, лежал солдатский С.-Петербург с пустынями, реками и мутными глазами мостовой, вовсе ему незнакомый город.

Тогда он понял, что умер.

8

Павел Петрович слышал шаги адъютанта, кошкой прокрался к креслам, стоявшим за стеклянную ширмой, и сел так твердо, как будто сидел все время.

Он знал шаги приближенных. Сидя задом к ним, он различал шарканье уверенных, подпрыгиванье льстивых и легкие, воздушные шаги уstraшенных. Прямых шагов он не слышал.

На этот раз адъютант шел уверенно, он подшаркивал. Павел Петрович полуобернул голову.

Адъютант зашел до середины ширм и склонил голову.

— Ваше величество. Караул кричал подпоручик Киже.

— Кто таков?

Страх становился легче, он получал фамилию.

Этот вопроса адъютант не ждал и слегка отступил.

— Подпоручик, который назначен в караульную службу, ваше величество.

— Для чего кричал? — император притопнул ногой. — Слушаю, сударь.

Адъютант помолчал.

— По неразумию, — лепетнул он.

— Произвести дознание и, бив плетью, пешком в Сибирь.

Так началась жизнь подпоручика Киже.

Когда писарь переписывал приказ, подпоручик Киже был ошибкой, опиской, не более. Ее могли не заметить, и она потонула бы в море бумаг, а так как приказ был ничем не любопытен, то вряд ли позднейшие историки даже стали бы ее воспроизводить.

Придирчивый глаз Павла Петровича ее извлек и твердым знаком дал ей сомнительную жизнь — описка стала подпоручиком, без лица, но с фамилией.

Потом в прерывистых мыслях адъютанта у него наметилось лицо, правда — едва брезжащее, как во сне. Это он крикнул «караул» под дворцовым окном.

Теперь это лицо отвердело и вытянулось: подпоручик Киже оказался злоумышленником, который был осужден на дыбу или, в лучшем случае, кобылу — и Сибирь.

Это была действительность.

До сих пор он был беспокойством писаря, растерянностью командира и находчивостью адъютанта.

Отныне кобыла, плети и путешествие в Сибирь были его собственным, личным делом.

Приказ должен быть выполнен. Подпоручик Киже должен был выйти из военной инстанции, перейти в юстицкую инстанцию, а оттуда пойти по зеленой дороге прямо в Сибирь.

И так сделалось.

В том полку, где он числился, командир таким громовым голосом, который бывает только у совсем потерянного человека, выкликнул перед строем имя подпоручика Киже.

В стороне уже стояла наготове кобыла, и двое гвардейцев захлестнули ее ремнями в головах и по ногам. Двое гвардейцев, с обеих сторон, хлестали семихвостками по гладкому дереву, третий считал, а полк смотрел.

Так как дерево было отполировано уже ранее тысячами животов, то кобыла казалась не вовсе пустою. Хотя на ней никого не было, а все же как будто кто-то и был. Солдаты, нахмуря брови, смотрели на

молчаливую кобылу, а командир к концу экзекуции покраснел, и его ноздри раздулись, как всегда.

Потом ремни расхлестнули, и чьи-то плечи как будто освободились на кобыле. Двое гвардейцев подошли к ней и подождали команды.

Они пошли по улице, удаляясь от полка ровным шагом, ружья на плечо, и изредка посматривали косвенным взглядом, не друг на друга, но на место, заключенное между ними.

В строю стоял молодой солдат, его недавно забрили. Он смотрел на экзекуцию с интересом. Он думал, то все происходящее — дело обыкновенное и часто совершается на военной службе.

Но вечером он вдруг заворочался на нарах и тихонько спросил у старого гвардейца, лежащего рядом:

— Дяденька, а кто у нас императором?

— Павел Петрович, дура, — ответил испуганно старик.

— А ты его видал?

— Видел, — буркнул старик, — и ты увидишь.

Они замолчали. Но старый солдат не мог заснуть. Он ворочался. Прошло минут десять.

— А ты почто спрашиваешь? — вдруг спросил старик у молодого.

— А я не знаю, — охотно ответил молодой, — говорят, говорят: император, а кто такой — неизвестно. Может, только говорят...

— Дура, — сказал старик и покосился по сторонам, — молчи, дура деревенская.

Прошло еще минут десять. В казарме было темно и тихо.

— Он есть, — сказал вдруг старик на ухо молодому, — только он подмененный.

Поручик Синюхаев внимательно посмотрел на комнату, в которой жил до сего дня.

Комната была просторная, с низкими потолками, с портретом человека средних лет, в очках и при небольшой косичке. Это был отец поручика, лекарь Синюхаев.

Он жил в Гатчине, но поручик, глядя на портрет, не чувствовал особой уверенности в этом. Может быть, живет, а может, и нет.

Потом он посмотрел на вещи, принадлежавшие поручику Синюхаеву: «гобой любви» в деревянном ларчике, щипцы для завивки, баночку с пудрой, песочницу, и эти вещи посмотрели на него. Он отвел от них взгляд.

Так он стоял посреди комнаты и ждал чего-то. Вряд ли он ждал денщика.

Между тем именно денщик осторожно вошел в комнату и остановился перед поручиком. Он слегка раскрыл рот и, смотря на поручика, стоял.

Вероятно, он всегда так стоял, ожидая приказаний, но поручик посмотрел на него, словно видел его в первый раз, и потупился.

Смерть следовало скрывать временно, как преступление. К вечеру вошел к нему в комнату молодой человек, сел за стол, на котором стоял ларчик с «гобоем любви», вынул его из ларчика, подул в него и, не добившись звука, сложил в угол.

Затем, кликнув денщика, сказал подать пенника. Ни разу он не посмотрел на поручика Синюхаева.

Поручик же спросил стесненным голосом:

— Кто таков?

Молодой человек, пьющий его пенник, отвечал, зевнув:

— Юнкерской школы при Сенате аудитор, — и приказал денщику постилать постель. Потом он стал раздеваться, и поручик Синюхаев долго смотрел, как ловко аудитор стаскивает штиблеты и сталкивает их со стуком, расстегивается, потом укрывается одеялом и зевает. Потянувшись наконец, молодой человек вдруг посмотрел на руку поручика Синюхаева и вытащил у него из обшлага рукава полотняный платочек. Прочистив нос, он снова зевнул.

Тогда наконец поручик Синюхаев нашелся и вяло сказал, что сие против правил.

Аудитор равнодушно возразил, что, напротив, все по правилам, что он действует по части второй, как бывший Синюхаев — «яко же умре», и чтоб поручик снял свой мундир, который кажется аудитору еще довольно приличным, а сам чтоб надел мундир, негодный для носки.

Поручик Синюхаев стал снимать мундир, а аудитор ему помог, объясняя, что сам бывший Синюхаев может это сделать «не так».

Потом бывший Синюхаев надел мундир, не годный для носки, и постоял, опасаясь, как бы аудитор перчаток не взял. У него были длинные желтые перчатки, с угловатыми пальцами, форменные. Перчатки потерять — к бесчестью, слышал он. В перчатках поручик, каков он ни был, все поручик. Поэтому, натянув перчатки, бывший Синюхаев повернулся и пошел прочь.

Всю ночь он пробродил по улицам С.-Петербурга, даже не пытаясь зайти никуда. Под утро он устал и сел наземь у какого-то дома. Он подремал несколько минут, затем внезапно вскочил и пошел, не глядя по сторонам.

Вскоре он вышел за черту города. Сонный торшрейбер ^[29] у шлагбаума рассеянно записал его фамилию.

Больше он не возвратился в казармы.

II

Адъютант был хитер и не сказал никому о подпоручике Кижее и своей удаче.

У него, как и у всякого, были враги. Поэтому он сказал только кой-кому, что человек, кричавший «караул», найден.

Но это произвело странное действие на женской половине дворца.

Ко дворцу с его верхними колоннами, тонкими, как пальцы, ударяющие в клавесин, построенному Камероном, были пристроены с фаса два крыла, округленные, как кошачьи лапы, когда кошка играет с мышонком. В одном крыле дествовала фрейлина Нелидова со штатом.

Часто Павел Петрович, виновато миновав стражу, отправлялся на это крыло, а однажды часовые видели, как император быстро выбежал оттуда, со съехавшим набок париком, и вдогонку над его головой пролетела женская туфля.

Хотя Нелидова была только фрейлиной, у нее самой были фрейлины.

И вот, когда до женского крыла дошло, что кричавший «караул» найден, одна из фрейлин Нелидовой упала в обморок.

Она была, как и Нелидова, кудрявой и тонкой, как пастушок.

При бабке Елизавете у фрейлин стучала парча, трещали шелка, и освобожденные соски испуганно появлялись из них. Такова была мода.

Амазонки, любившие мужскую одежду, бархатные морские хвосты и звезды у сосков, отошли вместе с похитительницей престола.

Теперь женщины стали пастушками с кудрявыми головами.

Итак, одна из них рухнула в краткий обморок.

Поднятая с полу своей покровительницей и пробудившись от бесчувствия, она рассказала: у нее в тот час было назначено любовное свидание с офицером.

Она не могла, однако, отлучиться из верхнего этажа и вдруг, посмотрев в окно, увидела, что распаленный офицер, позабыв осторожность, а может быть, и не зная о том, стоит у самого окна императора и посылает ей наверх знаки.

Она махнула ему рукой, сделала ужас глазами, но любовник понял это так, будто омерзел ей, и жалобно закричал: «Караул».

В тот же миг, не растерявшись, она приплюснула пальцем нос и указала вниз. После этого курносого знака офицер обомлел и скрылся.

Больше она его не видела, а по быстроте любовного случая, который произошел накануне, даже не знала его фамилии.

Теперь его обнаружили и сослали в Сибирь.

Нелидова стала думать.

Ее случай был на ущербе, и хоть она себе в этом не хотела сознаться, но ее туфля уже не могла больше летать.

С адъютантом она была холодна, и ей не хотелось обращаться к нему. Состояние императора было сомнительно. В таких случаях она обращалась теперь к одному партикулярному, но могущественному человеку, Юрию Александровичу Нелединскому-Мелецкому.

Она так и сделала и послала к нему камер-лакея с запиской.

Дюжий камер-лакей, передавая уже не впервые эти записки, всегда удивлялся мизерности могущественного человека. Мелецкий был певец и статс-секретарь. Он был певец «Быстрой реченьки» и сладострастен к пастушкам. Вид его был самый маленький, рот

сладостен, а брови мохнаты. Но он был к тому же великий хитрец и, глядя вверх на плечистого камер-лакея, сказал:

— Скажи, чтоб не было беспокойства. Пусть ждут. Все сие решится.

Но сам он немного трусил, вовсе не зная, как все это решится, и когда в дверь сунулась к нему одна из его юных пастушек, которую раньше звали Авдотьей, а теперь Селименою, он свирепо повел бровями.

Дворня Юрия Александровича состояла по большей части из юных пастушек.

12

Часовые шли и шли.

От шлагбаума к шлагбауму, от поста к крепости, они шли прямо и с опаскою посматривали на важное пространство, шедшее между ними.

Сопровождать сосланного в Сибирь им приходилось не впервой, но им еще никогда не случалось вести такого преступника. Когда они вышли за черту города, у них было сомнение. Не слышно было звука цепей и не нужно было подгонять прикладами. Но потом они подумали, что дело казенное и бумага при них. Они мало разговаривали, так как это было запрещено.

На первом посту смотритель посмотрел на них как на сумасшедших, и они смутились. Но старший показал бумагу, в которой было сказано, что арестант секретный и фигуры не имеет, и смотритель захлопотал и отвел им для ночлега особую камеру в три нары. Он избегал разговаривать с ними и так юлил, что часовые невольно почувствовали свое значение.

Ко второму — большому — посту они подошли уже уверенно, с важным молчаливым видом, и старший просто бросил бумагу на комендантский стол. И этот точно так же заюлил и захлопотал, как первый.

Понемногу они начали понимать, что сопровождают важного преступника. Они привыкли и значительно говорили между собою: «он» или «оно».

Так они зашли уже в глубь Российской империи, по той же прямой и протоптанной Владимирской дороге.

И пустое пространство, терпеливо шедшее между ними, менялось: то это был ветер, то пыль, то усталая, сбившаяся с ног жара позднего лета.

Между тем по той же Владимирской дороге шел за ними вдогонку от заставы к заставе, от крепости к крепости важный приказ.

Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий сказал: ждать, и в этом не ошибся.

Потому что великий страх Павла Петровича медленно, но верно переходил в жалость к самому себе, в умиление.

Император поворачивался спиной к звероподобным садовым кустам и, побродив в пустоте, обращался к изящному чувству Камерона.

Он согнул в бараний рог всех губернаторов и генералов матери, он запрятал их в имения, где они отсиживались. Он должен был так сделать. И что же? Вокруг образовалась большая пустота.

Он вывесил ящик для жалоб и писем перед своим замком, потому что ведь он, а не кто другой был отцом отечества. Сначала ящик пустовал, — и это его огорчало, потому что отечество должно разговаривать с отцом. Потом в ящике было найдено подметное письмо, в котором его называли: батюшка курносый, и угрожали.

Он посмотрелся тогда в зеркало.

— Курнос, сударики, точно курнос, — прохрипел он и велел ящик снять.

Он предпринял путешествие по этому странному отечеству. Он загнал в Сибирь губернатора, который осмелился положить в своей губернии для его проезда новые мосты. Путешествие было не маменькино: все должно быть так, как есть, а не принаряжено. Но отечество молчало. На Волге собрались было вокруг него мужики. Он послал парня зачерпнуть воды с середины реки, чтобы выпить чистой воды.

Он выпил эту воду и сказал сипло мужикам:

— Вот я пью вашу воду. Что глазеете?

И вокруг стало пусто.

Больше в путешествие он не ездил и вместо ящика поставил на каждом форпосте крепких часовых, но не знал, верны ли они, и не знал, кого нужно опасаться.

Кругом была измена и пустота.

Он нашел секрет, как избыть их, — и ввел точность и совершенное подчинение. Заработали канцелярии. Считалось, что себе он берет власть только исполнительную. Но как-то так случилось, что исполнительная власть путала все канцелярии, и поэтому были: сомнительная измена, пустота и лукавое подчинение. Он казался сам себе случайным пловцом, воздымающим среди ярых волн пустые руки, — некогда он видел такую гравюру.

А между тем, он был единственный после долгих лет законный самодержец.

И его тяготило желание опереться на отца, хотя бы мертвого. Он вырыл из могилы убитого вилокю немецкого недоумка, который считался его отцом, и поставил гроб рядом с гробом похитительницы престола. Но это было сделано так, более в отместку мертвой матери, при жизни которой он жил как ежеминутно приговоренный к казни.

Да и была ли она его матерью?

Он знал что-то смутное о скандале своего рождения.

Он был человек безродный, лишенный даже мертвого отца, даже мертвой матери.

Он никогда обо всем этом не думал и велел бы выстрелить из пушки человеком, который бы его заподозрил в таких мыслях.

Но в такие минуты ему бывали приятны даже малые шалости и китайские домики его Трианона. Он становился самым прямым другом природы и желал всеобщей любви или хотя бы чьей-нибудь.

Это шло припадком, и тогда грубость считалась откровенностью, глупость — прямоотой, хитрость — добротой, и денщик-турок, который ваксил его сапоги, делался графом.

Юрий Александрович всегда верхним чутьем чуял перемену.

Он выждал с неделю, а потом почувал.

Тихими, но веселыми шагами он потоптался вокруг стеклянной ширмы и вдруг рассказал императору в покрове простоты все, что

знал о подпоручике Кижее, за исключением, разумеется, подробности о курносом знаке.

Тут император захохотал таким лающим, таким собачьим, хриплым и прерывистым смехом, как будто он пугал кого-нибудь.

Юрий Александрович обеспокоился.

Он хотел оказать приятность Нелидовой, у которой был домовым приятелем, и показать мимоходом свое значение — ибо, по немецкой пословице, ходкой тогда, *imsonst ist der Tod* — даром одна смерть. Но такой хохот мог сразу вогнать Юрия Александровича во вторую роль или даже быть орудием его уничтожения.

Может быть, это сарказмы?

Но нет, император изнемог от смеха. Он протянул руку за пером, и Юрий Александрович, привстав на цыпочки, прочел вслед на императорской рукой:

Подпоручика Кижее, в Сибирь сосланного, вернуть, произвести в поручики и на той фрейлине женить.

Написав это, император прошелся по комнате с вдохновением.

Он ударил в ладоши и запел свою любимую песню и стал присвистывать:

Ельник, мой ельник,
Частый мой березник... —

а Юрий Александрович тонким и очень тихим голосом подхватил:

Люшеньки-люли.

Искусанный пес любит уходить в поле и лечиться там горькими травами.

Поручик Синюхаев шел пешком из С.-Петербурга в Гатчину. Он шел к отцу, не для того чтобы просить помощи, а так, может быть, из желания проверить, существует ли отец в Гатчине или, может быть, не существует. На отцовский привет он ничего не ответил, посмотрел кругом и уже собрался уходить, как стесняющийся и даже жеманничающий человек.

Но лекарь, увидев изъяны в его одежде, усадил его и начал допытываться:

— Ты проигрался или проштрафился?

— Я не живой, — вдруг сказал поручик.

Лекарь пощупал ему пульс, сказал что-то о пиявках и продолжал допытываться.

Когда он узнал о сыновней оплошности, он взволновался, целый час писал и переписывал прошение, заставил сына его подписать и на завтра пошел к барону Аракчееву, чтобы вместе с суточным рапортом передать его. Сына он, однако, постеснялся держать у себя дома, а положил его в гошпиталь и написал на доске над его кроватью:

Mors occasional
Случайная смерть

Барона Аракчеева тревожила идея государства.

Поэтому его характер мало поддавался определению, он был неуловим. Барон не был злопамятен, бывал иногда и снисходителен. При рассказе какой-нибудь печальной истории он слезился, как дитя, и давал садовой девочке, обходя сад, копейку. Потом, заметив, что дорожки в саду нечисто выметены, приказывал бить девочку розгами. По окончании же экзекуции выдавал дитяти пятак.

В присутствии императора он чувствовал слабость, похожую на любовь.

Он любил чистоту, она была эмблемою его нрава. Но бывал доволен именно тогда, когда находил изъяны в чистоте и порядке, и,

если их не оказывалось, втайне огорчался. Вместо свежего жаркого он ел всегда солонину.

Он был рассеян, как философ. И правда, ученые немцы находили сходство в его глазах с глазами известного тогда в Германии философа Канта: они были жидкого, неопределенного цвета и подернуты прозрачной пеленой. Но барон обиделся, когда ему кто-то сказал об этом сходстве.

Он был не только скуп, но любил и блеснуть и показать все в лучшем виде. Для этого он входил в малейшие хозяйственные подробности. Он сидел над проектами часовен, орденов, образов и обеденного стола. Его прельщали круги, эллипсы и линии, которые, переплетаясь, как ремни в треххвостке, давали постройку, способную обмануть глаз. А он любил обмануть посетителя или обмануть императора и притворялся, что не видит, когда кто ухитрялся и его обмануть. Обмануть же его, конечно, было трудно.

Он имел подробную опись вещам каждого из своих людей, начиная с камердинера и кончая поваренком, и проверял все гошпитальные описи.

При устройстве гошпиталя, в котором служил отец поручика Синюхаева, барон сам показывал, как поставить кровати, куда скамейки, где должен быть ординаторский столик и даже какого вида должно быть перо, то есть голое, без бородки, в виде римского *calamus* — тростника. За перо, очиненное с бородкою, подлекарю полагалось пять розог.

Идея римского государства тревожила барона Аракчеева.

Поэтому он рассеянно выслушал лекаря Синюхаева, и только когда тот протянул прошение, он внимательно прочел его и сделал выговор лекарю, что бумага подписана нечеткою рукой.

Лекарь извинился тем, что у сына рука дрожит.

— Ага, братец, вот видишь, — ответил барон с удовольствием, — и рука дрожит.

Потом, поглядев на лекаря, он спросил его:

— А когда приключилась смерть?

— Иуня пятнадцатого, — ответил, несколько оторопев, лекарь.

— Иуня пятнадцатого, — протянул барон, соображая, — иуня пятнадцатого... А теперь уже семнадцатое, — сказал он вдруг в упор лекарю. — Где же был мертвец два дня?

Ухмыльнувшись на лекарский вид, он кисло заглянул в прошение и сказал:

— Вот какие неисправности. Теперь прощай, братец, поди.

Певец и статс-секретарь Мелецкий действовал на ура, он рисковал и часто выигрывал, потому что все представлял в нежном виде, под стать краскам Камерона, но выигрыши сменялись проигрышами, как в игре кадрилиа.

У барона Аракчеева была другая повадка. Он не рисковал, ни за что не ручался. Напротив, в донесениях императору он указывал на злоупотребление — вот оно — и тут же испрашивал распоряжения, какими мерами его уничтожить. Умаление, которым рисковал Мелецкий, барон сам производил над собою. Зато выигрыш вдали мелькал большой, как в игре фаро.

Он сухо донес императору, что умерший поручик Синюхаев явился в Гатчину, где и положен в гошпиталь. Причем сказался живым и подал прошение о восстановлении в списках. Какое препровождается и испрашивается дальнейшее распоряжение. Он хотел показать покорность этой бумагой, как рачительный приказчик, обо всем спрашивающий хозяина.

Ответ получился скоро — и на прошение, и барону Аракчееву в особенности.

На прошение была наложена резолюция:

Бывшему поручику Синюхаеву, выключенному из списка за смертью, отказать по той же самой причине.

А барону Аракчееву была прислана записка:

Господин барон Аракчеев.

Удивляюсь, что, будучи в чине генерала, не знаете устава, направляя прямо ко мне прошение умершего поручика Синюхаева, к тому и не вашего полка, которое надлежало сначала направить

собственно в канцелярию полка, которого этот поручик, а не меня прямо обременять таковым прошением.

Впрочем, пребываю к вам благосклонный

Павел.

Не было сказано: «навсегда благосклонный».

И Аракчеев прослезился, так как смерть не любил получать выговоры. Он сам пошел в гошпиталь и велел немедля гнать умершего поручика, выдав ему белье, а офицерскую одежду, значащуюся в описи, задержать.

17

Когда поручик Кижэ вернулся из Сибири, о нем уже знали многие. Это был тот самый поручик, который крикнул «караул» под окном императора, был наказан и сослан в Сибирь, а потом помилован и сделан поручиком. Таковы были вполне определенные черты его жизни.

Командир уже не чувствовал никакого стеснения с ним и просто назначал то в караул, то на дежурства. Когда полк выступал в лагери для маневров, поручик выступал вместе с ним. Он был исправный офицер, потому что ничего дурного за ним нельзя было заметить.

Фрейлина, краткий обморок которой спас его, сначала обрадовалась, думая, что ее соединяют с ее внезапным любовником. Она поставила мушку на щеку и затянула несходившуюся шнуровку. Потом в церкви она заметила, что стоит одиноко, а над соседним пустым местом держит венец адъютант. Она хотела уже снова упасть в обморок, но так как держала глаза опущенными ниц и видела свою талию, то раздумала. Некоторая таинственность обряда, при котором жених не присутствовал, многим понравилась.

И через некоторое время у поручика Кижэ родился сын, по слухам похожий на него.

Император забыл о нем. У него было много дел.

Быстрая Нелидова была отставлена, и ее место заняла пухлая Гагарина. Камерон, швейцарские домики и даже все Павловское были

забыты. В кирпичном аккурате лежал приземистый и солдатский С.-Петербург. Суворов, которого император не любил, но терпел, потому что тот враждовал с покойным Потемкиным, был потревожен в своем деревенском уединении. Приближалась кампания, так как у императора были планы. Планов этих было много, и нередко один заскакивал за другой. Павел Петрович раздался в ширину и осел. Лицо его стало кирпичного цвета. Суворов опять впал в немилость. Император все реже смеялся.

Перебирая полковые списки, он наткнулся раз на имя поручика Кижэ и назначил его капитаном, а в другой раз полковником. Поручик был исправный офицер. Потом император снова забыл о нем.

Жизнь полковника Кижэ протекала незаметно, и все с этим примирились. Дома у него был свой кабинет, в казарме своя комната, и иногда туда заносили донесения и приказы, не слишком удивляясь отсутствию полковника.

Он уже командовал полком.

Лучше всего чувствовала себя в громадной двуспальной кровати фрейлина. Муж подвигался по службе, спать было удобно, сын подрастал. Иногда супружеское место полковника согревалось каким-либо поручиком, капитаном или же статским лицом. Так, впрочем, бывало во многих полковничьих постелях С.-Петербурга, хозяева которых были в походе.

Однажды, когда утомившийся любовник спал, ей послышался скрип в соседней комнате. Скрип повторился. Без сомнения, это рассыхался пол. Но она мгновенно растолкала заснувшего, вытолкала его и бросила ему в дверь одежду. Опомнившись, она смеялась над собой.

Но и это случалось во многих полковничьих домах.

От мужиков пахло ветром, от баб дымом.

Поручик Синюхаев никому не смотрел прямо в лицо и различал людей по запаху.

По запаху он выбирал место для ночлега, причем норовил спать под деревом, потому что под деревом дождь не так мочит.

Он шел, нигде не задерживаясь.

Он проходил чухонские деревни, как проходил реку плоский камешек, «блинок», пускаемый мальчишкой, — почти не задевая. Изредка чухонка давала ему молока. Он пил стоя и уходил дальше. Ребятишки затихали и блистали белесыми соплями. Деревня смыкалась за ним.

Его походка мало изменилась. От ходьбы она развинтилась, но эта мякинная, развинченная, даже игрушечная походка была все же офицерская, военная походка.

Он не разбирался в направлениях. Но эти направления можно было определить. Уклоняясь, делая зигзаги, подобные молниям на картинах, изображающих всемирный потоп, он давал круги, и круги эти медленно сужались.

Так прошел год, пока круг сомкнулся точкой, и он вступил в С.-Петербург. Вступая, он обошел его кругом из конца в конец.

Потом он начал кружить по городу, и ему случалось неделями делать один и тот же круг.

Шел он быстро, все тою же своей военной, развинченной походкой, при которой ноги и руки казались нарочно подвешенными.

Лавочники его ненавидели.

Когда ему случалось проходить по Гостиному ряду, они покрикивали вслед:

— Приходи вчера.

— Играй назад.

О нем говорили, что он приносит неудачу, а бабы-калашницы, чтобы откупиться от его глаза, давали ему, молчаливо сговорясь, по калачу.

Мальчишки, которые во все эпохи превосходно улавливают слабые черты, бежали за ним и кричали:

— Подвешенной!

В С.-Петербурге часовые у замка Павла Петровича прокричали:

— Император спит.

Этот крик повторили алебардщики на перекрестках:

— Император спит.

И от этого крика, как от ветра, одна за другой закрылись лавки, а пешеходы попрятались в дома. Это означало вечер.

На Исаакиевской площади толпы мужиков в дерюге, согнанные на работу из деревень, потушили костры и улепись тут же, на земле, покрывшись гуньками.

Стража с алебардами, прокричав: «Император спит», сама заснула. На Петропавловской крепости ходил, как часы, часовой. В одном кабаке на окраине сидел кабацкий молодец, опоясанный лыком, и пил царское вино с извозчиком.

— Батьке курносому скоро конец, — говорил извозчик, — я возил важных господ...

Подъемный мост у замка был поднят, и Павел Петрович смотрел в окно.

Он был пока безопасен, на своем острове.

Но были шепоты и взгляды во дворце, которые он понимал, и на улицах встречные люди падали перед его лошастью на колени со странным выражением. Так было им заведено, но теперь люди падали в грязь не так, как всегда. Они падали слишком стремительно. Конь был высок, и он качался в седле. Он царствовал слишком быстро. Замок был недостаточно защищен, просторен. Нужно было выбрать комнату поменьше. Павел Петрович, однако, не мог этого сделать — кой-кто тотчас бы заметил. «Нужно бы спрятаться в табакерку», — подумал император, нюхая табак. Свечи он не зажег. Не нужно наводить на след. Он стоял в темноте, в одном белье. У окна он вел счет людям. Делал перестановки, вычеркивал из памяти Беннигсена, вносил Олсуфьева. Список не сходился.

— Тут моего счета нету...

— Аракчеев глуп, — сказал он негромко.

— ...vague incertitude ^[30], которою сей угождает...

У подъемного моста еле был виден часовой.

— Надобно, — сказал по привычке Павел Петрович.

Он барабанил пальцами по табакерке.

— Надобно, — он припоминал и барабанил, и вдруг перестал.

Все, что надобно, уже давно сделалось, и это оказалось недостаточным.

— Надобно заключить Александра Павловича, — он поторопился и махнул рукой.

— Надобно...

Что надобно?

Он лег и быстро, как все делал, юркнул под одеяло.

Он заснул крепким сном.

В семь часов утра он вдруг, толчком, проснулся и вспомнил: надобно приблизить человека простого и скромного, который был бы всецело обязан ему, а всех прочих сменить.

И заснул опять.

20

Наутро Павел Петрович просматривал приказы. Полковник Кижэ был внезапно произведен в генералы. Это был полковник, который не кланчил имений, не лез в люди за дяденькиной спиной, не хвастун, не щелкун. Он нес службу без ропота и шума.

Павел Петрович потребовал его формулярные списки.

Он остановился над бумагой, из которой явствовало, что полковник подпоручиком был сослан в Сибирь за крик под императорским окном: «Караул». Он кое-что в тумане вспомнил и улыбнулся. Там была какая-то легкая любовная история.

Как кстати был бы теперь человек, который в нужное время крикнул бы «Караул» под окном. Он пожаловал генералу Кижэ усадьбу и тысячу душ.

Вечером того дня имя генерала Кижэ всплыло на поверхность. О нем говорили.

Некто слышал, как государь сказал графу Палену с улыбкой, которой давно не видали:

— Дивизией погоди его обременять. Он потребен на важнейшее.

Никто, кроме Беннигсена, не хотел сознаться, что ничего не знает о генерале. Пален шурился.

Обер-камергер Александр Львович Нарышкин вспомнил генерала:

— Ну да, полковник Кижэ... Я помню. Он махался с Сандуновой...

- На маневрах под Красным...
- Помнится, родственник Олсуфьеву, Федору Яковлевичу...
- Он не родственник Олсуфьеву, граф. Полковник Кижэ из Франции. Его отец был обезглавлен черню в Тулоне.

21

События шли быстро. Генерал Кижэ был вызван к императору. В тот же день императору донесли, что генерал опасно заболел.

Он крякнул с досадой и отвертел пуговицу у Палена, принесшего весть.

Он прохрипел:

— Положить в гошпиталь, вылечить. И если, сударь, не вылечат...

Императорский камер-лакей ездил в гошпиталь дважды в день справляться о здоровье.

В большой палате, за наглухо закрытыми дверьми, суетились лекаря, дрожа, как больные.

К вечеру третьего дня генерал Кижэ скончался.

Павел Петрович уже не сердился. Он посмотрел на всех туманным взглядом и удалился к себе.

22

Похороны генерала Кижэ долго не забывались С.-Петербургом, и некоторые мемуаристы сохранили их подробности.

Полк шел со свернутыми знаменами. Тридцать придворных карет, пустых и наполненных, покачивались сзади. Так хотел император. На подушках несли ордена.

За черным тяжелым гробом шла жена, ведя за руку ребенка.

И она плакала.

Когда процессия проходила мимо замка Павла Петровича, он медленно, сам-друг, выехал на мост ее смотреть и поднял обнаженную шпагу.

— У меня умирают лучшие люди.

Потом, пропустив мимо себя придворные кареты, он сказал по латыни, глядя им вслед:

— Sic transit gloria mundi [\[31\]](#).

Так был похоронен генерал Кижe, выполнив все, что можно было в жизни, и наполненный всем этим: молодостью и любовным приключениями, наказанием и ссылкой, годами службы, семьей, внезапной милостью императора и завистью придворных.

Имя его значится в «С.-Петербургском Некрополе», и некоторые историки вскользь упоминают о нем.

В «Петербургском Некрополе» не встречается имени умершего поручика Синюхаева.

Он исчез без остатка, рассыпался в прах, в мякину, словно никогда не существовал.

А Павел Петрович умер в марте того же года, что и генерал Кижe, — по официальным известиям, от апоплексии.

Б. А. ЛАВРЕНЁВ

КОМЕНДАНТ ПУШКИН

1

Военмор спал у окна.

Поезд тащился сквозь оттепельную мартовскую ночь. Она растекалась леденящей сыростью по окрестности и по вагонам.

От судорог паровоза гусеница поезда скрипела и трещала в суставах. Поезд полз, как дождевой червь, спазматическими толчками, то растягиваясь почти до разрыва скреп, то сжимаясь в громе буферов.

Поезд шел от Петербурга второй час, но не дошел еще до Средней Рогатки. Девятнадцатый год нависал над поездом. Мутной синевой оттаивающих снежных пространств. Слезливым туманом, плывущим над полями. Тревогой, мечущейся с ветром вперегонки по болотным просторам. Параличом железнодорожных артерий.

Военмор спал у окна.

Новая кожаная куртка отливала полированным чугуном в оранжевой желчи единственной свечи, оплакивавшей в фонаре близкую смерть мутными, вязкими слезами.

Куртка своим блеском придавала спящему подобие памятника.

С бескозырки сползали на грудь две плоские черные змейки. Их чешуя мерцала золотом: «Балтийский экипаж».

Военмор спал и храпел. Храп был ровный, непрерывный, густого тона. Так гудят боевые турбодинамо на кораблях.

Голова военмора лежала на плече девушки в овчинном полушубке и оренбургском платочке. Девушка была притиснута кожаной курткой к самой стенке вагона — поезд был набит до отказа по девятнадцатому году. Ей, вероятно, было неудобно и жарко. Военмора она увидела впервые в жизни, когда он сел в поезд. Она явно стыдилась, что чужая мужская голова бесцеремонно лежит на ее ключице, но боялась пошевелиться и испуганно смотрела перед собой беспомощными, кукольными синими глазами.

Поезд грянул во все буфера, загрохотал, затрясся и стал.

Против окна на кронштейне угрюмо висел станционный колокол, похожий на забытого повешенного.

От толчка военмор сунулся вперед, вскинул голову и провел рукой по глазам. Кожаная скорлупа на нем заскрипела. Он повернул к девушке затекшую шею.

— Куда приехали?

— Рогатка...

Из распахнувшейся входной двери хлынули морозные клубы. Сквозь них прорвался но допускающий возражений голос:

— Приготовить документы!

Переступая через ноги и туловища, по вагону продвигалась длинная кавалерийская шинель. Ее сопровождал тревожный блеск двух штыков.

Шинель подносила ручной масляный фонарик к тянущимся клочкам бумаги. Тусклый огонь проявлял узоры букв и синяки печатей.

Шинель была немногословна. Она ограничивалась двумя фразами, как заводная кукла.

Одним бросала:

— Езжай!

Другим:

— Собирай барахло!

Военмор не торопясь расстегнул тугую петлю на куртке, вытащил брезентовый бумажник. Из него — второй, кожаный, поменьше. Из кожаного — маленький кошелек. Шинель впервые проявила признаки нетерпения:

— У тебя там еще с десятков кошельков будет?

Военмор вынул из кошелька сложенную вчетверо бумажку.

Свет задрожал на бумаге. Кавалерийская шинель нагнулась, читая:

ПРЕДПИСАНИЕ

*Состоящему в резерве комсостава
военному моряку А. С. Пушкину*

С получением сего предлагаю Вам направиться в город Детское Село, где принять должность коменданта укрепрайоном. Об исполнении донести.

Начупраформ Штаокр *Симонов*.

Кавалерийская шинель сложила листок и, отдавая, недоверчиво поглядела на кожаную статую военмора.

— Это ты, значит, Пушкин?

Военмор слегка повел одним плечом, и черные шелковые змейки вздрогнули.

— Нет, моя кобыла! — сказал он с неподражаемым морским презрением к сухопутному созданию и отвернулся, пряча бумажник.

Кавалерийская шинель потопталась на месте. Видимо, хотела ответить. Но либо слов не нашла, либо не решилась. Был девятнадцатый год. Военмор принадлежал к породе людей-бомб. Неизвестно, как взять, чтобы не взорвалась.

Выручил звонок.

Хриплым воплем удавленника разбитый колокол трижды простонал за окном, и шинель, оттаптывая ноги, рванулась к выходу.

Военмор покосил взглядом вслед, после поглядел на девушку и, подмигнув, сказал вежливо и доброжелательно:

— Сука на сносях! Не знай, где родит...

Девушка опустила ресницы на кукольные глаза и длительно вздохнула. Вздох утонул в раздирающем скрежете, звоне и громе. Поезд тронулся.

Снежит.

За колючей щетиной голых деревьев рассвет медленно поднимается, пепельно-серый и анемичный, как больной, впервые привстающий на постели.

В запорошенных снегом уличных лужах вода стоит тусклым матовым стеклом. Ступни оставляют в нем пробоины с разбегающимися трещинами.

Вороны оглашенно приветствуют рождение дня.

Они носятся над парками, над крышами, над льдисто сияющим золотом куполов.

Военмор останавливается на углу, против овального садика, обнесенного простой решеткой из железных прутьев. Путь от вокзала утомителен — ноги дрожат от напряжения, вызванного ходьбой по замерзшим лужам.

Военмор ставит на выступ крыльца походный чемоданчик, сняв его с плеча. Свертывает махорочную сигарку, вставляет ее в обгоревший карельский мундштук.

Императорское поместье раскрывается ему за деревьями сада филигранью парадных ворот дворца, игрушечными главками дворцовой церкви, порочной изнеженностью лепки и пышностью растреллиевских капителей.

Военмор курит и смотрит на все это настороженным, подозрительным взглядом. Он не доверяет пышным постройкам, деревьям, накладному золоту, он чувствует за ними притаившегося врага.

Докурив, поднимает чемодан и входит в овальный загон садика.

Сухая трава газонов пробивается сквозь топкий слой обледеневшего наста. Ветер гонит поземку. Бьет в лицо иглами. Звездчатые пушинки пляшут в воздухе.

За низкой чугунной изгородью темнеет гранит постамента. Бронзовая скамья. На ней легко раскинувшееся в отдыхе юношеское тело. Склоненная курчавая голова лежит на ладони правой руки. Левая бессильно свисает со спинки скамьи.

В позе сидящего есть что-то похожее на позу военмора, когда он спал в вагоне. Может быть, даже не в позе, а в тусклом отблеске бронзы, напоминающем блеск кожаной куртки.

Военмор бросает равнодушный взгляд на сидящего.

Еще шаг. Взгляд сбегает ниже. Цепляется за постамент.

Военмор резко останавливается, не закончив шага, и круто поворачивается к памятнику.

Лицо его темнеет от внезапного толчка крови. Дыхание обрывается шумным выдохом.

Он смотрит на постамент. Брови сдвинуты в огромном и тревожном недоумении. Две строчки, вырезанные на постаменте, пригвоздили его к месту.

Внезапно он кладет, почти бросает чемодан к ногам.

Из кармана вынимается брезентовый бумажник. В руках у военмора маленькая коричневая книжка. Он смотрит в нее. Переводит глаза на гранит. На партийном билете он видит:

АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ ПУШКИН

На полированном граните:

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН

Военмор произносит вслух оба текста. Только в одном слове они не сходятся: четыре буквы отчества разрывают таинственно возникшую связь.

Александр Семенович Пушкин оглядывается.

Сад пуст. Только они вдвоем — бронзовый юноша и военмор в кожаной куртке.

Необыкновенное смятение охватывает военмора. Он чувствует жаркое гудение во всем теле и мурашки в пальцах рук.

Он еще раз повторяет вслух имя — не свое, а того, который сидит на чугунной скамье и задумчиво смотрит поверх головы военмора Пушкина в дымную вуаль парков, в не известное никому, кроме него. От звуков имени огромный рой оборванных мыслей налетает на военмора. Они звенят, как пчелы. И он даже поднимает руку и делает тревожный жест, будто отгоняя пчел.

Кружащиеся мысли связаны с чем-то, очень давно позабытым. Но он никак не может вспомнить, что он позабыл. Воспоминание рождается мучительно медленно.

Далекие и в то же время необычайно близкие слова наплывают на него из прошлого, из полузабытого детства. В словах есть ритм. Он осязателен и настойчив.

Александр Семенович Пушкин отбивает ногой такт этого ритма. Все чаще и чаще. Вот! Сейчас будут пойманы слова, быстро мелькающие, как золотые рыбки, в глубине памяти.

Хмурое лицо военмора освещается виноватой улыбкой. Только сейчас, за истомленностью и небритой щетиной на щеках, можно разглядеть настоящую молодость военмора.

Он наклоняет голову набок и, словно прислушиваясь, говорит тихо и вразтяжку:

Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца:
«Тятя! тятя! наши сети
Притащили мертвеца».

Ритм обрывается. Александр Семенович Пушкин шевелит губами и прищелкивает пальцами. Но в омуте памяти снова провал. Золотые рыбки умчались, сверкнув чешуей.

Военмор опускает голову и говорит сам себе укоризненно:

— Запомню, Сашка!

И вдруг снова смеется, по детски, беззаботно.

Все равно! Ну, забыл! Но внезапная загадка бронзового двойника разгадана. Смятение уступает дорогу любопытству.

Военмор перелезает через ограду и подходит вплотную к постаменту. Задрал голову, долго смотрит на памятник.

Кружащиеся снежинки ложатся на взбитые в беспорядке кудри Александра Сергеевича Пушкина, стынют на припухлых губах, на тонких плечах.

Александр Семенович Пушкин, осторожно ступая, обходит памятник кругом. На задней стороне постамента вырезана надпись.

Александр Семенович, подойдя вплотную, разбирает по слогам каменные строки:

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он как душа неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастье куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.

Стихи читались с трудом. Слог их был непривычен и малопонятен, слова скользили и убегали от сознания. Но загадочная музыка, таившаяся в них, укачивала, несла на ритмических волнах, как необъяснимое колдовство.

Это ощущение издавна было знакомо Александру Семеновичу. Оно овладевало им всегда, когда ему приходилось слушать музыку. Был ли это пастушеский рожок из бузины, гармошка ли в кубрике, хрустальный гром рояля из открытого люка кают-компания или духовой оркестр в кронштадтском парке, но всякая мелодия завладевала Александром Семеновичем неотразимо и повелительно. Она убаюкивала его и уносила в неизведанные и сладостные просторы.

Александр Семенович прочел по слогам последнюю строку. И вдруг обаяние музыки сорвалось, развеянное темным подозрением.

Он еще раз прочел, повысив голос:

Отечество нам Ц а р с к о е Село.

Эта строка была понятна от первого до последнего слова. Больше: она повеяла в лицо дыханием чужого и ненавидимого мира.

И она заставила Александра Семеновича насторожиться.

Он отодвинулся от постамента и потемневшими глазами посмотрел на бронзовую спину Александра Сергеевича. В этом взгляде были смешаны подозрение и злость.

— Царское Село тебе отечество? — сказал он вслух с таким выражением, словно хотел сказать: «Так вот ты кто такой!» — Ц а р с к о е! — повторил он с нажимом. — Царя все помните!

Сжав челюсти, Александр Семенович круто обошел постамент и быстрыми шагами приблизился к оставленному за оградой чемодану.

Он подхватил его ловким и стремительным рывком под мышку. Еще раз исподлобья взглянул на памятник.

Бронзовый юноша, отечеством которого было Царское Село, смотрел теперь уже не через голову Александра Семеновича, а прямо на него. Чуть заметная усмешка, дружеская и печальная, змеилась на неподвижных губах.

Александр Семенович нахмурился, поправил бескозырку и зашагал.

Шел он размашисто и решительно. Словно после долгого колебания нашел верную линию, прямой, непетляющий путь.

Дела в укрепрайоне было много.

Девятнадцатый год кипел.

В потревоженных и сдвинутых толщах страны глубоко бурлила кипящая, огненная лава, гоня на поверхность шлаки. Они выскакивали грязными гнойными пузырями, омерзительной накипью, шипели, брызгали перегоревшей гнусью и лопались. Шлаки плыли от периферии к огненным центрам. Туда, где жарче и сильной кипела лава, в которой они сгорали без остатка.

Революционный Петроград притягивал к себе эти шлаки, как магнит. Вокруг Петрограда все время было беспокойно.

Александр Семенович Пушкин с головой ушел в работу. Времени не хватало затыкать ежеминутно обнаруживавшиеся прорехи.

Ближайшим помощником Александра Семеновича оказался военрук укрепленного района, бывший полковник Густав Максимилианович Воробьев.

Сочетание пышно оперного, чужеземного имени и отчества с заурядной и смешной русской фамилией удивляло многих. Военрук в таких случаях раздраженно объяснял, что его прапрадед, прожив всю жизнь в Польше, принял католичество, и от него пошли Воробьевы с иностранными именами.

Объяснять приходилось часто, и это приводило старика в бешенство. Это и заставило его просить о переводе из петроградского штаба, где была вечная толчея людей и вечное любопытство, в заштатный и немногочисленный укрепрайон.

В первый день вступления в должность старик созвал всех сотрудников штаба района. Они собрались в назначенный час, ожидая каких-либо важных сообщений.

Густав Максимилианович вышел к ним из кабинета, разгладил усы и произнес короткую речь. Смысл ее сводился к тому, что, не

желая рассказывать каждому поодиночке историю своих прозвищ, военрук Воробьев сообщает ее для сведения всех в целях прекращения бесцельного любопытства. Изложив события жизни своего предка, Густав Максимилианович выразил надежду, что совместная работа с новыми сослуживцами будет приятна, поклонился, как актер, удачно спевший арию, и ушел, оставив сотрудников в полном недоумении.

Был он малого роста, аккуратен и подтянут. Серебряный бобрик над высоким лбом и белые усы блестели свежестью только что выпавшего инея.

Он был честным и преданным работником, восторженным либералом шестидесятнического толка.

В день передачи должности коменданта укрепрайона Александру Семеновичу старик, окончив официальную информацию о положении в районе, выжидательно посмотрел на нового начальника.

— Чего еще? — спросил Александр Семенович, видя неуспокоенность собеседника.

— Вас, вероятно, удивляет несоответствие моего имени и отчества моей фамилии? — сердито начал военрук.

Александр Семенович удивленно покосился на Воробьева.

— С чего вы взяли? Фамилие как фамилие... А имя-отчество хоть сразу не выговоришь, а все же ничего несоответственного не видеть.

Густав Максимилианович Воробьев внезапно весь порозовел от удовольствия. Казалось, даже усы приняли розоватый оттенок.

— Как приятно встретить человека столь свободных и широких взглядов! — сказал он, умиротворенно улыбаясь. — Я очень устал от бесцеремонного любопытства окружающих. Имена и прозвища мы не сами выбираем для себя, не правда ли, товарищ Пушкин? Вот, например, вы, наверное, не выбрали бы себе имени и фамилии, которая тоже должна стеснять вас...

— Это с чего же ради? — Александр Семенович поднял голову от сводки артиллерийского имущества. — Чего мне стесняться?

— Прошу извинить, — Воробьев склонился в изящном полупоклоне, — если я коснулся неприятной вам темы. Но вы должны сами понимать, что при имени и фамилии великою поэта у каждого должен возникать ряд ассоциативных предположений. Иначе говоря, на вас всегда ложится тяжелая тень прославленного имени. Это затрудняет...

— Фамилие у вас русское, а разговор вроде имени-отчества, не сразу провернешь, — перебил, мрачней, Александр Семенович. — Я кочегар. Кроме горя, в кочегарке ничего не хлебал. Со мной просто говорить надо, а не загвоздки выклеивать...

— Извините, ради бога! — испуганно сказал Воробьев. — Я совершенно не то... Я просто хотел сказать, что здесь, в Детском Селе, ваша фамилия и имя звучат несколько парадоксально.

— Ну вот... Говорите, хотели сказать просто, а опять загнули словцо!

— Парадоксально — по-русски значит неправдоподобно, — мягко пояснил Воробьев. — В самом деле, здесь каждому мальчишке известно, что в нашем городе жил и учился Александр Сергеевич Пушкин. А теперь приехали вы, Пушкин, и к тому же еще Александр...

— Ну и что? — вдруг зверея, рыкнул Александр Семенович. — Чего вы мне тычете под хвост вашим Пушкиным! Мне с ним не чай пить! Ему вон Царское Село — отечество, так на памятнике вырезано. А я в Гнилых Ручьях родился. Он, может, генералом был, а меня тятка с первого года из школы взял и в аптеку мыть бутылки за три рубля отдал. Я писать еле могу, и этого Пушкина только и помню, что «тятя, тятя, наши сети» и там про мертвеца... Чихал я на Пушкина! Нам нынче Д е т с к о е Село отечество. А Царское мы с царем вместе похерили! Да!

Воробьев медленно отступал к двери, пока Александр Семенович нервно выбрасывал злые слова. У двери он сложил руки перед грудью, как будто собираясь молиться, и когда Александр Семенович кончил, старик сказал, и в голосе его комукрепрайона ощутил необычайное волнение и печаль:

— Боже мой, боже мой! Вы, сегодняшней Пушкин, ничего не знаете об Александре Пушкине! Вы даже не знаете, что именно царская Россия отравила ему жизнь и задушила его! Вы...

Александр Семенович встал злой, стиснув кулаки в карманах куртки.

— Товарищ военрук! Я вам вот что скажу: идите подобру-поздорову работу сполнять. Вы тут бузите насчет Пушкина, а часовые у пороховых складов сигарки смолят! Дело нужно делать, а не лясы точить.

Густав Максимилианович Воробьев выпрямился и вытянул руки по швам.

— Слушаю, товарищ комендант!

Выходя, он оглянулся на зарывшегося в сводки Александра Семеновича. Во взгляде старика были недоумение и обида.

4

Первый весенний день пришел в блеске и свете, в ласковой свежести западного ветерка, овейный запахом талых ручьев, земли, размокшей древесной коры.

В конце рабочего дня к подъезду штаба укрепрайона подали оседланных лошадей.

Александр Семенович Пушкин намеревался, в сопровождении военрука, проехать к железнодорожным путям, проверить состояние привокзальных окопов и проволочных заграждений, поставленных осенью. Обилие снега грозило затоплением окопов и сносом кольев.

Лошади танцевали, разбрызгивая грязь, рвались из рук коновода и с тихим ржаньем, похожим на дружескую беседу, ласково покусывали друг друга за шею. Солнце, шумящая по стокам вода и угадываемый аромат сочных трав, еще прячущих ростки под землей, пьянили их и возбуждали.

Густав Максимилианович сел в седло с привычной, почти молодой легкостью. Александр Семенович долго прыгал на одной ноге, силясь нацелиться другой в ускользящее стремя.

Конь казался ему менее устойчивым и более вертким, чем палуба миноносца в шторм. Но, очутившись в седле, он сразу приобрел ту суровую и тяжелую каменную посадку, которая всегда делает конного моряка величественным и прекрасным, как всадника, изваянного великим ваятелем.

Они прошлепали по лужам вдоль путей. Воробьев на ходу отмечал в записной книжке необходимые работы по приведению окопов в боеспособное состояние после спада воды.

Больших повреждений по было, и, убедившись в благополучии, Александр Семенович с военруком повернули обратно. Весеннее

солнце нехотя уходило за сиреневую сетку мокрых веток, зажигая тяжелые капли.

Александр Семенович направлялся домой. Жил он, как и военрук, в домиках китайской деревни. Игрушечные эти постройки, выстроенные для императорских забав, служили теперь квартирами боевой семье укрепрайона.

У поворота на Садовую Александр Семенович широко вдохнул душистую свежесть вечера и вдруг сказал военруку:

— Пройдемся, что ли? Надоело на этом живом заборе болтаться... Вечер хорош!

Густав Максимилианович Воробьев кивнул.

Они слезли с седел, отдали лошадей коноводу и медленно пошли по Садовой к куполам дворца, свежим и омытым. Овальная корма лицейского здания медленно надвигалась на них. За нею темнел садик.

Поравнявшись с лицеем, Александр Семенович, неожиданно для самого себя, свернул вправо, в пролом садовой решетки. Воробьев тоже безмолвно последовал за ним.

После первого разговора, так неудачно закончившегося, военрук больше не заговаривал с комендантом ни о своей, ни о его фамилии. Они говорили друг с другом только о служебных заботах, немногословно и деловито. Но Александр Семенович постепенно привык к спокойному, вежливому и работающему старику. Первые дни он подозрительно наблюдал за ним. Прошрое военрука заставляло коменданта держаться настороже. Он инстинктивно не доверял всему, что имело корни в прошлом. Но старик работал безукоризненно, как хорошо выверенный механизм, и недоверие Александра Семеновича рассеивалось. Укрепрайон подтянулся. Часовые больше не курили на постах, и красноармейцы гарнизона перестали появляться на улицах в раздерганном виде, со спадающими штанами. Александр Семенович получил закалку образцовой морской дисциплины и не переносил разнузданности и беспорядка. Военрук приложил много труда к налаживанию военного организма города, и Александр Семенович высоко оцепил этот труд.

Сквозь стволы деревьев засерел гранит. Солнце обливало бронзу памятника влажной лаковой патиной. Александр Семенович вышел на центральную аллею и присел на скамью против памятника.

Александр Сергеевич Пушкин сидел в неизменившейся позе и незаметно дышал апрельским медом.

Александр Семенович Пушкин откинулся на спинку скамьи, невольно и незаметно для себя приняв позу бронзового двойника. После долгого молчания сказал с коротким смешком:

— Чудно все-таки... Он Пушкин, и я Пушкин. Он Александр, и я тоже. А между прочим, в общем, никакого сходства.

Военрук осторожно повернулся к Александру Семеновичу, наблюдая за ним искоса и нерешительно. Александр Семенович продолжал:

— Жил вот тоже тут... Может, на этой самой скамье сидел и не имел в думке, что мы тут сядем и на него смотреть будем...

Густав Максимилианович сухо кашлянул в усы.

— Разрешите доложить, товарищ Пушкин, что в этом вы заблуждаетесь. Он отлично знал, что будет тут сидеть и смотреть на нас.

Александр Семенович взглянул на военрука с сомнительным любопытством:

— Турусы на колесах! Как это человек может знать, где его после смерти посадят? Поди, иной не знает даже, на каком кладбище похоронят. А тут не кладбище, а сад. Здесь одних садов в неделю по обойдешь. Угадай, в каком...

— И все-таки, уверяю вас, Александр Семенович, что Александр Сергеевич это знал... То есть он не рассчитывал, конечно, что поместят его именно на этом месте. Но вообще знал, что дождетя памятника, и даже сам предсказал.

Александр Семенович порылся в кармане и вытащил кисет.

— Ну-ну, — произнес он вразяжку, заворачивая сигарку, — уверенный, значит, человек был. Он, что ж, кроме как стихи писать, гаданьем занимался?

— Нет, — ответил Воробьев без улыбки, — он в стихах именно и предсказал.

Александр Семенович выпустил изо рта голубой клуб дыма, на мгновение закрывший бронзового двойника.

— Занятно это вы говорите, Густав Максимилианович. Выходит, угадал свою судьбу?

— Да. Это замечательные стихи. Они будут жить, пока на земле будут жить люди. Хотите, я вам прочту? — неожиданно предложил Воробьев.

— Валяйте! — равнодушно согласился Александр Семенович. — Какое такое предсказание?

Воробьев сцепил пальцы рук, сложенных на колене, и поднял глаза к верхушкам деревьев. В его суховатом чистом стариковском лице словно проступил внутренний свет, помолодивший его.

Голос его был надтреснут и тих, почти робок:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа...

Александр Семенович слушал, куря.

Он не отрывал взгляда от Александра Сергеевича. Положительно, отлитое из бронзы худощавое юношеское лицо жило своей таинственной жизнью, и это озадачивало Александра Семеновича. Вероятно, мерцание закатного света сквозь ветки создавало эту иллюзию жизни и движения, но Александр Семенович готов был поклясться, что при первых звуках стихов двойник на резной скамье слегка подался вперед и как будто стал прислушиваться. Но голос военрука отвлек внимание от памятника.

Знакомое ощущение музыки уже охватывало Александра Семеновича. Стихи текли, как волна. Как и эти, врезанные в камень памятника, они доходили до сознания Александра Семеновича музыкой, напевом, а не словами.

В них было много чуждых слуху звукосочетаний, как будто другого, нерусского языка. Или не того русского языка, какой знал Александр Семенович, на каком привык разговаривать.

Столп, лира, пиит, суций — это мешало уследить за смыслом и раздражало.

Только на четвертом периоде мерного качания стиха Александр Семенович повернул голову к Воробьеву, и глаза сузились. Лицо его стало напряженно внимательным.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Тот же внутренний ясный свет, которым сияли глаза военрука, пробежал теперь в глазах Александра Семеновича.

Он ближе подвинулся к Воробьеву и в неподвижности дослушал до конца.

Минуту оба молчали.

Первый пошевелился Воробьев.

— Что скажете, товарищ Пушкин?

Александр Семенович поднял руку и пошевелил в воздухе пальцами, будто ловил другие, не привычно-ежедневные, а новые и волнующие слова.

— Здорово! — сказал он наконец, так и не найдя этих слов, и вдруг потускнел и нахмурился.

Воробьев выжидательно смотрел на него.

— А вот божье веленье ни при чем! Начал про свободу и вдруг богом всю музыку спортил!

Густав Максимилианович Воробьев рознял сцепленные пальцы и всплеснул руками в воздухе.

— Александр Семенович, товарищ Пушкин! Вы же поймите, в какое время он писал! Сто лет назад! В то время Маркс только родился и во всем мире была только одна республика, в Америке. Кроме отдельных передовых личностей, люди без оглядки на бога пальцем боялись пошевелиться.

— Разве что так, — протянул Александр Семенович, пристально смотря на бронзового Александра Сергеевича. — Только если он стихи писал знаменитые, следственно, был передовой личностью, как вы говорите. Вот тут и не сходится. Выходит — бог в нем крепко сидел, вроде глиста. И царь тоже.

Густав Максимилианович мгновенно помигал ресницами и вдруг захохотал дружелюбным басовым смешком.

— А знаете, Александр Семенович, мне нравится ваша логика. Твердая, организованная и последовательная.

— Чего это за ягода «логика»? — спросил Александр Семенович. — Опять непонятно заговорили?

— Ну, образ мыслей. Вас не собьешь с линии.

— Это верно. Я хоть серый и дальше азбуки не пошел, а свою думку держу крепко.

— Это мне в вас и нравится. Во всех вас, во всех большевиках, — ясная целеустремленность и боевая непримиримость мысли.

Оба замолчали. Солнце скатывалось к горизонту. Последние лучи, прорвавшись сквозь невод ветвей, вспыхнули вокруг кудрявой головы Александра Сергеевича Пушкина, окружив ее трепетным ореолом.

— Пора идти! — сказал Александр Семенович.

— Хотите, товарищ Пушкин, у меня чайку попить? — предложил Воробьев. — А я вам еще Пушкина дома почитаю. Там уже бога не будет. А вам нужно же узнать как следует своего однофамильца. Неужели вы его совсем не знаете?

— Чудак вы, Густав Максимилианович, — ответил Александр Семенович, — я же вам говорил! Моего всего образования — первый класс в деревенской школе. А после некогда было. Моешь в аптеке бутылки с восьми и до двенадцати — спину и руки до того ломит, что не знай, как до лежака дорваться. Я до флота и газет почти не читал. Только на корабле, уже в организации, глаза открыл на книгу. Но все политическое. На другое времени не хватало. А вы — Пушкин! Куда мне! А насчет чаю — согласен. Потопали!

В комнате Воробьева гостеприимно гудела буржуйка.

Такая же чистенькая и аккуратная, как муж, вся в белых букольниках, жена военрука приветливо встретила гостя. Расставила на столе холодную баранину, нарезанную воблу, черную патоку в вазочке, заварила в чайнике яблочную крошку.

Густав Максимилианович вынул из стола перевязанные ниточкой очки, ловко приладил их к носу. Достал с полки коленкоровый томик.

Электричество горело тускло. Нити лампочки едва накалялись красноватым сиянием. Воробьев зажег керосиновую лампу и присел к ней.

В этот вечер и состоялось первое настоящее знакомство Александра Семеновича с Александром Сергеевичем.

Воробьев прочел Александру Семеновичу посвященное декабристам «Послание в Сибирь», послание «Чаадаеву», «Деревню», «Анчар», «Кинжал».

К каждому прочитанному стихотворению Воробьев давал короткое пояснение, рассказывал Александру Семеновичу внутренний, тайный смысл стихов, переводя высокий язык символов и образов на понятную для слушателя будничную речь.

Музыка стихов начинала звучать для Александра Семеновича осмысленно. Юноша из лицейского садика вставал перед ним в ином облике. Он исподволь становился своим.

Комендант и военрук засиделись долго за полночь. Жена Воробьева тихой мышью ушла в спальню.

Густав Максимилианович закончил вечер эпиграммой на Аракчеева, предварительно рассказав об Аракчееве и Александре Первом. Он прочел эпиграмму в ее неприкосновенном, предельно вызывающем тексте, понизив слегка голос. От яростной брани по адресу царя и его клеветы Александр Семенович привскочил на стуле.

Это был совсем неожиданный для него Пушкин, заговоривший языком кочегарного кубрика! Тут пахло не отечеством Царского Села и не божьим веленьем. Александр Семенович понимал, что за такие слова гоняли на каторгу.

Матрос Гейнадий Ховрин на «Штандарте», неудачно поддержавший царицу под руку на трапе и посаженный в карцер, со зла обозвал ее величество коротким женским словцом и получил пять лет за оскорбление царственной особы.

Через темные дали столетий Александр Сергеевич Пушкин подавал дружескую руку матросу первой статьи Геннадию Ховрину. Между ними устанавливалась нежданная связь.

Поздно ночью простился Александр Семенович с военруком.

Ночь томила в теплой и влажной бане весеннего тумана.

Александр Семенович постоял у крыльца военрука, вдыхая тепло и тишину. Потом он сам разбил эту тишину, произнеся вслух непроизносимый конец эпиграммы. Прислушиваясь к затихавшему эху, как бы взвешивая убийственные слова, он засмеялся и пошел к себе.

Спустя несколько дней Александр Семенович зашел под вечер к Воробьеву и попросил почитать чего-нибудь про жизнь своего знаменитого тезки.

Густав Максимилианович в нерешительности покрутил усы.

— Вы меня извините, товарищ Пушкин, — сказал он, конфузясь и говоря несколько книжно, — но ваша просьба несколько затрудняет меня. Мне хочется, чтобы вы узнали настоящую жизнь Александра Сергеевича Пушкина, без прикрас и выдумок, со всеми его муками и страданиями, всеми неудачами этого беспокойного человека. Жизнеописание же его, приложенное к моему изданию, предназначалось для средней школы в дореволюционное время и написано лживо, изуродованно. Я просто боюсь его вам давать. Вы получите совершенно неправильное представление.

Александр Семенович на мгновение задумался.

— А может, вы сами мне расскажете как надо? — сказал он, найдя выход.

Но Воробьев покачал головой:

— Трудно, Александр Семенович! В данном случае мне особенно трудно. Я, как всякий более или менее грамотный русский, знаю и люблю Пушкина. Мое знание удовлетворительно для меня. Но я не могу принять на себя ответственность за передачу этих знаний вам. Они слишком скудны для этого. Пушкину необходимо знать Пушкина, как брат знает брата. — Старик улыбнулся.

— Экая незадача! А я разохотился, — с досадой сказал Александр Семенович. — Хочу познакомиться вдосталь. Теперь он меня за живое забрал.

— Вы не отчаивайтесь, Александр Семенович! Делу помочь можно. Тут есть бывший преподаватель словесности здешней гимназии Матвей Матвеевич Луковский. Он всю литературу как свои пять пальцев знает. Он, наверное, не откажет. Очень обязательный и приятный человек.

— Смеяться не будет? — спросил Александр Семенович, нахмуриваясь.

— Что вы! Зачем? Наоборот, думаю, он будет очень рад помочь вам.

— Ну, ладно, — согласился Александр Семенович, — амба! Пусть так!

— Так я сейчас и зайду к нему, — сказал Воробьев. — Все равно мне нужно книжки отдать, которые я у него брал.

Они вышли вместе. Александр Семенович проводил Воробьева до жилища Луковского и неторопливо пошел обратно.

Подходя к садику, он еще издали заметил на аллее против памятника человеческий силуэт. Странные жесты этой фигуры привлекли внимание Александра Семеновича. Человек нагибался к земле, потом выпрямлялся, делал размашистое движение в сторону памятника и снова нагибался, шаря.

Александр Семенович прибавил шагу и подошел к незнакомцу незамеченный.

Здоровый парень и бутылочных сапогах, с красным лицом в прыщах, выковырял из почвы кусочек камня и, наметясь, метнул его в поэта.

Камень звонко ударил в плечо статуи и скатился к ногам, оставив на металле беловатый след. Парень удовлетворенно захрюкал и нагнулся за новым камнем.

Жаркий туман залил глаза Александру Семеновичу.

В одно мгновение он превратился из коменданта укрепленного района, большевика, стойкого командира матросского батальона, заслужившего доверие в октябрьские дни боевой выдержкой и врожденными командирскими качествами, в первогодка-кочегара Сашку Пушкина, горячего парнишку, безраздумно кидавшегося в любую уличную драку в Кронштадте, круша направо и налево каменными кулаками.

От свинцового удара в левую скулу парень перевалился через решетку, ткнувшись лицом в побеги молодой травы. Фуражка его откатилась к постаменту. Он вскочил и, зарывав, бросился на обидчика, но, не дойдя на шаг до Александра Семеновича, остановился и испуганно разжал кулаки.

Военмор с ярко-желтой кобурой, повисшей на бушлате, был врагом, которого трогать не стоило. Вместо удара парень заморгал глазами и слезливо спросил:

— Ты что в ухо бьешь, сволочь?

Туман неожиданной ярости уже схлынул с Александра Семеновича. Он взял себя в руки. Но лицо и губы его были белы от злобы, и голос стал низким и хриплым.

— Катись! — сказал он угрожающе. — В следующий раз застану — голову оторву, хулиганское отродье!

— А что я тебе сделал, сукиному сыну? — еще слезливей спросил парень.

Он не понимал и не мог даже заподозрить, что удар со стороны военмора был вызван невинным бросанием камешков в чугунного человека на скамейке, посаженного здесь неизвестно к чему.

— Поговори еще! — сказал Александр Семенович, надвигаясь, и парень опасливо попятился, подняв руку перед лицом. — Поговори! Ворон тебе мало, болвану, камня кидать? Для твоего удовольствия тут памятник поставили?

Парень захлопал ресницами. Теперь он понял, но то, что он понял, было выше его понимания, и он обозлился:

— А ты кто такой? Ты ему дядя? А раз это старорежимный статуй, ты какое такое право имеешь за его вступиться? может, ты сам старого режиму? Форму морскую нацепил и народ обманываешь? А вот пойдем в чеку! Там тебя разденут.

Парень уже ободрился и снова махал сжатыми кулаками.

Но ударить он не успел. Александр Семенович, извернувшись, ухватил его за ворот куртки и поднял на воздух. Натужившись, он протащил парня на весу до выхода из садика и, опустив, с размаху поддал подошвой в крепкий зад, обтянутый ватными штанами.

Парень отлетел шагов на пять, ткнулся руками в уличную грязь. Александр Семенович спокойно повернулся и пошел. За его спиной парень кричал во весь голос обидные слова:

— Матрос-барбос! Гидра контровая!.. Ходи мимо, а то поймаем — мы тебе салазки загнем!

Но Александр Семенович шел быстро и не оборачиваясь.

Поравнявшись с памятником Александру Сергеевичу, он бросил на него быстрый и раздраженный взгляд. Памятник показался ему прямым виновником неожиданной и неприятной вспышки гнева, о которой Александр Семенович уже сам жалел и которой стыдился.

Луковский разговаривал на ходу.

Он стремительно шагал из угла в угол по диагонали огромной, почти лишенной мебели комнаты.

Письменный стол. Кресло возле него. В углу другое кресло, из разорванной обивки которого клочьями висела шерсть и на котором сидел Александр Семенович. Больше ничего.

Но все четыре стены, от плинтусов до потолка, были заняты книжными полками. Книги лежали грудями на подоконниках, на столе, на полу. От них в комнате стоял пыльный и странно хмельной, кружащий голову запах.

Луковский носился на фоне этих книг в длинном старомодном сюртуке. Его тонкие угловатые руки взлетали перед лицом Александра Семеновича, похожие на общипанные крылья, и весь он был как необыкновенная птица.

Летая по диагонали комнаты, Луковский захлебывался словами:

— Когда товарищ Воробьев рассказал мне о вас, я буквально оцепенел от изумления, я не мог опомниться, я не хотел верить. Какое необыкновенное стечение обстоятельств! Прошло столетие, и в месте, освященном именем Александра Пушкина, появляется другой Александр Пушкин. Мне это показалось сначала ужасающей профанацией, кощунством, издевательством...

— Послушайте, — перебил Александр Семенович, привстав с кресла и рукой загораживая путь Луковскому, — чего вы все ходите? Этак и вам неудобно, и мне глядеть на вас беспокойно. Сели бы!

Луковский растерянно посмотрел на Александра Семеновича, мигнул и сразу послушно сел на груды книг посреди комнаты.

— Вот так лучше, — одобрил Александр Семенович и, усмехнувшись, продолжал: — Чего это вы много наговариваете? До чего с вами, учеными людьми, трудно, — будто мешки носишь!.. Чего же на меня обижаться, что я тоже Пушкин? Уж тогда вы с моих батьки и мамки спрашивайте...

— Да нет же, — Луковский привскочил на своем книжном сиденье, и облако пыли вскурилось над ним из потревоженной бумаги, — да нет! Это было мгновенное первое впечатление.

Инстинктивный протест... Пушкин неповторим в этом городе, и кто может, кто смеет назваться его именем здесь? Но это тотчас же прошло... И я увидел в вашем появлении здесь некую историческую закономерность, если хотите. Круг завершен, и на рассвете нового исторического периода в прежнее место приходит новый Александр Пушкин, в новом качестве. Это диалектика истории...

Александр Семенович насупился и свел брови.

— Эх ты, мать родная, — сказал он с досадой, — вы все свое мудрите! Мне от вас чего нужно? Чтоб вы мне про Пушкина, про всю его полную жизнь объяснили, про то, как он стихи складывал, об чем думал, с кем дружил... Я в этом направлении человек томный и ничего про в а ш е г о Пушкина по смыслу. А вы мне все мудреное несете, такое, что мозги набекрень сворачиваются. Уж тогда лучше дайте книжку какую-нибудь, попроще. Авось поднатужусь и как-нибудь сам разберусь, — закончил он с внезапной тоской.

Луковский вскочил и, как порыв вихря, пронесся по комнате.

— Простите, Александр Семенович! — закричал он, хватая обе руки коменданта худыми, цепкими пальцами. — Ради бога, простите... Эта дрянная привычка к высокопарным разглагольствованиям в интеллигентском болотце!.. Вы пришли ко мне за простым ржаным хлебом знания, а я кормлю вас изысканными пряностями... Простите! Ведь вам хочется ближе узнать и почувствовать вашего живого тезку... Понятно!.. Понятно! Я постараюсь удовлетворить ваше желание... Я так рад... Может быть, впервые в моей педагогической практике ко мне приходит так жадно ищущий знания ученик... И я сделаю все, что в моих силах... Сейчас... Сейчас!

Он выпустил руки Александра Семеновича и ринулся к одному из книжных шкафов. Распахнул дверцу так порывисто, что стекла жалобно задребезжали. Худые пальцы Луковского промчались по корешкам книг, как пальцы пианиста по клавишам в трудном пассаже, и выдернули одну из книг в коленкоровом синем переплете.

— Вот! — Луковский высоко поднял книгу над головой. — Вот! Здесь, Александр Семенович, вся жизнь Александра Сергеевича Пушкина. В эту рукопись я вложил двадцать три года любовного труда. Она не могла надеяться увидеть свет потому, что в ней я

рассказал правду о Пушкине и предал позору его убийц. Я не знаю, увидит ли она свет при моей жизни...

Луковский нежно погладил переплет книги. Некрасивое лицо его с растрепанной бородашкой просияло внутренним светом вдохновения. Гордо вздернулась голова. Он раскрыл книгу и, держа ее в вытянутых руках, сказал торжественно и сурово:

— Вы услышите сейчас о Пушкине!.. Не о том Пушкине, о котором я был принужден рассказывать много лет в гимназии ленивым олухам и шалопаям. Это не народный Пушкин. Это нарумяненный мертвец. Те, кто убил его, затащили его после смерти в тугой раззолоченный мундир придворного, подкрасили румянами казенного патриотизма, уродовали его мысли и чувства. Они хотели украсть его у народа и навсегда похоронить в лакейской царского дворца... Но час расплаты пришел, и они сами умерли в этой лакейской... Народ воскресит своего поэта, своего Пушкина...

Внезапно Луковский схватился за грудь и закашлялся. Несколько минут сухой, судорожный кашель сотрясал с головы до ног его тощее тело. Он прижал ко рту платок, и, когда отнял его, Александр Семенович увидел расплывающееся по полотну розовое пятно.

— Пустое! — тихим извиняющимся голосом ответил Луковский на тревожный взгляд Александра Семеновича. — У меня профессиональная болезнь русского педагога... Чахотка!.. Мне не очень много осталось жить, но это совершенно неважно.

Он спрятал платок в карман, пригладил рукой взбившиеся над лбом взмокшие волосы и, полузакрыв глаза, спокойно начал рассказ:

— Александр Сергеевич Пушкин, величайший русский поэт, наша национальная гордость на веки веков, стоящий наравне с величайшими гениями мировой поэзии, родился в Москве двадцать шестого мая тысяча семьсот девяносто девятого года...

Александр Семенович подался вперед в кресле, оперся подбородком на сжатый кулак и с жадным вниманием слушал.

В пустынных и покинутых парках эти две фигуры стали привычной и неотделимой частью пейзажа. Они каждый день

прогуливались в зеленом сумраке вечеряющих аллей.

Шагали рядом. Тяжелый и спокойный, кажущийся чугуном от тусклого блеска постаревшей кожаной куртки, Александр Семенович Пушкин. И нервно приплясывающий, забегающий вперед на развинченных ногах, Матвей Матвеевич Луковский. Его танцующая походка, отставленные от тела угловатые локти делали его схожим с большой галкой, жалостно подпрыгивавшей по аллее, волоча перебитые крылья.

Александр Семенович шел молча, изредка роняя несколько слов. Луковский говорил неугомонно и порывисто. В уголках его синеватых губ налипала пена. Тогда он тщательно вытирал рот платком и продолжал говорить.

Они стали неразлучны — комендант укрепленного района, военный моряк, бывший кочегар Александр Семенович Пушкин и чахоточный энтузиаст Матвей Матвеевич Луковский. Их накрепко связала история жизни другого Пушкина, Александра Сергеевича, о котором, пылая чахоточным жаром и восторгом, рассказывал Александру Семеновичу Луковский.

Теперь, проходя мимо своего бронзового тезки, отдыхающего на резной скамье, Александр Семенович Пушкин видел уже не беспечного мальчика. За этой беззаботной юношеской тенью вставала перед ним страшная страдальческая жизнь человека, родившегося в мае, чтобы маяться до конца. Человека, которого угораздило родиться с умом и талантом в душной гауптвахте николаевской казарменной России и жизнь которого шла под глухой рокот гвардейских барабанов, под мокрый хлест шпицрутенов по окровавленным спинам, под звон цепей, заковавших лучших друзей и товарищей.

Жизнь, каждый живой росток которой обрезался тупыми ножницами цензуры!

Жизнь, ежедневно и бесконечно унижаемая «отеческой» опекой царя и оскорбительным покровительством Бенкендорфа! Отравляемая клеветой и обидами!

Жизнь, ставшая игрищем посторонней, страшной и необоримой воли! Шедшая по чужой указке и оборванная с жестоким равнодушием в час, когда она стала помехой титулованному лакейству.

Александр Семенович останавливался перед памятником и подолгу всматривался в задумчивые юношеские черты Александра Сергеевича. Теперь ему казалось, что в них проступает уже начало той истребительной тоски и отчаяния, которые сопровождали эту жизнь своей черной могильной тенью.

Александр Семенович тяжело дышал, и пальцы его, засунутые в карманы кожаной куртки, сминались в кулаки с такой силой, что синели ногти. Лицо его темнело и становилось каменным. Редкие прохожие, пересекавшие в такие минуты лицейский садик, опасливо обходили его точно вросшую в землю фигуру.

В ежедневных прогулках с Луковским он узнавал каждый раз новое о своем тезке. Он открывался Александру Семеновичу, как открывается моряку неизвестная земля. Сначала в голубоватом блеске морской дали встает чуть заметная темная полоска. Она медленно растет. Она поднимается из океана, окруженная белыми всплесками прибоя. Из общего контура начинают ясно выделяться отдельные вершины. Зеленеют леса. Золотящимися просторами ложатся поля, пересеченные светлыми лентами дорог. Белеют здания. С грохотом рушится якорь, и с мостика остановившегося корабля разворачивается перед пришельцами жизнь на берегу, кипящая и полнокровная.

Стихи Александра Сергеевича зазвучали для Александра Семеновича во всей силе их неотразимого могущества. Густав Максимилианович Воробьев, первый посредник между Александром Семеновичем и Александром Сергеевичем, читал стихи внятно, но не умел оделять их полнотой звучания, волшебной жизнью. В жарком, взволнованном чтении Луковского стихи преображались. Александр Семенович не только слышал — он видел теперь каждую строчку. Стихи становились физически ощутимыми в его непосредственном и жадном восприятии. Он по-разному воспринимал их.

Будоражащий холодок восторга охватывал его от дерзких политических выпадов поэта. Он понимал уже теперь, какое героическое мужество нужно было для этих одиноких уколов лезвием стиха в железную броню николаевской монархии.

Его очаровывали сказки. Из «Золотого петушка» он многое запомнил наизусть с голоса Луковского. «Поп и Балда» привел его в исступленное восхищение.

Стихи, написанные в подражание древним классикам, с трудными мифологическими именами и непонятными намеками и символами, оставляли Александра Семеновича равнодушным и даже поднимали в нем злость.

— Ну, чего это? — говорил он тоскливо Луковскому. — Это ненужное, Матвей Матвеевич! Пустая игра! Вроде как самого себя под мышками щекотать. Только даром время тратил Александр Сергеевич. Сам же говорил, что нужно сердца человеческие пламенем жечь, а вместо того спичками балуется.

Стихи Александра Сергеевича становились для Александра Семеновича неотделимыми от его жизни. Они вросли в нее, как корни в землю. Они связывались незримыми, по неразрывным связям с этим городом, с парками, дворцами, памятниками, с Россией, с человечеством.

И однажды, после такой прогулки, прощаясь при выходе из парка под матовым светом встающей из-за деревьев луны, Александр Семенович, крепко стиснув руку Луковского, сказал с внезапной тоской:

— Эх, Матвей Матвеевич! Человек для всего народа писал. Кровью, можно сказать, писал, надрывался. А многие ли его знают? И проклятая же жизнь наша была, если девять десятых России в такой серости жили, как я вот! Обязательно, Матвей Матвеевич, надо, чтоб каждому человеку Александра Сергеевича прочитать насквозь. Как вы полагаете?

Худые пальцы Луковского слабо дрогнули в здоровой ладони Александра Семеновича, и, откашлявшись, он конфузливо ответил надломленным голосом:

— Замечательный вы человек, Александр Семенович, и радостно думать, сколько таких людей освободила из тьмы наша страна.

Александр Семенович совещался у себя в кабинете с Воробьевым о проведении объявленной мобилизации нескольких годов, когда в распахнувшуюся без стука дверь ворвался Матвей Матвеевич Луковский.

Он подошел к столу и остановился, задыхаясь. На его зеленовато-землистых щеках передвигающимися кирпичными пятнами плавал румянец.

Александр Семенович и Воробьев удивленно смотрели на него. Луковский был явно и чрезмерно взволнован.

— Что такое случилось? — спросил, вставая и подвигая Луковскому стул, Александр Семенович. — Вы на себя, Матвей Матвеевич, не похожи! Словно черти за вами гнались. Садитесь, отдышитесь и рассказывайте!

Луковский сел. Спустя минуту, болезненно скривив рот, сказал:

— Извините, что я ворвался к вам, Александр Семенович, без предупреждения! Но, думаю, кроме вас, никто не поймет и не поможет.

— А в чем помочь нужно?

Луковский нервно забарабанил пальцами по краю стола:

— Я сейчас был в совдепе, Александр Семенович. Узнал, что председатель распорядился снести Чесменскую колонну.

Александр Семенович, не сводя глаз с Луковского, приподнял плечи:

— Зачем?

— Как памятник старого режима. Видите ли, он мозолит глаза товарищу председателю.

Александр Семенович сощурил ресницы и пристальнее взглянул на Луковского.

— А может, и правильно, Матвей Матвеевич? — спросил он после долгой паузы. — Кому он на радость, этот столб? Для потехи его поставили, чтоб турецкую нацию унижить и генерала Орлова прославлять. Пожалуй, что и не к месту он сейчас!

Луковский стремительно отшатнулся на спинку стула и поднял перед собой раскрытые ладони, как будто закрываясь от удара.

— Александр Семенович! — вскричал он жалобно. — Неверно же это! Может быть, на сегодняшний день это так. Но нужно же уметь смотреть и вперед. Сейчас нам нужнее всего черный хлеб, но ведь боретесь-то вы не за черный хлеб, а за то, чтобы каждый имел белую булку. Детское Село — это сокровищница искусства для будущих поколений, которую мы обязаны сберечь даже в самых тяжелых испытаниях. Все здесь связано с памятью Александра Сергеевича

Пушкина. Эта колонна им воспета, она бессмертна, как Пушкин! Что вы ответите вашим детям, когда они вырастут и спросят: где Чесменская колонна, о которой мы читали, которую хотим видеть? Ее разрушили в год, когда в Детском Селе жил другой Пушкин, Александр Семенович, и он не захотел помешать этому бесцельному поступку...

Луковский захлебнулся словами, достал платок и вытер розоватую пену в углах губ. Александр Семенович тяжело молчал, опустив глаза на изодранную клеенку стола. Неожиданный оборот, приданный делу Луковским, поразил и смутил его. Он раздумывал и колебался. Наконец поднял глаза и сказал с усмешкой:

— Нашел чем взять, Матвей Матвеевич! Хитрость это ваша, конечно. Черепушка у вас интеллигентская, разные ходы умеете пользоваться. Ну ладно! Вместе в ответе будем. Попытаюсь... Вы, Густав Максимилианович, тут займитесь за меня, а я в совдеп пройду.

Александр Семенович застегнул куртку и вышел на улицу. Шел он медленно, в хмуром раздумье, а Луковский большой галкой ковылял сзади. У подъезда совдепа Александр Семенович вдруг резко повернулся и повелительно сказал спутнику, обращаясь на «ты»:

— Ты, Матвей Матвеевич, лучше иди домой и жди! Мы между собой скорей договоримся. А ты навредить можешь. Ступай!

И, махнув рукой, поднялся на крыльцо совдепа.

Председатель сидел в кабинете, осажденный десятком разозленных, обтрепанных баб, наступавших на него и кричавших зараз непонятные, но обидные слова.

Александр Семенович протиснулся сквозь бабью толпу, встал рядом с председателем и спокойно, сурово приказал:

— А ну, бабочки, повалите отсюда на минутку! Тут у нас дело экстренное, а вы пока прогуляйтесь на верхнюю палубу, прохладитесь ветерком!

В его тоне было такое но допускавшее возражений спокойствие и сила, что женщины сразу стихли и, одна за другой, гуськом вытиснулись из председательского кабинета.

Председатель вытер вспотевшую шею и растерянно сказал:

— Просто замучили... Откуда я им возьму? И как это ты их выпер, просто понять не могу!

— Уметь надо с людьми обращение иметь, — ответил Александр Семенович, садясь на промятый диван и закуривая. — Нет в тебе, председатель, престижа! Егозишь, а народ этого не любит.

— Ты престиж! — обидчиво протянул председатель и спросил: — Зачем пришел?

Александр Семенович выпустил дым и неторопливо ответил:

— Дело есть... Ты мне скажи, с чего это ты с камнями воевать вздумал?

— Это то есть как понимать? — насторожился председатель.

— А вот прослышал я, что ты распорядился Чесменскую колонну завтра сносить. Так, что ли?

— Ну? — Председатель еще больше насторожился.

— Глупость делаешь! Ни к чему это!

Председатель втянул в себя воздух и встал.

— Спасибо, конечно, товарищ Пушкин, за совет. Только ваше дело военное и внутреннего городского хозяйства не касается. Памятник старорежимный, торчит ни для чего, а камень первого качества. Мы его на братскую могилу употребим для жертв.

— Не выйдет, — мотнул головой Александр Семенович. — Задний ход, братишка! Не позволю я тебе этого, — сказал он спокойно и как бы вскользь.

Председатель выскочил из-за стола и остановился перед Александром Семеновичем. Глаза его блеснули злостью.

— Ты с каких пор хозяин? — спросил он угрожающе. — Чего путаешься? Или тебе люб памятник Катькиному мерину?

Александр Семенович усмехнулся.

— Если б мерин был, Катька бы его в постель не взяла, тебя подождала бы, — отрезал он, обретая былую военморскую неотразимость языка.

Удар подействовал, и председатель завертелся на месте от обиды и невозможности найти подходящий ответ. Не найдя, озлился и грубо брякнул:

— Иди, товарищ Пушкин, по свои дела! Я человек занятой. Мне некогда с тобой препираться. Решение проработано — и крышка. Памятник снесем, а если мешаться будешь, я на тебя управу найду.

Александр Семенович встал и поправил пояс.

— Ладно! Будь здоров! — сказал он равнодушно, протягивая руку. — Сноси! Только не забудь завтра с собой артиллерию прихватить. Без артиллерии не выйдет, братишка! Потому я сейчас у колонны охрану поставлю, пока тебя, дурака, разуму не научат.

И, не слушая председателя, хлопнул дверью.

Рано утром Луковский, снабженный пропуском и командировочным удостоверением уехал в Петроград с подписанным Александром Семеновичем письмом в Комитет по охране памятников искусства и старины.

Через час вереница детскосельских буржуев, мобилизованных совдепом на общественные работы, мрачно потянулась через солнечный Екатерининский парк с кирками и веревками под предводительством заведующего городским благоустройством. Они подошли к игрушечному краснокирпичному Адмиралтейству, где был приготовлен паром для переправы к колонне, и начали грузиться.

Но, едва паром оттолкнулся от берега, на обочине постамента колонны словно чудом вырос часовой и, недвусмысленно щелкнув затвором винтовки, направил ее на паром, прокричал во весь голос:

— Ворочай назад! Стрелять буду!

Среди буржуев, набивших паром, вспыхнула паника. Бывший гофмейстер двора его величества, толкавший паром шестом по правому борту, бросил шест и, прыгнув в воду, не оглядываясь заспешил к берегу.

Операция сорвалась.

Вечером из Петрограда приехал уполномоченный Петроградского исполкома с грозной бумагой председателю совдепа — прекратить самочинные действия и не трогать ни одного камня в Детском Селе без разрешения из Петрограда.

Александр Семенович, гуляя вечером с Луковским, остановился на берегу против колонны и, прищурясь, лукаво кивнул головой в сторону ее тонкой гранитной свечи:

— Ввел ты меня, Матвей Матвеевич, в грех! Не по сердцу мне эта дубина. Только ради Александра Сергеевича спас. И не знаю, что ему в ней приглянулось.

Осень подходила в багрянце листья, в холодке утренних хрустальных заморозков. Потом хлынули скучные, мелкие осенние бусенцы, заливая окрестности. По болотам пошли пузыри, гонимые ветрами и разлетающиеся брызгами. А под Псковом вспух и наливался гноем злобы генеральский пузырь Юденича.

Ночи и дни стали тревожными.

Гонимый ветрами интервенции, генеральский пузырь переползал по болотам, близясь к Петрограду.

К полночи, когда воздух становился плотным и звонким от холода, издалека доносилось тяжелое и глухое погромыхиванье орудий. С каждым днем оно надвигалось, становилось громче и весомее.

Ежедневные прогулки Александра Семеновича с Луковским оборвались.

Начиналась иная, пахнувшая мокрым ветром и кислотой пороха боевая жизнь, и Александр Семенович расстался с Александром Сергеевичем. Он не забыл о нем. Но события отодвинули Александра Сергеевича за страницы боевых и политических сводок, за проволочные заграждения, за ломаные ряды свежевырытых окопов.

Александр Семенович не покидал управления. Он засиживался с Воробьевым до поздней ночи и оставался ночевать там же, расстилая кожаную куртку на столе и подкладывая под голову связку старых газет.

В управлении наступала тревожная тишина. Потрескивала мебель, и в углу шуршали бумагой расшалившиеся мыши. Александр Семенович лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к нарастающему грохоту. Сон не приходил. Тогда из кармана куртки вынимался томик, и Пушкин читал Пушкина.

Он похудел, осунулся, зарос шершавой бородой.

В ноябрьское утро его тревожный и чуткий предутренний сон был прерван внезапными, сотрясающими дом раскатами. Он привскочил на столе, торопливо стал натягивать сапоги. И сейчас же в комнату вошел озабоченный Густав Максимилианович, держа в руках серую бумажку.

— В чем дело? — спросил Александр Семенович, прыгая на одной ноге.

— Юденич прорвал фронт. Белые у Павловска, в пятнадцать километрах южнее. Вам телеграмма из Петрограда, Александр Семенович!

Александр Семенович взял серый клочок. По нему тянулись лиловые, расплывшиеся на оберточной бумаге буквы:

«Коменданту детскосельского укрепрайона точка предлагается принять командование боевым участком точка принять меры недопущению противника в город точка исполнении донести наштафронт».

Александр Семенович бережно сложил бумажку и сунул ее в карман куртки. Повернулся к военруку, серьезный и строгий.

— Ну, Густав Максимилианович! Подошла наша пора. Не сдадим Детского Села пузатому таракану!

Густав Максимилианович вытянулся:

— Какие будут распоряжения по участку, товарищ Пушкин?

10

Было еще темно.

Фонарь стрелочника, стоявший на столе, расплывался по стенам будки мутными пятнами света, но в окно уже начинал сыпаться синеватый пепел рассвета.

Александр Семенович поднял голову от распластанной на столе двухверстки, протянул руку и, отломив краюху от буханки черного хлеба, вгрызся в нее.

— Сладкая пища — черный хлебец! — сказал он военруку. — Лучше нет еды.

Медленно, со вкусом, прожевал хлеб, утер губы ладонью, посмотрел на светлеющий квадрат окна и вдруг засмеялся.

— Что вы, Александр Семенович? — спросил военрук.

Александр Семенович потянулся так, что хрустнули плечи.

— Свою жизнь вспомнил, Густав Максимилианович. И даже странно мне стало, как иногда жизнь человеческая оборачивается. Сколько места в России; одних городов не сосчитать сразу, а надо ж было мне попасть в Детское, к Александру Сергеевичу в гости! И пошла от этого моя тревога...

— Тревога? — удивился военрук.

— Ну, как это сказать правильной?.. Не знаю. Только от него я другим человеком стал. Многое мне через него захотелось. И понял я, какие мы жили темные, словно слепые щенки. Возьмем меня, к примеру. Я ведь ничего, кроме революции, не смыслил. Да и к ней чутьем тянулся одним, вот как щенок ошупью титьку находит. А вот с Александром Сергеевичем повстречался, и ныне ясно мне стало, как много человеку знать нужно, и края тому знанию нет. В две жизни и то всего нужного не осилишь. Как это у Александра Сергеевича про разум сказано: «Да здравствуют музы, да здравствует разум...»

Александр Семенович замолчал и посмотрел в окно. Тусклый фонарь на столе жалко мигал, уступая комнатушку холодной синеве морозной зари.

— Смешно мне теперь вспомнить, — продолжал Александр Семенович, — как я впервые перед памятником Александра Сергеевича стоял, как баран перед новыми воротами. Силюсь вспомнить: что такое? Знакомо как будто, а мозги еле ворочаются. И как я Александра Сергеевича насчет приверженности к царю заподозрил. Дура лопаухая! Ну, а теперь, Густав Максимилианович, как генералишек доконаем — многое нам откроется. Только успевай!

За окном, раскатившись дребезгом в закопченных стеклах, гулко ударил пушечный выстрел и забили сухим треском винтовки.

Александр Семенович нахлобучил бескозырку.

— Вы здесь оставайтесь, Густав Максимилианович, распоряжайтесь, а я пройду по окопам. Начинается, а бойцы молодые, необстрелянные!

В дверях Александр Семенович повернулся на мгновение.

— Вот, загадываю я, Густав Максимилианович: настанет ли такое время, когда не будет по всей России человека, который бы не знал Александра Сергеевича? И так полагаю, что настанет. Владимир Ильич недаром дело начинал, он обо всем додумал заранее, — и об том, чтоб народу свет разума дать, додумал.

Дверь захлопнулась.

Густав Максимилианович Воробьев несколько секунд смотрел вслед ушедшему, часто мигая воспаленными от бессонницы веками. Потом сдвинул на лоб очки и платком протер глаза, внезапно заволкшиеся влажной мутью.

Бой гремел и грохотал над унылой осенней равниной.

Боевой участок отбивал третью яростную атаку ударных частей полковника Родзянко.

В будку, где сидел, управляя механикой боя, Густав Максимилианович Воробьев, только что явился связной с левого фланга участка с донесением командира роты.

Командир жестокими каракулями сообщал, что белые лезут напролом, и просил резервов. Густав Максимилианович посмотрел на связного бесконечно усталым взглядом.

— Передайте ротному, что никаких резервов больше нет. Пусть держится до последнего патрона и до последнего человека. Отступить нельзя и некуда, — нарочито сурово сказал он, сейчас же отводя глаза, зная, что этим приказом он обрекает на смерть сотню людей.

Связной вздохнул и взялся за ручку двери. Но дверь раскрылась сама, неожиданно и стремительно, ударив связного в плечо и отбросив его к стене.

На пороге стоял, задыхающийся и бледный, незнакомый красноармеец.

— Откуда?.. — начал Густав Максимилианович.

Но красноармеец предупредил вопрос:

— Товарищ военрук, — сказал он, и губы его запрыгали в неудержимой судороге, — товарища Пушкина... убили... Несут его сейчас.

Забыв на мгновение обо всем, Воробьев выскочил наружу.

Четверо красноармейцев, хлюпая бутсами по подтаивающей грязи, несли на шинели вытянувшееся тело. Свисали сапоги, задевая землю при каждом шаге несущих.

Густав Максимилианович подбежал. Он увидел бледное лицо Александра Семеновича, восково-прозрачное и без кровинки. Полуоткрытый рот обнажил ровные молодые зубы.

Густав Максимилианович нагнулся над телом.

— Александр Семенович! Товарищ Пушкин!

Веки Александра Семеновича слабо дрогнули. Он открыл глаза и поглядел на военрука странным, отсутствующим взглядом. Облизнул

побелевшие губы и с бессильной и мучительной улыбкой сказал:

— Не сдавай Детского, Густав Максимилианович! А я сыграл...

Густав Максимилианович выпрямился.

— Ребята! Мигом на патронную двуколку — и в город!

Красноармейцы подхватили шинель и быстрым шагом пошли за будку.

Густав Максимилианович машинально снял папаху. Плечи его ссутулились. Но сейчас же он обернулся на конский топот за спиной.

Подскакавший красноармеец оскалился торжествующей улыбкой:

— Товарищ военрук! Отбили! Бегут, сволочи, как зайцы! Наклали их полно болото.

12

Александр Семенович умирал.

Он лежал в крошечной лазаретной палате. Голова его, со спутанными волосами, росинками пота на лбу и запавшими глазами, глубоко ушла в подушки. Он часто и хрипло дышал. У кровати, не сводя глаз с заострившегося лица, сидели Густав Максимилианович и Луковский.

— Пить! — сказал Александр Семенович, и Воробьев поднес к его губам кружку с холодным чаем.

Застучав зубами о край кружки, Александр Семенович отпил два глотка и опять опустился на подушки.

— Скоро кончусь, — произнес он ясно и спокойно, и от этого голоса Воробьев едва не выронил кружку.

— Ерунда, Александр Семенович! — сказал он лживо бодрым голосом. — Поправитесь.

По губам умирающего скользнула жалкая улыбка.

— Себя утешаете, — сказал Александр Семенович. — Не нужно это. Я знаю... Пуля кишки прорвала, с этого не выживают.

Он еще мучительней усмехнулся и тихо добавил:

— Как Александр Сергеевич, помру! И рана такая же!

Луковский отвернулся к стене и странно засопел.

Александр Семенович вытянул руку и коснулся его колена.

— Не горюй, Матвей Матвеевич! Видишь, как судьба обернулась. Думал ты, что помрешь раньше меня, а выходит наоборот.

Он закусил губы и беспокойно пошевелился от надвинувшейся боли.

— Жалко, — продолжал он через минуту, — не доживу до хороших времен. Переменится жизнь, дети подрастут, а я...

Он помолчал. Пальцы правой руки судорожно сжали одеяло.

— Ну что ж... Не всем жить! Кому-нибудь и умирать надо, чтобы другим жилось по-человечески. Не даром умру. Было за что... Не дойдет Юденич до Петрограда... Не пропустим... Верно?

— Не пропустим, Александр Семенович, — сдавленным голосом ответил Воробьев, стараясь говорить твердо.

Наступила долгая смутная тишина.

Внезапно Александр Семенович широко открыл глаза и схватил Воробьева за руку.

— Похороните меня, — голос Александра Семеновича стал чистым и звонким, — похороните в парке, там, где братская могила...

Он замолк, поднял руку, провел по лбу и с извиняющейся улыбкой тихо закончил:

— Вздор это, конечно... Лежать все равно в какой яме... Только припомнилось мне...

Александр Семенович вдруг приподнялся на локте и медленно, протяжно проговорил, как в бреду:

...Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать.

Вытянулся, словно прислушиваясь к этим звукам, и, опускаясь на подушки, прошептал:

— Слова какие, друзья! Какие слова!

Он закрыл глаза и как будто задремал.

Больше он не произнес ни слова до рассвета. Когда в палате посветлело, легкая дрожь прошла по его телу. Он пошевелился и уже неповинуящимися губами прошептал что-то непонятное. Нагнувшемуся к нему Луковскому не удалось разобрать ничего.

Бульканье в горле оборвало речь умирающего.

Александр Семенович впал в забытие.

Через полчаса он глубоко вздохнул и затих.

Густав Максимилианович и Луковский исполнили его просьбу.
Александр Семенович Пушкин похоронен в братской могиле
Александровского парка.

Октябрь-ноябрь 1936 г.

К. Г. ПАУСТОВСКИЙ
Из книги «Золотая Роза»

ПЕРВЫЙ РАССКАЗ

Я возвращался на пароходе по Припяти из местечка Чернобыль в Киев. Лето я прожил под Чернобылем, в запущенном имении отставного генерала Левковича. Мой классный наставник устроил меня в семью Левковича в качестве домашнего учителя. Я должен был подготовить генеральского сынка-балбеса к двум осенним переэкзаменовкам.

Старый помещичий дом стоял в низине. По вечерам курился вокруг холодный туман. Лягушки надрывались в окрестных болотах, и до головной боли пахло багульником.

Шалые сыновья Левковича били диких уток из ружей прямо с террасы во время вечернего чая.

Сам Левкович — тучный, сивоусый, злой, с вытаращенными черными глазами — весь день сидел на террасе в мягком кресле и задыхался от астмы. Изредка он хрипло кричал:

— Не семья, а шайка бездельников! Кабак! Всех выгоню к чертовой тетке! Лишу наследства!

Но никто не обращал внимания на его сиплые крики. Имением и домом заправляла его жена — «мадам Левкович», — еще не старая, игривая, но очень скупая женщина. Все лето она проходила в скрипучем корсете.

Кроме шалопаев сыновей, у Левковича была дочь — девушка лет двадцати. Звали ее «Жанна д'Арк». С утра до ночи она носилась верхом на бешеном караковом жеребце, сидя на нем по-мужски, и разыгрывала из себя демоническую женщину.

Она любила повторять, чаще всего совершенно бессмысленно, слово «презираю».

Когда меня познакомили с ней, она протянула мне с коня руку и, глядя в глаза, сказала:

— Презираю!

Я не чаял, как вырваться из этой оголтелой семьи, и почувствовал огромное облегчение, когда наконец сел в телегу, на сено, покрытое рядом, и кучер «Игнатий Лойола» (в семье Левковичей всем давали

исторические прозвища), а попросту Игнат, дернул за веревочные вожжи, и мы шагом поплелись в Чернобыль.

Тишина, стоявшая в низкорослом полесье, встретила нас, как только мы выехали за ворота усадьбы.

В Чернобыль мы притащились только к закату и заночевали на постоялом дворе. Пароход запаздывал.

Постоялый двор держал пожилой еврей по фамилии Кушер.

Он уложил меня спать в маленьком зальце с портретами предков — седобородых старцев в шелковых ермолках и старух в париках и черных кружевных шالях...

От кухонной лампочки воняло керосином. Как только я лег на высокую, душную перину, на меня изо всех щелей тучами двинулись клопы.

Я вскочил, поспешно оделся и вышел на крыльцо. Дом стоял у прибрежного песка. Тускло поблескивала Припять. На берегу штабелями лежали доски.

Я сел на скамейку на крыльце и поднял воротник гимназической шинели. Ночь была холодная. Меня знобило.

На ступеньках сидели двое незнакомых людей. В темноте я их не мог разглядеть. Один курил махорку, другой сидел, сгорбившись, и будто спал. Со двора слышался мощный храп Игнатия Лойолы, — он лег в телеге, на сене, и я теперь завидовал ему.

— Клопы? — спросил меня высоким голосом человек, кутивший махорку.

Я узнал его по голосу. Это был низенький хмурый еврей в калошах на босу ногу. Когда мы с Игнатием Лойолой приехали, он отворил нам ворота во двор и потребовал за это десять копеек. Я дал ему гривенник. Кушер заметил это и закричал из окна:

— Марш с моего двора, голота! Тысячу раз тебе повторять!

Но человек в калошах даже не оглянулся на Кушера. Он подмигнул мне и сказал:

— Вы слышали? Каждый чужой гривенник не дает ему спать. Таки он подохнет от жадности, попомните мое слово!

Когда я спросил Кушера, что это за человек, он неохотно ответил:

— А, Иоська! Помешанный. Ну, я понимаю — если тебе не с чего жить, то по крайности уважай людей. А не смотри на них, как царь Давид со своего трона.

— За тех клопов, — сказал мне Иоська, затыгиваясь, и я увидел щетину у него на щеках, — вы еще заплатите Кушере добавочные гроши. Раз человек пробивается до богатства, он ничем не побрезгует.

— Иося! — неожиданно сказал глухим и злым голосом сгорбленный человек. За что ты загубил Христю? Второй год нету у меня сна...

— Это ж надо, Никифор, не иметь ни капли разума, чтобы говорить такие поганые слова! — сердито воскликнул Иося. — Я ее загубил?! Пойдите до вашего святого отца Михаила и спросите, кто ее загубил. Или до исправника Сухаренки.

— Доня моя! — сказал с отчаянием Никифор. — Закатилось мое солнце по-за болотами на веки вечные.

— Хватит! — прикрикнул на него Иося.

— Панихиду по ней отслужить — и тоне позволяют! — не слушая Иосю, сказал Никифор. — Дойду в Киеве до самого митрополита. Не отстану, пока не помилует.

— Хватит! — повторил Иося. — За один ее волос я бы продал всю свою паршивую жизнь. А вы говорите!

Он вдруг заплакал, сдерживаясь и всхлипывая. Оттого что он сдерживался, из горла у него вырывался слабый писк.

— Плачь, дурной, — спокойно, даже одобрительно, сказал Никифор. — Кабы не то, что Христя тебя любила, мишуреса несчастного, я бы разом кончил с тобой. Взял бы грех на душу.

— Кончайте! — крикнул Иося. — Пожалуйста! Может, я того и хочу. Мне же лучше гнить в могиле.

— Дурной ты был и остался дурной, — печально ответил Никифор. — Вот ворочусь из Киева, тогда и кончу тебя, чтобы ты не травил мне сердце. Забедовал я совсем.

— А на кого вы хату покинули? — спросил Иося, перестав плакать.

— Ни на кого. Заколотил — и годи! Нужна мне теперь та хата, как мертвому понюшка!

Я слушал этот непонятный разговор. Над Припятью стеной подымался туман. Сырые доски пахли лекарственно и резко. По местечку нехотя брехали собаки.

— Хоть бы знать, когда припрется та чертова макитра, тот пароход! — с досадой сказал Никифор. — Выпили бы мы, Иосиф,

косушку. Оно бы на душе и полегчало. Да где ее теперь взять, косушку?

Я согрелся в шинели и задремал, прислонившись к стене.

Утром пароход не пришел. Кушер сказал, что он заночевал где-нибудь из-за тумана и беспокоиться нечего — все равно пароход простоит в Чернобыле несколько часов.

Я напился чаю. Игнатий Лойола уехал.

От скуки я пошел побродить по местечку. На главной улице были открыты лавчонки. Из них несло селедкой и стиральным мылом. В дверях парикмахерской с висевшей на одном костыле вывеской стоял в халате веснушчатый парикмахер и грыз семечки.

От нечего делать я зашел побриться. Парикмахер, вздыхая, намылил мне щеки холодной пеной и начал обычный в провинциальных парикмахерских деликатный допрос — кто я и зачем попал в это местечко.

Вдруг по дощатому тротуару мимо окна промчались свистя и гримасничая, мальчишки, и знакомый голос Иоськи прокричал:

Не разбужу я песней удалою
Роскошный сон красавицы моей.

— Лазарь! — крикнул из-за дощатой перегородки женский голос. — Закрой на засов двери! Опять Иоська пьяный. Что ж это делается, боже мой!

Парикмахер закрыл дверь на засов и задернул занавеску.

— Как увидит кого в парикмахерской, — объяснил он со вздохом, — так сейчас же зайдет и будет петь, танцевать и плакать.

— А что с ним? — спросил я.

Но парикмахер не успел ответить. Из-за перегородки вышла молодая растрепанная женщина с удивленными блестящими от волнения глазами.

— Слушайте, клиент! — сказала она. — Во-первых, здравствуйте! А во-вторых, Лазарь ничего не сообразит рассказать, потому что мужчина не в состоянии понять женское сердце. Что?! Не качай головой, Лазарь! Так слушайте и хорошо подумайте про то, что

я вам скажу. Чтоб вы знали, на какой ад идет девушка от любви к молодым людям.

— Маня, — сказал парикмахер, — не увлекайся.

Иоська кричал где-то уже в отдалении:

Как умру, так приходите
На мою могилку,
Колбасы мне принесите
Да ханжи бутылку!

— Какой ужас! — сказала Маня. — И это Иоська! Тот Иоська, что должен был учиться на фельдшера в Киеве, сын Песи — самой доброй женщины в Чернобыле. Слава богу, она не дожила до такого позора. Вы понимаете, клиент, как надо женщине полюбить мужчину, чтобы пойти из-за него на пытку!

— Что ты такое говоришь, Маня! — воскликнул парикмахер. — Клиент же ничего от тебя не поймет.

— Была у нас ярмарка, — сказала Маня. — На ту ярмарку приехал вдовый лесник Никифор из-под Карпиловки со своей единственной дочерью Христей. Ох, если бы вы ее видели! Вы бы потеряли рассудок! Я вам скажу, — глаза были синие, как то небо, а косы светлые, будто она их мыла в золотой воде. А ласковая! А тонкая, как я не знаю что! Ну, Иоська увидел ее и потерял дар речи. Полюбил. Так в этом, я вам скажу, ничего удивительного я не нахожу. Сам царь, если бы ее встретил, тоже начал бы сохнуть. Удивительно то, что она его полюбила. Вы же его видели? Маленький, как тот мальчик, весь рыжий, голос писклявый, ничего не делает без причуд. Одним словом, кинула Христя отца и пришла до Иоськи в дом. Вы пойдите посмотрите этот дом! Полюбуйтесь! Козе в нем тесно было бы жить, не то что им втроем. Одно только, что чисто. И что же вы скажете — Песя ее приняла, как королевскую принцессу. И Христя жила с Иоськой, как жена, и он был такой веселый, Иоська, — светился, как фонарь. А вы знаете, что это значит, когда еврей живет с православной? Их же нельзя повенчать. Все местечко закудахтало как сто квочек. Тогда Иоська решил выкреститься и пошел в церковь до отца Михаила. А тот ему говорит: «Раньше следовало бы

выкреститься, а потом портить христианскую девушку. Ты сделал навыворот, и теперь без разрешения митрополита я тебя, иерусалимский дворянин, не окрещу». Иоська обозвал его нехорошим словом и ушел. Тогда вмешался наш раввин, наш ребе. Он узнал, что Иоська ходил креститься, и проклял его за это в синагоге до десятого колена. А тут еще приехал Никифор, валялся в ногах у Христи, просил, чтобы вернулась домой. Так она только плакала и ни за что не вернулась. Ну, конечно, мальчишек кто-то подговорил. Они как увидят Христю, так и кричат: «Эй, Христя, кошерная! Хочешь кусочек тrefного мяса?» И показывают ей дули. На улице все оглядываются, смотрят ей вслед, смеются. А другой раз кто-нибудь возьмет да и кинет ей в спину из-за забора кусок навоза. Весь дом тети Песи измазали дегтем, вы представляете?

— Ой, тетя Песя! — вздохнул парикмахер. — Это была женщина!

— Пстой, дай рассказать! — прикрикнула на него Маня. — Раввин позвал до себя тетю Песю и сказал: «Вы развели блуд в своем доме, уважаемая Песя Израилевна. Вы преступили закон. За это я проклянущу ваш дом и Иегова покарает вас, как продажную женщину. Поимейте жалость к своей седой голове». Так визнаете, что она ему ответила! «Вы не раввин, — сказала она. — Вы городской! Люди любят друг друга, так какое ваше дело лезть до них со своими жирными от смальца лапами!» Плюнула и ушла. Тогда раввин и ее проклял в синагоге. Вот как у нас умеют мордовать людей. Только вы никому этого не передавайте. Все местечко только и жило, что этим делом. Наконец Иоську и Христю потребовал до себя исправник Сухаренко и сказал: «Тебя, Иоська, за кощунственное оскорбление иерея греко-российской церкви отца Михаила я отдаю под суд. И ты попробуешь у меня каторги. А Христю я силой верну отцу. Даю три дня на размышление. Вы мне взбаламутили весь уезд. Я за вас получу нагоняй от господина губернатора».

Тут же Сухаренко посадил Иоську в холодную, — говорил потом, что хотел только попугать. И что же случается, как вы думаете? Вы мне не поверите, но Христя умерла от горя. На нее было жалко смотреть. Прямо сердце останавливалось у добрых людей. Она плакала несколько дней, а потом у нее уже и слез не хватило, и глаза высохли, и она ничего не ела. Только просила, чтобы допустили ее до Иоськи. А в самый Иом-Кипур, в Судный день, она как уснула

вечером, так и не проснулась. И лежала такая белая и счастливая, — должно быть, благодарила бога, что он взял ее от этой паскудной жизни. Зачем ей такая кара, что она полюбила того Иоську? Скажите же мне: зачем?! Нету разве других людей на свете? Иоську Сухаренко тут же выпустил, но он сделался совсем психический и с того дня начал пить и выпрашивать у людей на хлеб.

— Я б на его месте предпочел умереть, — сказал парикмахер. — Пустил бы себе пулю в лоб.

— Ой, какие вы храбрецы! — воскликнула Маня. — А как дойдет до дела, то будете обходить смерть за сто верст. Вы же не имеете понятия, как любовь может спалить до пепла женское сердце.

— Что женское, что мужское сердце, — ответил парикмахер и пожал плечами, — какая разница!

Из парикмахерской я пошел на постоялый двор. Ни Иоськи, ни Никифора там не было. Кушер сидел в потертом жилете у окна и пил чай. В комнате жужжали жирные мухи.

Маленький пароход пришел только к вечеру. Он простоял в Чернобыле до ночи. Мне дали место в салоне на облезлом клееночном диване.

Ночью опять нанесло туман. Пароход приткнулся носом к берегу. Так он простоял до позднего утра, пока туман не рассеялся. Никифора я на пароходе не нашел. Должно быть, он запил вместе с Иоськой.

Я так подробно рассказал об этом случае потому, что, вернувшись в Киев, тотчас сжег тетради с первыми ранними своими стихами. Без всякой жалости я смотрел, как превращались в пепел изысканные фразы и гибли без возврата «пенные хрустали», «сапфировые небеса», таверны и пляски гитан.

Отрезвление пришло сразу. Любовь, оказывается, сопровождалась не «томлением умирающих лилий», а комьями навоза. Его бросали в спину прекрасной, любящей женщине.

Думая об этом, я и решил написать свой первый, как я говорил себе, «настоящий рассказ» о судьбе Христи.

Я долго мучился над ним и не понимал, почему он выходит у меня вялым и бледным, несмотря на трагическое содержание. Потом я догадался. Во-первых, потому, что рассказ был написан с чужих слов, и, во-вторых, потому, что я увлекся любовью Христи и оставил в стороне изуверский быт местечка.

Я заново переписал рассказ. Меня самого удивляло, что в него никак «не ложились» изысканные и красивые слова. Он требовал правды и простоты.

Когда я принес этот свой первый рассказ в редакцию журнала, где раньше печатали мои стихи, редактор сказал:

— Зря тратили порох, молодой человек. Рассказ напечатать нельзя. За одного исправника нам пропишут кузькину мать. Но вообще рассказ сделан крепко. Принесите нам что-нибудь другое. И подписывайтесь, пожалуйста, только псевдонимом. Вы же гимназист. Вас за это выгонят из гимназии.

Я забрал рассказ и спрятал его. Только на следующую весну я достал его, прочел и понял еще одно обстоятельство: в рассказе не чувствовалось автора — ни его гнева, ни мыслей, ни преклонения перед любовью Христи.

Тогда я снова переделал рассказ и отнес его редактору — не для печатания, а для оценки.

Редактор прочел его при мне, встал, похлопал меня по плечу и сказал только одно слово: — Благословляю!

Так впервые я убедился в том, что главное для писателя — это с наибольшей полнотой и щедростью выразить себя в любой вещи, даже в таком маленьком рассказе, и тем самым выразить свое время и свой народ. В этом выражении себя ничто не должно сдерживать писателя — ни ложный стыд перед читателями, ни страх повторить то, что уже было сказано (но по-иному) другими писателями, ни оглядка на критиков и редактора.

Во время работы надо забыть обо всем и писать как бы для себя или для самого дорогого человека на свете.

Нужно дать свободу своему внутреннему миру, открыть для него все шлюзы и вдруг с изумлением увидеть, что в твоём сознании заключено гораздо больше мыслей, чувств и поэтической силы, чем ты предполагал.

Творческий процесс в самом своем течении приобретает новые качества, усложняется и богатеет.

Это похоже на весну в природе. Солнечная теплота неизменна. Но она растапливает снег, нагревает воздух, почву и деревья. Земля наполняется шумом, плеском, игрой капель и талых вод — тысячами

признаков весны, тогда как, повторяю, солнечная теплота остается неизменной.

Так и в творчестве. Сознание остается неизменным в своей сущности, но вызывает во время работы вихри, потоки, каскады новых мыслей и образов, ощущений и слов. Поэтому иногда человек сам удивляется тому, что написал.

Писателем может быть только тот, у кого есть что сказать людям нового, значительного и интересного, тот человек, который видит многое, чего остальные не замечают.

Что касается меня, то очень скоро я понял, что могу сказать до обидного мало. И что порыв к творчеству может так же легко угаснуть, как и возник, если оставить его без пищи. Слишком небогат и узок был запас моих житейских наблюдений.

В то время книга стояла у меня над жизнью, а не жизнь над книгой. Нужно было наполнить себя жизнью до самых краев.

Поняв это, я совершенно бросил писать — на десять лет — и, как говорил Горький, «ушел в люди», начал скитаться по России, менять профессии и общаться с самыми разными людьми.

Но это не была искусственно созданная жизнь. Я не был профессиональным наблюдателем или сборщиком фактов.

Нет! Я просто жил, не стараясь хоть что-нибудь записывать или запоминать для будущих книг.

Я жил, работал, любил, страдал, надеялся, мечтал, зная только одно — что рано или поздно, в зрелом возрасте или, может быть, даже в старости, но я начну писать, вовсе не оттого, что я поставил себе такую задачу, а потому, что этого требовало мое существо. И потому, что литература была для меня самым великолепным явлением в мире.

1955

СЛУЧАЙ В МАГАЗИНЕ АЛЬШВАНГА

Зимой 1921 года я жил в Одессе, в бывшем магазине готового платья «Альшванг и компания». Я занял явочным порядком примерочную на втором этаже.

В моем распоряжении были три большие комнаты с зеркалами из бемского стекла. Зеркала так крепко были вмурованы в стены, что все попытки — и мои и поэта Эдуарда Багрицкого — выломать эти зеркала, чтобы обменять их на продукты на Новом базаре, ни к чему не привели. Ни одно зеркало даже не треснуло.

В примерочной не было никакой мебели, кроме трех пустых ящиков с гнилой стружкой. Хорошо еще, что стеклянная дверь легко снималась с петель. Каждый вечер я снимал ее, клал на два ящика и устраивал на этой двери свою постель.

Стеклянная дверь была очень скользкая, и потому по несколько раз за ночь старый тюфяк сползало нее вместе со мной и сваливался на пол.

Как только тюфяк начинал двигаться, я тотчас просыпался и лежал не дыша, боясь пошевелить даже пальцем, глупо надеясь, что, может быть, тюфяк остановится. Но он сползал медленно и неумолимо, и моя хитрость не помогала.

Это было совсем не смешно. Зима стояла свирепая. Море замерзло от порта до Малого Фонтана. Жестокий норд-ост полировал гранитные мостовые. Снег не выпал ни разу, и от этого холод казался гораздо холоднее, чем если бы на улицах лежал снег.

В примерочной стояла маленькая жестяная печка-«буржуйка». Топить ее было нечем. Да и невозможно было согреть этой жалкой печуркой три огромные комнаты. Поэтому на «буржуйке» я только кипятил морковный чай. Для этого хватало нескольких старых газет.

На третьем ящике был устроен стол. На нем по вечерам я зажигал коптилку.

Я ложился, наваливал на себя все теплое, что у меня было, и читал при свете коптилки стихи Хосе Мариа Эредиа в переводе Георгия Шенгели. Стихи были изданы в Одессе в этот голодный год, и я могу засвидетельствовать, что они не ослабили нашего мужества.

Мы чувствовали себя стойкими, как римляне, и вспоминали стихи того же Шенгели: «Друзья, мы римляне, мы истекаем кровью...»

Кровью мы, конечно, не истекали, но все же и нам, молодым и веселым людям, бывало иногда чересчур холодно и голодно. Но никто не роптал.

Внизу, в первом этаже магазина, развертывала суетливую и несколько подозрительную деятельность некая художественная артель. Во главе этого предприятия стоял старый ворчливый живописец, известный в Одессе под кличкой «Король вывесок».

Артель принимала заказы на вывески, шитье женских шапочек, изготовление «деревяшек» (женских туфель, производство которых отличалось античной простотой: к деревянной подошве приколачивалось всего несколько тесемок!) и на рисование реклам для кино (их писали клеевыми красками на кривой фанере).

Но однажды мастерской повезло, и она получила заказ на так называемое «носовое украшение» для единственного в то время черноморского парохода «Пестель». Он собирался идти первым рейсом в Батум.

Сооружение это сделали из листового железа, а затем расписали по черному фону золотым растительным орнаментом.

Эта работа увлекла всех, и даже милиционер Жора Козловский отлучался иной раз с соседнего поста, чтобы посмотреть на нее.

Я работал тогда секретарем в газете «Моряк». В ней вообще работало много молодых писателей, в том числе Катаев, Багрицкий, Бабель, Олеша и Ильф. Из старых, опытных писателей часто заходил к нам в редакцию только Андрей Соболев — милый, всегда чем-нибудь взволнованный, неусидчивый человек.

Однажды Соболев принес в «Моряк» свой рассказ, раздерганный, спутанный, хотя и интересный по теме и, безусловно, талантливый. Все прочли этот рассказ и смутились: печатать его в таком небрежном виде было нельзя. Предложить Соболеву исправить его никто не решался. В этом отношении Соболев был неумолим — и не столько из-за авторского самолюбия (его-то как раз у Соболева почти не было), сколько из-за нервозности: он не мог возвращаться к написанным своим вещам и терял к ним интерес.

Мы сидели и думали: что делать? Сидел с нами и наш корректор, старик Благов, бывший директор самой распространенной в России

газеты «Русское слово», правая рука знаменитого издателя Сытина.

Это был неразговорчивый человек, напуганный своим прошлым. Всей своей солидной фигурой он совершенно не вязался с оборванной и шумной молодежью нашей редакции.

Я забрал рукопись Соболя с собой в магазин Альшванга, чтобы прочесть ее еще раз. Поздним вечером (было не больше десяти часов, но город, погруженный в темноту, пустел уже в сумерки, и только ветер злорадно выл на перекрестках) милиционер Жора Козловский постучал в дверь магазина.

Я свернул тугой жгут из газеты, зажег его и пошел с ним, как с факелом, открывать тяжелую магазинную дверь, заложенную ржавым куском газовой трубы. Коптилку брать с собой было нельзя — она гасла не только от самого слабого колебания воздуха, но даже от пристального взгляда.

— К вам гражданин просится, — сказал Жора. — Удостоверьте его личность, тогда я его впущу. Тут мастерские. Одних красок, говорят, на триста миллионов рублей.

Конечно, если принять во внимание, что я, например, получал в «Моряке» миллион рублей в месяц (по базарным ценам не хватало на сорок коробков спичек), то эта сумма была не такой уж баснословной, как казалось Жоре.

За дверью стоял Благов. Я удостоверил его личность. Жора пустил его в магазин и сказал, что часа через два он придёт к нам погреться и попить кипятку.

— Вот что, — сказал Благов. — Я все думаю об этом рассказе Соболя. Талантливая вещь. Нельзя, чтобы она пропала. У меня, знаете, как у старого газетного волка, привычка не выпускать из рук хорошие рассказы.

— Что же поделаешь! — ответил я.

— Дайте мне рукопись. Клянусь честью, я не изменю в ней ни слова. Я останусь здесь, потому что возвращаться домой, на Ланжерон, невозможно, — наверняка разденут. И при вас я пройду по рукописи.

— Что значит «пройду»? — спросил я. — «Пройтись» — это значит выправить.

— Я же вам сказал, что не выброшу и не впишу ни одного слова.

— А что же вы сделаете?

— А вот увидите.

В словах Благова я почувствовал нечто загадочное. Какая-то тайна вошла в эту зимнюю штормовую ночь в магазин Альшванга вместе с этим спокойным человеком. Надо было узнать эту тайну, и поэтому я согласился.

Благов вынул из кармана огарок необыкновенно толстой церковной свечи. Золотые полосы вились по ней спиралью. Он зажег этот огарок, поставил его на ящик, сел на мой потрепанный чемодан и склонился над рукописью с плоским плотницким карандашом в руке.

Среди ночи пришел Жора Козловский. Я как раз вскипятил воду и заваривал чай, но на этот раз не из сушеной моркови, а из мелко нарезанных и поджаренных кусочков свеклы.

— Поимейте в виду, — сказал Жора, — что издали вы похожи на вылитых фальшивомонетчиков. Чего это вы тут делаете?

— Исправляем рассказ, — ответил я. — Для очередного номера.

— Поимейте в виду, — снова сказал Жора, — что не каждый работник милиции поймет, чем вы занимаетесь. Благодарите бога, которого, конечно, нет, что тут я стою на посту, а не какой-нибудь другой тютя. Для меня культура выше всего. А что касается фальшивомонетчиков, то это такие артисты, что из одного и того же куска навоза сделают доллары и удостоверение на право жительства. В музее Лувр в Париже лежит, говорят, на черной бархатной подушке мраморная рука неопикуемой красоты. Так то не рука Сары Бернар, Шопена или Веры Холодной. То слепок с руки самого знаменитого фальшивомонетчика в Европе. Забыл, как его звали. В свое время ему отрубили голову, а руку выставили, как будто он был скрипач-виртуоз. Поучительная история?

— Не очень, — ответил я. — У вас есть сахарин?

— Есть, — ответил Жора. — В таблетках. Могу поделиться.

Благов кончил работу над рукописью только к утру. Мне он рукописи не показал, пока мы не пришли в редакцию и машинистка не переписала ее начисто.

Я прочел рассказ и онемел. Это была прозрачная литая проза. Все стало выпуклым, ясным. От прежней скомканности и словесного разброда не осталось и тени. При этом действительно не было выброшено или прибавлено ни одного слова.

Я посмотрел на Благова. Он курил толстую папиросу из черного, как чай, кубанского табака и усмехался.

— Это чудо! — сказал я. — Как вы это сделали?

— Да просто расставил правильно все знаки препинания. У Соболя с ними форменный кавардак. Особенно тщательно я расставил точки. И абзацы. Это великая вещь, милый мой. Еще Пушкин говорил о знаках препинания. Они существуют, чтобы выделить мысль, привести слова в правильное соотношение и дать фразе легкость и правильное звучание. Знаки препинания — это как нотные знаки. Они твердо держат текст и не дают ему рассыпаться.

Рассказ был напечатан. А на следующий день в редакцию ворвался Соболев. Он был, как всегда, без кепки, волосы его были растрепаны, а глаза горели непонятым огнем.

— Кто трогал мой рассказ? — закричал он неслыханным голосом и с размаху ударил палкой по столу, где лежали комплекты газет. Пыль густым облаком взлетела над столом.

— Никто не трогал, — ответил я. — Можете проверить текст.

— Ложь! — крикнул Соболев. — Брехня! Я все равно узнаю, кто трогал!

Запахло скандалом. Робкие сотрудники начали быстро исчезать из комнаты. Но, как всегда, на шум примчались, стуча «деревяшками», обе наши машинистки — Люсьена и Люся.

Тогда Благов сказал спокойно и даже унылым голосом:

— Если вы считаете, что правильно расставить в вашем рассказе знаки препинания — это значит тронуть его, то извольте: трогал его я. По своей обязанности корректора.

Соболев бросился к Благову, схватил его за руки, крепко потряс их, потом обнял старика и троекратно, по-московски, поцеловал его.

— Спасибо! — сказал взволнованно Соболев. — Вы дали мне чудесный урок. Но только жалко, что так поздно. Я чувствую себя преступником по отношению к своим прежним вещам.

Вечером Соболев достал где-то полбутылки коньяка и принес в магазин Альшванга. Мы позвали Благова, пришли Багрицкий и Жора Козловский, сменившийся с поста, и мы выпили коньяк во славу литературы и знаков препинания.

После этого я окончательно убедился, с какой поразительной силой действует на читателя точка, поставленная в нужном месте и

вовремя.

1955

notes

Примечания

1

Эй. Ламбер! Где Ламбер? Видел ты Ламбера? (*фр.*)

о мой милейший Карльхен! Матушка, матушка, матушка! (нем.:о
mein allerliebster Karlchen! Mutter, Mutter, Mutter!)

3

весь (нем.: ganz).

4

Наш Карльхен, наш милейший Карльхен умрет! (*нем.:* Unser Karlchen, unser allerliebster Karlchen wird sterben!)

ЭТО БЫЛ МОЙ СЫН, ЭТО БЫЛ МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ СЫН! (нем.: das war mein Sohn, das war mein einziger Sohn!)

6

Мой отец... мой дед... (*нем.:* Mein Vater... mein Großvater...)

7

пятьдесят (*нем.:*funfzig)

Слава богу! (*нем.*:Gott sei dank!)

9

Пандан — подобие, соответствие (от *фр.* pendant)

передовые статьи на политические темы (от *фр.premier-politique*).

Кстати (*фр.*).

Гоф-рат — здесь: чиновник (от *нем.* Hofrat)

так (*лат.*).

Кизлярки. (Примеч. Н. С. Лескова.)

15

танец (от *фр. danse*).

«Поп Федот» не с ветра взят: император Александр Павлович перед своею кончиною в Таганроге исповедовался у священника Алексея *Федотова-Чеховского*, которой после того именовался «духовником его величества», и любил ставить всем на вид это совершенно случайное обстоятельство. Вот этот-то *Федотов-Чеховский*, очевидно, и есть легендарный «поп Федот». (Примеч. Н. С. Лескова.)

это очень хорошо (от *фр.с`est très joli*).

Три фунта. (*Примеч. К. М. Станюковича*)

Здесь: приличий (от *фр.* les apparences).

мой муж (от *φρ. mon mari*).

Честное слово (от *фр.* parole d'honneur).

В тексте расхождение: ср. вышеприведенный текст.

Позже (*нем.*).

Хорошо (*нем.*).

осторожно (нем.).

Конец (*ит.*)

Но можно ее и не писать, так как градовцам читать ее некогда, а прочим — неинтересно. (*Примеч. А. П. Платонова.*)

Мы погибли (*фр.*)

Писарь (от *нем.* Torschreiber).

30

пустая нерешительность (*фр.*).

Так проходит земная слава (*лат.*).